

ISSN 0130-7673

НОВЫЙ МИР

НОВЫЙ
МИР

2002

11

2002

НОВЫЙ ВЕК, НОВЫЙ МИР БУДЬ КОНСЕРВАТОРОМ, ВЫБЕРИ СВОБОДУ

ДО КОНЦА 2002-ГО И В 2003 ГОДУ
«НОВЫЙ МИР» ПРЕДПОЛАГАЕТ ОПУБЛИКОВАТЬ:

СЕРГЕЙ АВЕРИНЦЕВ. Несколько мыслей о «евразийстве»
Н. С. Трубецкого (опыт беспристрастного взгляда);
АНАТОЛИЙ АЗОЛЬСКИЙ. Глаша (повесть);
АНДРЕЙ БИТОВ. Общество охраны героев (повесть);
ОЛЕГ БОРУШКО. Класс «А» (роман);
РАВИЛЬ БУХАРАЕВ. Гость случайный (роман-эссе);
СВЕТЛАНА ВАСИЛЕНКО. Мария из Магдалы (повесть);
АНДРЕЙ ВОЛОС. Новая повесть;
ВЛАДИМИР ГЛОЦЕР. Я помню;
ИГОРЬ ДЕДКОВ. Из дневников 1987 — 1994 годов;
БОРИС ЕКИМОВ. Рассказы и очерки;
ВАЛЕРИЙ ЗАЛОТУХА. Свечка (роман);
ФАЗИЛЬ ИСКАНДЕР. Новые рассказы;
ЮРИЙ КАГРАМАНОВ. Похвала разведчикам, или Продолжение
войны другими средствами (статья из «исламского» цикла);
НИКОЛАЙ КОНОНОВ. Нежный театр (шоковый роман);
ВЛАДИМИР КРАВЧЕНКО. Вечный календарь (роман);
МИХАИЛ КУРАЕВ. Дом без адреса (повесть);
ОЛЕГ ЛАРИН. Пейзаж из криков (повесть);
ВЛАДИМИР ЛЕОНОВИЧ. Изнанка льда (стихи);
ВЛАДИМИР МАКАНИН. Новые рассказы;
АЛЕКСАНДР МЕЛИХОВ. Чума (роман);
ВЛАДИМИР НОВИКОВ. Моншер (роман);
ОЛЕГ ПАВЛОВ. Чаровщина;
МАРИНА ПАЛЕЙ. Вода и пламень (рассказ);
ВИКТОР ПАНОВ. И там жили (рассказы; из наследия);
ЮРИЙ ПЕТКЕВИЧ. Заморозки (повесть);
ГРИГОРИЙ ПЕТРОВ. Крестный ход (рассказ);
ИРИНА ПОВОЛОЦКАЯ. Пустырь (повесть);
ВАЛЕРИЙ ПОПОВ. Третье дыхание (повесть);

(См. на обороте)

ЕЛЕНА РАБИНОВИЧ. **Филологические новеллы**;
ЕВГЕНИЙ РЕЙН. **Избранник** (роман);
А. РЕФОРМАТСКИЙ. **Из воспоминаний**;
МАРК РОЗОВСКИЙ. **Театральный человек** (документальное повествование);
ДИНА РУБИНА. **На солнечной стороне улицы** (роман); **Несколько торопливых слов любви** (новеллы);
ВАЛЕРИЙ СЕНДЕРОВ. **Солидаризм — третий путь Европы?** (эссе);
ОЛЬГА СЛАВНИКОВА. **Период** (роман);
АЛЕКСЕЙ СЛАПОВСКИЙ. **Из «Книги для тех, кто любит читать»** (рассказы);
ЕЛЕНА СМАГИНА. **Города** (стихи);
АЛЕКСЕЙ СМИРНОВ. **Игры на свежем воздухе** (рассказы);
АЛЕКСАНДР СОЛЖЕНИЦЫН. **Угодило зёрнышко промеж двух жерновов. Очерки изгнания**;
ИРИНА СТЕКОЛ. **Рассказы для Анны**;
ИРИНА СУРАТ. **Пушкин и Мандельштам** (параллели);
МИХАИЛ ТАРКОВСКИЙ. **«Отдай мое»** (повесть);
АЛЕКСАНДР ТИТОВ. **Прощание с гармонистом** (роман);
ЛЮДМИЛА УЛИЦКАЯ. **Сансаньч** (повесть);
АНТОН УТКИН. **Новый роман**;
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО. **Теленовости** (продолжение цикла «Мелочи культуры»);
ВАЛЕРИЙ ЧЕРЕШНЯ. **Сиротство волхвов** (стихи);
СЕРГЕЙ ШАРГУНОВ. **Откос** (повесть);
ЕВГЕНИЙ ШКЛОВСКИЙ. **Питомник** (рассказы);
ГАЛИНА ЩЕРБАКОВА. **Смерть в операционной** (повесть);

а также стихи ТАТЬЯНЫ БЕК, СВЕТЛАНЫ КЕКОВОЙ, БАХЫТА КЕНЖЕЕВА, ГРИГОРИЯ КРУЖКОВА, ЮРИЯ КУБЛАНОВСКОГО, АЛЕКСАНДРА КУШНЕРА, СЕМЕНА ЛИПКИНА, ИННЫ ЛИСНЯНСКОЙ, ЛАРИСЫ МИЛЛЕР, АНАТОЛИЯ НАЙМАНА, ОЛЕСИ НИКОЛАЕВОЙ, ОЛЬГИ ПОСТНИКОВОЙ, ОЛЕГА ЧУХОНЦЕВА; статьи, обзоры, эссе ДМИТРИЯ БЫКОВА, ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО, НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА, ТАТЬЯНЫ КАСАТКИНОЙ, АЛЛЫ МАРЧЕНКО, ВАЛЕНТИНА НЕПОМНЯЩЕГО, МАРИИ РЕМИЗОВОЙ, ДМИТРИЯ ШЕВАРОВА и других авторов.

NEW!

Частные лица и организации, находящиеся в любой точке земного шара за пределами Российской Федерации и стран СНГ, могут подписаться на журнал «НОВЫЙ МИР» без посредников, круглый год, с любого месяца, на любой срок и на любое количество экземпляров.

СПОСОБ ЗАКАЗА: по факсу, по электронной почте или по Заявке (см. ниже).

СПОСОБ ОПЛАТЫ: 100 % предоплаты на счет ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» № 40702840938040101095 в Московском банке Сбербанка г. Москвы, Российская Федерация, Тверское отделение 7982, корр. счет 30301840638000603804.

Tverskoe OSB 7982 MB SBERBANK PF, Moscow, Russia, ACC. 30301840638000603804, ACC. Beneficiary: 40702840938040101095.

Заявка принимается к исполнению с момента поступления денег на счет редакции. О возможности купить номера журнала за прошлые годы можно узнать в редакции.

СТОИМОСТЬ одного экземпляра в 2002 и в 2003 годах: \$ 10,

СТОИМОСТЬ годового комплекта: \$ 120.

ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» обязуется: отправлять заказчикам журналы в экспортном исполнении (белой обложке) по почте бандеролью в течение 5 дней с момента выхода тиража за счет редакции, обменивать бракованные экземпляры или повторно высылать не полученные заказчиком экземпляры за счет редакции, немедленно информировать заказчиков о всех затрагивающих их изменениях (объем журнала, периодичность, цена и проч.).

С момента передачи оплаченного тиража журнала на Московский почтамт обязательства продавца считаются выполненными и право собственности переходит к подписчику.

Адрес редакции: Россия, 127994, ГСП-4, Москва, К-6,
Малый Путинковский переулок, 1/2, Редакция журнала «Новый мир».
Телефон/факс: (095) 200-08-29, (095) 209-62-13.
E-mail: novy-mir@mtu-net.ru

Заявка на подписку на журнал «НОВЫЙ МИР»

(вырезать или ксерокопировать Заявку,
заполнить и отправить в редакцию по почте или по факсу либо
отправить все требуемые в Заявке сведения по факсу или по электронной почте)

Я (фамилия, имя или название организации) _____

прошу подписать меня на ежемесячный журнал «Новый мир»
с _____ (месяц, год) на _____ месяцев.

Количество экземпляров _____

Стоимость заказа _____ (число месяцев x число экземпляров x \$ 10).

Дата оплаты (Заявка заполняется и отправляется в редакцию после оплаты) _____

Контактный телефон (факс, e-mail) _____

Адрес для отправки журнала (почтовый индекс, страна, город, улица, дом, имя и фамилия получателя) _____

Подпись заказчика и дата заполнения Заявки _____

УВАЖАЕМЫЕ ЧИТАТЕЛИ!

Подписной индекс «Нового мира» — 70636 в зеленом Объединенном каталоге «Подписка — 2003». Спрашивайте этот каталог во всех отделениях связи. Каталогная стоимость подписки на первое полугодие 2003 года — 414 рублей плюс стоимость доставки.

Те из вас, кто имеет возможность приходить за журналом в редакцию «Нового мира», могут оформить *льготную* подписку по адресу: Малый Путинковский переулок, 1/2 (м. Пушкинская, «Чеховская», «Тверская»), в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 17 часов. Для членов творческих союзов, преподавателей высших и средних учебных заведений, студентов вузов, постоянных подписчиков, пенсионеров и инвалидов предусмотрены дополнительные льготы.

В редакции можно приобрести отдельные номера «Нового мира». Журналы выдаются подписчикам в понедельник, вторник, среду, четверг с 10 до 18 часов. (Справки по тел. 200-08-29.)

Спрашивайте наш журнал в московских книжных магазинах «Ad Marginem» (1-й Новокузнецкий переулок, 5/7), «Библио-глобус» (Мясницкая, 6), «Гилея» (Большая Садовая, 4), «Графоман» (1-й Крутицкий переулок, 3), «Летний сад» (Большая Никитская, 46), «Мир печати» (2-я Тверская-Ямская, 54), «Эйдос» (Татарская, 5, стр. 2).

Распространением журнала «Новый мир» за рубежом занимаются: германская фирма «Кубон унд Загнер» (Kubon & Sagner. D-80328 München Germany. Tel. (089) 54-218-130. Telex: 5216711 kusa d. Fax (089) 54-218-218; Электронная почта: postmaster@kubon-sagner.de Адрес в Сети: <http://www.kubon-sagner.de/ksinfo>)

американская фирма «Ист Вью Паблликейшенз» (East View Publications, Inc. 3020 Harbor Lane North Minneapolis, MN 55447 USA. Tel. (763) 550-0961. Fax (763) 559-2931. В Москве тел. (095) 318-09-37, факс (095) 318-08-81).

Уважаемые зарубежные подписчики!

Экземпляры журнала, предназначенные для распространения за пределами России и стран СНГ, выходят в обложке белого цвета с надписью «Novy Mir».

Приобретая «Новый мир» в голубой обложке, вы отдаете свои деньги фирмам, не связанным официальным контрактом с журналом, что наносит редакции финансовый ущерб.

Вы очень поможете «Новому миру», оформляя подписку через наших официальных распространителей (см. стр. 4) или через редакцию журнала (см. стр. 3).

НОВОЫЙ МИР®

ЕЖЕМЕСЯЧНЫЙ ЖУРНАЛ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ

Издается с января 1925 г.

№ 11 (931)

Ноябрь, 2002 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ОЛЬГА ИВАНОВА — Вольный посох, стихи	7
РОМАН СЕНЧИН — Нубук, повесть	12
СЕРГЕЙ БЕЛОРУСЕЦ — Из белой тьмы, стихи	69
АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ — Домашние люди. Современная история	73
ВЛАДИМИР САЛИМОН — Между делом, стихи	86
ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ — Видение Азии. Тывинский дневник	91
СЕРГЕЙ ПОПОВ — Ранний огонь, стихи	114

ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

Города и годы

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН — Облюбование Москвы: Кузнецкий Мост и выше	118
ЛЕОНИД ШЕЙНИН — Полуторамесячная столица — Шлотбурх	133

МИР НАУКИ

ЕЛЕНА КНЯЗЕВА, АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ — Познающее тело. Новые подходы в эпистемологии	136
---	-----

ВРЕМЕНА И НРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО — Праздничность	155
--------------------------------------	-----

ОПЫТЫ

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ — В русском жанре-23	166
---------------------------------------	-----

РЕЦЕНЗИИ. ОБЗОРЫ

Сергей Бочаров. Лирика ума, или Пятое измерение после четвертой прозы	174
Валерий Липневич. Энкиду не возвращается	178
Валентина Полухина. Поэт в эпоху репреизводства	183

(См. на обороте)

СОДЕРЖАНИЕ (окончание)

Николай Мельников. Многострадальный шедевр	185
Алексей Машевский. Опыт думанья	189

КНИЖНАЯ ПОЛКА НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА	194
ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО	198
КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ	203
WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО	208

ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ — Свободный стих как дело вкуса	213
--	-----

БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

Книги (составитель Сергей Костырко)	216
Периодика (составители Андрей Василевский, Павел Крючков)	219
SUMMARY	240

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ БИБЛИОТЕК!

КАК ВЫ, ВЕРОЯТНО, УЖЕ ЗАМЕТИЛИ, С ЯНВАРЯ 2002 ГОДА БЫЛИ ПОЛНОСТЬЮ ПРЕКРАЩЕНЫ БЕСПЛАТНЫЕ БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ РАССЫЛКИ «НОВОГО МИРА» ДЛЯ БИБЛИОТЕК РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ, КОТОРЫЕ ОСУЩЕСТВЛЯЛИСЬ РАНЕЕ ИНСТИТУТОМ «ОТКРЫТОЕ ОБЩЕСТВО» (ФОНДОМ СОРОСА).

У РЕДАКЦИИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ САМОСТОЯТЕЛЬНО ОСУЩЕСТВЛЯТЬ БЕЗВОЗМЕЗДНУЮ РАССЫЛКУ ДАЖЕ В БОЛЕЕ СКРОМНЫХ МАСШТАБАХ.

ПРОСИМ ВАС НЕ ЗАБЫТЬ ПРОДЛИТЬ/ВОЗОБНОВИТЬ ПОДПИСКУ, ПОСКОЛЬКУ У МНОГИХ НАШИХ ПОСТОЯННЫХ ЧИТАТЕЛЕЙ НЕТ ИНОЙ ВОЗМОЖНОСТИ ЗНАКОМИТЬСЯ СО СВЕЖИМИ НОМЕРАМИ ЖУРНАЛА, КРОМЕ КАК В БИБЛИОТЕКЕ.

ПОДПИСЫВАЯСЬ СЕГОДНЯ НА «НОВЫЙ МИР», ВЫ ПОДДЕРЖИВАЕТЕ НЕЗАВИСИМЫЙ ЖУРНАЛ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ И ОБЩЕСТВЕННОЙ МЫСЛИ, КОТОРЫЙ ЗА ПРЕДШЕСТВУЮЩИЕ ТРИ ЧЕТВЕРТИ XX ВЕКА САМ СТАЛ ОДНОЙ ИЗ РОССИЙСКИХ КУЛЬТУРНЫХ ТРАДИЦИЙ.

Издание выходит при поддержке Министерства культуры Российской Федерации и Министерства Российской Федерации по делам печати, теле-радиовещания и средств массовых коммуникаций.

ОЛЬГА ИВАНОВА

*

ВОЛЬНЫЙ ПОСОХ

* *
*

Как никогда,
в этом году —
стужа, мой свет,
будто в аду...

Сдаться велит.
Слечь. Околеть.
Жрет изнутри
ветхую клеть...

Но и она —
не холодна.
Ибо душа
облечена

этой зимой,
вымысел мой,
шалью с плеча
Жизни самой.

Чья правота —
гробить ли, греть —
присно была,
будет и впредь.

Идеже найти
смысл неземной
с Вами — не мне.
Вам — не со мной.

* *
*

*...А счастье было так возможно,
так близко!.. — скажешь — и солжешь.
И в стопку сложишь осторожно,
и ниткой свяжешь аккуратно, —
и в топку кинешь, и сожжешь*

плоды амурных химеры,
 тома рифмованной муры —
 тому реальные примеры,
 что не сподобишься обратно,
 что выбываешь из игры.

И выйдешь из дому, и дыма,
 и обожаемых тенет
 туда, где тема несводима
 ни к ним, ни к имени (вестимо,
 не упомянутому, нет),

туда, где все цветно и разно
 и не сливаются слова
 в одно созвучие «завишу»;
 пусть в алом пламени соблазна
 еще пылает голова,

но все — от звездности над нею
 до вешней свежести шальной —
 тебе покажется важнее,
 и основательней, и выше
 необоюдности больной.

И побредешь, едва живая,
 в уже рождающийся день,
 и до угла, и до трамвая,
 уже всерьез исцелевая,
 проводишь тающую тень...

М. И. Цветаевой

Не земное наследье влекло —
 вольный посох, пустая сума...
 Притекали — брала под крыло.
 Обогрев, отпускала сама.

Не блуждала по следу с тоски,
 не выглядывала беглеца.
 И в нужде не тянула руки —
 сплошь батрачила в поте лица.

На виду — ни единого шва.
 Не по-нашему ношу несла.
 Где терпела — всходили слова.
 Свирипела — музыка росла.

Ни единого шва — на виду.
 Обрекли — попеклась о петле.
 Ей ли дня дожидаться в аду! —
весь свой ад отжила на земле.

* *
*

...Это проходит: объятия настезь,
липы, июль... и уже человек —
не человек, а живое ненастье:
вьожит из уст, моросит из-под век...

Слипшийся ворс, индевеющий ворот,
стужа, сквозящая из рукава...
Сам себе изверг и сам себе ворог:
поступь тверда, да тропа рокова.

Ликом — Архангел, а грезит о Звере
(свита немислима, вид небывал).
Мглой грозовою врывается в двери.
Смотрит наотмашь, язвит наповал.

О, для того ли из ада зывали
Ула, Евлалия, Аннабель Ли
в дебрях у Обера, о, для того ли
лица пылали и липы цвели,

чтобы колечко с умершего пальца
жгло и велело — не жить, а жалеть,
чтобы гнала отовсюду скитальца
несовпаденья нелепая плеть,

чтоб ему, загодя вооружаясь
чуткою тростью, неведомо где,
словно слепому, бродить, отражаясь
тенью согбенною в гиблой воде,

чтобы потом одичавшею кожей
слиться с вот этою волглою мглой
мокрой материи в темной прихожей,
с мертвой возлюбленной, с болью былой,

чтобы, как с вещью, с голою веткой,
немо мятущейся там, за окном,
вечно беседовал юноша ветхий
в платье неглаженном, в тапке одном!..

* *
*

Пойми — не беглая холопка
и не безродная раба!
И — вон она — прямая тропка
туда, на вольные хлеба!

И не с того колени слабы,
а руки падают плетями,
что не нашлось для вздорной бабы
дружка меж добрыми людьми...

Пойми — ушла б! (*один из тыщи ж!*
и хуже нет — *чужое брать!*) —
не мешкая! следа не сыщешь!
(так зверь уходит умирать) —

ушла б! — бесследно и беззлобно
(сам Бог с пути б уже не сбил!) —
когда бы ты *не так подробно,*
не так взыскательно и жадно,
беспомощно и беспощадно,
не так отчаянно ЛЮБИЛ!

* *
*

Повеет высью... Вяжешься, взовьешься,
спеша на зов заоблачной блесны...
И — что уж тут... — осваивайся, ежься
на сквознячке нездешней новизны.

Сиди себе и впитывай, как вата,
забвения живительную взвесь,
и сколь оно ничтожно, и чревато,
и суетно — оставшееся здесь.

И, свесив ноги с божьей антресоли,
рассматривай земную хохлому,
взрывоопасной доремифасоли
уже не адресуя никому.

А взблзнится последняя нелепость —
иллюзию опоры обойти,
и оперенье выпростать, и выпасть —
не медли, дефективная, — лети!

* *
*

В ослепительно-пустых небесах,
в этой царственной Пустыне Пустынь,
я сойду с его ладони, как тень,
и ступлю на раскаленный песок...

И, робея, побреду, как дитя,
изумленное лицо опустив,
с Казнью Казней в окаянной груди,
с Песнью Песней в утомленных устах...

И — ни слова (даже смертно скорбя,
золотистые целуя следы), —
кто возвел меня сюда для себя
и оставил, не оставив воды...

Чтобы залежи — тяжело — нельзя —
одолела на Господних весах
одиначества страстная стезя
в ослепительно-пустых небесах...

* *
*

Холодно, милый, холодно!
Зимнее всюду, снежное.
Гладко отполированное.
Ладное, твердокаменное.

Умерло, милый, умерло
юное наше, нежное,
тайное наше, кровное,
ясное наше, пламенное...

Надо ли, милый, силиться —
перекликаться, мыкаться!
Еле живешь, израненный.
Еле хожу, усталая.

Некуда, милый, выплутать.
Незачем и аукаться.

*Старчество твоё раннее,
Блажь моя запоздалая...*



РОМАН СЕНЧИН



НУБУК

Повесть

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

1

Он появился как раз в тот момент, когда я почти забыл, что у меня была другая жизнь. Совсем другая. В квартире на пятом этаже, с ванной и унитазом, с удобной газовой плитой, телефоном; жизнь, где были друзья, веселые попойки на «свободной от родичей хате», субботние дискотеки... Да, я почти забыл ее, теперь я жил настоящим, последними пятью годами; жил в маленькой, одичавшей деревушке, в трехконном домике; каждый день я должен был заботиться о пропитании, ковыряясь на огороде и ухаживая за животиной, что с наступлением холодов будет забита и пойдет на прокорм мне и моим родителям.

Он приехал, открыл калитку и испугал меня. Ведь я сразу все вспомнил. Наш класс, дискотеки, девчонок, нас с ним в салоне «ИЛа», бегущего по посадочной полосе Пулковского аэропорта; вспомнил, как мы прилипли к круглому окошечку, пытаясь разглядеть в огнистой мгле новую, обетованную землю... И когда он пошел ко мне, не обращая внимания на рвущегося с цепи, хрипящего от злости Шайтана, я испугался. Я готов был разозлиться, подобно псу, что он появился, давно оставленный в прошлом, чужой, изменившийся, заставил вспомнить...

Ведь ничего не вернешь, так зачем ворошить?

— Здорово! — Улыбаясь, блестя крупными, ровными, как подушечки «Дирола», зубами, он протянул мне руку.

Я дернул было навстречу свою, но вовремя заметил, что она черная (только что разбрасывал по редисочным грядкам древесную золу от жучков), и находчиво подставил ему запястье. Бормотнул:

— Извини...

— Как живешь? Чем занимаешься? — бодро, без раскачки стал спрашивать он. — Совсем окрестьянился?

А я никак не мог прийти в себя и все бормотал, не слыша за лаем Шайтана собственного голоса:

— Да ничё... так... потихоньку...

Из огорода на шум собаки пришли родители. Увидели гостя, разулыбались — узнали.

— Мы-то гадаем: что такое, кто это к нам на такой роскошной машине? А это Володя! — зачастила, засуетилась мама. — Здравствуй, здравствуй! Откуда?

Сенчин Роман Валерьевич родился в 1971 году в Кызыле (Республика Тува), окончил Литературный институт им. А. М. Горького. Печатался в журналах «Новый мир», «Знамя», «Октябрь» и др. Лауреат первой премии литературного конкурса «Эврика» за 2001 год. Живет в Москве.

И отец, радуясь, поздоровался с ним, полюбовался его подтянутой, крепкой фигурой, дорогим костюмом, направился в дом ставить чайник.

— Нет, я не надолго. Машина ждет. — Вовка, отогнув рукав пиджака, взглянул на часы. — Самолет в шесть вечера. Тороплюсь.

Родители с пониманием закивали в ответ, а он потащил меня за ворота, подальше от бесящегося Шайтана и расспросов мамы; конечно, ей было о чем расспросить выбившегося в люди одноклассника сына...

За воротами белые, похожие на большую игрушку «Жигули», кажется, десятой модели, возле нее парень лет тридцати покуривает сигарету и, сощурился, глядит на пруд, где с визгом и радостным матом плещется молодежь.

— Пошли вон туда, на лужайку, — не знакомя с парнем, предложил мне Володька.

— Пошли...

Осмотрев траву и не обнаружив в ней стекла и гусиного помета, он сел, бросил рядом раздутую кожаную сумочку.

— Ну и как?

Я вздохнул, пожал плечами, полез в карман рубахи за «Примой». Но закурить почему-то не решился.

— Н-да, — вздохнул и Володька, и в его вздохе явно слышались сочувствие и слегка — презрение. — Видать, не слишком-то в кайф.

Огляделся. Я сопроводил его взгляд своим. Приятного для глаз действительно маловато. Почерневшие домики, глухие заборы из разномастных горбылин, на той стороне улицы — свалка. Даже пруд — единственное живописное место в деревне — и тот не вызывает симпатий: почти весь зарос ряской и камышом.

— Ну и какие планы? — снова стал спрашивать, точно бы тыкать меня иголками, одноклассник Володька.

— Пока... м-м... пока никаких. Опять год неурожайный, кажется, обещается. Вряд ли много получится заработать. На квартиру в городе копим...

— И сколько скопили?

Мне пришлось отозваться унылым кряхтением.

— Так-так. — Володька шлепнул на своем плече комара и стряхнул трупик прочь. — Побывал вот я в родном нашем Кызыле. Тоже приятного мало. Димон то бухает, то дурь шмалит, Саня под следствием...

— Саня? За что?! — Я искренне изумился, ведь Саня был из нас, шести парней выпускного десятого «в», самый умный, положительный; женился сразу после окончания школы на своей с детства любви, жена родила ему двух детишек, сына и дочку; в двадцать три года Саня стал начальником колонны — грузы возил по районам республики. — За что Саня-то?..

— Да в общем-то и ни за что. Прикончил двух тувинов, — серьезно и коротко ответил Володька, но тут же расширил ответ: — Поехал в рейс, куда-то то ли в Чадан, то ли в Эрзын, муку повез этим тварям, а они — на него. «КамАЗ» окружили и ломиться стали в кабину. С ножами... Ну, Саня по газам и двух раздавил, кишки намотал на колеса.

— Сидит?

— Нет, на подписке. Но это тоже... У тувинов же кровная месть. Угрожают, стекла камнями бьют. Дома сидеть приходится, как в осаде... Вообще, я посмотрел, русских почти не осталось. В основном старики и алкашня... Ты-то давно там был?

— Пять лет назад.

Володька кивнул и подытожил:

— И нечего делать. Я мать еще тогда перевез, живет теперь тихо-мирно, не жалуется. К отцу вот ездил, уговаривал тоже перебраться. Чего ему?.. Пускай с матерью мирятся, сходятся. Скоро ведь стариками оба станут уже, чего им делить...

— А сестры? — Я вспомнил его двух сестер, старшую — пышнотелую Марину и младшую — стройную, серьезную Таню.

— Маринка замужем, в Свердловске живут, а Татьяна со мной. Работает.

Вовка снова посмотрел на часы и нахмурился:

— Надо ехать. До Абакана отсюда часа два еще?

— Так где-то...

— Да и парня задерживать неудобно. — Володька посмотрел в сторону «Жигулей». — Нанял в Кызыле, по пути сюда велел завернуть.

— И сколько это все стоит?

— Я ему сразу пятьсот предложил. Он согласился. Взял вперед половину, остальное уже в Абакане отдам.

— Широко, — хмыкнул я. — На автобусе это тысяч в восемьдесят обойдется...

— Зато без геморроев. И времени экономия... Так, — голос Володьки стал серьезным и деловым. — Я вот что заехал-то. Давай ко мне в Питер. Чего тебе здесь? Совсем... гм... совсем оскотинишься. Не можешь прямо сейчас, так давай через месяц-два. У меня дела нормально идут, расширяюсь всюю. Нужны люди...

Я почесал через рубаху потную грудь, спросил то ли его, то ли себя:

— А что я умею?

Володька ответил быстро, словно предвидел эту мою фразу:

— Да уметь особо ничего и не надо. Грузчиком будешь, иногда — товар развезти, деньги собрать по точкам. Только в Питере семьдесят точек... ну, мест, где моя обувь лежит, да еще по области, в Петрозаводске, в Новгороде... Работы хватит, зато и зарплата, отдых — не слабые... Ну как?

Я, сам почувствовал, глуповато так улыбнулся, как маленький, дебиленский мальчик, улыбнулся и произнес:

— Конечно, заманчиво, но только...

— Чего опять — но?

— Н-ну вот, — я мотнул головой в сторону избенки, невидимого отсюда огорода, свинарника, — хозяйство, дела. Родителей как бросать?..

— Что ж, как знаешь. — Володька, взяв с травы пухлую сумочку, собрался подняться. — Дела так дела.

— Нет, погоди!

В голове как-то разом, мгновенно, как взрыв, как вспышка, — куски нашей с ним общей питерской жизни. Строительное училище, драки с туркменами-одноруппниками, Невский проспект, пирожки-тошнотики на Московском вокзале, концерты в рок-клубе, мечты о будущем — радостном, сытом, богатом времечке. Володька до него вот добрался, а я...

— Погоди, Вов! Так ведь быстро же невозможно, — затараторил, залепетал я, — надо, это, надо подумать.

— Мне ждать некогда. Я привык по-другому, — жестко ответил он, но все же снова устроился на траве и сумочку отложил. — Решай. Месяца два в твоём распоряжении. Сейчас все равно лето, в делах затишье... У меня однокомнатка пустая стоит, я сейчас трехкомнатную снимаю на Приморской... Зарплату сделаю долларов двести, если, конечно, будешь работать... Смотри, Ромка, я тебе помочь хочу. Одноклассник как-никак, друг мой лучший был... Гм... — Он спохватился, поправился: — Да и сейчас, думаю, друг... Смотри, увязнешь ведь, не вылезешь больше. Женишься на доярке какой-нибудь...

— Тут теперь нет доярок, — с ухмылкой перебил я, — ферму закрыли, коров на мясо продали.

— Ну тем более — сваливать надо! — снова стал раздражаться Володька; дернулся, посмотрел на часы и поднялся: — Короче, так... — Он вынул из сумочки картонный прямоугольничек. — Вот мои координаты. Надумай если — звони. Дальше тянуть этот беспонтовый базар у меня желания нет. На дорогу деньги могу прислать. Сообщи.

Я тоже встал и вслед за ним поплелся к машине, разглядывая на ходу визитку. Переливающийся на солнце, разноцветный кружочек в левом верхнем углу, красивая, под древнерусскую вязь, надпись по центру: «Владимир Дмитриевич Степанов. Президент Торгового дома „Премьер”». А внизу деловито-строгие столбцы номеров телефонов, факса, еще какие-то иностранные буквы и точки.

— Да, Володь, я позвоню. Позвоню обязательно! — Я только сейчас очнулся, очухался, понял, что это действительно шанс, что вот моя жизнь может сказочно вдруг перемениться, и потому заторопился, посыпал благодарностями, оправданиями: — Спасибо! Спасибо тебе, Володь! Ты извини, что я так... это от неожиданности. Да, Володь, я совсем увяз, утонул в этом всем... Я позвоню, Володь, позвоню! Помогу вот родителям и — ближе к осени... Ладно? Не поздно?

— Дело твое, — одновременно и жестко, и с пониманием сказал он, открыл дверцу машины, но вдруг хлопнул меня по плечу и совсем как когда-то, когда мы дружили, сказал: — Не кисни, Ромьгч! Ну-ка, блин, выпрямись, а то смотреть тошно. Все будет о'кей! Усек? — Еще раз хлопнул, болезненно и сердечно, и прыгнул в «Жигули». — Счастливо!

— До встречи! — пискнул в ответ я, чуть не подавившись набухшим в горле комком.

Водитель неслышно тронул машину, и она мягко побежала по неразъезженному проселку нашей Приозерной улицы в двенадцать дворов.

Я смотрел ей вслед, крепко сжав двумя грязными пальцами бесценную, словно пропуск в новый и светлый мир, Володькину визитную карточку.

2

Зашелкали дальше однообразные дни. Нет, другие дни — мучительные, долгие, как, наверное, кончающийся срок заключения.

Подъем в шесть утра, распаковка огуречных, помидорных теплиц, парников, отгон в стадо коровы, кормление свиньи, кроликов, кур. Потом завтрак и дальше — прополка бесчисленных грядок с луком, редиской, морковью, петрушкой; обрезание усов у клубники. Полив, подкормка настоявшимся во флягах конским навозом... Два раза в неделю сборы в город на рынок.

Еще с вечера отсортировываем огурцы поровней, потоварней, вяжем пучки редиски, морковки, лука-батун, хочется нарвать, навязать как можно больше, но где гарантия, что раскупят, и тогда хоть выбрасывай. В лучшем случае придется кормить отборной морковкой кроликов, крошить редиску в варево свинье...

На рассвете загружаем товаром наш старый, на ладан дышащий «Москвич», мама с отцом надевают выходную одежду — выглядеть надо прилично, тогда и покупают вроде получше, — и отправляются в город за пятьдесят с лишним километров. Вечером они вернутся усталые, измотанные рыночной суетой, долгой дорогой, но, каждый раз надеюсь, радостные, что удалось наторговать на триста, пятьсот, а то и семьсот тысяч... Половина денег, правда, сразу растратилась на кой-какую еду, разные необходимые в быту мелочи, но все-таки какая-то сумма кладется в заветную шкатулку. На квартиру. Пусть потом шкатулка в очередной раз опустеет — неожиданная покупка дорогой запчасты для «Москвича», или теплой обуви на зиму, или ремонт опять перегоревшего насоса для качанья воды, — но сейчас, после удачной торговли, у нас праздник.

— Ничего-о, — бодро говорит отец, — прорвемся, ребята. Другие, совсем все побросав, уехали, углы снимают теперь, а у нас какой-никакой, но свой домишко и земля, главное. Она с голоду помереть не даст. Просто надо работать — и все получится.

Пять лет мы живем этой надеждой. Сначала, когда переезжали — топроливо, спасаясь, из родной, но ставшей вдруг чужой, враждебной к людям некоренной национальности республики, — надежды было побольше. Продали там трехкомнатную квартиру, дачу, гараж, собрались купить двухкомнатку в старинном русском городе на юге Красноярского края, но тут (а было это смутной осенью девяносто второго года) со всех сторон хлынули потоки переселенцев, и квартиру, примеченную нами, по-быстрому приобрела денежная семья из Норильска. А еще через две-три недели наших двух миллионов хватило на то, чтобы купить вот эту избенку с двадцатью сотками земли в маленькой, разоренной деревушке Захолмово.

И потекли, как говорится, годы, и каждый год разделен на две неравные части. Зима — вялое, долгое сонливое время, неспешная подготовка к трудному, сулящему большие деньги, если повезет, лету, и само лето — на огороде с утра до ночи, в уходе за спасительными и проклятыми помидорами, огурцами, перцем, капустой, клубникой, и в конце осени — пустая шкатулка и бледная надежда на следующий сезон.

С тупой, почему-то не пугающей меня самого обреченностью я стал приучаться к мысли, что такая цепочка лет бесконечна. То есть — пожизненно. Но вот появился Володька...

До поры до времени я откладывал разговор с родителями насчет его предложения. Понятно, как они отнесутся. Они наверняка поддержат, они скажут, что это действительно шанс, шанс зацепиться в большой жизни, обеспечить себя, может, хорошо зарабатывать, даже купить квартиру там, в самом Питере. Ведь Володька же смог, вон каким стал, почти всей торговлей обувью заправляет на северо-западе страны, а был обычным троечником, хулиганом, его после восьмого класса дальше и брать не хотели, пытались сбавить куда-нибудь в ПТУ. Конечно, сынок, надо ехать, надо попробовать! Что тебе здесь?.. Но в глазах у них будет другое, пусть и не осознанное, скрываемое от самих себя, — в глазах будет читаться: ты нас предаешь, бросаешь здесь одних, незащитных, уставших, стареющих. Ведь им почти по шестьдесят, ведь силы вот-вот окончательно оставят, и в этот момент я от них убегаю.

И, думая постоянно о своей новой, грядущей жизни, о той обетованной земле, куда мы с Володькой прилетели после окончания школы, без малого восемь лет назад, и откуда очень быстро нас забрали в армию (Володька потом вернулся в Питер и стал в итоге таким, как сейчас, а я приехал на родину в тот момент, когда родители упаковывали вещи, чтоб эту родину покинуть), — да, постоянно думая о будущем и вспоминая прошлое, я старался быть как всегда, тянуть ляжку сегодняшнего, не показывая, что сегодняшнее мне уже почти безразлично... Отец, после удачной торговли или выпив за ужином, говорил: когда-то нам должно повезти, ситуация должна измениться, — но я больше не прислушивался к этим словам, я мечтал о Невском и о Васильевском острове, о ночных клубах, где никогда не бывал, о работе, какой-то абстрактной, туманной, но интересной, приносящей немало денег работе... И каждый день я искал удобного случая сказать о Володькином предложении.

Июнь не принес нам особых доходов. Клубника «виктория», на которую рассчитывали, была нынче очень плохая; по полдня мы с мамой лазали по грядкам с дуршлагами в руках и собирали сухие, корявые ягодки, потом сортировали их, тщетно стараясь выбрать крупные и аппетитные для торговли.

— Заморозки повлияли, — говорил отец, с грустью глядя на эти наши попытки. — Помните, в середине мая до минус пяти доходило, а она цвела как раз... Мда-а, жалко, жалко...

К началу июля подоспели огурцы, перец, в конце месяца — помидоры. Они были на редкость хороши, обильны; плоды набухали чуть не на гла-

зах. Каждый вечер мы снимали огурцов по несколько ведер и спускали в подвал, чтоб не дрябли. Помидоры складывали в коробки и составляли штабелями в летней кухне — дозревать. Но, оказалось, и у других урожай не хуже, и цены падали день ото дня. В итоге родители стали привозить к ночи нераспроданным половину, а то и больше того, что утром брали на рынок.

Начало августа ознаменовалось отличной цветной капустой, ее расхватавали по двенадцать тысяч за килограмм; к сожалению, цветная капуста у нас быстро закончилась.

— Вот знать бы заранее, — сокрушалась мама, бродя по опустошенной капустной деляне. — В прошлом году никто и даром не брал, а нынче вон как, аж в очередь... На одной капусте можно было заработать раз в десять больше, чем на всем остальном.

— На будущий год на нее упор сделаем, — не унывая, отзывался отец.

А числа пятнадцатого августа, после влажноватой, парной жары и буйства, отчаянного какого-то буйства природы, подул ветер. Он дул без перерыва, ровно и настойчиво, и постепенно из горячего превращался в промозглый, пахнувший снегом. Значит, в Саянах снегопад, значит, лето кончилось.

И затем — ленивый и мелкий, многодневный, основательный дождь. Совсем осенний... По временам я выходил в огород, накрывшись тяжелым брезентовым плащом с капюшоном, и смотрел на землю.

Сперва она впитывала капли жадно, с радостью; листья умывались, зелень стала сочнее, ярче, но потом все устало, дождь сделался лишним, ненужным, растения поникли, отяжелели, даже на свежевскопанной земле появились лужицы... На шестой день это было невыносимо и растениям, и животным, и людям. Корова не желала выходить из сарая и жалобно мычала, прижимаясь к стене; Шайтан скулил в своей тесной будке; куры сидели на жердочках и почти не неслись. Огородные посадки поскучнели, начали гнить; земля больше не принимала влагу, а, наоборот, выталкивала ее, словно бы дождевая вода соединилась с подпочвенной и теперь не знала, куда деваться...

Деревня обезлюдела, все прятались по домам, изнывая от скуки. Мы тоже мучились скукой парализованного, который готов свернуть горы, а на деле же не способен шевельнуть ни рукой, ни ногой.

Да, занятия стали домашними, зимними; суета на какое-то время притормозилась. Мама штопала белье, одежонку, тщательно мыла посуду, подметала пол по три раза на дню, глядела в окно на пупырчатый от дождевых пулек пруд, где вяло плавали грязно-белые, сонные гуси, изредка тоскливо вскрикивая. Отец чинил унты, много курил возле печки, не пропускал ни одного выпуска новостей по телевизору, а затем рассуждал о политике. Я, лежа на кровати, греясь светом настольной лампы, листал толстенный двадцать четвертый том Большой Советской Энциклопедии и зачем-то читал про Ленинабад, Леонардо да Винчи, Лермонтова, лесную зону, хотя интерес во всем томе для меня представляла лишь статья «Ленинград». Когда же голова чугунела от чтения, надевал брезентовый плащ и шел в умирающий огород или к кроликам, чтоб погладить теплую шерстку любимой Тихони... Событием и одновременно испытанием стали теперь походы к колодцу, в магазин, кормление животины.

С каждым днем дождя все ясней становилось, что и это лето пошло для нас прахом. И однажды за обедом я набрался храбрости и начал:

— Помните, Володька тогда приезжал?

— Конечно! — тут же отозвалась мама радостно и уважительно. — Какой он стал!..

— Ну вот... Он мне тогда предложил... — Я замялся, поковырял брусочки жареной картошки, отложил вилку. — Предложил к нему туда ехать... ну, в Питер. Работать с ним... у него.

Я сделал паузу, подождал, как отреагируют на эту новость родители. Но они молчали, смотрели на меня и тоже ждали.

— Вот думал все это время, — волей-неволей пришлось говорить дальше. — Дело, понятно, сложное, хотя... Хотя мы ведь с ним чуть ли не с детства мечтали о Питере. Он вот смог, теперь мне хочет помочь. Вот... Я ему тогда определенно ничего не сказал, сказал, что ближе к осени позволю, сообщу... М-м, вот и осень почти. — Я вздохнул подчеркнуто расстроено, скорбно даже. — Надо решать.

— Дело, конечно, серьезное, — отозвался отец невеселым голосом; невеселым, но и без обиды. — Здесь, так сказать, палка о двух концах... — Он помолчал, видимо, собираясь с мыслями. — Бесспорно, это для тебя, да и для нас с мамой в какой-то степени выход. По крайней мере — на зиму. Только... понимаешь...

А мама смотрела в стол, как-то нервно, подрагивающим пальцем собирала в кучку хлебные крошки. И я, глядя на этот ее толстый, темный, с трещинками на коже, неухоженный палец, пожалел, что затеял разговор так неожиданно. Надо было, наверное, постепенно, вслух вспоминая время от времени Питер, Володьку, подготавливать их морально, настраивать. Я же сразу так, с молчания — и перед выбором.

— Понимаешь, — продолжал отец медленно и раздумчиво, — слишком зыбко, недолговечно то, чем твой друг занимается. Сегодня он на коне, а завтра, не дай бог, конечно, в подъезде с дыркой в черепе.

Мама дернулась, посмотрела на него возмущенно:

— Не надо уж так! Не пугай, пожалуйста! — Наверно, она представила меня, своего сына, в подъезде рядом с Володькой.

— Да это не я пугаю, — вздохнул отец, — а сама жизнь, само устройство реальности нашей. Вон чуть ли не каждый день их отстреливают. И Питер на первом месте по всем статьям. Дня три назад передали — прямо на Невском проспекте заместителя Собчака застрелили. Среда бела дня...

— Ну, это же криминальных... убивают, — пыталась не согласиться мама, — а Володя, он вроде бы парень честный, серьезный.

— Хм, кто сейчас честный... Мы вон за электричество платим как за две розетки...

В нашей деревне в домах счетчиков нет, поэтому оплачивают определенную сумму, высчитанную в среднем из пользования двумя розетками.

— Платим за две розетки, а у самих в рассаднике плитки стоят всю весну и в теплице ранней — обогреватели. Какие ж мы честные?

— Это из-за необходимости, — тускло произнесла мама, — у нас крайняя ситуация.

Отец снова нехорошо ухмыльнулся:

— Все из-за необходимости, у всех, извини, ситуация достаточно крайняя.

Настроение было испорчено, обед забыт; жареная картошка остыла, брусочки покрылись беловатым налетом затвердевшего свиного жира.

3

Да, этот разговор не добавил нам оптимизма. Наоборот, будто оборвалась веревка, что соединяла, связывала, страховала нас, делала одним целым. И хотя твердо решено не было, ехать мне или нет, но так или иначе все дела, заботы теперь несли на себе печать скорого моего отъезда. Перебирая белье в шкафу, мама вздыхала: «Ни одной майки у Романа нет новой, да и рубахи... А обувь-то! Туфли совсем расползлись — не то что в Ленинград, а по деревне стыдно пройти...» Я отвечал, что с одеждой у меня порядок, но из первой же поездки в город после нашего разговора родители привезли мне новые кроссовки, две рубашки, футболку, трусы,

несколько пар носков. Я хотел рассердиться, а вместо этого поблагодарил и намекнул, что надо бы тогда и новые джинсы...

Деньги, лежащие в заветной шкатулке, стали восприниматься родителями как деньги, предназначенные для Питера. Я было попытался объяснить, что Володька обещал выслать мне сумму на дорогу, обещал обеспечить на первое время; отца эти мои слова оскорбили: «Не надо совсем уж голодранцем казаться! У тебя есть деньги, ты их заработал. Возьмет он на работу, будет платить — хорошо. А до этого времени нужно иметь, на что себя прокормить. И на билет у тебя есть. Мы не какие-то нищие, просто, конечно, не миллионеры».

С каждым днем, словно бы вместе с уходящим, вянущим летом, я острее и острее чувствовал тоску по новому, по новой жизни; чаще и сами собой вставали перед глазами питерские проспекты, мосты, метро; затхло-ватый ветерок с близкого пруда казался запахом воды в Фонтанке... Деревня, привычная, с которой вроде сроднился за эти пять лет, становилась все убоже, враждебнее, темнее, наша избенка — неуютнее и теснее, и я уже удивлялся, как сумел прожить здесь так долго. Наверное, шок от переезда вызвал что-то вроде ступора, омертвения, а теперь я очнулся... Неудобная баня, сортир во дворе, скотина, однообразная работа на огороде — они мучили, надоели, вызывали почти ненависть и отвращение. Внешне ничего не изменилось, но я был убежден: еще месяц такой жизни — и я не выдержу. Я, без всяких пока видимых причин, снова превратился в городского человека, которому чужды, непонятны сельские заботы, который брезгливо поглядывает на этих людей и сторонится их, грубых, неумытых, туповатых...

И вот в субботу двадцать третьего августа я решил объявить родителям, что завтра хочу съездить в город, позвонить Володьке, побывать на вокзале, узнать насчет билетов.

Они восприняли это спокойно, даже слишком спокойно. Отсчитали из шкатулки полтора миллиона.

— Зачем так много?! — Я сунул руки за спину — не возьму, дескать, столько.

Мама удивилась:

— Ну а как? На билет, на джинсы! Подстричься. Сумку бы надо новую, это тоже тысяч сто пятьдесят... Может, и бритву, у вас ведь с отцом одна на двоих...

Согласно кивая, я принял толстую пачечку. А на другое утро в половине девятого был у сельмага на остановке, щелкал мягкие, сладковатые семечки, выковыривая их из подсолнухового блина.

Давно я не ездил в город — меня туда и не тянуло последнее время. Хотя и маленький он, напоминающий скорее поселок, но, по сравнению с нашим Захолмовом в полсотни дворов, совсем другой мир. Силы вытягивает своей суетой, светофорами, расстояниями почище любой деревенской работы. И возвращался я оттуда всегда с раскалывающейся головой, опустошенный, разбитый, хотя и считал этот день — день в городе — выходным.

Сегодня получилось иначе. Я сразу почувствовал и в себе, и в городе нечто новое, что тут же объединило нас, почти сдружило. Выйдя из автобуса возле универсама, сразу попав в энергичный городской ритм, я застеснялся подсолнуха у себя в руке и бросил его в урну. Купил пачку «Союз — Аполлон» вместо «Примы», которую курил все последние годы, и, сунув меж губ фильтровую сигарету, пошагал к Главпочтамту, где находился и междугородный телефон.

Достал из бумажника Володькину визитку (далеко уже не свежую оттого, что частенько мусолил ее), набрал 8, код Питера и еще семь цифр его домашнего телефона.

Долго, казалось, очень уж долго ждал, вслушиваясь в какие-то далекие шорохи, вспiski и трески, и наконец в ухо влился первый длинный гудок.

Второй, третий, а потом Володькин, но какой-то ненастоящий, неживой голос сказал: «К сожалению, меня в данный момент нет дома. Свое сообщение вы можете оставить после сигнала». Мгновение тишины и перезвон механических колокольчиков. Я почувствовал, как вспотело мое ухо, увлажнило равнодушную трубку; язык не шевелился, я смог лишь невнятно промычать, невнятно и озадаченно. «Спасибо!» — ответил тот же ненастоящий голос Володьки, и вслед за ним торопливо запыкало.

Я вышел из душевой кабинки, повторяя одно и то же: «Вот и все... вот и все...» Почему-то позвонить в офис или на сотовый я не додумался. Маленькая, случайная неудача — не застал, видите ли, Володьку дома — показала мне глухой, несокрушимой стеной. Новая, такая вроде бы близкая жизнь, поезд, Питер, черед интереснейших открытий вдруг растворились, за ними же открылось: пустой, унылейший огород в октябре, ледяные, до костей пронимающие порывы ветра, почерневший, погрубевший целлофан, который нужно аккуратно снять с теплиц, свернуть в рулончик и спустить в подпол, чтоб на будущий год в апреле накрывать им грядки с ранней редиской; пятнадцать соток картошки в поле, которую нужно выкопать, просушить (ведь обязательно во время копки будет дождь лить), тоже спустить в подпол, чтоб зимой доставать и есть; монотонная шваркотня пилы по бревну, которое нужно разделить на чурки, затем расколоть на поленья и сложить в поленницу, чтоб в морозы печку топить; семь походов к колодцу, чтоб натаскать баки и чаны в бане и потом помыться... И еще куча разных и в то же время отупляюще однообразных дел, из которых состояли прошедшие пять лет и будут состоять следующие... Да нет! Я же почувствовал возможность вырваться и как-нибудь обязательно вырвусь... Сесть в поезд, а там будь что будет.

И все три часа, стоя в очереди к железнодорожной кассе, я был уверен, был бесстрашно уверен: купив билет, освобожусь. Единственное, что теперь заботило, — хватит ли? Ведь вон сколько людей, облепили все три окошечка, растянулись по залу извилистыми змеями. Все едут куда-то и едут, скорей всего, туда, на запад, в сторону Свердловска, Москвы, Питера. Достанется ли и мне билет? Маленький, спасительный кусочек бумаги...

В конце концов передо мной больше нет ни одной спины, и я смело объявляю кассирше:

— Один до Петербурга. Плацкарт!

— Число?

— А? — Я растерялся. — Ну... там... на двадцать восьмое... Да, на двадцать восьмое.

Молодая женщина с серьезным, бледным лицом, постукивая по клавишам компьютера, смотрела в невидимый мне экран, и мне казалось, там, на экране, горит разноцветием тот яркий мир, и сама кассирша на его пороге и вот-вот впустит меня.

Долго, не веря, я изучал, проверял оранжевенькие листочки, читал свою фамилию «Сенчин», старался запомнить номер поезда, место, время отбытия и прибытия, время в пути... Каких-то семьдесят пять часов — и я в Москве, а потом всего лишь семь с половиной от Москвы до Питера. Совсем, совсем немного, если сравнить со временем, что когда-то проторчал я в армии, потом — в скучной, бесцветной деревне Захолмово.

Ехал домой в тесном, набитом людьми «ПАЗе», сдавленный влажными от пота телами, но почти не испытывая неудобств. В нагрудном кармане рубахи, застегнутом на обе пуговицы, лежали билеты, а в новой дорожной сумке были новые, за триста пятьдесят тысяч рублей, черные джинсы «Diog». Я подстригся, купил электробритву, зубную щетку, отбеливающую пасту «Аквафреш»; и сам я казался себе новым, свежим, отбеленным. Голова не болела, не чувствовалось никакой опустошенности, тяжести. Город сегодня снова принял меня.

— Ну как? — с несколько натужной бодростью спросил отец, поднимаясь с корточек; он обрезал усы садовой клубники.

— Все нормально. Договорился, купил билет, — ответил я так же бодро и так же слегка натужно.

— На какое?

И мой тон сам собой изменился, я сказал обреченно, точно бы не я был волен выбрать день отъезда, а кто-то приказал мне купить именно на это число:

— На двадцать восьмое.

— Значит, четыре полных дня осталось.

— Да...

Отец достал сигарету, размял ее черно-зелеными от земли и травяного сока пальцами, закурил. Посмотрел на огород, на пруд, дальше, на тот берег с избушками, заборами, сараюшками; на невысокую, поросшую осинником гору; куда-то еще за нее, где, далеко-далеко, были другие деревни, огромные города, незнакомые люди, их своя, незнакомая жизнь...

— Что ж, — вздохнул, — надо до этого времени в бор помотаться, дров привезти.

— Съездим, конечно! — отозвался я поспешно, обрадованный столь будничными словами, заботами отца; судя по его взгляду, он собирался сказать другое.

Перед рассветом падал густой, плотный туман и укрывал собой деревню почти до полудня. Хотелось вытягивать руки и, разбивая его, как какую-то беловатую воду, поплыть. Предметы выступали размытыми пятнами, даже самая обычная крыша представлялась башней сказочного средневекового замка. Звуки становились глухими и приходили точно издалека, точно захлебываясь и преодолевая многочисленные препятствия.

Каждый день мы ездили с отцом за дровами. Забирались подалее в лес — вокруг деревни давно уже все было вычищено, вытаскано на руках, вывезено на машинах, мотоциклах, телегах соседями, да и нами самими — и собирали валежник и сухостой.

Пока отец обрубал сучки, я бегал поблизости, срезал найденные грузди, маслята, рыжики в пакет, а в ведро сыпал наскребанные со мха розоватые, только еще поспевающие ягодки брусники... Ох как тянуло походить по лесу не спеша, почти крадучись, осторожно, высматривать грибы, как охотник пугливую добычу, очищать кочки от брусники до последнего розоватого шарика, слушать шелест умирающих листьев, дышать ароматом перезревших лесных трав, но времени не хватало, и я торопился вперед и вперед, ломая ветки, разрывая лицом сети паутины и каждую секунду прислушиваясь, не сигналит ли из «Москвича» отец, кончив свою работу.

Когда раздавался гудок, я бежал на него, судорожно, на ходу подбирая грибы, не глядя, червивые или нет (мама потом разберется), цепляя пятерней самые соблазнительные гроздья брусники. Да, времени не было, дома ждали другие, никогда не переводящиеся дела. И чем ближе подходил мой отъезд, тем неотложней они становились; ведь не только мой отъезд приближался, приближалась и осень, новые атаки дождя, первые заморозки, а там уж вскоре и снег...

Медленно поддается зубьям толстый, почти что железный комель березы; пила швыркает по нему бесяще нудно, словно бы по одному месту, не углубляясь, не находя зацепки, лишь по чуть-чуть соскребая меленький желто-розовый древесный песок. Ручка пилы обжигает, и моя ладонь тоже горячая, она натерлась, кажется, сейчас кожа лопнет, порвется, — спасают мозоли.

Мы работали молча, напряженно глядели на распил в стволе, мы как будто гипнотизировали упорный комель, заставляли размякнуть, не сопротивляться, ведь все равно наше упорство его победит.

И вот отвалилось полуметровое, с толстой окостеневшей берестой бревешко, а дальше, ближе к вершине, пойдет легче. После березы уже подготовлен подгнивший ствол сосенки, он и вовсе как масло, но и жара от него будет не шибко...

Напиленные метра по полтора, а толстые и того короче бревна водружаем на прямые, много чего за свой век повозивший багажник над крышей «Москвича». Несколько коротеньких чурок помещаются в задний багажник, еще кое-что в салон, на место убранного перед поездкой заднего сиденья.

— Неплохо, — устраивая пилу меж бревешек, произносит отец, — недельки на две-три добыли. Завтра, даст бог, еще...

Осевший, загруженный под завязку «Москвичок» через силу ползет по лесному проселку, поддоном шлифует бугор меж колеями.

— Так, глядишь, помаленьку и на всю зиму навозим, — продолжает отец успокаивать себя и меня. — Уголь-то еще неизвестно, будет, нет. Заказ сделали, но даже ветеранам пока, слышал, не возят...

Отдаю маме грибы и ягоду, она радуется:

— О-о, ну и грузиди! Один к одному, как на подбор. И брусника какая крупная в этом году!.. — И тут же слегка досадует: — Жалко, мне все в бор выбраться не получается. Денек бы побродить хорошенько. Ведь опять упустим, а так хорошо с брусникой зимой, с грибами солеными... Но как? Весь день на ногах, сегодня опять, а что успела? Обед приготовила, лук повыдергала из грядки, сушить разложила, помидоры перебрала, в доме хоть прибралась маленько...

Я тоже досаую, что не могу спокойно, основательно, с раннего утра, вооружившись ведрами, торбой, ножом, в высоких резиновых сапогах, штормовке забраться подальше от деревни, куда другие не доходят, а к ночи вернуться, согнувшись под тяжестью добычи, усталым, счастливым. Но досада эта сейчас почти лживая, в глубине души мне все равно, ведь я не увижу в подполе ровные ряды банок с грибами и засахаренной брусникой, не похлопаю удовлетворенно свежую, выше моего роста поленицу; я не обмакну в декабре маленький, аккуратненький рыжик в жирную желтоватую сметану, не обогрею морозным днем избушку теми дровами, что сейчас запасаю.

Совсем скоро я отсюда уеду. Уеду далеко, а когда вернусь? Если все сложится удачно, то, может, и не вернусь, по крайней мере — как хозяин...

4

В последний вечер слегка повздорил с родителями. Мама, суетясь, волнуясь, выкладывала на диван все новые и новые вещи, лишние, совсем мне не нужные там, куда я отправлялся: ложки, вилки, чашка, тарелка, три полотенца, зимняя куртка (пробовал уместить ее в сумке — заняла почти всю), стопки выглаженных маек, трусов, рубашек...

Я сопротивлялся:

— Да зачем мне все это? Что я, в тайгу, что ли, собираюсь? И как по-тащу... тут на два баула...

— Ну а как же? — запыхавшись, свистящим голосом отвечала мама. — Сменное белье должно же быть, посуда, еда в дорогу...

— Но ведь не столько же. — Я стал отбирать самое необходимое.

— Понятно, что налегке лучше, — остановил отец, — а потом что делать? Ведь все сразу не купишь. Я тут на чердаке сумку нашел. Старая, правда, но еще крепкая. Почистили, вроде не стыдно ее взять. И вместительная. Надо, Роман, иметь при себе кое-какой багаж. А то получается — вот он я, заявился, подарочек.

Мама тоже поднадела, а я не сдавался. Не было у меня никакого желания представать перед Володькой этаким каликой, увешанным мешками,

чайником, со свернутым матрацем за спиной... Да и когда я встречусь с Володькой? — ведь я ему так и не позвонил, не сообщил, не договорился. Может, придется и на вокзале заночевать...

Но сама причина размолвки, пусть небольшой, почти обычной в семейных буднях, была даже не в том, брать столько-то вещей или меньше, а в раздражении, страхе неизвестности, что там ожидается дальше. Я, как ни крути, откалывался от родителей, и они стремились, наверняка подсознательно, сделать мою часть наследства... не наследства — как назвать? — побольше. Пустить дальше с запасом хотя бы самого нужного.

И утром, после плотного завтрака и трех рюмок водки «на дорожку», за час до автобуса, в самый последний момент, отец достал из шкатулки почти все, что там скопилось, протянул мне:

— Вот, Роман, три с половиной миллиончика. На устройство.

Я, конечно же (и уже как-то привычно), возмутился:

— Зачем столько?! Я же работать еду, не на курорт! Миллиона хватит за глаза. У вас тут у самих расходов...

— Держи, и давай без препирательств, — теряя спокойную интонацию, перебил отец. — Мы дома как-никак остаемся, а тебя неизвестно что ожидает. И будь там поосмотрительней. Работа работой, но в авантюры старайся не ввязываться.

— И с незнакомыми никуда не ходи, — добавила мама почти плачущим голосом. — Тут показывали — парень из Кемерова в машину к каким-то сел, они его усыпили, а очнулся в Чечне... — И, видя, что я все еще не решаюсь принять деньги, она фальшиво-испуганно затараторила: — Ой, выходить же пора! Автобус бы не пропустить. — Сунула мне в руки новенькие коричневые плавки с синей и белой полосками по бокам: — Вот я тут кармашек пришила с пуговкой, деньги сюда положи. Все надежней, а то ведь в поездах теперь чего только не бывает — жулик на жулике...

С деньгами и плавками я оказался в своей комнатухе. Бурча, что все это глупости и что столько мне совсем не нужно, переоделся, спрятал в кармашек три миллиона, а остальное сунул в джинсы. Родители ждали меня на кухне, держа в руках дорожные сумки.

— Подумай, ничего не забыл? — полувелела-полуспросила мама.

Я огляделся, подумал... А что я мог здесь забыть? Паспорт, билеты, Володькина визитка были при мне, бритва, зубная щетка, еда — в сумках... Что бы еще такое взять с собой? Какую-нибудь книжку из домашней библиотеки? Безделушку, знакомую с детства?.. Нет, ни к чему не потянулась рука. Не надо цепляться за старое, оно только мешает. И я мотнул головой:

— Ничего.

— Н-ну, — отец повернулся лицом к двери, — тогда пойдете.

Рядком на бетонной завалинке, подложив под зады газеты и дощечки, сидели старухи и старики, кто с потертыми сумочками из искусственной крокодильей кожи, кто с цветастыми пакетами, другие — с мешками и ведрами (эти, скорей всего, на базар торговать собрались). Поблизости, не спеша, убивая время, прохаживались более молодые. Пацаненок лет шести, в модной, будто надутый воздухом куртке, грыз, морщась, маленькое, явно в здешних краях выросшее яблоко.

На наше «здравствуйте» никто особо не отозвался, а некоторые и вовсе сделали вид, что не расслышали. Да и правду сказать, отношения у нашей семьи с местными далеко не теплые. Нет ни друзей, ни хороших знакомых; в гости приглашает некого и сходить — тем более... За глаза, знаю, нас называют «китайцами», наверное, из-за того, что целыми днями ковыряемся в огороде, выдумываем разные хитрости, чтоб побыстрее созрел урожай и было его побольше; несколько раз наезжали к нам люди из

энергонадзора, проверяли, нет ли в теплицах обогревателей, не находили (они у нас надежно замаскированы) и, подобрев, рассказывали, что их завалили жалобами — мол, сжираем мы немерено электричества...

Родители мои на пенсии, хотя по возрасту еще вроде как не подходят; дело в том, что та республика, где жили до переезда сюда, приравнена к району Крайнего Севера, и пенсия там у женщин с пятидесяти, а у мужчин с пятидесяти пяти, да и размер этих пенсий побольше, чем у многих здесь... В общем, поводов для неприязни хватает...

Среди молодежи у меня тоже друзей не нашлось. Сначала, в первое лето, приятели, кажется, появились, по вечерам я ходил в клуб на танцы, кино посмотреть, с девушкой одной стал встречаться, на вид довольно-таки симпатичной; но потом понял, какая разница между мной и деревенскими. Не знаю, кто лучше, кто хуже, но огромная разница. Совсем разные мысли, интересы, разговоры, даже набор слов... И постепенно я перестал с ними встречаться; приятели тоже потеряли ко мне интерес, девушка задружилась с другим, о клубе по вечерам я не вспоминал, а смотрел телевизор или перелистывал книги, которые до сих пор, как колонны, громоздятся в моей комнатухе... В городе я бывал редко, там тоже ни с кем особенно знакомства не свел. Хотел было попытаться поступить в Пединститут, но все тянул, а теперь, в двадцать пять лет, становиться абитуриентом показалось мне глупо... Так что никого и ничего не жалко оставлять здесь, разве что родителей. Хотя рано или поздно оторваться необходимо.

Почти по расписанию подкатил маловместительный «пазик», и сегодня не возникла у его дверей толкотня, не слышалось перебранок — день будний, пассажиров немного, места, кажется, достанутся всем.

Водитель проверял пенсионные удостоверения, принимал плату, выдавая взамен билетки. Мы стояли в стороне, чего-то ждали. Глядели на уменьшающуюся кучку людей у автобуса и молчали. И лишь когда уже и мне пришло время достать из кармана деньги и протянуть водителю, мама скороговоркой посыпала:

— Сообщи сразу же, как приедешь! Слышишь, Рома? В поезде ни с кем не выпивай, не играй в карты, ради бога! Будь осторожной. Слышишь?.. На станциях что попало не покупай, всякая зараза там может... Береги себя, сынок! Слышишь?..

Я машинально кивал, глядя то в землю, то на водителя, про себя торопил его поскорее сказать: «Ну, поехали, время!» И вот он, запустив всех, покручивая в руках рулончик билетов, объявил:

— Отъезжающие, заходим. Пора!

Я пошел к «пазику», мама продолжала напутствовать, борясь со слезами, отец, похрапывая, глубоко затягивался сигаретой и щурился...

5

Семьдесят пять часов. Семьдесят пять часов, и это только до перевалочного пункта, до Москвы. Три дня и три ночи. Меняется погода, пейзаж за окном, меняются соседи по тесному пеналу купешки... Делать нечего. Лежать на верхней полке, пытаюсь дремать или исподтишка разглядывая людей, быстро надоедает, и я жалею, что все-таки не взял из дому какую-нибудь интересную книгу, такую, чтоб затянула и трое суток пролетели незаметно, да еще чтоб дочитывать, мысленно умоляя поезд замедлить ход, оттянуть момент, когда надо будет покинуть вагон, окунуться в бурный, суетный мир... Но книги нет, приходится подышать со скуки. Да и какая настолько увлечет, что заслонит мои мечтания о скором будущем?..

Иногда по узкому проходу прошлепывают симпатичные девушки, и те несколько секунд, пока вижу их, одетых так, по-домашнему, таких близких, распаренных духотой вагона, отводят шершавые лапы скуки, зато колет тоска. Ведь я не отважусь ничего сказать им, тем более — познаком-

миться, я могу лишь тайком поглядывать на их гладкие, стройные ноги, на миловидные лица...

Ближе к вечеру, на вторые сутки пути, в Новосибирске, население нашего вагона сменилось почти что полностью. Вместо уже вроде обжившихся, примелькавшихся людей появились шумные, крепкотелые, закаленные путешественниками, с огромными в синюю и красную полоску баулами. Поругиваясь и тут же пересмеиваясь, они рассовывали ношу куда приходилось и, сняв обувь, без промедлений ложились на голые верхние полки или усаживались на нижние, облегченно отдуваясь. Воздух наполнился названиями городков и станций: «Чулымская... Барабинск... Куйбышев... Чаны... Татарск...» А в ответ текли ворчливые, брезгливые шепотки старожилов вагона: «Челночники... спекулянты... заполонили всё, как проходной двор, скажи...»

Мне, наверное, повезло: трое моих соседей в Новосибирске сошли, и на их месте появился только один челночник, точнее, челночница — немолодая, хотя еще привлекательная женщина, не такая крикливая и нахрапистая, как ее коллеги, — спокойно уложила баулы средней величины под нижнее сиденье, придала крышку задом, выложила на стол билет, не дожидаясь проводницы.

Еще двумя новыми попутчиками оказались пожилые мужчины, мясистые и помятые, в не новых, потасканных костюмах, зато со свежими, яркими галстуками, с портфелями. Наверняка командированные, какие-нибудь низшие начальники, которые не могут позволить себе прокатиться в купе...

— Н-ну-ф-ф, — протяжно и сложно выдохнул один, темноволосый, густобровый, устраивая раздутый портфель рядом с собой. — Наконец-то...

— Да-а, — тоже удовлетворенно произнес второй, поменьше, хилее, с двумя глубокими залысинами; и, тоже усевшись, проверив что-то во внутреннем кармане пиджака, полушепотом предложил: — Что, давайте?

Густобровый мотнул головой:

— Погоди. Тронемся, тогда уж...

Второй послушно отвалился к стене и прикрыл глаза, но через минуту встрепенулся, выразил несогласие:

— Нет, нельзя тянуть — остыну, с мысли собьюсь. Давайте, Юрий Сергеич!

— Можно и так пообсуждать.

— Да как так-то? Там, на перроне, там нервы были: придет — не придет, влезем — нет, а теперь...

— Успокоились? — хохотнул густобровый.

— Н-так, новый стимул нужен. Допинг, так сказать.

— Вот-вот, в том-то и дело, что на все нам допинг...

Поезд дернулся, чуть катнулся вперед.

— Уже поехали? — Лысоватый с надеждой потянулся к окну.

— Да не, локомотив подогнали. Или какие-нибудь прицепные вагоны. — Не спеша, посапывая, густобровый стал снимать галстук. — Этот здесь с полчаса стоит.

Я посмотрел со своей верхней полки в сторону выхода. Свободно, все, кому надо, видимо, влезли, отыскивали свободное место.

Что ж, выйти, поразмять кости, выкурить сигаретку? Новосибирским воздухом подышать... С Новосибирском у меня кое-что связано — он мог стать мне очень близким городом, но не сложилось.

Дело в том, что после окончания школы, подумывая, куда пойти дальше учиться, я узнал: оказывается, в нашем Пединституте принимают экзамены и в Новосибирский университет. Были раньше такие наборы — из национальных республик посылали целые группы учиться в престижные вузы. И экзамены льготные — прямо по месту жительства, принимают их тоже местные преподаватели... Я хоть и не представитель коренной национальности, все же был допущен. Тогда, в восемьдесят девятом, националь-

ность еще не была главным, главным было место рождения и проживания. Это потом русских, то есть всех «некоренных», стали заменять «коренными». От продавцов в государственных магазинах до директоров заводов...

С детства я увлекался географией и историей. Сперва перевес был на стороне географии, но поехать по миру мне не удавалось, а узнавать про дальние края из книг и телевизора, изучать атлас мира вскоре показалось мне пустым занятием, самообманом. И тогда я переключил свой интерес на историю. Собирал книги, хроники, составлял карты крестовых походов и завоеваний Кортеса, знал подробности Семилетней войны и Медного бунта; из разрозненных источников пытался выстроить подробный ход Ледяного похода и новороссийской катастрофы 1920 года... (А какие доступные источники, кроме «Тихого Дона» и «Хождения по мукам», мог иметь обычный советский подросток в то время?..)

Родители, конечно, поддержали мое желание поступить в университет, на исторический факультет, и я, почти не обращая внимания на недоумение Володьки по поводу того, что я предаю нашу с ним мечту о Питере, подал документы... За первый экзамен — история СССР — я получил пять, а за следующий — сочинение — 4/2. На два оценили грамотность... Узнав о провале, я почему-то совсем не расстроился, не подумал, что теперь-то наверняка попаду в армию, а первым делом позвонил Володьке и радостно сообщил: «За сочинение — пара. Еду с тобой!»

Потом, слушая в строительном училище лекции о технологии замеса бетона, несущих стенах, декороблицовке и тем более на первом году службы, я, конечно, жалел, что так небрежно написал то сочинение, что не использовал шанс... Новосибир, универ, Академгородок — там, наверное, так интересно, и ребята — не эти будущие маляры и штукатуры, не горластые кретины с погонями на плечах; я бы мог стать ученым, специалистом по истории, например, Хакасского каганата, державы монголо-татар. А вот вместо этого учусь класть кирпичи, марширую по три часа подряд, «тяну ножку», выворачиваю шею по команде «р-равняйсь!». Да, ведь мог бы вместо этого...

Но постепенно о несбывшемся подзабылось, досада слегка притупилась. После армии грянул переезд, наступила деревенская жизнь; связи книг по истории лежали нераспечатанными вот уже без малого пять лет, и лишь изредка, когда взгляд попадал на какой-нибудь корешок с надписью «История Средних веков. Том 2» или «Очерки истории государственных учреждений дореволюционной России», в груди что-то сжималось и кололо и мерещился никогда не виденный университет, слышался никогда не слышанный голос профессора... Но только что толку — слов не разобрать, здание университета расплывчато и бесцветно, а сорняки на грядках близки и реальны, и я бежал в огород, зло ухмыляясь, матеря побередившие душу книжонки.

И вот он, Новосибирск, — за стеной вагона...

— Вы куда, молодой человек? — удивилась проводница, преграждая мне путь в тамбур.

— Покурить.

— Хм, проснулись! Через две минуты отправление... Почти час стояли, нет, надо обязательно в последний момент...

— Ясно. — Я пошел обратно.

Поезд тронулся, и мои соседи незамедлительно расстелили на столе газету, достали из портфелей пакетики с беляшами, копчеными окорочками, выставили поллитровку «Земской», четыре бутылки пива «Сибирская корона», пластмассовые стаканчики.

Густобровый набулькал в стаканчики водки, сладостно выдохнул:

— Ну, поехали! Давай, Борис Михайлович!

— Можно? — усмехнулся тот, мягко чокнулся с попутчиком.

Выпили, глотнули вдогон водке пивка, взялись за беяши.

— Так чем же ты мне возражать-то хотел? — пожевав, спросил густобровый. — Чем тебе моя позиция не глянется?

Лысоватый, будто услышав команду, утер платком жирные губы, торопясь, воспламеняясь волнением, начал:

— Вот смотрите, Юрий Сергеич, вы, как я понял, за либерализм этот, за...

— Но — с оговорками! — тут же перебил его густобровый. — С оговорками!

— Угу, с оговорками, но все-таки... А ведь это же сказка — либерализм ваш. Для Швейцарии какой-нибудь он, может, хорош. Швейцарию, ее пальцем закрыть — и нету. А у нас по-серьезному... У нас — только державность! Можно даже сказать — тирания. Ведь мы, Юрий Сергеич, имперское государство!..

Я лежал на полке, глядел то в доступную мне щель окна, на широкие, светлые улицы Новосибирска, то вниз, на разговаривающих мужиков, то на забывшуюся в угол челночницу, которая читала увлеченно книжку Синди Гамильтон «Проблеск надежды»...

Слушать соседей не было никакой охоты, их разговор точь-в-точь подходил на споры, что возникали почти каждый раз, когда я ехал в автобусе в город или из города... Интересно, кто они? В костюмах, купленных лет тридцать назад, при галстуках, лица и фигуры работяг. Язык начитанных плебеев. Раньше, по книгам, по фильмам, я видел такими прорабов, каких-нибудь начальников участков, снабженцев или экспедиторов. А теперь, в девяносто седьмом году?.. Неужели остались такие должности и такие люди, просто о них не пишут больше книг, не снимают фильмов? А они, оказывается, сохранились, они ездят в свои командировки, совещаются в каком-нибудь главке, пытаются выполнять план, получают выговоры или поощрения, а на досуге ведут «умные» разговоры, размышляют, какой тип правителя для нашей страны предпочтительней.

Густобровый сошел в Барабинске, лысоватый — через полтора часа, вместе с челночницей, на которую они в пылу спора так и не обратили внимания, в Чанах. Появились новые пассажиры, с новыми сумками, книгами и журналами, новыми проблемами, разговорами, а я все ехал, изнывая от скуки на своей верхней полке. По полчаса готовился спуститься и поесть; изредка выходил в тамбур курить. От безделья ныли привыкшие к работе мышцы, спать почти не получалось.

И все же конец трехсуточному заточению приближался. Чаше стали мелькать по сторонам дороги городки и села, ухоженной стала природа. Я уже с интересом глядел в окно и читал названия станций: Нея, Мантурово, Галич, Буй... На десять минут мы остановились в Ярославле. Здесь уже по-настоящему цивилизованный перрон: не надо сползать по крутым ступенькам из вагона — высота платформы на уровне двери.

Я вышел, подрыгал затекшими ногами, через силу выкурил десятую за утро сигарету. Спросил у проводницы, когда будем в Москве.

— На двери купе проводников расписание, — сердито буркнула она, но тут же отчего-то подобрела, ответила вглядь: — Через пять часов приедем, бог даст.

— Спасибо.

Подсчитал, сколько придется ждать поезд на Питер. Он отправляется в двадцать один пятьдесят. Значит, шесть с лишним часов... Где провести это время? Не было бы сумок, прогулялся бы по столице — никогда не видел ее, кроме площади трех вокзалов и станции метро «Комсомольская». (Возвращаясь из армии, как раз через Москву, сидел в метро на скамейке, боясь вокзальных залов ожидания.) Но ведь есть камеры хранения, в прошлые времена, помнится, бросил в щель пятнадцать копеек — и гуляй без

проблем налегке хоть двое суток. А сейчас, интересно, какие монетки надо бросать?..

— Заходим, заходим в вагон! — вдруг встревоженной наседкой стала сзывать нас проводница. — Стоянка сокращена!

И снова бег поезда, захлебывающийся перестук колес, мелькание станций, толпы людей на платформах в ожидании электрички.

В вагоне оживление. Сдают белье, роются в сумках, переодеваются в уличную одежду. Я тоже сдал простыни, выбросил банку с остатками прокишей вареной картошки, жирные пакетики из-под сала, курятины; переоделся в туалете, побрился. Постоял в тамбуре, выискивая взглядом столбики с указателями, сколько еще осталось до Москвы километров. «48», через минуту — «47», «46»... Четыре с лишним тысячи километров позади, и вот — сушая ерунда.

— Подъезжаем? — бодро, будто товарищ по интересному, но опасному приключению, что вот благополучно заканчивается, спросил вошедший в тамбур сухошавый мужичок с пачкой «Явы» в руке.

— Да, кажется, — кивнул я и тут же уточнил: — Но мне еще до Питера.

— У-у, я тоже дальше, в Днепропетровск. Решил родителей пови-
дать. — Он закурил. — Два года не выбирался, не получалось.

Я снова кивнул, а мужичок, видимо приняв мое кивание за готовность поговорить, продолжил:

— Тут всё грозятся визовой режим вводить, загранпаспорта... Какие загранпаспорта с Донбассом? Я там до двадцати семи лет прожил, потом на Север рванул, бурильщик я... Вот пенсия скоро, думаю, чего делать. То ли к родителям возвращаться, дом там родовой наш, то ли уж в Юганске... А ты чего в Ле... — он кашлянул и поправился: — в Питер-то? На учебу?

— Нет, работать.

— У-у... Петербург, говорят, город красивый... не довелось, жалко, по-
бывать...

— Еще побываете, — улыбнулся я и сам почувствовал, что улыбка по-
лучилась снисходительно-ободряющей.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

1

— Почему заранее не сообщил?

Мы ехали в Володькином сто двадцать четвертом «мерседесе»-купе (как он мне сразу же представил машину); на заднем сиденье равноправными пассажирами — сумки с моим добром, за широкими черноватыми стеклами машины плавно сменялись строгие, одноцветные здания Большого проспекта.

— А если б меня вообще не было в городе?

— Да-а, — я виновато пожал плечами, — звонил пару раз, не дозво-
нился.

— Мог бы на имейл послать, — подсказал Володька. — На визитке есть.

— Что?.. — не понял я. — На что послать?

— Понятно. Ладно, все в порядке.

В Питер я приехал в шесть тридцать утра и сразу как загипнотизиро-
ванный, не чувствуя тяжести сумок, не заботясь о том, что надо найти Во-
лодьку, побрел по Невскому... Вот станция метро «Площадь восстания» —
знаменитый «Барабан», здесь я первый раз в жизни назначил свидание де-
вушке, а она, классически, не пришла; вот кинотеатр «Художественный»,
куда мы с Володькой пробрались без билетов на премьеру «Интердевоч-
ки»; вот некогда любимое неформалами кафе, которое наконец-то обрело
свое народное название «Сайгон», но зато превратилось в музыкальный
магазинчик...

Очнулся я лишь в районе метро «Чкаловская» и стал звонить Володьке. Было около десяти утра, но нашел я его уже на работе.

Судя по голосу, он не удивился, просто спросил, где я, и через полчаса подъехал. Теперь мы гнали на его приземистом, на вид полуспортивном «мерседесе»-купе. Я поинтересовался, делаю голос шутливым и приподнятым:

— Куда путь держим?

Володька ответил сухо:

— Ко мне.

Проскочили по какому-то мосту.

— Это мы теперь на Васильевском, что ли? — Я высунул голову из окошка.

— Ну да, на нем...

Мало обращая внимания на холодность Володьки, я ликовал. Ведь я снова оказался на моем любимом Васильевском острове!

Здесь, в октябре восемьдесят девятого, устав от общажной житухи, притеснений туркменов-пэтэушников, мы с однокурсником (жалко, как звали, забыл) сняли комнату у старушки. Всего-навсего за пятьдесят рублей за двоих. Прожили там полтора месяца, а потом были выгнаны за то, что к нам в окно, на второй этаж, забрался Володька — ему негде было тогда переночевать (вход в общежитие наглухо закрывали в десять вечера, а он опоздал). Старуха засекала, как залазит Володька, и с готовностью закатила скандал; однокурсник ей что-то грубо ответил, и мы вернулись в общагу...

За те полтора месяца я почти не появлялся на занятиях, а гулял по городу. Денег было, мягко говоря, не густо, и гулять приходилось пешком, чаще всего вблизи дома, то есть — по Васильевскому.

Я изучил все проспекты и линии, берега речки Смоленки, бродил по заболоченному кладбищу, добирался до Галерной гавани и Морского порта, до Северного побережья, где, казалось, прямо со дна залива поднимаются многоэтажные новостройки. А вечером, устало лежа в маленькой, зато с высоченным потолком комнате, представлял себя петербургским студентом девятнадцатого столетия.

— Ты на Ваське, что ли, живешь? — спросил я, ерзая на сиденье, пытаясь разглядеть, узнать каждый дом.

— Да, на Морской набережной. Уже скоро. Но надо сначала в магазин завернуть — холодильник пустой. Ты-то, наверно, проголодался. — Впервые за время поездки в голосе Володьки появилось участие.

— Ну, так... — Я почему-то почувствовал неловкость, тем более что после похода от вокзала до «Чкаловской» аппетит действительно нагулял не слабый. — Кстати, Володь, как того парня звали, не помнишь? С которым я комнату здесь снимал?

— Дрон... Андрюха. А что?

— Вспомнился просто.

— Он здесь, если тебе интересно, тоже дела крутит приличные. Можно ему позвонить.

— Давай! — обрадовался я и стал высматривать таксофон.

Что-то запикало. Я повернулся на звук. Володька уже держал мобильный телефон возле уха.

— Алло! Дрон? Здорово! — сыпанул восклицаниями. — Как жизнь?.. У, ясно. Знаешь, кто рядом со мной сидит? Ну, угадай... Твой сожитель, ха-ха! Да какой... Ромку помнишь, вместе с которым снимал комнатенку, еще когда в путяге учились? Ну вот приехал, к себе везу... Подбегжай, будет время... Ага... Мне надо еще по делам смотаться, а вы можете посидеть... Ладно, приезжай, как освободишься. Давай!

Тормознули возле магазина с огромной, даже сейчас, днем, ослепительно сверкающей сотнями лампочек надписью «Континент».

— Выпрыгивай, — велел Володька. — Надо пропитанием слегка за-
тариться.

Эта «затарка» подарила мне первое знакомство с супермаркетом.

Вообще-то по зарубежным фильмам и нашим убогим подобиям под названием «универсам» я имел представление, что это такое, но реальное столкновение, честно сказать, ошеломило. Я растерялся. А для Володьки это, похоже, самое обычное место. Катит решетчатую тележку, уверенно наполняет ее чем-то с полок, из открытых стеклянных прилавков-холодильников. Вот обернулся, громко, пугающе громко позвал:

— Роман!

Я дернулся, трусцой побежал к нему, как к защите.

— Что есть будешь?

— Да я как-то... — по своему обыкновению замямлил я, и вдруг появилась смелость, даже наглость, отчаянная и безрассудная: — Самое лучшее! — На глаза попались копченые куры. — Курицу можно, сыра там... А это вкусно? — Я кивнул головой на пакетики с замороженными овощами.

— Смотря кому, — усмехнулся Володька, выбрал один пакетик. — Вот ничего. Мексиканская смесь. Брать?

— Конечно!

— Оливки? Они для этого самого, — он покачал согнутой в локте рукой вверх-вниз, — очень полезны.

— Давай, хе-хе, конечно, — похохатывая, закивал я.

— Что хочешь пить?

— Н-ну, я водку предпочитаю.

Володька посерьезнел, замер, точно бы размышляя, но тут же махнул рукой:

— Ладно, ради праздника можно... — положил в тележку литровую бутылку «Абсолюта» с синими буквами на прозрачной этикетке.

«Как в рекламе!» — пришло мне подходящее сравнение, и от этого спина как-то сама собой распрямилась, мускулы окрепли, я весь наполнился силой и достоинством.

— Долго еще? — спросил я, когда мы снова оказались в машине.

— Три минуты.

— У, радует.

Питер, проспекты, сказочный «Континент», мягкий бег «мерседеса» теперь в один миг поблекли и отошли на второй план. Ведь я вспомнил, что пять лет — целых пять лет! — не был в нормальной квартире. Пять лет не принимал душ, не сидел на унитазах, не катался в лифте...

И снова, как тогда, после предложения Володьки, выполнял привычную работу, я почувствовал, что я на грани того, чтоб не выдержать. Ведь пять лет, может, лучшие в жизни пять лет, я провел в полускотских условиях, я просто превратил их в навоз для удобрения неизвестно чего. Добровольно выкинул драгоценные годы из своей жизни. А вокруг-то... Вокруг!.. Я впивался глазами в идущих по тротуару людей, стараясь стать похожим на них, я ласкал стены домов, полукруглые окна, за которыми уютные, цивилизованные, удобные для жизни квартиры; я косился завистливо на Володьку, следил, как он с уверенной небрежностью переключает скорости, как легко покручивает чуть влево, чуть вправо руль, а красивая машина покорно исполняет его безмолвные команды... Наш семейный проржавевший «Москвич» показался мне тогда пределом уродства...

Нет, не надо ни о чем вспоминать! Чистый лист... с чистого листа... Но, как назло, замелькали картинки из прошлого... Я стою на праздничной линейке во дворе школы первого сентября. Маленький, растерянный, в слегка великоватом синем костюмчике-форме, с новеньким и еще пустым ранцем за плечами, с букетом гладиолусов в потной от волнения ручонке. Первый раз в первый класс... Что-то говорит высокий незнакомый

мне дяденька (потом я узнаю, что это директор, строгий и правильный до жестокости), его сменяет тетенька с добрым голосом (она замучает меня своим немецким), затем из громкоговорителя льется такая светлая песенка «Вместе весело шагать по просторам!..». Слева и справа от меня, сзади стоят незнакомые ровесники, и я рад, что мы пока ничего не знаем друг о друге, а три уже знакомые девочки (они были со мной в одной группе в детском саду) портят настроение, кажутся мне лишними и опасными, ведь они знают меня прежнего, детсадовского, дошкольного... После этой мелькнула другая картинка — как мы прилипли с Володькой к круглому окну самолета, бегущего по посадочной полосе... Мы — новые, никому здесь пока не знакомые, и будущее теперь зависит только от нас, от того, как мы поставим себя. И, конечно, нет и мысли о том, что через неделю нас будут бить туркмены из ПТУ, что жизнь в этом прекрасном городе окажется далеко не праздником... А вот меня уже гонят со станции к воротам воинской части. Вокруг топочут десятка три таких же, как я. Одни лысые, другие пока с волосами, но скоро мы сравняемся полностью — от причесок «под ноль» до обуви и трусов. Лейтенант время от времени колет наши уши командами: «Подтянись!.. В ногу!.. Шир-ре шаг!..» По бокам колонны, как конвоиры, шагают сержанты, высокие, здоровые парни, и совсем не верится, да и просто в голову не приходит, что они-то всего-навсего на год-полтора старше нас. Нет, меня и вот этого, в заломленной на затылок шапке с гнutoй кокардой, в красиво сидящей на нем шинели, разделяет целая жизнь. Я маленький, перепуганный, новый, никому не известный, а он... И надо сделать все возможное, чтоб показать, что я тоже чего-то стою, тоже могу стать таким, а иначе здесь, кажется, и нельзя... Вот мы с родителями переносим вещи из пульмана в избушку. Старые, хорошо знакомые вещи, среди которых я жил с раннего детства. Но здесь, в новой обстановке, они выглядят нелепо и пугающе. Кресло, овальный обеденный стол, сервант, телевизор, связки книг... Подходят соседи знакомиться, появляются парни и предлагают мне перекурить, начинают расспрашивать, откуда мы, надолго ль приехали, чем занимаемся. Вот прошла по улице симпатичная девушка, с интересом на меня посмотрела — ведь я новый, я никому пока здесь не известный. Опять с чистого листа, и все сейчас в моих, только в моих руках...

Но почему я нигде не становился сильным, уважаемым, нигде не попал в общий круг, а болтался где-то на отшибе? В школе, в училище, в армии, в деревне... Теперь вот судьба дает мне еще один шанс. Я сижу в «мерседесе», я в новом месте, у меня впереди новая жизнь. Да, я опять новый, меня здесь никто не знает, кроме Володьки и совсем немного Андрияхи. И лишь от меня зависит, каким я стану, как себя здесь поставлю. Стану своим или опять окажусь на отшибе... Как сделать, чтоб оказаться своим вместе с ними, с теми ребятами, которые поняли, как надо правильно жить? Одному, кажется, я уже научился — нельзя робеть, мямлить, не знать. Да, к черту, к черту эти пожимания плечами, идиотские хохотки, раздумчивые «н-ну»!

Темно-серый семнадцатизэтажный дом подъездов, наверное, в двадцать. Не меньше. Такие громады должны строить на какой-то черте — на границе микрорайона, округа, а то и вовсе целого города. Дальше, за этим домом, просто обязано быть что-то другое: лес до горизонта, пустырь, за которым новый микрорайон, еще что-нибудь в этом роде. Новые лабиринты домов по крайней мере представить себе невозможно.

Володька остановил машину, заглушил почти бесшумно работавший мотор.

— Вот-с, приехали.

— Ты в этом доме живешь? — почему-то не поверил я.

— Ну. А чего?

— Да нет, так... Мощное сооружение.

— Еще бы! Забор от ветра.

Я нагрузился своими сумками, Володька — пакетами из «Континента». Небрежно хлопнул дверцами, направился к подъезду. «Замкнуть забыл, что ли?» — подумал я, хотел было уже напомнить, но, дойдя до ступенек крыльца, Володька как-то привычно, почти инстинктивно приостановился, нажал кнопку на брелке с ключами. «Мерседес» послушно отозвался всплеском, моргнул фарами. Я догадался, что это он включил сигнализацию...

В первый момент меня поразило: как в огромнейшем доме, почти вавилонской башне, могут быть такие квартирki? Тесный пяточок прихожей, кухонька, где двоим уже тесно, сидячая ванна. И комнаты напоминают клеточки. Но зато их три. И та, что в народе называется «зала», все-таки более-менее. Плюс к тому застекленная лоджия. Как ни крути — с избенкой сравнения нет... И уж что стопроцентно испугало другие недостатки Володькиной квартиры, так это вид из окна, с двенадцатого этажа. Вид на залив.

Я замер, влип глазами в густую синь шевелящейся воды, медленно пополз взглядом дальше, к пепельному туману, в котором то ли различается, то ли просто угадывается кромка суши... И как по заказу оттуда вдруг появился белый треугольничек паруса; зыбкий, такой ненадежный, он упорно двигался сюда, становился больше, реальнее, он догонял волны, подминал их под себя. Захотелось во весь голос, с выражением читать: «А он, мятежный, просит бури...»

— Потом посозерцаешь, — вернул меня на землю хозяин квартиры. — Давай покажу, что к чему, а то ехать надо.

— Куда? — Мне почему-то стало тревожно.

— Хм. Я все-таки работаю. Не вольная птица.

— А, да-да...

Володька объяснил, как включать плиту на кухне, как телевизор, видеоманитофон; рассказывая, он принимался и все ярче морщился, наконец не выдержал:

— Носки есть другие?

— Да, конечно.

— Смени, а эти вон в пакет заверни и выкинь в ведро под мойкой. И душ прими.

— Конечно, конечно... — торопливо кивнул я и перевел разговор на более интересное: — И за сколько, если не секрет, ты ее купил?

— Кого?

— Ну, квартиру.

— Пока только снимаю. Может, куплю. Хозяева, в принципе, готовы продать...

Не удержавшись, я перебил:

— Вид потрясающий из окна!..

— Вид — не самое главное. Зато сквозняки — никакой утеплитель не помогает. Ветры жуткие. — Володька посмотрел на часы, дернул головой досадливо: — Ни фиги ж себе! Все, я поехал. Дрону открой, он должен заскочить вот-вот. Обрадовался тебе... Я буду часам к десяти, потом, может, куда-нибудь в клуб рванем.

— В ночной клуб? Хорошо бы... давно мечтал...

— Еще — ха-ха! — надоест. Ну все, пока!

Володька быстро вышел за дверь, щелкнул замком-собачкой. Я слышал стук его башмаков по плитке пола, потом заскрипели дверцы лифта, разъезжаясь, а через несколько секунд хлопнули, сомкнувшись... Убедившись, что Володька уехал, я гикнул, подпрыгнул, ликуя, что остался один в квартире, что могу, в принципе, делать что захочу. Могу включить видик

и посмотреть какой-нибудь эротический фильм (у Володьки наверняка среди сотни кассет в шкафу есть нечто такое, а я никогда не видел настоящей эротики), могу петь, орать, развалиться на мягкой тахте. Могу сколько угодно плескаться в ванне...

Да, надо срочно помыться, тем более что Андрюха вскоре обещал приехать... Я стал раздеваться, вспоминая забытые ощущения, когда лежишь в теплой воде, играешь пеной. Хм, это тебе не тазик с теплой водой в тесной, пропахшей дымом баньке.

В квартире оказалось очень мало вещей, мебель только самая необходимая: в «зале» тахта, два кресла и между ними стеклянный столик с несколькими журналами «XXL» и «7 дней», узкий чернostenный шкаф с телевизором и видеоманитофоном внутри, множеством кассет и несколькими книжками вроде Дина Кунца и Стивена Кинга... В другой комнате, скорее всего кабинете, — письменный, тоже черный, стол, на нем компьютер, какие-то бумаги и папки, календарь, бокал для ручек. Рядом со столом вращающееся кресло, у стены шкаф с пустыми стеклянными полками; рядом со шкафом узкий диванчик... Третья комната была превращена в спортзал. «Шведская стенка», два тренажера, гантели разной тяжести, подобие велосипеда, но без колес. Я сел на него, с трудом провернул педали несколько раз и слез, почувствовав ломоту в икрах.

Изучив комнаты, прошел на кухню, тоже хоть и маленькую, зато без ненужного барахла. Нашел в шкафчике рюмку, оторвал у курицы ножки, порезал хлеб, насыпал оливок на блюдечко... Что ж, Андрюха что-то не торопится увидеть своего соседа по романтической комнатенке, а выпить надо, отметить приезд хоть в одиночку, да и под рюмочку время скорей побежит, скорей вечер наступит, и там уж наверняка будет настоящий праздник, ночной клуб, еще что-нибудь...

Расставил закуску на журнальном столике, открыл «Абсолют», без промедлений выпил рюмку почти безвкусной, совсем не противной, но и без той жгучей сладковатости, что всегда присутствует в «Русской», «Столичной», и потому какой-то ненастоящей водки. Выдохнул для порядка, закурил курицей, еще раз оглядел чистую, светлую комнату. Да, хорошо... Стал изучать дистанционку.

Включить телевизор и видик удалось без особых проблем, но зато с каналами я что-то напутал, фильм «Шоу-гёрлз», который я всунул в щель магнитофона, на экране не появлялся, хотя кассета крутилась... В итоге я разозлился и, попивая безвкусный «Абсолют», стал смотреть клипы по MTV...

Неудача с видеиком, честно сказать, очень расстроила, тем более что это была первая неудача в моей новой жизни.

2

А утром Володька мне выговаривал:

— Это не дело, теперь так не принято. Я понимаю, хотелось отметить, расслабиться, только до такого скотства зачем... Нажрался, ванну всю заблевал, Дрон полчаса трезвонил, фигел — музыка играет, а никого, что ли, нет... И ему вечер испортил, и мне... Нет, Роман, завязывать надо с этим, здесь не твоя деревня. Здесь по-другому... У меня лично жизнь по минутам расписана, и за тобой бухим ухаживать я не собираюсь. Сегодня давай отлеживайся, а завтра начнешь работать... Надо ж, почти литровку водяры за каких-то пару часов выглушил!.. Нет, я серьезно говорю: это первый и последний раз...

Я лежал ничком на диване в Володькином кабинете и сдерживался, чтоб не послать его куда подальше. Каждое его слово вбивалось в мозги раскаленным гвоздем, хотелось сдавить голову и завывать. И Володька, кажется, почувствовал это, смягчился, почему-то полушепотом предложил:

— Похмелись. Граммов семьдесят — само то.

Перед глазами как наяву возникла рюмка водки, я явно почувствовал запах «Абсолюта», и запах был теперь острый, терпкий, тошнотворнейший. Я сморщился, передернулся, но видение не растворялось — вот уже потекло по глотке теплое, смолянистое, вот добралось до желудка, там заурчало, и остатки курицы, хлеба, оливок бросились прочь... Я вскочил, застонал от боли в висках, побежал к туалету...

Володька уехал, и я почувствовал себя лучше в тишине и одиночестве. Завернулся в одеяло, подремывал, старался ни о чем пока что не думать. Очухаюсь, тогда извинюсь, все остальное...

Как я умудрился так быстро и сильно напиться? Ведь вроде спокойно сидел, смотрел телевизор. Ел копченую курицу и изредка наполнял рюмашку. Глотал, как мне казалось, малоградусный «Абсолют», даже подозревал, что нам продали поддельную водку, и почти разочаровался в чудосупермаркете «Континент». А оказалось... Фу, какая же гадость! Снова увиделась рюмка, по глотке прокатилось теплое и смолянистое; я снова вскочил...

Все дело в том, что просто давно не пил. Только с родителями, изредка, по вечерам. Рюмки три, чтобы усталость снять, немного отвлечься от постоянных забот, а тут — дорвался... Бутылка дорогой водки, копченая курица, оливки, которые, правда, я почти не мог есть — горьковато-соленые какие-то, зато красивые и престижные... Ох, какой же я скотиной, наверное, выглядел, когда вернулся с работы Володька.

Только к пяти часам вечера я более-менее пришел в себя, умылся, освободил раковину от грязных тарелок своей вчерашней пирушки. Хотел было включить телевизор, но побоялся. Вдруг что не так сделаю... Вышел на лоджию, с трудом выкурил полсигареты. Смотрел вдаль, на такую же, как и вчера, дымку на горизонте, там, где соединяются вода и небо, и снова гадал: действительно видна полоска суши или это обман... Н-да, отличный пейзаж, чтоб любоваться им после тяжелого, но продуктивного трудового дня, топить усталость в этой водной огромности и из нее же набираться новых сил или с любимой девушкой стоять здесь в обнимку, от земного отрываться, парить над волнами... Скорей бы завтра и начать действовать, выполнять задания, стать полезным, забыть о своем сегодняшнем состоянии.

Около девяти я съел остатки курицы, выпил стакан яблочного сока и лег на диван, укрылся с головой одеялом. Придет Володька — притворюсь спящим. Сплю — и дело с концом, никаких разговоров, а утром начать сначала. Взяться за ум. Хорошо, отпраздновал.

Склад находился в Никольском дворе, уменьшенном подобии знаменитой Гостинки, на берегу канала Грибоедова.

Возле стальной, покрашенной черной эмалью двери горделивая, яркая вывеска «Торговый дом „Премьер”. Оптовая продажа обуви». Прямо, какходишь, — многометровое полутемное помещение с высоким пыльным потолком. Как колонны, как еще одни стены — большие коробки с обувью. Кое-где россыпь мелких, с фирменными знаками коробочек, в которых по паре туфель, ботинок или сапог. Тоже, как в квартире Володьки, порядок, лишь в дальнем углу явно ненужное — горка мятых, полинялых джинсов, рваная кожаная куртка, электрическая пишущая машинка с раскуроченной клавиатурой, целлофановые мешки с газетами и журналами и просто обрывки бумаги, картона, шарики слипшегося скотча. К стене прибита металлическая дуга, а на ней висят завернутые в целлофан штук семь дубленок.

— Остатки прежних метаний. — Володька ковырнул джинсы мыском туфли. — Не сразу ведь к обуви пришел, много чего перепробовал. То сумки, то вот джинсы, то мясо, то лес... В итоге на обуви остановился.

Обувь — самое оптимальное. Спрос стабильный. Штаны при желании можно лет пять носить, а обувь чаще менять приходится. Когда трещина в подошве — попробуй нормально ходить... А женщины так вообще золотая жила.

Я в ответ понимающе усмехнулся.

— Ладно... — Он еще раз ковырнул ногой джинсы, точно бы проверяя, совсем они истрепали или можно с ними что-нибудь сделать, и повернулся к ним спиной. — Ладно, пошли в офис. Сейчас звонить будут.

Сумрачное помещение склада связано узким коридорчиком с уютной, чистой комнатой. Стены обиты белыми пластиковыми рейками, в потолок шесть маленьких, зато очень ярких лампочек. Слева от входа стоит решетчатая пятирусная полочка с образцами обуви. В комнате три стола. Два больших, на них компьютеры, бумаги, разные канцпринадлежности, а на третьем — чайник, посуда. Стулья, вращающиеся кресла. В общем, действительно офис как на картинке.

Володька по-хозяйски уверенно уселся, бросил на стол свою кожаную пузатую сумочку. Глянул на меня:

— Чего стоишь в пороге? Располагайся.

— Уху... — Я тоже сел, осторожно подвигал кресло влево-вправо, поозирался, привыкая к обстановке, заметил пепельницу, правда, слишком чистую, без окурков и пепла, будто находящуюся здесь лишь для порядка; осторожно спросил: — Закурить можно?

— Не стоит. Лучше на улицу выйди, вон, — Володька указал на неприметную, обитую такими же, как и стены, рейками дверь, — есть выход во двор. Но вообще-то, — голос его стал доверительным и серьезным, — советую бросить. Зачем травиться? И так жрем всякую гадость, дышим дерьмом, так еще и это... Извини, Роман, но ты через пять-семь лет разваливаться начнешь. Видно же, никакого у тебя здоровья нет, а жизнь начинается только. Скоро, — он неожиданно улыбнулся, прямо озарился улыбкой, потянулся так, что кресло заскрипело, — скоро такие дела крутить начнем. Заживем по-настоящему... Так что готовься, еще не поздно человеком стать. Курить бросай, делай зарядку...

Я хохотнул. Володька, как мудрый старец, укоризненно покачал головой:

— Дурак ты, дохмыкаешься. Когда будешь от всяких остеохондрозов корчиться, вспомнишь мои слова.

Его учительский тон стал меня раздражать. Что, если позвал к себе, так можно, что ли, лить в уши все подряд и я обязан кивать и улыбаться?

— Я в деревне, Володь, кстати, не на печке валялся. Вот несколько дней ничего не делал — и знаешь как мышцы ломит! — Для подтверждения я помассировал правой рукой тонкий бицепс левой; ломота, конечно, была, но не такая, чтоб о ней стоило говорить.

Володька то ли понял, что переборщил с нравоучениями, то ли решил не тратить на пустой спор время, закончил разговор шуткой:

— Сейчас фура придет, четыреста пятьдесят коробок. Так что — покачаешься.

Я опять хохотнул. На этот раз мягче:

— Спасибо!

— Да не за что, не за что... — Он поднял трубку телефона, стал нажимать кнопочки.

Потом долго беседовал с каким-то Сэром. Объяснял, что вот-вот придет машина с товаром и вряд ли весь он уместится на складе, поэтому Сэр, как было условлено, должен приехать и забрать свою часть. Сэр же вроде как отвечал, что у него сейчас нет транспорта.

— Ну какие проблемы? — найми. Мы же заранее договаривались именно на этот день, на это время! — теряя терпение, почти кричал Володька. — Мой «рафик» тоже сейчас черт знает где. В Тверь товар повез, вернется не раньше вечера... Что мне, на крыльце оставлять коробки?!

Сошлись пока на том, что Сэр перезвонит через полчаса.

— Вот видишь, — отвалившись на спинку кресла, выдохнул устало Володька, — любая мелочь катастрофой стать может. Ведь все заранее обговорили, а теперь оказалось — машины нет. Да выйди на улицу, тормозни любую «газель», предложи сто тысяч несчастных...

Я кивал сочувствующе, а в душе изумлялся, как сильно не вяжется должность Володьки на визитке «президент Торгового дома» и то, что, оказывается, на самом деле. Кустарность какая-то...

— Ладно, пока вот чего надо сделать... — Володька вскочил. — Пошли!

На складе он долго изучал ярлыки на коробках, что-то определял, высчитывал, беззвучно шевеля губами; я, как хвост, следовал позади и наконец получил задание:

— Эти восемь рядов, короче говоря, надо переставить сюда. И в высоту сколько сможешь. Стул возьми. Надо место освободить... Так... А эти коробки — сюда, в проход. Все равно те задние пока не понадобятся. Только не перемешай. Тут на боку, видишь, коды. Надо, чтоб они все были в ряду одинаковы, а то потом сдам не ту модель — снова проблемы... Ну понял?

— Да вроде. — Я кивнул. — Приступать?

— Естественно... Куртку сними, неудобно же.

Поначалу работа казалась плевой. Коробки легкие, и нужно было просто брать очередную, переносить метра на три в глубь склада, заодно проверять по наклейке, чтоб, например, «1253 В» попадало к «1253 В», а «2093 — 501 W» к «2093 — 501 W». Но постепенно это начало надоедать, глаза устали сверять цифры и буквы, коробки заметно потяжелели. К тому же слегка бедрила обида. Вот Володька, мой одноклассник и друг, сидит сейчас в удобном вращающемся креслице, трепется по телефону (мне слышны обрывки фраз: «...да не надо текилу! И так башка ни черта не варит...», «лучше в „У Клео“, нормальный клуб»), а я должен вкалывать...

Да, в тот день я обижался, я еще не привык, что Володька теперь — мой хозяин, а я — подчиненный. Он командует, я исполняю... Пять лет с родителями в деревне не пошли мне на пользу — я как-то отвык (да еще и не знал, так как никогда нигде не работал), что общество построено по такому принципу. Будь ты приятель, друг или даже родственник, если речь идет о бизнесе, соблюдение иерархии (хм, историческое словечко!) наверняка необходимо. Иначе ничего не получится.

Эти мои не слишком связанные размышления-открытия оборвал, заглушил густой автомобильный гудок. Кажется, он прозвучал совсем рядом с дверью.

Из офиса тут же появился Володька, взглянул на мою работу, встревоженно бросил:

— Заканчивай поскорее. Привезли...

А потом я вместе с экспедитором, молодым худошавым очкариком, и еще каким-то тут же нанятым за тридцать тысяч рублей алкашом таскал коробки из «КамАЗа» на склад. Володька, стоя в дверях, сравнивал количество и вид груза с накладными, указывал, куда что ставить. Только водитель праздно позевывал у кабины, пил кока-колу из двухлитровой бутылки.

Моделей оказалось десятка три, я путался, ставил очередную коробку не на то место, но Володька каждый раз от дверей ловил мою ошибку:

— Да куда ты нубук к велюру ставишь?! Нубук — правее!

Я на его месте уже через десять минут махнул бы рукой: «Да валите куда хотите!» Правда, наверное, делал свое дело опыт таких разгрузок и, думаю, что-то природное. В школе еще хоть и был Володька чуть ли не хулиганом, сорвиголовой, зато всегда знал, как половчее списать контрольную, выпутаться из переделки. Теперь вот он нашел достойное применение этим своим качествами...

Только-только разгрузили, приехал тот Сэр на «ПАЗе». Забрал полсотни коробок, причем их снова пришлось выносить из склада, расставлять на сиденьях и в проходе автобуса. Володька недовольно кривился, черкал что-то в своем блокноте...

— Фуф, надо срочно чайку! — Он взял электрический чайник, отомкнул спрятанную в стене под пластиковыми рейками дверь; я, уже по привычке, последовал за ним.

За дверью оказались узкие пыльные коридоры, целые сплетения труб, металлическая винтовая лестница куда-то наверх.

— Пойдешь по этому коридору, — показал Володька рукой с чайником влево, — выйдешь во двор. Там сортир, мусорка, и курить там можешь. Хотя советую как друг другу — бросай.

Я пожал плечами:

— Попробую...

— Не пробовать надо, а взять и не курить. Неделю помучаешься, зато потом спасибо скажешь. Тем более теперь всякая жвачка есть никотиновая, наклейки. Но я без них бросил...

Мы подошли к одной из труб, к которой был приварен кран. Володька открутил его, наполнил чайник... Вернулся я в уютный офис раньше него; курить не хотелось, я уже накурился во время разгрузки товара...

— Вот так, Ромка, — упав в кресло, выдохнул шеф, — чуть ли не каждый день. Туда-сюда-обратно... Циркуляция товара.

Я тоже опустил не совсем церемонно, кресло подо мной болезненно скрипнуло. Спросил:

— А откуда привозят?

— Из Кракова, ну, это в Польше. Там фабрика обувная, шьют по итальянской технологии. Почти научились... Та-ак, — он взглянул на часы, — сейчас чайку хлопнем — и в Ленсовета.

— В ДК Ленсовета?

— В него самого. А, ч-черт! — Володька схватил телефонную трубку, стал набирать номер. — Совсем забыл!..

ДК Ленсовета. Я там однажды был. На фестивале сатириков «Очень'89». Задорнов, Шифрин, Жванецкий во весь голос посыпали перцем пережитки застоя, талоны на мыло, сигареты и все остальное, говорили голосами «Михаила Сергеича» и «Леонида Ильича», а зрители в ответ дружно, но как-то невесело смеялись...

— Здорово, Мак! — почти вскричал Володька. — Привезли твой экстрим. Когда забирать будешь?.. Короче, через час я буду в Ленсовета, могу захватить... Ну, тут же пять коробок всего, влезет... Ладно, о'кей. И надеюсь, все будет без геморроев?.. Ладно, забили!

Бросил трубку вместе со щелчком вскипевшего чайника.

— Давай доставай из тумбочки сахар, чашки, чай, а мне тут еще кой-чего подсчитать надо...

Руководствуясь виденной по телевизору рекламой «Липтона», я приготовил чай и подал Володьке — кажется, не хуже любой секретарши.

В вестибюль Дворца культуры имени Ленсовета войти теперь не так-то просто. По крайней мере — не имея двух тысяч рублей. В дверях пара серьезных ребят в черной форме с желтыми шевронами на рукавах — охранники. Препрадили было Володьке дорогу, нахмурились пуше прежнего и тут же расступились, узнали, на широких лицах появилась приветливость.

— Он со мной, — качнул Володька головой в мою сторону.

Теперь их приветливость перекинулась и на меня. Я тоже как мог растянул губы в улыбке и задержал взгляд на одном охраннике, на другом — пускай запоминают.

Вестибюль, некогда просторный, пустой, не считая скамеек и зеркал, сейчас был тесно набит столами, витринками, вешалками, стеллажами с одеждой, обувью, детскими игрушками, книгами, парфюмерией. Все впережмешку, со всех сторон. Оставлены лишь узенькие проходы, чтоб двигаться по этому лабиринту.

Володька, умело лавируя меж людей и прилавков, пробирался куда-то в глубь лабиринта, и я чуть было не потерял его. И когда мои глаза не видели черную знакомую куртку и круглую голову с коротким ежиком светлых волос, меня захлестывала паника, я бросался вперед, расталкивая людей. Казалось, исчезни Володька — и я навсегда останусь здесь, в этом бурлящем скопище, спячу с ума, подохну где-нибудь под столом...

В очередной раз побегав за прилавок, за которым только что скрылся шеф, я вшибся в его крепкое плечо и уже хотел было сказать нечто вроде: «Ну ты и скороход!», но Володька опередил меня. Правда, обращался он не ко мне:

— Вот, мам, гляди, кого я привел. Узнаешь?

— Да это же!..

Я перевел взгляд с Володьки на этот полувскрик-полувопрос и сразу узнал... Да, сразу узнал Володькину маму, Евгению... как же? — блин, забыл отчество... Еще б не узнать — все-таки мы проучились с Володькой вместе все десять лет, нас не однажды вызывали на родительское собрание и отчитывали то за разбитое стекло, то за курение в туалете, то за неуспеваемость, и наши матери вместе сгорали со стыда за сыновей, не знали, куда спрятать глаза...

Но теперь глаза Евгении (не помню отчества) были другими, да и как иначе, ведь сын стал таким крепким парнем, — глаза были радостные и пустоватые, то есть за этой радостью, кажется, ничего больше не было, и радовались они не только мне, а в них светилось нечто другое. Возбуждение, азарт, зараженность окружающим бурлением? — я не мог тогда определить...

Она стала крупнее, полнее, но здоровой, спелой полностью ведущей активный образ жизни пятидесятилетней женщины. Ее гладкие, тугие щеки ярко розовели, серые некогда волосы были теперь золотистыми, слегка завитыми. Одета была в блестящий, просторный спортивный костюм... Помолодела она со школьных времен своего сына лет на пяток, это уж точно.

— Здравствуйте! — заулыбался я, с интересом ее разглядывая.

— Привет, привет! — улыбалась и Евгения (все не мог вспомнить отчества), обнажая неестественно белые, ровные зубы. — Ты какими судьбами?

— Да вот... — Я замялся, не знал, как ответить; выручил Володька:

— Работать теперь с нами будет.

— О-о! — Казалось, она услышала самую счастливую новость в жизни. — Это дело нужно! Правильно, Рома, надо работать... — Но вот выражение лица изменилось, появилось что-то из прошлого, и она спросила: — А как родители?

— Да так... В деревне. За жизнь борются.

— Мы тоже вот. — Евгения обвела руками свой прилавок, стеллажи, заставленные черными, коричневыми, синими ботинками, сапогами, туфлями, босоножками... — День работаем, вечером хлеб жуем.

— Ладно уж, мать, — усмехнулся Володька, — чего прибедняешься... На сколько сегодня?

— Я не считала еще.

— Ну, взяли чего-нибудь?

— Взяли, взяли...

— Ну и нормал. — Он встряхнул левой рукой, высвобождая из-под рукава часы, глянул, присвистнул: — Ух ты! Надо двигать. Я еще заскочу. Пошли, Роман!

И стремительно зашагал дальше по узкому проходу, лавируя меж людей, а я засеменил следом, стараясь не потерять его из виду.

Вот дверь, почти забаррикадированная столами с товаром. Володька открыл ее, исчез в странной после шумного рынка-вестибюля, какой-то неживой полутьме. Я тоже заскочил в нее и сразу попал в тишину и неподвижность... Длинные тряпки свисали с потолка и стелились по полу,

непонятные скелетообразные сооружения выступали из мрака; шаги наши отдавались где-то далеко-далеко глухим топотом великанов... Потом я заметил справа внизу точно бы заледеневшую рябь реки, ряды накрытых белыми чехлами сидений, а над моей головой, справа и слева, повсюду, тускло, сонно поблескивали кругляши театральных фонарей...

Вот здесь, где я остановился сейчас, на сцене, выступали когда-то Жванецкий, Задорнов, Шифрин, а там, внизу, одним из многих сидел и я сам и слушал, время от времени прихихатывая, аплодируя, посасывая карамельку.

— Эй, ты где? — громыхнул в каменной тишине голос Володьки. — Догоняй, а то заблудишься.

Попетляв по напоминающим норы коридорчикам, мы вдруг оказались в просторной пещере — освещенном красноватым светом зале.

Ненавязчивая, спокойная музыка, несколько столиков, бар у противоположной двери, где, будто хрусталь, блестели бутылки, бокалы. Это как оазис, островок жизни среди безлюдной, вечно ночной пустыни...

За одним из столиков трое ребят. На столике вместо еды разложены бумаги. Возбужденными голосами ребята что-то то ли обсуждают, то ли просто переругиваются.

Володька запросто уселся к ним, бросил на бумаги свою пузатую сумочку.

— Здорово, комбинаторы! Как успехи?

— Во, Вэл! Вот кто поможет!.. — Ребята с надеждой глядели на него. — Помоги решить, Вэл...

— Есть хочу. Давайте перекусим, а потом покажете, что и как. А, вот, — вспомнил он обо мне. — Познакомьтесь. Это мой одноклассник, Ромка, вместе с ним когда-то здесь в путяге учились. Много было чего... — Казалось, сейчас Володька пустится в воспоминания, но вместо этого он представил ребят: — Влад, Джон и Макс, мои, так сказать, партнеры. В-вот... Да садись ты, чего как неродной?!

Я подтащил от соседнего столика стул. Хотелось курить — в таком ритме, в котором жил Володька, и покурить не было времени, — только вот из ребят никто сейчас не курил, и пепельница, хоть и красовалась на столике рядом с набором специй, была пуста и чиста.

— Так, соберите пока свои документки, — распорядился Володька, — надо заправиться. С утра ни крошки...

Ребята без особого желания, хотя и не споря, стали складывать бумаги в стопочку, Володька же вскочил и подошел к стойке бара; без предварительного разглядывания меню уверенно, громко заказывал:

— Двойной бифштекс с пюре, салат «Лето». Да, борщ, конечно! И сметаны в него, Марин, не жалея. Хлеба, бутылку «Аква минерале»... — Обернулся: — А тебе чего взять?

Первым делом по инерции я пожал плечами. Володька всплился:

— Иди тогда сам выбирай!.. Сидит мнется... Все в темпе делать надо. Так и промнешься и сдохнешь, как муха осенняя.

— Ух ты! — в ответ огрызнулся я. — Образами выразаться умеешь!

— Чего? — Володька не понял, нахмурился угрожающе.

— Да нет... так... Удивляюсь.

— Не удивляйся, а говори, что есть будешь. Вот, — он сунул мне под нос лист бумаги в целлофановой оболочке, — первое, второе, третье. — И пошел к ребятам.

Медленно остывая от стычки, кривя губы, я стал просматривать ассортимент блюд, теряясь под насмешливым взглядом ждущей за стойкой девушки. Она была симпатичная, моложе меня, на вид какая-то очень своя, и от этого мне становилось особенно неловко.

Вообще, честно говоря, не нравился мне этот первый рабочий день. Будто голым вытащили из родной постели и выгнали на улицу, заставили бегать, делать гимнастические упражнения, смешить защищенных надежной одеждой прохожих. Хотя, впрочем, надо перетерпеть — это просто начало. Так было и в школе, и в армии, и в деревне. Вначале всегда не по себе, всегда неуютно, неловко...

Поползав невидящими от обиды глазами по столбикам, я в итоге, сделав голос непринужденным, заявил:

— А, давайте то же, что и тому, предыдущему. Чего мудрить...

— Хорошо. — Девушка кивнула, стала быстро писать. — Присаживайтесь, вам подадут.

Из сидевших за столом прежде всего бросался в глаза Макс. Короткая по бокам и сзади прическа, а надо лбом закрепленный лаком в виде козырька чубчик. Над левым ухом вдобавок искусно выстрижены до самой кожи три извилистых полоски. Сначала мне подумалось, что это следы от какой-нибудь сложной операции на черепе, но чем больше я смотрел на полоски, тем они становились привлекательнее; и уже вскоре я был уверен, что без них (если б их не было) Макс сделался бы проще и малоинтересней. Как и без трех серебряных колечек в том же ухе, даже не в самой мочке, а чуть выше, где начинается загиб ушной раковины...

Макс был хорошо сложен, подтянут, подкачан и в то же время тонок и строен, как фигурист; движения небыстрые, плавные. Одежда в отличие от остальных, явно предпочитающих темные тона, пестрая, броская; из-под темно-бордового жакета выглядывала оранжевая рубашка, ворот стянут синим галстуком с меленькими разноцветными крокодильчиками... Голос мягкий, чуть с картавинкой, щеки и подбородок выбриты настолько тщательно, что не верилось, что на них вообще может появляться щетина... Да, он был привлекателен и поэтому неприятен; и я вывел скоропалительно и однозначно: пидорок.

Влад и Джон походили обликом друг на друга и на Володьку — коренастые, резковатые, в кожаных коротких куртках; единственное, чем выделился Джон, — широким розоватым шрамом во всю правую щеку от глаза до нижней челюсти. Шрам стягивал кожу, и казалось, что Джон слегка косит...

Не дотерпев, пока принесут еду и Володька пообедает, ребята снова разложили бумаги, приглушенно, наперебой, все разом объясняли:

— Ликвидируют базу, понимаешь. Сантехника, кафеля сто пятьдесят ящиков, краска разная, обои... Да вот список, гляди — количество, производитель... И за все — две с половиной штуки грина! Копейки вообще-то. Как думаешь, Вэл?

Володька взял список, стал просматривать. Тут девушка принесла поднос с борщом, салат, хлеб. Ребята, ворча, собрали документы, освободили место. Заказали девушке по чашке кофе.

— Ну, если бумагам верить, то сдают все это добро за четверть реальной цены, — с аппетитом хлебая борщ и продолжая глядеть в список, заговорил Володька. — Прижало кого-то не слабо... Купить можно, только куда это потом-то спихнуть? Надо все целиком, чтоб не возиться... А у меня таких людей сейчас нет.

— Почему нет, Вэл? — перебил Джон и подозрительно прищурил глаз, отчего его шрам сморщился гармошкой. — Помнишь, ты меня к какому-то чувачку возил, мне индулин нужен был? Где-то в Обухове у него, что ли, склад. Там, я видел же, этого по горло было. И дела у него вроде нормально шли — две машины разом грузились... Может, возьмет за шесть тысяч? Тоже оптом. Вспомнил, а?

Володька, видимо, вспомнил, потому что лицо его стало мрачным, он даже перестал борщ хлебать.

— Этот чувачок уже с полгода на Северном кладбище лежит. Да ты, — он повернулся к Владу, — его знаешь. Шурик Никитин.

— Которого прямо в каре вальнули? — уточнил тот, нисколько не оживившись.

Володька кивнул, а Джон вздохнул досадливо:

— Хрено-ово. Я рассчитывал ему спихнуть. И нам бы по куску с лишним, и он бы мог навариться неплохо.

— Увы, увы, ему уже ничего не надо. — Володька, усмехнувшись, продолжил обедать.

Борщ был вкуснящий, с кусочками хорошо проваренной, мягкой говядины, со свежей, ароматной капустой, мелко-мелко порезанной свеклой... Я не отрывался от тарелки, тем более что всю последнюю неделю питался твердой едой, и теперь с каждой ложкой чувствовал, как приятно смягчает в желудке.

Да, я был увлечен борщом, но и старался не пропустить ни слова. Слушал, запоминал, ловил интонацию, новые для себя слова. Все это наверняка пригодится...

Словно бы что-то защипало мне пальцы. Я поднял глаза, наткнулся на взгляд Макса — он не успел его отвести, изменить — и увидел, с каким брезгливым интересом смотрит он на мои руки. Затем, заметив, что я почувствовал взгляд, отвернулся, стал якобы с большим вниманием слушать нравоучения Володьки:

— Мое мнение, парни: не стоит вам связываться с этой штукой. Вы, каждый из вас, имеет свое дело, у каждого своя... ну... специализация. Зачем расплыться? По тысяче, да, можете заработать, а в итоге потеряете раза в три больше...

Понятно, почему Макса поразили мои руки. Действительно, приятного мало. Сколько ни скреб я их мочалкой в бане перед отъездом, сколько ни выковыривал грязь из трещин в коже и из-под ногтей, но мало чего добился. Страшные руки... не руки — клешни какие-то. Пальцы толстые, кривоватые, на боковинах — наросты шелушащейся кожи, трещины, будто ножом прорезанные; на ладонях и у основания пальцев с тыльной стороны — желтоватые лепешки мозолей... Девушку такой клешней погладь, так она завизжит и пощечину вlepит. Как наждачкой по ее нежной спинке...

Я убрал левую руку под стол, а правой взял ложку так, чтоб не особенно выставлять напоказ свои самые безобразные — большой и указательный — пальцы... Хм, человек физического труда.

— Нет, Вэл, ты в данном случае не прав, — перебил моего шефа Влад. — Это, понимаешь, разные вещи. Ну, я занимаюсь джинсами, это основное. А здесь, — он ворохнул стопку бумаг, — по ходу, из ничего, считай, можно баксят не хилых сделать. Чего упускать момент?

— Да тебе легко говорить, — вступил и Макс, — у тебя целая сеть, точки повсюду. Тебе, ясно, хватает. А у меня один магазин, да и тот... Восемь лимонов долга только за аренду. Хоть его погасить с помощью унитазов этих — и то ништяк. Положение у меня сам знаешь какое.

Володька усмехнулся:

— Профиль надо менять. Кому твой экстрим нужен? Сотне тинейджеров прыщеватых, да у них денег нет. Купят раз в год бандану за чирик — и рады...

— Я не только из-за коммерции экстримом торгую, — загорячился Макс. — У меня симпатии, принципы...

— А-а, симпатии. — Володька, сморщившись, поставил на пустую тарелку из-под борща тарелку с бифштексами и пюре, как делали мы когда-то в школьной столовой. — В трубу вылетишь со своими симпатиями, вот и все.

Некоторое время ребята молча, с серьезным видом наблюдали, как Володька поедает второе, чего-то словно бы ждали. Джон наконец не выдержал:

— Ну так ты нам поможешь дело сделать или как? Мы тоже в долгу не останемся.

— Попытаюсь, — отламывая вилкой кусок мяса, кивнул Володька. — Поспрашиваю кое-кого. Но твердо не обещаю.

— За шесть штук грина. Можно больше.

— Хм...

— И слышь, Вэл, желательнее побыстрее. А то этот... он ведь тоже ищет. Мы б хоть сегодня купили, только куда везти такую гору...

— погоди! — перебил, аж привстал Влад. — Слушай, Вэл, а может, к тебе пока, на склад? У тебя ж там хоромы...

И Володька тоже вспыхнул, точно защищаясь, выставил руку:

— Там сейчас под завязку — не протолкнуться. И речи нет! Только сегодня фура пришла, Ромка вон, — в голосе его появилось чуть ли не сострадание, — разгружать замучился.

Ребята непонимающе глянули на меня (дескать, при чем здесь какой-то Ромка) и снова повернулись к Володьке. Джон, постукивая о столешницу, выровнял пачку бумаг.

— Документы возьмешь показать?

— Пока не надо, — мотнул головой Володька. — Если наклонится что, созовонимся.

— О'кей...

Перетаскивая коробки с обувью из «мерседеса» в свою «девятку», Макс заметил:

— Не бережешь ты, Вэл, тачку. Я б такую...

— В музей поставил, — досказал хозяин «мерса» и объяснил: — Пускай вкалывает, как и я. Как там? Машина — это не роскошь, а средство передвижения.

Макс невесело пошутил:

— Может, поменяемся тогда? Моя неплохо пока бегаёт, а корбóк в нее влазит даже больше. А?

Джон и Влад дружно, но тоже без веселости хохотнули. Володька отмолчался.

Попрошавшись и договорившись встретиться вечером в клубе «У Клео», мы с Володькой отправились по магазинам и рыночкам собирать деньги. Шеф знакомил меня с продавцами и товароведом, видимо, готовя к тому, чтоб вскоре я заменил его в этом деле; пока еще не всерьез показывал, как считать выручку, сверяя ее с цифрами в накладных, как заполнять бумаги, где ставить подпись... Затем мы побывали в однокомнатке на улице Харченко, которую Володька купил года два назад и теперь держал про запас, собираясь выкупить ту, на Приморской. А в этой, по всей видимости, предстояло жить теперь мне.

Квартира сразу показалась мне неплохой, хотя была захламлена, с выцветшими обоями и старой мебелью. На вешах лежал толстенный слой пыли, а шторы были темные, будто траурные занавеси. Но ничего, наведу порядок, главное — метро совсем близко, пять минут прогулочным шагом.

Пужинав в кабачке где-то в центре (из окна виднелась золоченая игла Петропавловки), мы рванули в клуб — отдохнуть... Правда, не обошлось без накладок: Володька вдруг заметил, что я в кроссовках, ругнулся и круто, аж колеса завизжали, развернул машину. Я испугался:

— Что такое?

— Что-что... Не пускают в «Клео» в спортивном... Сейчас на склад завернем, обую тебя по-человечески.

Я готов был вспылить от этого оскорбительного «по-человечески», ведь мои кроссовки, которыми втайне гордился, стоили триста пятьдесят тысяч и выглядели очень даже симпатично... Но я промолчал, просто отвернулся от Володьки и стал смотреть в окно.

«Ничего, — успокаивал я себя, — это только начало, в начале всегда неловкость, спешка, хлопоты. Все устаканится, войдет в колею».

3

Хоть я и продолжал работать руками — возня с коробками была основным моим занятием, — но вскоре начали сползать мозоли. Толстая, желтовато-темная кожа отслаивалась большими пластами и напоминала кусочки пластмассы. Она отслаивалась повсюду — и с ладоней, и с пальцев, даже с запястий. Я подолгу царапал руки, ковырял мозоли, отщипывал их... Я мог заниматься этим часами, забывая обо всем другом, тем более что видел преображение — под отмершей кожей появилась новая, тонкая, розовенькая, как у младенца...

Как я и предполагал, после нескольких хаотических дней привыкания установился устраивающий меня распорядок жизни. Я просыпался около девяти утра под тарахтенье будильника, не спеша пил кофе, съедал парочку бутербродов с маслом или ветчиной, заодно смотрел телевизор. Что-нибудь развлекательное — клипы по MTV или телеигру, — а потом ехал на работу.

Володька обычно уже был там. Обзванивал оптовых покупателей или своих продавцов, что-то высчитывал на компьютере. Раз в неделю, по средам, приходила бухгалтерша, полная, с простым лицом, но умными глазами женщина лет пятидесяти, немногословная и серьезная, как большинство петербуржек. Вместе с Володькой они уединялись в офисе, я же по просьбе-приказу хозяина шел покурить во двор или выпить в соседнем кафе бутылочку «Невского».

Поначалу мне больше нравился двор. Пустынный прямоугольник, окруженный грязно-желтыми стенами почти без окон, за которыми кипела торговля нескольких десятков магазинов, лавочек Никольского двора... С парадной стороны он был еще более-менее сносен, хотя и там местами откровенно разваливался, со двора же Никольский разваливался уже давно, может, десять, а может, и пятьдесят лет...

Сидя на пластмассовом ящике из-под кока-колы, подымливая сигаретой, я ожидал, что вот-вот здание рухнет окончательно, рассыплется крошечном вечно сырых кирпичей, ржавая жесьь крыш превратится в рыжеватую пыль. Ведь давно пора: стены держатся каким-то чудом, а чудо, как известно, не может быть долгим.

Но каждый раз я обманывался — чудо продолжалось, стены не рассыпались, дырявые листы железа даже в самый свирепый ветер, угрожающе трепеща и вызванивая какую-то судорожную мелодию, все же держались за крышу истершимися, источенными гвоздями, не улетали, не падали вниз... И весь город держался на чуде, держался каким-нибудь последним гвоздем, полусгнившей подпоркой, единственным не до конца разъеденным влагой кирпичом.

Я даже проводил маленький эксперимент, чтоб увериться в чуде. Оказавшись возле Казанского собора, я царапал ногтем то одну, то другую колонну, и на них тут же оставался след-борозда от моего ногтя, а на ногте — мука мягкого камня. Но наверняка этот камень, похожий на грязный мел, будет мякнуть еще сотни лет, и не исключено, что никогда не размякнет до такой степени, чтоб превратиться в кучу трухи... Где-нибудь в районе Малой Охты или на Крестовском острове я сосупал с асфальтового тротуара на газон и тут же начинал увязать в прикрытом бледно-зеленой травой болотце, в мои туфли готова была втечь холодная жижа, и я отпрыгивал обратно на твердость асфальта и с изумлением смотрел на де-

вятиэтажный (в Малой Охте) или пятиэтажный (на Крестовском) дом, что спокойно стоял посреди болотца и не думал в него погружаться. Чудо!..

Или взять метро. Когда я узнал, что перегон между «Лесной» и «Площадью мужества» затопило, то решил: вот и началось, сейчас одно за другим будет постепенно гибнуть все, захлебнется в жиже, сгинет, порастет бледно-зеленой болотной травкой, будто и не было. Но перегон запечатали бетоном, и гибель остановилась, жизнь пошла своим чередом. Автобусы привозили пассажиров с «Площади мужества», чтоб они могли ехать дальше в метро, и забирали с «Лесной» тех, кому нужно было дальше по Четвертой линии. Перед тем как спуститься вниз, люди неторопливо перекуривали под козырьком станции, угрожающе провисшем, и, кажется, совсем не боялись, что он может рухнуть на них, хотя с неделю назад такой же точно козырек обвалился на «Сенной», покалечив кого-то и даже убив... Да вообще-то стоило ли бояться? — тогда приходилось бы бояться всего — каждого здания, каждого лепного узора на фасаде, каждой истресканной статуи, каждой вывески и рекламного щита, ненадежно прикрепленных к рыхлым стенам. Ведь все ненадежно, рыхло, изъедено ржавчиной, солью, временем...

Не дождавшись катастрофы в Никольском дворе, я стал проводить время в кафе, что находилось почти напротив нашего склада. Брал пива, фисташек и наблюдал, когда из чрева «Торгового дома» появится бухгалтерша. Обычно она задерживалась у Володьки часа два-три.

Она выходила как-то боком, хотя дверь была широкая, почти как створка ворот, и так же боком, медленно двигалась по Садовой улице, держа в руке тряпичную сумку, набитую документами и деньгами для сдачи в банк. И словно бы не бухгалтерша это была, а простая домохозяйка возвращалась из магазина с небогатыми покупками.

После ее посещений Володька становился то радостен и полон энергии, напевал, прогуливался меж коробок, помахивая руками, будто делал зарядку, то сидел в офисе посеревший, тихий, барабанил пальцами по столу, и проходило достаточно много времени, чтоб к нему вернулось его обычное настроение и способность действовать.

Я старался не вникать в подробности и хитросплетения его бизнеса, но он представлялся мне схожим с самим этим городом, держащимся на чуде. Честно сказать, там, в деревне, я представлял все совсем иначе. Ведь чего стоила только его визитка. «Владимир Дмитриевич Степанов. Президент Торгового дома „Премьер“». Да уж — «Торговый дом», да уж — «президент»... Сам и шофер, и грузчик, и экспедитор; самолично собирает по точкам выручку в сто — двести тысяч, вскакивает среди ночи, чтоб отправить груз куда-нибудь в Новгород или Вышний Волочек. Президент... Я думал, здесь куча сотрудников, классическая секретарша перед его кабинетом, огромное светлое здание с зеркальными окнами и автоматически открывающимися дверями, как в фильмах, а на деле — сумрачный склад, рядом кое-как соответствующая званию «офис» комнатка с парой компьютеров и электрическим чайником; бухгалтерша, которую не отличить от заплесневелой жены какого-нибудь фрезеровщика с Кировского завода.

А мать Володьки Евгения (черт, не помню отчества) — разве это мать «президента»? Живет в однокомнатной квартире, пусть и своей (сын купил в новом доме, но на окраине, в Купчине), целыми днями сидит на рынке в ДК Ленсовета, торгует сапогами и туфлями. Не очень-то вольготная жизнь... Но, впрочем, кажется, она не слишком страдает и устает — видимо, ее это устраивает...

Сестра Володьки Татьяна тоже занимается обувью. У нее свои точки, своя система распространения; время от времени, как и другие Володькины партнерши, она появлялась на складе, брала партию и уезжала. В первую встречу она мне очень и вроде как искренне обрадовалась, долго расспрашивала о жизни последних лет (мы с ней были хорошо знакомы в школьную пору, она на два года младше Володьки), рассказывала о своей:

что замужем, что муженек «раздолбай» и ей вот приходится одной крутиться, чтоб как-нибудь сносно жить. Прощаясь, Татьяна дала обещание, что в самое ближайшее время пригласит к себе, познакомит с «раздолбаем», что посидим поговорим без суеты... При следующих встречах она тоже говорила это, но «посидеть» что-то никак не получалось...

Ни у матери, ни у Татьяны я так ни разу и не побывал, да и Володька, кажется, виделся с ними лишь на складе и рынке...

Все его приятели, кроме старого друга Андрюхи, были одновременно и деловыми партнерами, встречались они в основном по делу. Лишь по вечерам, в клубе, не высчитывали, не спорили, не планировали — в клубе они отдыхали.

Раза три-четыре в неделю Володька, Макс, Андрюха, Джон, еще несколько парней их круга собирались в «У Клео», недалеко от метро «Нарвская»; почти у всех были туда карты гостя. Брали минералку или легкие коктейли, иногда пива и совсем уж редко — когда случались из ряда вон радостные или же плохие события — по пятьдесят граммов текилы. Часами играли в «американку», танцевали самозабвенно, прикрыв глаза, будто входили в транс; бывало, просто сидели в мягких креслах, молчали, размышляя о чем-то, или, наоборот, пытались ни о чем не думать.

Первое время я чувствовал себя в клубе не слишком уютно. Раздражала слишком громкая музыка, уставали глаза от разряженного освещения и лазерных лучиков, ежесекундно прошивающих полутьму. Одет я был довольно скромно, не считая подаренных Володькой туфель «ETOR», цена которых, как я выяснил, была сто пятьдесят долларов (это, значит, почти миллион нашими)... Но зато остальное — черный свитерок, китайские джинсы «Diog», уже начавшие линять на коленях, простенькая прическаканадка — было достойно того, чтоб я скромно сидел в уголке и не высывался. Наблюдал. И я наблюдал, надо признаться, во все глаза...

Для меня всегда было загадкой, как люди танцуют. Одни умеют красиво, другие почти безобразно, но неизменно с такой готовностью, увлечением. А мне с раннего детства, когда еще видел танцующими своих родителей и их друзей, становилось стыдно. Стыдно и за людей, точно они делают нечто непристойное, и за себя, что я это вижу... Лет в пятнадцать, чтоб побороть себя, я даже записался в танцевальный кружок и почти избавился от стыда, почти раскрепостился и научился, и тут появилась новенькая, такая милая девушка, что я влюбился и бросил кружок. «Дурак, — говорил я себе, — ведь мог бы танцевать с ней в паре, мог бы запросто подружиться!..» Но поделаться с воскресшим стыдом ничего не мог, даже близко к Дому пионеров больше не подходил.

Про танцы, про их значение, пользу сказано, наверное, масса всего. А вот какво человеку (такому вот, вроде меня), который не может встать со стула при первых звуках мелодии и начать выделять телом всякие движения, прикрыть глаза, отделиться от мира, сбрасывать, выдавливать вместе с потом тяжесть и шлаки прожитого дня; прижать к себе девушку, унести с ней на несколько бесконечных минут далеко-далеко... Да, какво дураку, который не может решиться на эти радости. Которому стыдно, который, любуясь танцующими, упорно внушает себе, что не он дурак, а они, он же настолько самодостаточный, что ему нет нужды извиваться, освобождаясь от шлаков вместе со всеми.

И я проводил вечера в клубе, сидя на высоком, неудобном табурете у стойки и вливая в себя коктейли (водку при Володьке вливать опасался), или, красиво дымя сигаретой, наблюдал за бильярдистами, не разбираясь в правилах игры, ни разу в жизни не держа кия в руках.

А ночью, лежа на широком раздвижном диване, я полупьяно мечтал о девушке, скрипел зубами от одиночества, которое здесь, в миллионном, шумном, никогда не засыпающем городе, было во много раз острее, безжалостнее, чем в деревне. В деревне, там хотя бы меньше соблазнов, а

здесь!.. Кажется, шевельни пальцем — и все будет. Но я не мог, я последними словами материл себя, заставлял, толкал — но не мог...

В холодной, пустой тишине однокомнатки мне представлялось одно и то же — что я в танцзале клуба «У Клео». Гремит музыка, вбиваясь в уши, сладковатой одурью заливая мозг. В зале битком молодых, свежих, чистеньких очаровашек. И я в самом центре, я ловлю сыплющиеся с потолка световые блески, я извиваюсь не хуже других, наполняюсь силой и легкостью; я почти не касаюсь пола ногами. А вокруг сплошь красивейшие девушки, они как лепестки, они любят меня, ждут моих взглядов, внимания. Каждая ждет меня... Но я придиричив, крайне пристрастен, я тяну время, я замечаю любой недостаток во внешности изучаемой кандидатки и, заметив, мгновенно теряю к ней интерес. И это продолжается долго-долго, долго-долго звучит композиция. Усталости нет, наоборот, хочется не останавливаться никогда; стараюсь быть холодным и равнодушным, я на самом деле с трудом сдерживаю себя... Я осторожно потирался о складки одеяла, я был в поту, в холодном поту страха и возбуждения. Я чувствовал, что вот-вот не выдержу, но надо было дотанцевать, выбрать одну из всех и увести... И вот встречаю. Она почти с меня ростом, стройная, тонкая и одновременно крепкая, сильная; черные, чуть выющиеся волосы рассыпаны веером по плечам и спине, длинные, не слишком полные, но и не сухощавые ноги постоянно в движении. На ней узкая короткая юбка, черные просвечивающие чулки, белая блузка со множеством пуговиц (и все их придется расстегивать!). Нет, решено — сегодня беру ее, только ее... Она вскидывает руки, подбрасывает тяжелые волосы, и они падают на белую блузку черным дождем. Она поняла, что я выбрал ее... И я медленно приближаюсь, продолжая танцевать, беру за талию, веду из зала. В ее глазах горит огонь счастья, скулы дрожат, пересохшие губы ждут поцелуев... Вот темный закуток с диваном; он специально здесь, он для нас. Мы одни... Она бросается на меня, она сжимает меня. Я молчу, все равно музыка не даст ничего сказать, да и зачем слова... Ее дрожащие тонкие пальцы расстегивают молнию на моих джинсах, а я задираю ее короткую юбку...

А дальше несколько вспышек и возвращение...

Джон, Андрюха, Макс, остальные почти всегда отдыхали с девчонками. У большинства они менялись чуть ли не еженедельно, а у Макса была одна и та же подруга, очень на него похожая — такая же узкокостная, но по-спортивному подтянутая, неизменно в яркой одежде, тоже коротко стриженная, с сережками-колечками в ушах, проколотыми ноздрей и пупком. Они вообще, Макс и его Лора, с первого взгляда показались мне братом и сестрой, почти близнецами; понятно, почему и не разбегались, — вот уж действительно, встретились две половины, слились.

А Володька всегда был один. На девушек он почти не обращал внимания, даже с той, что работала в буфете в ДК Ленсовета и часто обслуживала нас, не здоровался. Она же, кстати, из кожи вон лезла, чтоб ему понравиться, и была совсем не страшенькой; я через несколько обедов там стал с ней заигрывать, как умел, узнал, что ее зовут Марина, интересовался, свободна ли вечером, но удачей пока что хвастаться не приходилось...

Однажды, сидя в нашем офисе, я решил поговорить с Володькой. Дел не предвиделось, шеф был в хорошем настроении — увлеченно играл на компьютере в «Варкрафт», обустроивал государство на острове, боролся с набегами врагов. Я же пил «Балтику № 1», листал «XXL», подолгу задерживаясь на полуголых и голых женщинах, изучая их подробно, до каждой складочки кожи под мышкой, до мельчайшего пупырышка на соске...

— Слушай, Володь, — наконец не выдержав, отложил я журнал, — можно спросить?

Он вроде бы не услышал, напряженно всматривался в экран монитора, долбил по клавишам. Из компьютера доносились удары мечей, далекие вскрики смертельно раненных, звон золотых монет...

— Вэ-эл, — позвал я громче.

— Да погоди! Сейчас...

От нечего делать я взял телефон, узнал, сколько времени. «Тринадцать часов двадцать семь минут сорок одна секунда», — ответил мне ласковый автоматический женский голос.

— Спасибо, — сказал я.

Снова полистал журнал, отыскал ту, что больше всего мне понравилась. Златовласая, крепенькая, лет двадцати пяти, загорелая до цвета топленого молока. Сидит на бильярдном столе, лицо приподняла и повернула чуть влево, глаза сладостно прикрыты, сочный рот, видны белые зубы. Она совсем голая, она широко расставила ноги, но самое интересное место закрывает собой черный шар... Хорошо быть фотографом в таком вот журнале...

— Эх, победили! — расстроено выдохнул Володька и отвалился на спинку кресла, вертанулся кругом, подхватил чашку с чаем, глотнул. — Ну чего ты хотел?

Теперь, когда разговор стал неотвратим, я замялся. Действительно, как спросить?.. Так вот взять и спросить?.. И я решил подстраховаться:

— Ты не обидишься?

— Хм! Обижается знаешь кто?

— Ладно. Я вот о чем... У тебя же... гм... девушки нет?

Володька напрягся:

— Ну нет. И что?

— Так, интересно просто... спросил... — Как же дать понять ему, что мне-то нужна девушка, но я не могу взять и познакомиться... Как дать понять, что мне нужна его помощь?

— Интересно? Хм... — Володька усмехнулся и снова отпил из чашки.

— Да нет, извини... я не в том смысле. Но скучно же так, без девчонок... без, — я поправился, — без подруги. Особенно при такой жизни.

— При какой жизни? — уставился на меня Володька; раньше я не замечал, чтоб он разговаривал так — цепляясь к словам; он словно затягивал меня дальше, выжидал, определяя, к чему я клоню.

— Ну, такой, — с трудом находил я нужные слова, — активной, деловой... Ну и... ты ведь можешь себе позволить...м-м... подругу иметь. С ней-то как-то ведь... интересней, что ли...

Володька поднялся, прошел по тесному пространству офиса. Вид у него был мрачноватый. Я и не думал, что он такотреагирует на мой вопрос. Думал, спрошу, он что-нибудь такое ответит, а потом предложу найти девчонок посимпатичней, вместе провести вечер в том же «У Клео», а потом рвануть вчетвером к Володьке. Места нам хватит — три комнаты...

— Понимаешь, — повернувшись ко мне спиной, глядя в прикрытое жалюзи, зарешеченное окно, произнес он каким-то небывало глухим, надсадным голосом, — была у меня подруга здесь. Почти два года... общались... Когда познакомились, она еще в школе училась, в последнем классе... Сперва все нормально, потом у нее подруга... а подруга старше ее... в Германию уехала гувернеркой... гувернанткой... Ну, в богатой семье, короче, прислугой стала. И эта, дура тупая, заразилась. Каждый день мне стала втирать, как там в Германии хорошо... Та ей напишет, открыток своего Фрейбурга нашлет, а эта кипятком от счастья мочится. Еще бы — Альпы, Рейн, Франция в двух шагах... И мне все: «Давай уедем. Ты там со своей энергией в сто раз больше сделаешь. Там ведь лучше. Поехали!» Я, конечно: «Кому я там нужен? Я и немецкого не знаю, да и в Питере жить хочу». Исполнилось ей, короче, восемнадцать, собрала сумки и туда... Сам ее в Пулковое отвез. Родители ее рады, что, дескать, дочь так устроилась... Один раз написала, как ей хорошо, какая семья попалась, ребенок умница, горд как игрушка. Снова уезжать отсюда просила... А второе письмо уже

другое совсем... «Все, прощай, у меня появился мужчина. Я себя с ним настоящей Лолитой почувствовала. В Париж на уик-энд завтра едем»... — Володька болезненно, как-то жалобно крикнул, дернул плечом, будто собираясь хлестнуть рукой жалюзи; добавил со злым отчаянием: — Ну и черт с ней. Идиотка. Каждому свое... Потом поймет...

— Да, конечно, — осторожно поддержал я, раскаиваясь, что затеял этот разговор, так неожиданно выведший из себя Володьку, и не озвучил то, ради чего и начал; думал ненавязчиво, полушутливо навести его на мысль, что неплохо бы занять подружек, весело проводить с ними время, а напоролся вот на любовь несчастную.

Володька сел за стол, как-то механически, инстинктивно поворочил бумаги, передвинул с места на место компьютерную клавиатуру, заглянул в чашку. И, кажется, чтоб стереть впечатление от выплеска его исповеди, с фальшивой веселостью и грубоватостью спросил:

— А тебе чего, бабы не хватает?

Я усмехнулся, радуясь, что наконец-то разговор входит в нужное русло.

— Ну да.

— И в чем проблема? Вон их сколько. Деньжата у тебя есть. Пойди да познакомься. Одна отошьет, другая согласится...

— В том-то и дело, — я сделал голос расстроенным, — что не получается. Как-то отвык от такого... да и не умел. Подойти, а что сказать?..

— М-да, тяжелый случай, — с ехидным сочувствием вздохнул Володька. — Остается проститутку снять, на ней тренироваться.

— Вот бы...

Он посмотрел на меня пристально и серьезно:

— Что, серьезно, что ли?

— Гм... — Я пожал плечами; в этот момент показался себе каким-то то ли увечным, то ли вообще недоразвитым, у которого вдруг проснулись половые потребности...

— Ладно, — сухо произнес Володька, — вечером решим... Сейчас работать надо.

Я с готовностью закивал. А шеф уже давал мне задание:

— Там вчера возврат привезли. В левом углу, возле двери лежит. Навалили все кучей. Надо распределить по моделям. Ну, сам знаешь. И подготовь семьдесят пар полусапог... — Он нашел на столе нужную бумажку. — Одиннадцать — семьсот восемь. Из нубука которые. Завтра утром забрать должны. Уложи в коробки, оскотчай, сверху количество напиши, чтоб не путаться...

Я взял ручку, записал код моделей полусапог.

— Кстати, а что такое нубук? — Почему-то впервые за три недели работы заинтересовался значением этого слова.

— Нубук? Ну, кожа такая. М-м... — Володька напрягся, озадачился моим вопросом, не зная, видимо, как точно ответить. — Ну, такая, слегка на замшу похожа... Красивая из нее обувь, но недолговечная. Слишком мягкая для наших улиц, для климата... Плохо берут последнее время, хотя да, красивая...

Вечером он сдержал слово — повез меня за проституткой. Я сжался на переднем пассажирском сиденье и гадал, как все это будет. Видел вообще-то по телевизору, но вот так, в жизни, да тем более, чтоб я участвовал...

Володька упорно молчал, в колонках долбилась однообразная рэив-мелодия, «мерседес» бежал мягко и быстро, и стояние в пробках или перед красным огнем светофора томило, казалось, не только меня и Володьку, но и саму машину.

На Старо-Невском поехали медленнее. Володька шурился, поглядывая направо, налево. Я тоже искал стоящих у бордюра проезжей части в ряд молоденьких девочек в ярких одеждах, призывно покачивающих бедрами.

Но ничего такого не было. Вот торчит, правда, одна, только какая из нее проститутка? Лет сорока пяти, жирноватая, в допотопном плаще и шерстяном берете. Таковую и даром не надо.

А Володька остановился именно перед ней; опустил стекло моей дверцы. Я еле удержался, чтоб вслух не выразить свое недоумение... Тетка наклонилась, сунула в салон опухшую, размазанную косметикой рожу, тут же наполнила воздух пивным перегаром.

— Девушки есть? — спросил Володька бесцветно, будто интересовался сигаретами.

Но и тетка ответила так же, без всякого оживления:

— Естественно. Заезжай в эту арку.

За аркой был черный до непроглядности двор, свет фар превратился в два желтых столба, вырывающих из тьмы куски кирпичных стен, мертвые окна, холодные автомобили...

Тетка, обогнав нас, пока Володька втискивал машину в узкую арку, открыла дверцу такого же черного, как и все здесь, микроавтобуса, и оттуда стали выпрыгивать девушки, жмурясь от света наших фар.

— Ну что, — тяжело, как перед неприятным, но необходимым делом, вздохнул Володька, — пошли смотреть.

Они не были так уж откровенно отталкивающи, несимпатичны, но в каждой как бы то ли чего-то не хватало, то ли было лишнее; они не возбуждали, их даже не хотелось потрогать. Они совсем не походили на тех проституток, что я видел в фильмах (даже в документальных), какими представлял их по книжкам, типа купринской Жени, андреевской Любы из «Тьмы»... Девушки были, честно говоря, второго сорта, точно бы из толпы идущих по улице выхватывали не лучших и сажали в микроавтобус... Почти все ниже среднего роста, одни полноватые, другие слишком худые, в обычных курточках, длинноватых юбках или брюках, скрывающих ноги, безинтересные лица, прически... Только одна, выше остальных (да, кажется, и меня), была одета так, что подчеркивалась ее фигура, все эти женские изгибы, выступы... Короткая, до талии, куртка, узкая мини-юбка, туфли с высокими тонкими каблучками, на которых стоять наверняка неудобно, зато со стороны — так возбуждающе... И лицо не то чтобы даже особенно симпатично, но сразу скажешь — это лицо стопроцентной женщины... И глядит так, будто она выбирает...

Я, наверное, слишком задержал на ней взгляд, и тетка посчитала нужным объявить:

— Сто тридцать долларов. Остальные от ста до восьмидесяти.

Я глянул на Володьку, советуясь, брать ли эту или найти что попроще. Он кивнул и полез в карман. Вытащил пачку, выудил несколько нужных бумажек, протянул тетке. Я хотел было тут же отдать ему половину, но одумался, понял, что сейчас это нелепо...

— Все, — сказал Володька и повернулся к машине.

Я и девушка пошли за ним. Ее каблучки громко и как-то остро стучали об асфальт, и от этих стуков во мне появилась смелость; я приготовился положить ей руку на талию. Сейчас так запросто положу, и она не передернется, не откажется, ведь она теперь стала моей...

— Садитесь назад, — не оглядываясь, бросил Володька.

— Аха, — хриловато и суетливо отозвался я, открывая дверцу.

Развернулись в тесном дворике, выползли на светлый от огней витрин и рекламы проспект... Интересно, куда поедет? К нему или ко мне? Лучше, ясно, к нему. Простор, порядок, музыка... У меня в однокомнатке тоже магнитофон, но там как-то убого...

Я сидел рядом с девушкой, моя нога касалась ее ноги в тонком чулке, я вдыхал запах ее духов, косился на нее, видел острый мысок носа, прощипанную бровь, подчеркнутые тушью ресницы, раковинку уха... Она сидела прямо, смотрела внимательно в лобовое стекло, словно запоминала

дорогу... Володька молчал, не выручая меня из неловкости разговором. Первой подала голос девушка:

— А закурить можно?

— Потерпи, — жестко ответил Володька, — тут недалеко.

И нажал кнопку магнитолы. Заколотился рэив...

Недалеко. До моей квартирки действительно недалеко. Ну да, вот свернули на Литейный... Но зачем ко мне? У меня ведь и развернуться негде, и беспорядок... Понятно, не хочет свою светить, мало ли что. Ладно, ко мне так ко мне. Один на кухне будет сидеть, а другой с ней... Что ж, как-нибудь...

Та растерянность, что сопровождала выбор проститутки, почти исчезла, и ее сменило все крепнущее, растущее возбуждение. Ведь вот она, женщина, живая, теплая, мягкая, рядом со мной. И через каких-то полчаса я буду ее полноправным хозяином, буду делать с ней, что захочу... Скорей бы, скорей бы... Года четыре я не был с женщиной, заменяя ее фантазиями или чаще всего просто сном после тяжелой работы на огороде. А теперь здесь, в быстрой, удобной машине, на горящем разноцветными огнями проспекте, я не мог понять, не мог простить себе, что так долго был один, без нежности, ласки, удовольствия, которые может подарить только она... Но через каких-то полчаса, я был уверен, произойдет перелом. Три предыдущих недели в Питере — это привыкание, акклиматизация, и вот последняя ее стадия. Женщина. Их так много здесь, ими переполнены вечерние дискотеки, кафешки, клубы, а я лишь из уголка наблюдал и не решался... Я мог в лучшем случае что-то промямлить барменше в ДК Ленсовета, да и то потому, что встречался с нею чуть ли не каждый день... Пора становиться нормальным.

И я сунул руку между ее спиной и спинкой сиденья, пощекотал выступающие через куртку и — что там еще есть на ней — ребрышки. Потянул к себе. Она чуть-чуть сопротивлялась, но ровно столько, чтобы не опрокинуться на меня. И сдержанно и, кажется, искренне улыбалась.

— Как тебя зовут? — почти прокричал я сквозь музыку.

— Ирина.

— Как? — Я сделал вид, что не расслышал.

— И-ра! — повторила она раздельно, но без раздражения.

А я удовлетворенно кивнул:

— Потянет.

Володька заглушил мотор, убавил громкость своей магнитолы. Вылезать вроде как не собирался. Помявшись рядом с девушкой, я снова забрался в кабину.

— И что? Как?..

— Доставил на место, — равнодушно-безжалостно ответил он и пожелал: — Приятного отдыха.

— А ты сам?

— Да нет, спасибо. — Он, чуть изогнув шею, поглядел через стекло на Иру, и голос его смягчился: — Иди, а то она вон замерзла уже. Не комплексуй. Выпить-то есть чего?

— Нету, — испугался я.

— А резинки?

— А?

— Ну, презервативы?

Я мотнул головой, холодея.

Володька опустил стекло, высунулся, спросил девушку:

— Презервативы есть?

От нее коротко и деловито:

— Конечно.

— Вот молодец. — Шеф похвалил ее и дал мне полупрошепотом ценный совет: — Дверь закрой на нижний замок еще, а ключ спрячь. А то ночью смоемся. Утром-то секс куда приятней... Да, еще, — Володка открыл бардачок, пошарил там, достал шарик фольги, — вот заглотни прямо сейчас. Помогает.

— А что это?

— Экстази. Да не бойся, глотай. Потом пить захочешь — пей побольше воды. Давай, давай!..

Я развернул фольгу, без промедлений сунул в рот маленькую, серого цвета таблеточку. Собрал побольше слюны и проглотил. Корябая глотку, она нехотя поползла вниз.

— Спасибо, Володь! — Я был ему искренне, глубоко благодарен; даже вопрос о деньгах за проститутку решил отложить на завтра, чтоб не опоздать момент финансовыми расчетами...

4

«Рома, дорогой наш сынок, здравствуй!

Сегодня 3 октября. А вчера наконец-то получили от тебя долгожданное письмо и адрес, где ты живешь. Радости нашей не было границ. Для нас твое письмо — настоящий праздник! Как мы рады, что у тебя все хорошо, что ты устроился, Володя предоставил тебе целую отдельную квартиру и возможность хорошо зарабатывать. Но ты все равно сообщи, если вдруг будешь нуждаться!

Что у нас?

Слава Богу, живы и относительно здоровы. Хозяйственные дела двигаются, готовимся к зиме. Выкопали картошку, но точно не знаем, сколько. По крайней мере не меньше, чем в прошлом году. Отец привез еще дров и несколько хороших бревен, ошкурил их — наверное, придется подремонтировать забор.

Завтра собираемся снимать целлофан с теплиц. Огородный сезон закончен. Огурцы и несколько кустиков перца остались только в самой маленькой и теплой тепличке, которая у летней кухни. Цветов на них еще много, но завязи почти уже не появляются. Выкопали чеснок, сушили в ящиках, наберется около ведра — на зиму незаменимые витамины. В общей сложности посолила 25 банок помидоров и огурцов. Сегодня накопала хрена, буду крутить горлодер (очень много доспевает поздних, сморщенных помидоров). Торговля наша закончена, вчера, видимо, в последний раз съездила одна на автобусе с перцем, огурцами, чесноком. Вечером с отцом подсчитали, и получилось, что до 8 миллионов не дотянули всего 62 тысячи.

Отдали в ремонт аккумулятор. Если наладят, может, хватит его и на будущий сезон»...

Я и не ожидал, что первое же письмо от родителей читать будет настолько скучно. Зевота прямо разрывала рот. Я с трудом переползал взглядом со строчки на строчку...

«Вот такие наши дела. Погода у нас пока еще теплая, но по ночам все ближе к нулю. Заморозки были в середине сентября, а теперь бабье лето. Живем мы дружно.

Рома, посещаешь ли ты музеи? Мне так хочется опять побывать в Эрмитаже, в Русском, в Этнографическом, который там, где Кунсткамера. Часто вспоминаю, как часами ходила по ним, не могла насмотреться. Хоть ты теперь бывай чаще!

Какие спектакли идут в БДТ? Если будет возможность, ходи, а потом нам в письмах перескажешь. Ладно? Хоть так прикоснемся к „большой жизни“. И вообще, интересно, что идет в театрах? Больше классика или современное? Как многое хочется знать, как там и что там вокруг тебя.

Очень хочется посоветовать, если выдастся такая возможность, запишись на подготовительные курсы в Пединститут или в университет. У тебя ведь есть способности. Историей увлекался, географией, литературой. Попробуй, может, поступишь. До 27 лет, говорят, можно на дневное отделение бесплатно. А потом захочешь, да поздно будет. Послушай меня, сынок!

Отец передает тебе большой привет, обещает написать на днях большое письмо. Сейчас занят дровами с утра до ночи... А ты передавай от нас привет и благодарность Володе.

Береги себя, будь осторожен во всем!

Мама».

Я сложил лист по старым сгибам, засунул обратно в конверт.

— Ну, что пишут? — тут же вопрос Володьки, точно он не «Мегаполис-экспресс» читал, а наблюдал все это время за мной.

— Привет тебе передают большой... В институт советуют поступать...

— У, эт правильно. Я тоже собираюсь.

— Ты? — Я удивился. — Куда?

— На экономический. При универе открыли коммерческое отделение. В районе двух тысяч баксов за год. — Володька отложил газету, в его голосе появилась мечтательность. — Пора серьезными делами начинать заниматься. Обстановка вроде устанавливается, не сравнить с тем, что еще года два назад было. Разборки насчет каждого киоска, каждой точки, которая и сотни тысяч за день не дает. Кого надо, уже завалили, или они сами исчезли, а кто валил — успокоился. Теперь и нам разворачиваться можно. У меня планов-то — во! — Он резанул себя ребром ладони по горлу. — А мозгов пока не хватает...

— Кстати, — перебил я, — правда, что деньги менять собираются?

— Да не то чтоб менять, просто нули уберут. Было, скажем, десять тысяч, а станет десять рублей, а лимон — тысячей. Удобней, конечно, — меньше путаницы с этими пустыми нулями...

Я пошел во двор покурить. Письмо от родителей все-таки разбередило душу... Обнаружил его сегодня утром в ящике, но сразу прочитать не получилось — в метро была страшная давка, начиная от моей «Лесной» и кончая «Садовой». Но вот прочитал — и перед глазами вместо офиса, Володьки, коробок с обувью — наш огород, по-осеннему одноцветно-коричневый, унылый, усталый после пяти месяцев буйства растений; вспомнились те дела, какие обычно становились важными в конце сентября и в октябре, — за этот короткий срок, между почти летом и зимой, нужно так много успеть. А родители сейчас без меня... отец в одиночку вон дрова пилит...

Хорошо посидеть в такое время на перевернутом дном вверх ведре где-нибудь на бывшей грядке, покурить в кулак, ежась от несильного, но пронизывающего холодом ветра... на пруд глядеть, на дальний посеревший березовый лесок. Листья уже опали, верхушки деревьев кажутся какими-то дымчато-воздушными, способными в любой момент раствориться, исчезнуть... Становится грустно и сладко, хочется навсегда остаться сидеть, смотреть, курить, тоже раствориться в окружающем, готовом к снегу, к месяцам мертвой зимы... И лишь что-нибудь внешнее заставляет шевелиться дальше — поздняя муха, ищущая теплую щель, или, еще лучше, устало гребущие по небу, покрикивающие прощально родным северным землям журавли... А здесь... Накрапывает третий день подряд дождь, однообразно долбят капли крышу полуразвалившегося Никольского двора, такой же полуразвалившийся, изржавевший грузовичок с чурками вместо колес, марку которого (может, «ЗИЛ», может, «ГАЗ») определить издалека уже невозможно... Вот уборщица в черном халате, согнувшись, подковыляла к мусоросборнику, опрокинула в него ведро с чем-то жидким — какими-нибудь помоями из кафе...

Но, слегка тоскуя по деревне, родителям, тому укладу, каким прожил почти пять лет, я, конечно, если б пришлось выбирать, не хотел туда воз-

вращаться. Просто, наверное, необходимо было потосковать. Да и воспоминания рисовали те времена намного благостней, чем они были, и сама тоска была приятна, хотелось наслаждаться ею, разжигать в себе чуть не до слез, в глубине же души зная, что у меня теперь другая, новая, куда более интересная и настоящая жизнь...

Володька все чаще заговаривал о том, что пришло время переключаться на более серьезное дело. Планов своих пока не открывал, может, опасался рассказывать обо всем заранее, и удержаться, чтоб совсем ничего не говорить, тоже не мог. С недавних пор он стал бережливее, строже в документации, активнее метался по городу, обзванивал продавцов в других городах, предлагая новые партии товара, торопя с передачей наторгованных денег; в ближайшее время он собирался в Польшу, чтоб на месте осмотреть новые модели, разведать, что в мире расходуется лучше, закупить приглянувшееся. Может, были у него и еще какие-то цели, о которых он не хотел распространяться...

Вообще, я заметил, он очень скрытен, точнее — до определенной черты мы были друзьями, почти те же пацаны-одноклассники, что и десяток лет назад, но за этой чертой начиналось пространство, на которое ни мне, ни, думаю, любому другому хода не было. Да и немудрено, если знать, сколько раз его кидали и подставляли, сколько раз он разорялся, как приходилось ему изворачиваться, чтоб выжить — выжить в прямом смысле слова.

Иногда, под настроение, он рассказывал мне о начале своего бизнесменского поприща, в девяносто втором — девяносто пятом годах... В конце девяносто третьего, например, когда за гроши можно было приватизировать целые предприятия, Володька, подзаработав на торговле турецкими джинсами, стал совладельцем деревообрабатывающего заводика в Вологодской области. Его партнером был сам директор заводика, мужик хоть и старой закалки, но вроде честный и деловой.

Закупили и стали устанавливать новое оборудование. Вместо простых обрезных досок планировали выпускать качественные пиломатериалы, которые тогда были в особенном дефиците — новорусские замки уже строились, а отделывать их было нечем; Финляндия на всех не успевала... Но очень быстро их обнаружили, и какие-то ребята на побитых «Жигулях» девятой модели принялись настоятельно предлагать продать акции. Володька и директор сперва лишь посмеивались, тем более что ребята установили смехотворную цену, которая не покрывала даже расходов, вложенных в новое оборудование. Попредлагав, ребята исчезли, а потом директор попал в больницу — встретили хулиганы на улице вечером и избили. Володьке в окно кинули гранату, правда, без запала (но, наверное, умышленно без запала — в виде профилактики). Эти намеки Володька понял и уже сам нашел ребят, для порядка поторговался, выцыганил сверх их цены процентов пять и забыл про свою попытку заняться лесом... Недавно он узнал случайно, что директор так и остался директором, живет, кажется, не бедно, завод работает хорошо, поставляет продукцию даже в Германию и Англию. И остается гадать — то ли директор действительно тогда был против предложения тех ребят и его избили, то ли все это заранее специально продумали, выждали, пока Володька раскошелится, привезет оборудование, а потом кинули.

После этой неудачи он вернулся к малоприбыльной торговле джинсами и одно время даже самолично стоял за прилавком на Чернореченском рынке. Там же, кстати, на рынке, он познакомился с челночницей, что возила из Эстонии польскую обувь в простых хозяйственных сумках по десять — пятнадцать пар; брали у нее неплохо. И это подтолкнуло Володьку заняться обувью, предварительно, конечно, найдя надежную «крышу» (он и до сих пор платил ей по семьсот долларов в месяц)... Обувной бизнес

идет неплохо, но настоящего размаха и удовольствия, по словам Володьки, от этого нет.

Параллельно с легальными у него имелись полутайные точки продажи, торговцы работали по договоренности и в случае наездов говорили, что продают свое — «вот прикупил по случаю двадцать пар, стою вторую неделю с ними, да не идет». В документах, как я заметил, непосредственно Торговый дом «Премьер» встречался очень редко, только когда фигурировали крупные партии товара, вместо него же в накладных частенько указывалось то «ИЧП Степанов» с соответствующей печатью, то ООО «Классик» (у Володьки откуда-то взялась печать и документы этой фирмы), и он хранил накладные на три этих предприятия в разных папках. Когда приходила фура из Польши, документы тоже были разные; и Володька, сам, наверное, устав от этих хитростей, частенько вздыхал, что если захотят проверить всерьез — заморочек не оберешься. И добавлял неизменно: «Но иначе никак».

Впрочем, в последнее время он пребывал чаще в приподнятом настроении, и это вряд ли связывалось только со сменой сезона и, значит, улучшением торговли; почитав деловую газету вроде «Коммерсанта» или вернувшись со встречи с партнерами, заварив чаю покрепче, он бормотал довольно: «Кажется, устаканивается... да-а, устаканивается потихоньку...» Расспрашивать подробнее я не решался, да и попросту не хотел забивать свою голову лишним, — главное, что моя жизнь тоже устаканивалась.

Магазин Макса с не особенно благозвучным названием «Экзот» находился на площади возле Технологического института. Я попадал сюда редко, в основном вместе с Володькой, зато, попав, смотрел на товары во все глаза, словно бы оказывался в волшебной лавке. Да он таким и был, этот «Экзот», набитый супермодными безделушками, экстравагантной одеждой и обувью, подделками под индуистскую и африканскую древность.

Глаза действительно разбегались, я снова казался себе пятнадцатилетним подростком, желающим выделиться из общей массы, а здесь для этой цели было все, начиная от рэперских балахонов и переводных татуировок и кончая папуасскими копьями и индейскими амулетами с ладонь величиной... Я часами, и не замечая этих часов, мог бродить взглядом по прилавкам и полкам, где выстроились рогатые мотоциклетные шлемы, разноцветные сапоги на двадцатисантиметровой подошве, лежали благовонные палочки, наборы для пирсинга (в уши такие-то и столько-то колечек, в соски такие-то, в нос такие-то...).

Да, я готов был торчать в магазинчике сколько угодно, ведь сам когда-то тяготел к неформалам, слушал нетрадиционную музыку, пытался вырядиться понеобычной. И старые симпатии просыпались, когда я оказывался здесь...

Подобных мне посетителей торчало в «Экзоте» полным-полно. Каждый раз у прилавка было не протолкнуться, а на пяточке рядом с входом вечно тусовались, пили пиво, забивали стрелку. И возраст таких посетителей колебался от сорокалетних металлистов до пятнадцатилетних рэйверов...

Две девушки — Оля и Маша — вели себя очень гостеприимно, приветливо, но им редко удавалось что-либо продать; почти всегда, наглазевшись, поностальгировав или же, наоборот, помечтав, посетители уходили ни с чем.

Выглядели, кстати, продавщицы под стать товару. Маша — с короткими, крашенными в желтый и зеленый цвета волосами, с колечком в левой ноздре, в пятнистой, какой-то розово-бело-зелено-фиолетовой майке, дерматиновых (под кожаные) обтягивающих штанах и огромных сиреневых башмаках — изображала представительницу кислотной субкультуры. А Оля

была наряжена индианкой — завернута в шафранового цвета блестящую ткань, лицо покрыто темным тональным кремом, глаза подведены так, что казались слегка раскосыми, а над переносицей была выведена жирная точка.

— Слушай, Оль, а ты разве замужем? — спросил я, сделав вид, что не в курсе ее семейного положения.

— Да нет. — Она пожалала плечами, ее раскосые глаза выразили удивление. — С чего ты взял?

— А зачем тогда точка? В Индии, там вроде замужним точки рисуют.

— Не знаю, — ее тон стал сухим и холодным, — я там не была.

А мне, раз уж начал, захотелось беседовать дальше:

— Что, хреново дела идут?

— В каком смысле?

— Ну, торговля.

— Да так...

— Все о'кей! — подала голос Маша. — На двадцать три тысячи уже торговала. Две нашивки и бандана с ромашками. — В голосе явно ирония.

Маша была побойчей, но нравилась мне меньше «индианки» Оли. Да и Оля, если с нее стереть тональный крем и переодеть в нормальное, будет наверняка не ахти... Еще недавно я заглядывался чуть не на каждую более-менее симпатичную девушку, а теперь у меня появилась Марина, та барменша из ДК Ленсовета. Мы встречались с ней, иногда она у меня ночевала, и другие меня мало интересовали, и в то же время я осмелел, неожиданным для себя стал общаться с девушками запросто, мог без опасений сказануть что-нибудь колкое, и они не обижались.

— Оль, покажи-ка мне вон ту статуэтку.

Она послушно взяла с полки сидящего в позе лотос, раскрашенного человечка, подала мне.

— Это кто, Будда?

— Нет, Шримати Радхарани, — без запинки произнесла «индианка».

— А?

— Жена Кришны.

— У-у... И сколько стоит?

— Тридцать пять тысяч.

— И берут?

Оля уныло вздохнула, лицо стало совсем непривлекательным...

А с Мариной я сошелся запросто. Как-то взял и заглянул к ней перед закрытием буфета (или как он там числится — бар? кафе?) и предложил провесты вместе вечер. Не мямлил невнятное, как раньше, а так четко, с достоинством взял и сказал... Она согласилась.

Правда, я был под экстази — после того случая, когда Володька дал мне таблеточку, чтоб я вел себя посмелей с проституткой, я иногда просил у него еще; он давал. Но вообще-то мне было слегка обидно: вот почему ребята так самозабвенно танцуют в «У Клео», а я, лишенный чудесного допинга, вынужден был сидеть в углу, наблюдать и завидовать. Столько вечеров потеряно...

Ну вот. Буфет закрылся, и мы поехали с Мариной в «Golden Dolls», в довольно дорогой клуб, зато престижный, к тому же находящийся в самом центре — на Невском. Не то что «У Клео», черт знает где, в переулке каком-то... Танцевали, в бильярд попытались сыграть, я Марину коктейлями угощал. Она заговаривала о Володьке, хотела узнать, наверное, о нем побольше; я прямолинейно объяснил, что у него девушка, сейчас она в Германии, скоро должна вернуться, дело, кажется, к свадьбе.

И дальше вечер пошел отлично. Она точно переключила что-то в себе, стала раскованной и веселой; когда отдыхать в клубе надоело, я привез ее к себе, благо у Маринки назавтра был свободный день, а я просто не пошел на работу. Позвонил Володьке, сказал, что голова очень болит... Мне

на удивление не было стыдно беспорядка в квартирке, холостяцкой неопрятности, а слова Марины: «Надо здесь генеральную уборку сделать!» — я расценил как намек на возможность наших с ней продолжительных отношений... С тех пор пару ночей в неделю мы проводили вместе. Больше-го, кажется, ни мне, ни ей пока что не было надо...

Томясь ожиданием, когда появится Володька (у него с хозяином магазина Максом и с Андрюхой здесь встреча — сидят уже второй час в Макс-овом кабинете, что-то решают), я продолжал болтать с продавщицами.

— Маш, слушай, давно спросить хотел. — Рядом — на удивление! — не было посторонних, поэтому я не стеснялся. — Ты действительно на кислоте сидишь?

Та сейчас же отозвалась в своем иронично-агрессивном стиле:

— Ага — по три марки в день высасываю. Одну с утра, одну здесь днем, а потом в клубе.

— Ты и в клуб ходишь? — Я сделал вид, что изумлен, — мол, тебе-то куда в клуб? А вслух с деланной завистью поинтересовался: — В какой, коль не секрет?

— В «Голливудские ночи», — хохотнула Маша, давая понять, что в этом клубе она уж точно не бывала, но очень хочет.

— Кру-уть! — как бы уважительно качнул я головой и серьезно добавил: — А мне «Голден Доллз» больше нравится. Цены не слабые, зато такую разрядку получаешь. Как король там... все дела...

Маша тоже стала серьезной:

— Ты правда, что ли, там был?

— Ну да. А что?

— Ведь дорого страшно. Парням вообще, я читала, тысяч двести только за вход.

Я поправил:

— От двухсот пятидесяти до пятисот!.. Там внутри стриптиз с рестораном, танцпол на уровне, контингент — не быдло.

— Везе-от. — Бойкая Маша вздохнула так же, как меланхоличная «индианка» Оля.

Раздухарившись, я хотел было пригласить ее в «Golden Dolls» в ближайший уик-энд, но, слава богу, мне вовремя помешали. Из кабинета вышли парни. У моего хозяина и у Андрюхи лица мрачные, почти что злые, а у хозяина «Экзота» перепуганное и бледное.

Володька, нервно поигрывая барсеткой, постоял посреди магазинчика (причем любопытствующие неформалы незаметно и испуганно стали линять за дверь один за другим), поозирался, точно собираясь броситься и раскурочить прилавки, обрушить полки, потом заметил меня:

— Поехали! — крутнулся на каблуках и грузно, впечатывая шаги, как гвозди в пол, двинулся прочь.

Мы с Андрюхой поплелись за ним. Андрюха осторожно спросил:

— Вэл, до Московского рынка подбросишь? А то я без машины се-ходня...

Из всего окружения Володьки Андрюха был мне особенно симпатичен. Во-первых, я знал его с восемьдесят девятого года, с пэтэушных времен, когда мы жили в одной комнате на Васильевском острове у суровой старухи-блокадницы, которая, кажется, не покидала своей тесной, закопченной кухни и, наблюдая, например, за тем, как мы жарим картошку, неизменно советовала: «Масла-то нужно капельку. Лучше водички подлей. С водичкой она мягче будет, вкуснее...» А во-вторых, в отличие от Джона, Макса, Володьки, которые не курили и почти не выпивали, Андрюха любил водку, и не раз мы с ним вдвоем от души набирались...

Он был родом из-под Краснодара, в его речи явно слышалась хохлацко-кубанская интонация; он мог распалиться от любого пустяка, при споре смешно и страшно округлял глаза... Вообще, на первый взгляд он казался простецким и даже слегка недалеким, но на самом деле зарабатывал довольно хорошо, потихоньку заканчивал юрфак ЛГУ.

В плане бизнеса основной его доходной жилой было мясо, точнее — баранина. Закупал в Саратове и под Самарой и вез ее в пульманах-холодильниках в Питер. Правда, теперь он давно только получал деньги, а весь процесс — закупка, перевозка, реализация мяса — шел как бы сам собой, по созданной Андрюхой когда-то цепочке... Володька, знающий каждого своего продавца, следящий за каждой парой ботинок, частенько вслух завидовал Андрюхиной системе, пытался сделать так и у себя, правда безрезультатно...

Кроме баранины Андрюха держал три киоска на Финляндском вокзале. Он купил их вскоре после возвращения из армии, в девяносто втором, купил за копейки, набил киоски всем, чем только возможно, — от кожаных курток до жвачки и презервативов. Тогда киосочная торговля была очень выгодна: рынки еще не появились, магазины стояли пустыми, — и киоски сделались основным местом, где без проблем можно было купить, например, палку копченой колбасы, или плеер, или банку болгарских огурчиков... Я помню те киоски (пожил после армии, в конце девяносто первого, в Питере), помню, как они один за другим появлялись на людных местах, и в окнах впритык друг к другу красовались эти колбасы, касеты, консервы, утюги, пакеты с китайской лапшой, все вперемешку... Чуть позже и государственные магазины переняли этот метод, и нарушая все законы товарного соседства, в молочном отделе продавались джинсы, кипятильники, сервелат, расфасовывалась гречка...

Этот период у магазинов быстро прошел, но киоски, этикие универсальные коробочки, где можно прикупить все на свете, остались, тем более на вокзалах. Навар они теперь приносили небольшой, но Андрюха не бросал их, не перепродавал, а частенько повторял: «В России киоски — самое надежное дело, пускай малоприбыльное, зато непотопляемое».

Одна лишь проблема в последнее время серьезно волновала Андрюху: как бы, став следователем (а на него он учился, и уже весной ему предстояло защищать диплом), не потерять свой бизнес? Раза два-три он предлагал перевести документацию на мое имя, сделать меня формальным владельцем киосков и директором фирмы по перепродаже баранины; я, конечно, мягко, но однозначно отказывался, меня устраивало мое нынешнее положение — при Володьке.

Такого Володьку я давно не видел — наверное, со школьных времен, когда ему незаслуженно записывали в дневник замечание или выводили за четверть неуд по поведению... А сейчас каждого человека, перебегающего дорогу перед носом его «мерседеса», каждого не спешащего сорваться с места тотчас после появления зеленого огонька светофора водителя он покрывал оглушительным матом, жал на гудок, прямо трясся от злости... Андрюха скромно сидел рядом с ним на переднем сиденье, а я устроился сзади, помалкивал, хотя узнать причину Володькиного бешенства, естественно, очень хотелось...

После довольно долгих и бессвязных чертыханий он повернулся к Андрюхе и прокричал вопрос-восклицание:

— Ну вот объясни, куда можно просрать сорок тысяч?!

Тот лишь пожал плечами.

Спокойствие друга подействовало и на Володьку. Он бросил материть пешеходов и водил; голос его стал почти ровным. И наконец я смог узнать, в чем дело.

— Ведь сколько раз говорил дураку: брось ты свой «Экзот», блин, беспонтовый. Только ведь убытки с ним. Сколько он там за аренду платит?.. Да наверняка не меньше, чем наторговывает за месяц. Придурок, экзотыш гребаный!..

— Да ладно, — отмахнулся Андрюха, — это ж его проблемы. Мы ж ему сказали...

— Но жалко ведь дурака! Ты знаешь, у кого он деньги взял?

— Ну, он называл. Как ехо?.. Филин, Филя...

— Феля! — оборвал вялые воспоминания Володька. — А я, кстати, знаю, кто это такой, — Феликс. Он за сотню баксов глотку любому перегрызет. А здесь — сорок тысяч! За эти бабки четырех заказать можно...

Честно говоря, я мало что понимал, сидя на своем заднем сиденье. Одно более-менее ясно: Макс занял у какого-то Фели-Феликса деньги и вот подходит срок отдавать. И, наверное, просит теперь Макс займы у Володьки и Андрюхи...

— Чего ты-то переживаешь? — флегматично недоумевал Андрюха. — Пускай выпутывается сам.

— Он выпутается, — мрачно хмыкнул Володька.

Под настроение, скорее всего, он гнал машину как только возможно быстро, и буквально за пять минут мы проскочили по Московскому проспекту от «Техноложки» до «Электросилы»... Володька наверняка гнал бы и дальше по прямой, но Андрюха всполошился:

— Э, Вэл, тормози! Мне тут надо...

— Чего? — Тот непонимающе постепенно сбавлял скорость.

— Ну, мне на рынок же... Спаси бох, что подвез.

— А-а, я и забыл...

Да, не слабо Володьку вывел из себя разговор с Максом. Видно было, как злость борется в нем с жалостью и досадой. И чтоб не дать жалости пересилить, он твердо заявил Андрюхе, когда «мерседес» причалил к бордюру:

— Я денег ему не дам. Ты как хочешь, а я — ни копейки. Он мне и так почти тридцать тысяч должен, за товар уже год не расплачивался, а мне сейчас деньги самому... на каждой мелочи экономлю. Сейчас вот в Парголово на точку еду, деньги вышибать... — И перешел на ворчание: — Тоже ни фига платить не хотят. Товар им подавай, а как коснется денежек...

— Да я тоже, — перебил Андрюха, — не собираюсь. Мне он кхто? — ни отец, ни брат... Сам голову должен иметь, если дело завел. Я ж ему там сразу сказал: «Ничем помочь не могу». — И с улыбкой, шутливо добавил: — Ты, Вэл, особо не нервничай, а то до Парколова своехо не доедешь. Оно, хстати, в друхой стороне.

Володька беззлобно ругнулся:

— Пошел ты...

А когда мы, высадив Андрюху, тронулись, в новом приступе злости прорычал:

— Ну я им там устрою сейчас! Три месяца динамят, уроды!.. Что я им, сивка-бурка, что ли, скакать...

Он круто развернул свой безотказный «мерседес» и помчался по Московскому проспекту на север.

5

Бывает, один раз проявишь участие, а потом из-за этого приходится испытывать неудобства; поможешь человеку — и не знаешь, как отвязаться от его затянувшейся благодарности.

Вот однажды, возвращаясь домой поздно вечером, я увидел на площадке третьего этажа вдрызг пьяного мужичка. Навалившись на дверь, он совал ключ в район щелки замка и, конечно, не попадал.

Я уже прошел было мимо, но мужичок очень жалобно попросил: «Послушайте, пожалуйста, помогите, а. Не могу что-то я совсем...» И я помог, открыл ему дверь, даже проводил-доташил до дивана. Он свалился и захрапел. Я вышел, захлопнул дверь, спокойно добрался до своего дивана и тоже лег спать.

А через два дня снова встретил его. Мужичок был трезв, он заулыбался и стал благодарить: «Спасибо, что так тогда... Иначе в парадном ночевать бы пришлось, почки б опять застудил. Спасибо!» — «Да ладно!» Я уже почти и забыл об этом случае. Тут мужичок достал из кармана плаща бутылку «Пшеничной»: «Может, пропустим? Познакомимся. Мало теперь хороших людей».

Он не слишком напоминал уличных алкашей, скорее полуспившийся, слегка чокнутый интеллигент, каких в Питере через одного, из категории так называемых «соловьев». Вроде алкаш, но алкаш много знающий, размышляющий, имеющий на все свою точку зрения... Тогда, в восемьдесят девятом, перед армией, я, попивая «Жигулевское» в павильонах, помнится, жадно слушал их беседы про врагов-коммунистов, про Ельцина, «Демсоюз», психушки... И вот представилась возможность непосредственно с одним из таких пообщаться, тем более — под бутылочку... Черт меня дернул согласиться...

С тех пор два-три раза в неделю, по вечерам, приходилось сидеть с ним и пить. То у меня дома, то у него. У него никого нет, мать умерла года три назад, отец еще когда-то давно ушел из семьи, а жениться так и не получилось... У меня была Маринка, но она ночевала не каждый раз, и вот мои одинокие вечера стал делить Сергей Андреевич, бывший художник-оформитель из БДТ. Может, врал, хотя если и врал, то правдоподобно, — рассказывал интересно про Басилашвили, Олега Борисова, Юрско-го, Товстоногова, моего любимого актера Копеляна; дома у него валяются старые эскизики, выдавленные тюбики с остатками засохшей краски. Но куда больше театра он любит рассуждать о политике и экономике, а меня от них неизменно клонит в тяжелый, неосвежающий сон.

После каждой такой посиделки, проснувшись утром с очугуневшей головой, я клялся себе, что это было в последний раз, но проходила пара дней, и сосед Сергей Андреевич снова преграждал мне путь на площадке третьего этажа, улыбался и сладким, жалобным голосом предлагал: «Пропустим? После рабочего-то дня. У?...»

Вот и сегодня мы сидели на моей кухоньке за квадратным белым столом. На столе традиционная бутылка водки, на этот раз «Сибирская» (узнав, что я из Сибири, Сергей Андреевич стал приносить «Сибирскую», сорок пять градусов), хлеб, порезанные толстыми ломтями ветчина и сыр, еще соленые огурцы, что продавали старухи возле метро по пять тысяч за полкилограмма. Из комнаты накатывали волнами мелодичные песни радиостанции «Максимум».

— Бизнес, Роман, — это, да, не спорю, занятие дельное, — медленно, точно бы разгоняясь, произнес Сергей Андреевич после первой же рюмки. — Только, видите ли, таких, как вы, бизнесменов, их миллионы, а пользы государству от вас ни на йоту.

— Да не бизнесмен я никакой, — пришлось перебить. — Сто раз говорил: я просто рабочий. Работаю у своего хозяина грузчиком. Он бизнесмен.

— Ну какая, в принципе, разница! — Голос соседа не изменился, ему, как я заметил, все равно, о чем говорить, только б произносить звуки, шевелить языком и, может, заодно слегка и мозгами. — Он главный бизнесмен, а вы помогаете. Без таких, как вы, они бы ничего не смогли. Согласитесь.

Я усмехнулся, но спорить не стал — пускай гонит свою пургу. Скучны, конечно, эти наши вечера, только что еще придумать — в клубе торчат тоже уже надоело, Маринка ночует дома, а спать рано...

— Да, пользы нет, зато развращение — в грандиозных масштабах. Я не о вас и вашем этом... хозяине, а в целом по стране. Я телевизор смотрю, газеты читаю, хожу по улице и вижу: зреет уже кое-что. — Сергей Андреевич взял бутылку, плеснул в рюмки по чуть-чуть. — Вижу, Роман, негодование зреет. Про «Атлант»-то слышали?

— Про что?

— Ну, магазин такой мебельный есть на Литейном. Огромный такой, трехэтажный. Неужели не видели?

Я пожал плечами:

— Мало ли их...

— Ну, этот везде рекламируют. Мебель для господ... Ну ладно, не в этом дело. Сейчас... — Сосед не чокаясь выпил; я тоже выпил, конечно. — Ну и вот... Решили там такую акцию сделать. В витрине соорудили как бы комнату, обставили так... мебель, все прочее. Я сам ходил, видел — ну, как в квартире настоящей, богатой. Евро, в общем... И понимаете, засунули туда парня и девушку, живых. И они там стали жить, показывать, как им там хорошо, удобно при такой мебели.

Я опять усмехнулся, но теперь сам почувствовал, что усмехнулся веселей. Действительно забавно, если не врет соседка. И уточнил:

— И ночевали там же?

— Ну. Постель у них, балдахин, все прочее.

— Надо съездить посмотреть. Где, говорите, находится?

— Уже, — хехекнул Сергей Андреевич, — уже не находится. Инцидент там случился. Буквально вчера по телевизору было, на шестом канале. Лопнуло терпение у этих, у лимоновцев, — пришли и стали закрасивать витрину красной краской... — Рука соседа тем временем снова плескала в рюмки «Сибирскую». — Люди на улице аплодируют, эти, из «Атланта», выскочили, охранники всякие. Наряд вызвали. Драка случилась, кто-то стекло раскрошил... Ну, в общем, прикрыли позор...

— Почему же позор?

— Да как! — Мое несогласие слегка взволновало соседа. — Как не позор, когда каждый стоит и глазеет, как ты там живешь в витрине. Еще не хватало, чтоб унитаза выставили, — развращение, так уж давайте по полной программе!..

— Но погодите, — перебил я, — им же, наверное, заплатили за это, и не слабо, думаю.

— Да уж само собой. Только, Роман, вы поймите...

И так два-три раза в неделю. То он доказывает мне, что надо творчеством каким-нибудь заниматься (сам он рисует питерские пейзажики), то про религию рассуждает — дескать, без Христа в душе человек почти что животное, — то вот всячески ругает сегодняшнюю жизнь, нравы. Развращение, как он выражается...

Я то и дело пытаюсь спорить, но вовремя останавливаюсь, понимаю: не стоит. Лучше уж так сидеть, пропуская время от времени по тридцать граммов. Постепенно опутываться дремой. То же самое я делаю и сейчас. Отмалчиваюсь, курю «Бонд» сигарету за сигаретой, чтоб ускорить действие водки. А сосед, рассказав об инциденте у магазина «Атлант», занялся воспоминанием прошлого:

— Вот вы, Роман, вы вряд ли знаете Невский другим. А знаете, как было красиво — дома без всяких этих реклам, строгие такие, открытые. Идешь и видишь не «Мальборо», «Нескафе», «Обмен валюты», а саму архитектуру. Были, конечно, вывески, но неброские, чисто информационные — «Гастроном», «Кинотеатр», «Котлетная», «Пельменная»... Совсем другой вид наш Ленинград имел, а теперь — бирюлька какая-то... Нет, вы б лет десять назад на него посмотрели, вы по-другому бы...

«Да видел я, видел! — захотелось выкрикнуть. — Видел — тоска каменная».

— Бедность, убогость, говорят, тогда были, — продолжал пилить мне мозги сосед. — На самом же деле, клянусь, — нет. Совсем нет! И не верьте им, Роман. Другое было — умеренность. Понимаете? — умеренность. Вот давайте логически порассуждаем...

Да, это его излюбленное словосочетание — «логически рассуждать». Не может он жить, чтоб не рассуждать, как, впрочем, кажется, все представители этого типа, «соловьи»... И, заглотив порцайку «Сибирской», стараясь поймать мои глаза своими, он медленно, чуть не по складам начал:

— Сейчас вот жалуются на безденежье. Так? Так. Все причем! Но одно дело — когда действительно есть нечего, а другое... — Сергей Андреевич чуть замялся, видимо, подбирая слова, — ну, когда платят, и нормально, в общем, но денег все равно не хватает. Дело в том, что сейчас никаких денег не хватит! Два миллиона, три миллиона, пять, десять — все равно мало. И причина тому, — он вновь оживился, словно нашел ответ на самый сложный вопрос, — причина, Роман, — в развращении! На каждом углу, из каждого магазина, отовсюду: «Покупай!» Эти киоски с шавермой, «Макдоналдсы», куры-гриль на всех углах, и все вопят: «Подходи! Покупай! Жри!» Пассажи, бутики свое: «Одевайся! Распродажа! Давай-давай!» А из телевизора... Как тут не купишь, не клюнешь... Совращают, развращают людей, вот в чем проблема. Потому и убивают друг друга, чтоб деньги из кармана вытащить и шавермой обожраться. Потому и работать не хотят на нормальных местах — зачем работать за копейки, ведь все равно зарплаты не хватит, чтоб человеком побыть. Понимаете, Роман?.. Вот поэтому... поэтому я и против времени этого со всеми его свободами, хотя и рад был, когда оно наступало, — против бизнесменов, которые на самом-то деле спекулянты простые...

— Да почему спекулянты-то?! — оскорбился я за Володьку, Андрюху, других знакомых ребят. — Имеют свое дело, крутятся.

— Свое ли? — Сосед как-то кривовато, саркастически улыбнулся, выжидающе уставился на меня. — У, молчите. Хм... Чужое они дело захватили, государственное... То есть даже не захватили, а Гайдар с Чубайсом им сами все спихнули. Заводы, скважины нефтяные, банки... Приватизацию помните? Ваучеры?.. Вы свой, не секрет если, куда дели?

— Пропал.

— М-м, ясно... А за сколько?

— За семь тысяч. Выпивали с парнями, — пришлось разоткровенничаться, — я тогда с родителями в другое место переезжал... Ну и обмыли...

— Хоть с пользой какой-то. А я свой в «Хопёр» отдал. Думал, на проценты жить буду. — Сергей Андреевич хмыкнул, взялся за бутылку «Сибирской». — Хорошо хоть, что просто ваучер, а кой-кто даже квартиры продавали, меняли на бумажки... Жили, например, в двухкомнатной, а захотелось три комнаты... А в итоге — на улице... Пропустим?

— Давайте... — Тянуло возобновить разговор, узнать, почему это Володька и такие, как он, — спекулянты (по-моему, так они даже полезное делают, насыщают рынок), но не хотелось напрягаться. Пускай сосед бормочет, что на ум придет, а я буду просто сидеть, пить, закусывать...

Некоторое время сидели молча. Из комнаты — красивая песня с арабскими мотивами. Она убаюкивала, точно и слова в ней были о том, как хорошо лечь в постель, раствориться в сладости сна... Бутылка почти опустела, сосед, кажется, устал от речей. Свесил голову, в руке — забытый надкушенный кусок ветчины... Задремал, что ли?..

Но я ошибся. Оказалось, он просто думал, готовился к выплеску очередной волны размышлений.

— Приватизация, всякие залоговые аукционы... Да собралась просто кучка в двадцать рыл и разделила все, что семьдесят лет миллионы строили, создавали. После войны... У меня ведь родителей сюда в сорок пятом привезли из-под Рязани откуда-то. Им тогда семнадцати еще не исполни-

лось, здесь и сошлись, поженились... Вкалывали на Кировском заводе, жили на казарменном положении в доме, где и при царях рабочие жили. Хуже крестьян... Отец сразу, как можно стало, сбежал, а мать ленинградской себя почувствовала... и что — в тридцать шесть лет первую группу инвалидности получила... Лучшие годы на нее потратил, горшки таскал... А теперь?.. Все, что такой ценой досталось, — у них... И мы все у них, а кто лишний — мечтает о том, чтоб тоже к ним в кабалу... Как же я могу их любить? Да я их душить всех готов.

— Но не все же такие, — не удержался, возразил я. — Есть нормальные бизнесмены. Володька вот...

Сосед-субутыльник сморщился, махнул рукой:

— А-а, знаю я вашего Володьку. Чем он лучше? Перекупщик, как все, спекулянт. Чем он там занимается? — обувью, говорили...

— Обувью. Обуваает народ в нормальное...

— В чужое обуваает! В чу-жо-е! — перебил, прямо вскипел Сергей Андреевич. — Вот если б он эту обувь сам шил, сам продавал в лавочке, вот тогда б я его, может быть, зауважал. А так... Было время правильное, короткий, правда, период... Помните, о кооперативах везде трезвонили? В конце восьмидесятых примерно. А?

— Ну было вроде...

— Да не вроде, не вроде, а точно. Вот тогда, Роман, было справедливо!.. Я кроссовки на Гоголевском рынке купил. Было это... гм... в восемьдесят восьмом, в восемьдесят девятом, не позже... Позже уж ничего хорошего не было... Ну и носил их пять лет без проблем. Представляете? И симпатичные такие кроссовки, хотя самодельные явно. А главное — пять лет! Носил, пока подошвы не стер. До сих пор на полочке стоят. Как память.

Я сам разлил по рюмкам остатки «Сибирской», выдумал даже тост, чтоб нормально завершить наш очередной совместный вечер:

— Так давайте за честный бизнес!

Но Сергея Андреевича было уже не так-то легко остановить.

— А что теперь? — не услышав тост, продолжал он «логическое рассуждение». — Наймут или купят помещение в готовом доме, придадут кое-какой цивилизованный вид, возьмут товар под реализацию — и погнал. Или если завод... Станки не меняются, цеха не подновляют, даже вон рабочим платить не хотят. Лишь бы урвать поскорей и побольше... И скоро, Роман, поверьте, так рухнет, что все поразнесет. Кондессю вечно денежки подкидывать нам не будет...

Я выпил в одиночку, посмотрел на часы. Половина двенадцатого. Что ж, пора закругляться.

— В девяносто втором так идешь, — нестерпимый уже голос соседа, — смотришь на человека, и он явно тебе врезать готов. Ненависть в нем такая... А смотришь сейчас — смирился. На все готов, ко всему приспособился... Не-ет, господа, еще хуже будет...

Ладно, хорош!

— Сергей Андреевич, допивайте, пора, — громко, почти грубо перебил я и соврал для верности: — Девушка вот-вот прийти должна... Ну понимаете?..

— Понял, что ж... — Он бросил содержимое рюмки в рот, громко выдохнул и поднялся: — Не буду мешать.

Но на пороге притормозил, поинтересовался:

— Хорошая девушка? Я видел тебя... извини, вас... с какой-то... Она?

— Да, она.

— Тоже, хе-хе, бизнесменка?

— Вы что... В буфете работает целыми днями. В ДК Ленсовета.

— О, вот это хорошо! — Сосед даже ткнул меня пальцем в грудь. — Вы смотрите, Роман, работающие — это да!.. Если достойна — женитесь. Вам уже срок. Детишек надо рожать... Вы, кстати, русский?

— Наверно... По паспорту.

Сергей Андреевич насторожился:

— А так? Как у вас фамилия, если не секрет, конечно?

— Н-ну, Сенчин.

— Сенчин? Гм... а ты не родственник этой? — Сосед попытался напеть: — Та-ра-ра-ра, соловей нам насвистывал...

— Не знаю. — Я уже с трудом сдерживался, чтоб не вытолкнуть его на площадку. — Давайте в следующий раз об этом.

— А, да, заболтался. Счастливо!

Я наврал, но, упомянув о Марине, захотел, чтоб она появилась. Взяла б да приехала в мою прокуренную, по-холостяцки неуютную квартирку, оживила ее... Обнять, уронить на диван...

Вяло убрал со стола следы посиделки, грязную посуду сгрузил в раковину. Мыть было лень. Закурил, выключил свет на кухне и долго глядел в окно... Снег, безлюдный двор, черные, колючие силуэты малорослых деревьев... Вообще-то хорошо, что окна выходят во двор, а не на шумную улицу Харченко. А с другой стороны, посмотришь пяток минут — и такая тоска... Что ж, за окном все-таки не Финский залив, в который скатывается по вечерам красное солнце...

Затушил окурок, прошел в комнату. Выключил магнитола. Может, посмотреть телевизор?.. Попал на новости... Развитие скандала с гонорами нескольким членам правительства за предполагаемую книгу «История российской приватизации»... Сенсационная запись телефонного разговора двух крупнейших олигархов, обсуждающих раздел сфер влияния в СМИ... Кабинет министров и Минфин России сделали заявление, что курс обмена до двухтысячного года устанавливается на уровне не выше шести рублей двадцати копеек за один американский доллар... По неподтвержденным данным, бывший мэр Санкт-Петербурга Анатолий Собчак находится в столице Франции...

Поблуждав по цепочке каналов, остановился на MTV. Полуголые девушки извивались перед каким-то то ли испанцем, то ли латиноамериканцем, а тот, блестя потом, тонкоголосо намурлыкивал нечто нежное...

В конце концов я набрал номер Маринкиного телефона. Ее мать за спанным голосом спросила: «Кто?» Не отвечая, я положил трубку. Не стоит... Действительно, глупость — в первом часу ночи предлагать девушке ловить машину и приезжать, да она и не согласится. Тем более — завтра на работу...

А сна нет. Пока сидели с соседом, пока он гнал свои бесконечные рассуждения, глаза слипались, а теперь нет и намека... И выпитой четверти литра не чувствуется... Что ж делать...

После испаноязычного запела англоязычная. В легком фиолетовом платьишке, с желтыми волосами, пухлыми румяными щечками... Теперь вокруг нее извивались, но на сей раз мужчины. Слегка прикоснулись к ней, вроде хотели погладить, и тут же отдергивали руки, как будто дотрагивались до раскаленного. А она так танцевала, так дергала своим молоденьким телом, что наверняка и вправду могла раскалиться... Да, возбуждающе...

Я еще понажимал кнопки дистанционки, надеясь найти какой-нибудь увлекательный фильм. Но не нашел. Бросил пульт на газету. Тут же, от скуки, заинтересовался этой газетой... А, свежий «Шанс». Купил вчера ради телепрограммы, а в ней ведь есть кое-что и посущественней... Вот, в самом конце. Раздел «Разное». Бани, сауны, массаж, досуг... Взгляд побегал по столбцу слов и цифр...

Лена. И телефон такой-то.

Лолита+...

Лучший отдых...

Массаж! Сауна! Выезд! Выбор!..

Настя...

Недорого...

Недорого!..

Я снял трубку и позвонил по одному из номеров. Заказал «Дашеньку»... Через двадцать минут мне ее привезли. Выглядела она не очень, но и цена разумная — двести пятьдесят рублей за час. Я не пожалел.

6

Новый, девяносто восьмой год Володька, Андрюха, Джон, еще несколько ребят и их подруг решили встретиться на берегу Персидского залива в Дубае. Даже Макс, вроде бы уладив свои финансовые проблемы, купил путевку для себя и своей Лоры. Я же оставался в промозглом, сыром, по-декабрьски сумрачном Питере «следить за офисом», как объяснил мне шеф.

Конечно, приятного в этом было не много, да и завидно, но с другой стороны — спасибо и за то, что уже сделал для меня Володька. Наглеть тоже пока не стоило.

Поездке некоторое время угрожала авиакатастрофа как раз под Дубаем таджикского, кажется, «ТУ»; впрочем, тревога ребят держалась недолго, и поздно вечером двадцать восьмого декабря они улетели... Провожать их я, само собой, не стал, на этот вечер у меня были другие планы: я заехал в магазинчик Макса и пригласил-таки «кислотницу» Машу в «Golden Dolls». Сперва хотел Олю, ту, что изображала индианку, но передумал — слишком она меланхоличная, хотя внешне и ничего, а с Олей, кажется, не соскучишься...

Денег я не жалел — Володька оставил на жизнь триста долларов, и своих у меня скопилось почти полторы сотни. С такой суммой (две с половиной тысячи новыми рублями) можно было не стесняться.

А вот Маша стеснялась... Я забрал ее сразу после закрытия «Экзота», в этой ее разноцветной маечке, псевдокожаных штанах, ботинках на десятисантиметровых платформах. Правда, куртка у нее оказалась самой традиционной — коричневая кожа, длина почти до колен, полоски искусственного меха на воротнике и рукавах... В этой куртке и с желто-зелеными волосами, с килограммом колечек в ушах, проколотой ноздрей, кругами синей туши вокруг глаз, черной помадой на губах выглядела Оля довольно нелепо. Она сама понимала это, комплексовала на всю катушку, робела и жалась к стеночке, когда мы входили в самый, наверное, престижнейший из общедоступных ночных клубов города.

Я тихо спросил ее:

— Ты спецом так выглядишь, под стать своему товару? Макс велел?

— Ну да, почти, — кивнула она. — А что?..

— Так просто. — И, успокаивая, я похлопал ее по плечу: — Ничего, сейчас оторвемся!

Чем хороши клубы (не считая, ясно, каких-нибудь дешевых, для панков) — в них люди выглядят куда привлекательней и симпатичней, чем в повседневной жизни. Даже не привлекательней и симпатичней, а чище, что ли. словно бы одежда на них самая свежая, все они только что побывали в душе, они никогда не потеют, не ходят в туалет; у девушек не бывает критических дней. Этакие небесные существа, на время принявшие облик людей. И девушки, и парни. И полные, и худые. И в темной одежде, и в светлой... У многих, думаю, такое же впечатление, в первую очередь насчет себя, потому и не пустеют ночные клубы, они необходимы, чтоб человеку почувствовать себя человеком.

— Что, сперва по коктейльчику? — спросил я Машу, стараясь перекрыть музыку из танцзала.

Маша кивнула.

Я купил два коктейля «Тропический бриз». Мы уселись на высокие табуретки у стойки и стали сосать горьковато-терпкую жидкость. Обвыкались...

Клуб действительно неплохой. В старинном доме, рядом с театром Акимова. Несколько залов. В одном можно активно колбаснуться под рэйтв, в другом потоптаться с девушкой под медленную мелодию, в третьем — как-то причудливо он называется... что-то там «...аут», — отдохнуть, даже подремать на кушетке или подружку поласкать... Есть еще вот бар, есть и чопорный ресторан, есть вип-зона, куда я, правда, пока не осмеливался пробраться, есть — в подвале — стрип-шоу. Там столики, удобные мягкие стулья; одни девушки, в позолоченных фартучках, разносят выпивку, блюда, а на сцене другие — танцуют и потихоньку раздеваются.

В стрип-зале, хотя вход в него без всякой доплаты, людей обычно бывает не много. Все-таки стриптиз — зрелище специфическое, да и с подругой туда как-то неловко идти, не каждая и согласится... Сейчас я как раз и размышлял за коктейлем, предложить или не стоит Маше спуститься в подвальчик. С Мариной мы однажды спустились туда вместе, и она через пять минут, поскучев, насупившись, предложила уйти. Заревновала, что ли...

— Может, потанцуем маленько? — Я поставил пустой стакан на стойку бара.

Маша улыбнулась и снова кивнула.

Пошли танцевать.

Еще три месяца назад я затравленно прятался в уголке клуба «У Клео», с завистью, отвращением и любопытством наблюдая за извивающимися в блесках света девчонками и парнями. А теперь без всяких раздумий бросался в гущу танцующих и лишь изредка досадливо ухмылялся, вспомнив себя трехмесячной давности... Даже экстази мне теперь было не очень-то нужно.

Мы побывали сначала в том зале, где молотил рэйтв, потом, устав, переместились в другой, пообжимались под медленную композицию...

Машина робость, почти покорность (на любое мое предложение она неизменно кивала) придавали мне уверенности; я казался себе богатым кавалером, выведшим в свет зачуханную провинциалку, и мог делать с ней теперь все, что угодно, — она на все готова за эти несколько минут счастья.

И вот мы спустились в подвальчик, сели за круглый мраморный стол. В нескольких метрах от нас, на возвышении, постепенно оголялась под музыку стройная черноволосая девушка. Маша тарасилась на нее с удивлением и чуть ли не завистью.

— А ты на такое же место устроиться не пыталась? — в полушутку спросил я. — Платят-то наверняка раз в десять больше, чем Макс.

— У меня фигура плохая, — чистосердечно вздохнула Маша в ответ. — Грудь маленькая, ноги слишком сухие...

— Хм, самокритично.

— А чего скрывать? Не повезло.

Мне стало неловко от такой ее обреченной откровенности. Безысходностью потянуло... Поспешил успокоить:

— Ладно, не в этом счастье. Ты особенно не расстраивайся.

Подошла официантка в позолоченном фартучке, надетом на голое тело:

— Заказывать что-нибудь будете?

— Два «Невских», — ответил я не раздумывая, но и не слишком поспешно. — Два «Невских» больших и горячих чипсов.

Чуть поклонившись, официантка направилась к бару, перекатывая полушария обнаженного зада, о который так возбуждающе похлопывал пышный бант тесемок фартука.

— А ты сама питерская? — повернулся я к Маше.

— Да нет, ты что... из Рыбинска. В девяносто первом сюда приехала, после школы, на парикмахера хотела учиться...

— Это тебе уже, значит, двадцать три! — удивился я. — Нормально выглядишь, лет на девятнадцать.

Она лишь усмехнулась, перевела взгляд на черноволосую, которая, томно выгибаясь, скатывала чулок со своей левой ноги, затем продолжила откровенничать:

— Проучилась полгода — и училище закрыли... Из общежития гостиницу сделали, а из училища — какой-то финансовый колледж... Я сначала посудомойкой в кафе устроилась, на проспекте Ветеранов, комнату с подругой снимали... почти все деньги на нее тратили. Зарплата у меня вообще была... хорошо хоть, что рядом с продуктами — кафе все-таки...

Я перебил:

— А домой что не вернулась?

— Нет-нет! — как-то судорожно мотнула она головой, на лице появилась чуть ли не ужас. — Туда — нет...

— Что, батя пьет, мать болеет, живете в однокомнатке? — догадался я и почувствовал, что голос мой сделался ироничным, а губы покривились в ухмылке. — Так?

Маша то ли не заметила этого, то ли не захотела заметить. Лишь согласенно кивнула и снова устала на сцену... Черноволосую сменила крашенная блондинка в синем стюардессовском костюме, белой блузке под пиджаком, в кокетливо висящей над левым ухом пилотке. Покачиваясь в такт музыке, блондинка стала расстегивать пиджак. Зрители одобрительно загудели в преддверии очередной порции удовольствия.

Официантка принесла пива. Я тут же расплатился. Двадцать рублей за свежеприготовленные чипсы и шестьдесят четыре рубля за две поллитровые кружки «Невского», которое в магазине стоит двенадцать рублей. Но в магазине нет уютного, теплого зала, раздевающейся стюардессы...

— Ну а теперь как? Более-менее? — захотелось продолжить мне разговор.

— Да так... В любой момент может кончиться... Максим все психует, торговля совсем плохая... — Маша, стараясь сделать это изящно, положила в рот кругляш выжаренной картошки, запила «Невским». — Он тут совсем хотел магазин закрывать, но опять денег где-то нашел. Хотя, если честно, мне наш магазин нравится, не скучно работать...

— Мне тоже нравится. А платит как?

— Пятьдесят долларов в неделю.

— Это значит, — я в уме округлил доллар до пяти рублей, умножил, — двести пятьдесят нашими. В месяц — тысяча. Не очень-то.

— Ну, вообще-то хватает, хм, если по клубам не ходить особенно. И тем более я же не каждый день работаю. Отдыхаю в понедельник или во вторник. Меняемся с Ольгой...

— А у нее как жизнь? Какая-то она неживая. Хотя выглядит почти супер.

Маша пожала плечами:

— Тоже проблем хватает. Она еще на заочном учится. Переводчица с испанского.

— Я-асно. — Я хлебнул пива, кивнул на Машину кружку: — Пей давай, а то выдохнется.

Часа в два ночи мы вышли на Невский.

— Тебе куда? — спросил я, закуривая.

— На Подвойского. Знаешь, где кинотеатр «Буревестник»?

Я точно не знал, где это, но понял, что наверняка не близко. Потоптался на тротуаре, глядя направо-налево; жизнь проспекта почти замерла, да и погода была не очень-то — ветер со стороны Адмиралтейства, сухой снег кружится мелкими вихрями.

— Слушай, — предложил я таким тоном, будто эта идея пришла мне в голову только сейчас, — а давай у меня переночуешь? Тут рядом, в принципе, возле «Лесной». Тачку сейчас поймаю...

— Хорошо, — запросто согласилась Маша. — Дай, пожалуйста, сигарету.

Тридцатого декабря, ближе к вечеру, пришла фура с обувью. Хотя я и знал об этом заранее, но в глубине души все надеялся, что она задержится где-нибудь на польско-литовской, или литовско-латвийской, или (что бывало чаще всего) латвийско-российской границе и доберется до нас, уже когда Володька снова окажется в Питере; все-таки принять товар — дело тяжелое и ответственное, поди уследи, те ли модели, какие заказывали, то ли количество, цвет. С ума, в общем, можно сойти... И в то же время, особенно когда с улицы донесся басовитый камазовский гудок, я почувствовал себя точно бы старше, умнее, значительней, что ли.

Бросил компьютер, где с половины десятого громил фашистскую лабораторию по созданию монстров-убийц, подхватил ключи, блокнот и побежал на склад.

Экспедитор оказался знакомый, почти все фуры приходили в его сопровождении. Это меня несколько успокоило — Володька ни разу, кажется, не обнаруживал какие-то несоответствия, когда за груз отвечал этот парень.

— Здорово! — улыбнулся он и протянул для пожатия руку. — А где Вэл?

— Я за него, — постарался я сделать голос солидным и стал открывать ворота.

Тут как тут возле «КамАЗа» замаячили двое мужичков; их я тоже знал, они вечно околачивались в районе Никольского двора в ожидании подработки.

— По полтосу на каждого, — объявил я, — согласны?

Те не стали торговаться...

Я встал в проеме ворот с блокнотом и накладными в руке, мужички таскали коробки на склад, экспедитор им подавал из кузова... Подобно Володьке, я каждый раз останавливал грузчиков, смотрел ярлычок на боковине коробки и распоряжался, куда ее ставить; в блокноте же делал пометку.

Женские полусапожки, модель такая-то; мужские ботинки, модель такая-то; женские туфли, модель такая-то; сапоги, ботфорты, ботинки, ботинки, кроссовки, сандалии, босоножки, туфли, полусапожки... Кожа-лак, кожа-велюр, нубук, замша, мех натуральный, мех искусственный... Цвет черный, цвет синий, цвет кремовый, желтый, белый, зеленый с алыми разводами (это для Макса наверняка), сиреневый, коричневый, фиолетовый...

Через десяток минут голова отяжелела, в глазах зарябило, язык стал заплетаться, рука показывала не туда, куда надо, и мужички уже сами, глянув на ярлычок, несли коробку на положенное место, в определенный штабель...

В те моменты, когда не надо было контролировать, я с завистью глядел на шофера. Он тоже был мне знаком (видимо, они работали в паре с экспедитором) и, как обычно, разминался, гулял неподалеку от кабины «КамАЗа», попивая свою неизменную кока-колу... Что ж, он свое дело сделал, теперь отдыхает.

Зазвонил телефон. Я не додумался взять трубку с собой и теперь мялся, не зная, что делать, — страшно было оставлять мужичков без присмотра (вдруг что, а экспедитор не заметит), но и звонок может быть важным.

— Так, погодите минуту, — решил я, остановил я грузчиков. — Перекурите. — И побежал в офис.

— Алло!

— Роман? — В трубке голос Марины. — Привет, как дела?

Обычно я радовался ее звонкам; я снова научился, как когда-то, в пятнадцать лет, часами болтать по телефону, сейчас же, конечно, почувствовал почти бешенство. Там, может, коробки налево таскают, а она по пустякам...

— Извини, говорить не могу, — скороговоркой ответил, — принимаю товар. Перезвони через час.

— Я хотела только...

Я нажал кнопчку «OFF»... Пусть обижается, дело ее... Рисковать из-за ее кокетливого голоса я не хочу. Да и вообще — я на работе...

— Так что, продолжаем? — Встав на свой пост, мельком, но цепко оглядел грузчиков, экспедитора, положение коробок.

Забывчивав сигареты, грузчики принялись дальше зарабатывать обещанные полтинники.

И снова — женские туфли, женские полусапожки, мужские ботинки, детские туфли на девочку, кроссовки... Внутри склада выросли колонны, пирамиды, создавались из коробок причудливые лабиринты. Такой просторный и полупустой еще утром, теперь он на глазах уменьшался, зарастал картонными кубами. И я уже стал опасаться: войдет ли все, что привез «КамАЗ», влезет ли?.. Ну и заказал в этот раз Володька! Впрочем, он объяснял, что конец года — цены пока одни, а после праздников наверняка снова подскочат. Инфляция ведь не только у нас, в Польше тоже не слабой. Так что вот приходится...

Но все же в конце концов кончилось, влезло. Я вымотался, кажется, похлеbbe грузчиков; руководить — тоже еще какая работка... Стальные створки ворот показали мне настолько тяжелыми, что я еле сдвинул их. Три раза провернул ключ в замке, проверил — заперто. Через дверь вышел на улицу.

Первым делом расплатился с мужичками. Те спрятали пятидесятирублевки в карман, кивнули на прощанье и, закурив бычки, побрели искать новую подработку. А мы с экспедитором засели в офисе и долго сверяли пометки в моем блокноте с накладными. По двум моделям количество расходилось, и нам пришлось выискивать их в складских лабиринтах, пересчитывать коробки. По одной модели выяснилось быстро, а по второй получилась серьезная заморочка. Грузчики напутали, поставили три коробки женских замшевых полусапожек к женским полусапожкам из нубука, а я тоже каким-то образом не отметил как раз эти три коробки в блокноте. Моя ошибка наложилась на их ошибку, и получилось, что три коробки исчезли. Я уж хотел не подписывать накладную, но, слава богу, они вовремя обнаружились.

— Фуф! Ну, теперь все в порядке! — выдохнул я облегченно, снимая колпачок с гелевой ручки.

Экспедитор тоже повеселел, мы тепло попрощались; он передал привет Вэлу. «КамАЗ» завелся, отфыркиваясь, развернулся в узеньком безмянном переулке. Уехал.

Еще раз проверив ворота, я закрыл дверь, вернулся в офис. Приготовил кофейку покрепче. С удовольствием закурил (пока нет хозяина, можно позволить себе) и продолжил мочить фашистов в их тайной лаборатории...

Но то ли я утомился, то ли не должно везти во всем — фрицы слишком быстро меня убивали, и уже через несколько минут игры на мониторе загорелась кровавая надпись: «Акция провалена».

В итоге я позвонил в ДК Ленсовета, попросил позвать Марину из буфета... Еще до того, как она произнесла: «Алло?», я услышал ее запыхавшееся дыхание. Бежала, наверно, бедняжка...

Я ласковым голосом предложил:

— Мурлысь, давай я заеду за тобой к десяти?

— Да, — она, судя по голосу, пришла в восторг, — и мы как-нибудь забываемо проведем вечер! Хорошо?

— Ну-дак, — приосанился я в Володькином кресле, — естественно.

(Окончание следует.)

СЕРГЕЙ БЕЛОРУСЕЦ



ИЗ БЕЛОЙ ТЬМЫ

* *
*

Стариковские пальцы конверт бестолково мнут,
Оставляя за кадром, допустим, такой сюжет:
Обещала перезвонить через пять минут.
А сама прислала письмо. Через тридцать лет.

Начинается поиск сидящих на лбу очков.
Продолжается он же, которому нет конца:
Адресат блуждает по кухне, желтой от кабачков,
Не замечая в зеркале собственного лица...

* *
*

Улетел туалетный утенок.
Ангелоидом стал нетопырь.
В магазине горящих путевок
Не отыщешь бесплатной — в Сибирь.

Гусь свинье и товарищ Кашею,
Чуть живой заводной соловей,
Ты бросаешься веку на шею,
Кто угодно по крови своей.

Век тебе отвечает, как может,
Разноцветными нитками шит:
Ворожит, убажает, корежит,
Лезет в душу, на помощь спешит...

Благородный любитель халявы,
Теневой председатель жлобья,
Даст тебе он и денег, и славы.
А потом — закопает в себя.

Даст тебе он и зрелищ, и хлеба,
И земное подобье судьбы,
И — сквозное присутствие неба
Над любым пяточком городьбы...

* *
*

Откупорив бутылку об оградку
Газончика, взошедшего на днях,
Губами припадешь к миропорядку —
И скроешься в неброских зеленях.

Земную жизнь пройдя по захолюстьям,
Привал устроишь в парковом лесу, —
И бабочка — лимонница, допустим, —
Как желтый ангел, сядет на джинсу...

* *
*

Взявшись словно дважды два,
Запиши пришедшие слова.
Звездочки в количестве трех штук
Нарисуй над ними (ноутбук
До сих пор — не по карману, что ж,
Без него, сдается, проживешь
Лет еще... Бог знает сколько лет...).
Погляди в окно. Поешь котлет.
Ржавой переделкинской водой
В общем душе голову помой —
И — подкожно — сквозь жите-бытье
Вдруг почувствуй время как свое...

* *
*

За палаткой кучкуется пьянь,
У небес вымогая десятку,
Вместо дури подсунувший дрянь,
Наркодилер идет на посадку.

И приписан к последней строфе
Телефонный звонок анонима,
И заказан — как столик в кафе —
Олигарх, проплывающий мимо...

* *
*

В свете стоячих небес — обтекаемый взглядом
Самодостаточный блок да в придачу к нему
Звуки газонокосилки за домом и садом,
Словно держащее «до» бесконечное «му»...

Медлить не хочется. Хочется медлить вразбивку
С чем-то другим, например, с убеганьем вперед...
...Град подмосковный горазд молотить по загревку.
Ясно как день: это камешки в твой огород...

* *
*

Он кончается во мгле —
Как без марафета —
День, сидящий на игле
Солнечного света.

Время топчется в груди
Вместо эпилога.
Но маячит впереди —
Вечная дорога...

* *
*

Что ты видишь, кроме этих стен?
Бледное подобье перемен,
Где на стыках уличных паров
День качает в люльках маляров.
Осень спит, — и сон осенний мглист,
И тебя лениво, словно лист,
Загоняет в собственный подъезд
Неохота к перемене мест...

* *
*

Перелицованные дни,
И жизнь твоя чужой сродни,
И безмянный трафарет,
Похожий на автопортрет,
И эта улица не без
Висящих наискось небес,
С которых снег идет, вьясь,
Двоясь, водою становясь...

* *
*

Съеден шоколадный Дед Мороз.
После торта «Птичье молоко».
Тянется невидимый обоз.
— Далеко ли? — спросишь.
— Далеко...
— А давно ли?
— Может быть, давней,
Чем живем на белом свете мы.

...День ползет.
Как белый муравей.
Белый муравей из белой тьмы.

* *
*

Я подтяну живот, а ты лицо подтянешь —
И мы продолжим путь дорогою добра...
От пятен на ковре с лихвой избавит «Vanish»,
От подковерных игр — отсутствие ковра...

Приписанным к Земле частицам звездной пыли,
Ниспосланным сюда в эпоху перемен,
Нам дали этот мир, чтоб мы другой лепили.
Не покладая рук. Не разрушая стен...



АЛЕКСАНДР ЯКОВЛЕВ



ДОМАШНИЕ ЛЮДИ

Современная история

Так вот все и происходит. Главное — время выбрать.
Соседская девушка пришла, когда жены дома не было.

1

Агеев здороваётся с Даниловной, словно венок на могилу возлагает. Лик у старушки не живописный. Кожа туго обтягивает скулы и челюсти с длинными зубами. Время остановилось на иссиня-желтых цветах, истребив краску в глазах. А дальше растерялось, исчерпав все свои злокозненные задумки. Ну а наряд Даниловна изобрела сама: желтый платочек с мелким синим узором, белая блузка, серая юбка. В таком тусклом обличье пребывает Даниловна лет двадцать. А может, и больше. Просто два десятка лет стоит дом. Нет у него более длинной истории.

Девятиэтажный дом, панельный. Живет при нем старушка, посиживает несменяемо у подъезда, детишек пугает, никак не спеша доставить товаркам хмельной радости попеть, пригорюнясь, на поминках.

Агеев выходит из заpleванного лифта на восьмом этаже. И попадает в другое время. У дверей квартиры его уже ждут. Соседская девушка Юля. Юная и цветущая. С книжкой в руках.

— Заходи, — усмехается Агеев. — Библиотека открыта.

Спустя десять минут Агеев привычно устраивается за письменным столом, работает. Юля стоит на табуретке, спиной к нему, у книжных полок, ищет книгу.

— Некроплазы, — бормочет Агеев, которому ну никак не дает сосредоточиться обольстительный скрип табуретки за спиной. — Хм... Редактор убьет меня за эти некроплазы. Как же их покруглее-то обозвать... — Потягивается, оборачивается, смотрит на Юлию. — Совсем мы с тобой закопались. Я — с переводом, ты — с книгами. Мать небось уже волнуется. Пошла к мужчине и... пропала. А?

— Сейчас я, дядь Вить, сейчас, — отвечает Юля.

Теперь табуретка скрипит противно. Не нравится ей, старой, сравнение с изящной девичьей фигуркой.

— Да я не гоню. Мне с тобой даже веселей, чем с этими некроплазами. На работу еще не устроилась?

Юля, переставая листать книгу, отвечает не сразу:

— Нет.

— Ну ничего, бог даст, образуется, — бормочет Агеев, усилием воли заставляя себя возвратиться к работе. — Образуется... Н-да... Вот тебе и некроплазы... Как же их... А если вот так...

Юля, застыв на своем постаменте, долго смотрит на него. Проходит минут пять. В наступившей тишине Агеев оборачивается, чувствуя взгляд. И тут девушка говорит торопливо:

— Вы только не подумайте... Я ведь готовить умею! И стирать. Шить даже... Меня мама учила.

— Вот и прекрасно, — несколько растерянно отзывается Агеев. Взгляд его невольно падает на короткую клетчатую юбочку, на круглые коленки. Хм... — Кому-то повезет с невестой.

— Вот и я об этом! — подхватывает девушка. — Возьмите меня в жены!

Ругая себя за неосторожный взгляд, Агеев мотает головой:

— Как это? Ты... Тебе нехорошо?

— Очень нехорошо! Если б вы только знали, как мне нехорошо... Вот вы говорите — устроиться на работу. А я не могу. Мне страшно... Я ведь работала два месяца. Так на этой самой работе, вы не представляете, мужчины — при-ста-ют! Ужас!

— Ну... на другую работу...

Юля возмущенно машет рукой:

— Не в работе дело, как вы не понимаете! В мужчинах! Они везде одинаковые. Мне страшно. Я даже из дома боюсь выходить. Они так на меня смотрят! А вы... У вас работа такая... Вы дома сидите... Это же так здорово! Вот мы бы вместе и сидели дома, а? Вы не подумайте, что я такая рациональная. Нам бы хорошо было, правда. Я бы все делала по дому. Я никакой работы не боюсь. Вам бы не в чем было меня упрекнуть! Подождите! Не спешите с ответом. Вы посмотрите на меня, посмотрите. — Девушка осторожно, но не без изящества кружится на табуретке. — Я знаю, у меня фигура хорошая. Вот... А если не хотите, детей у нас не будет. Это же несложно, правда? Я же понимаю, что вам для работы нужна тишина.

Агеев окончательно ошарашен.

— Постой, я ничего не пойму... Во-первых, почему тебе страшно?... Ты... Ты что, телевизора насмотрелась? Ну, брат, не стоит так уж близко все к сердцу принимать. Мало ли что там наговорят. И потом, не на каждом же углу бандиты. Я тоже выхожу из дому, хожу по тем же улицам. Как видишь — жив-здоров. Да и потом, ну что с нас взять? Мы же с тобой не миллионеры... А бояться... Ну а мужчины, естественно, проявляют к тебе внимание. Это в порядке вещей...

Юля топает ногой, прерывая его. Кажется, она не намерена слушать.

— Я печатать могу, компьютер знаю, немного английским языком владею. Учиться у вас буду, помогать во всем...

Агеев постепенно берет себя в руки. Коленки еще эти...

— Голубушка, все это славно. Да только я, между прочим, человек женатый. И тебе это прекрасно известно. Так что...

Юля не на шутку рассержена пустячной отговоркой:

— Ну зачем вам такая жена? Зачем? К тому же вы не расписаны. Так что это — не считается. Да и она... она же совершенно безликая!

— Н-нет... Ну отчего же, — вяло протестует Агеев, представляя себе жену. Представляя без большого энтузиазма. — Кое-что в ней есть...

Видение жены тает, обиженное невниманием. Агеев чувствует вину:

— Ну, не расписаны. Это и не обязательно. Не имеет это значения... И вообще... Нет, ты не обижайся. Человечек ты чудесный и внешне чрезвычайно симпатичный. Поверь, это не комплимент. Эх, встретиться бы нам лет пятнадцать назад... Но увы! А тебе просто надобно терпения набраться. И ты встретишь достойного тебя человека.

Юля протестующе поднимает руки, но Агеев неумолим.

— Обязательно встретишь! Я понимаю тебя, сам был юным, и мне тоже казалось, что никто меня не полюбит, что так и уйдет время, никто меня не оценит... Нет, все далеко не так трагично! Так что слезай со своего пьедестала.

Агеев поднимается из-за стола, подходит к табуретке.

— Я тебя лучше чаем угощу. Пойдем на кухню, поболтаем. Расскажешь мне о своих страхах и увидишь, как станет легче. Иногда человеку просто надо выговориться. А тебе и подавно — ты же все дома сидишь, ни с кем не общаешься. Слезай...

Юля не трогается с места, почти отталкивая протянутую дружескую руку.

— Пойдите! По-слу-шай-те!

— Да что же не послушать? Я готов тебя выслушать. Но только давай сменим тему. — Агеев не опускает руку. — Между прочим, ты меня здорово удивила. Ты не похожа на представителя современной молодежи. Мне казалось, что нынешнее поколение клыкастее, нахальнее, если хочешь... Локтями приходится сильнее работать. А ты... Ты прямо какая-то тургеневская девушка.

— Разве вам не нравятся такие?

Рука падает бессильно.

— Мне-то... хм... нравятся. Но я не понимаю, как вот ты выросла такой в окружении видюшников, развязных, извини, юнцов, свободы секса.

Юля полна обличения:

— Видюшник у нас отец смотрит. Боевики. Компенсирует отсутствие мужества.

— Какого мужества?

— Мужества жить. Мы с мамой лишь изредка мелодрамы смотрим... Развязные юнцы? Да ведь я из школы — домой, из дома — только в школу. Я для них неинтересна. Одеваюсь не так, не курю. И вообще они мне противны.

Господи, она же еще и несовершеннолетняя!

— Уж не мизантроп ли ты, Боже упаси?

— Нет, просто я понимаю, что многое в жизни — наносное.

Так-так. Несовершеннолетняя максималистка. Дело обычное. Повод усмехнуться.

— Да ты просто Василиса Премудрая. Вот только не помню, был ли у нее муж...

— А секс... Конечно, он не может меня не волновать... Я же не бесчувственная. Но чему тут может меня научить этот... юнец, как вы говорите? Да ничему. Удовлетворит свое животное начало... А я? Я, скорее всего, ничего не испытаю... Кроме, может быть, отращения.

Воображение — заткнись! Срочно что-нибудь рассудительное на помощь:

— Ты в самом деле так думаешь или где-то вычитала?

Взгляд-сожаление:

— Вы не верите... Я понимаю... Я и сама не знаю, я ли так думаю... Но я не обладаю практикой, чтобы сверить ее с теорией.

Но воображение лишь злорадно разыгрывается.

— Так ты... Ох, извини. Давай о чем-нибудь другом.

— Нет, я не обижаюсь, вы вправе задать этот вопрос. Да и я сама затеяла этот разговор. Вы хотите спросить — девушка ли я? Да. И, говоря так, я понимаю, что тем самым как бы завлекаю вас. Я знаю, что мужчины в вашем возрасте падки...

Агеев хватается за голову. Восклицание — как обвинение:

— О-о, ты слишком много знаешь!

Девушка испуганна:

— Вы не думайте, я вовсе не собираюсь подавлять вас своими познаниями или интеллектуальными способностями. Я прекрасно знаю, что в общении с мужичиной женщина не должна показывать, что умнее. Я полностью согласна с этим тезисом.

— О-о! — Агеев отходит к столу. Так безопаснее. — А ты не знаешь, почему женщины так долго ходят по магазинам? Что-то моя запропала...

Юля с готовностью:

— Знаю.

Звонит телефон. Агеев берет трубку:

— Да? А, привет. — Звонит друг. Спасительный друг. — Нормально. На дачу? — Агеев смотрит на Юлю. — Хорошая мысль. Твоя отпускает? Моя? Не знаю. Слушай, давай я немного подумаю... Как о чем думать? Да халтура тут срочная, перевод... Нет, не долго буду думать. Пока.

Всеслышащая Юля мягко укоряет:

— Вот видите, как вы несвободны? Даже не можете твердо определить-ся. А я вам гарантирую, что со мной таких проблем не будет!

Агеева забирает лень, зовущая на дачу, шашлыки, рюмочка...

— Что? Каких проблем? О чем мы с тобой говорили? Да слезешь ты наконец?!

— Нет, пока не согласитесь.

— На что?

— Стать моим мужем.

Агеев один раз почти уже стал мужем. Теперь вот на дачу спокойно не поедешь. Еще предстоит объяснение с супругой.

— Ну хватит об этом... Уже не смешно.

— ...А говорили мы о магазинах. О том, почему женщины долго ходят по магазинам.

— Ах да... И ты сказала, что знаешь...

— Знаю. И еще кое-что знаю. Не хотела говорить... — Юля собирается с духом. — Но если вы такой... Только не подумайте, что я хочу вас поссорить и тем самым добиться своего... А может быть, вы и сами все знаете. Если знаете, тем лучше. Помните, весной вы уезжали на несколько дней?

Ощущение грозящей опасности пока почти невесомо.

— Весной? А, с приятелем на дачу. Было дело... А ты откуда знаешь?

Возмущенно:

— Я все про вас знаю.

— И что же?

Назидательно:

— А то. В ваше отсутствие к вашей жене приходил муж-чи-на! Два раза. — Для пущей убедительности Юля показывает на пальцах: — Два!

Агеев зачарованно смотрит на эти тонкие пальцы, вилок нанизывающие его судьбу.

— И... и что же? Мало ли... Это мог быть кто угодно. Кстати, как он выглядел?

Вот так Ирка, верная супруга! А тут еще это торжествующе-сочувственное:

— Высокий. Уж повыше вас, на голову. И помоложе.

Спокойно. Ничего еще не ясно.

— Ничего это не значит. Ровным счетом ничего. И потом... Это наше личное дело. И с твоей стороны просто нетактично так...

Девушка пугается:

— Ой, простите. Дура я. Зря сказала. Простите.

Ни в коем случае не показывать, что задето самолюбие.

— Да перестань! Не в этом дело. Даже не в жене. Пойми. Ты молодая, здоровая, красивая. У тебя все впереди. Ну какой из меня муж для тебя? Я уже в прошлом. Живу по инерции, в настоящее не вписался... Сказать правду, так ведь я просто доживаю...

А она свое:

— Ой, что вы! Вы же еще не старик!

Но не скрыть раздражения:

— Тебе в «мерседесах» надо ездить по тусовкам, ноги свои красивые показывать, с интересными людьми знакомиться... А я... Представим тео-

ретически... Да ты через месяц взоешь от той скучищи, в которой я прозябаю! Это тебе только кажется, что я неплохо устроился. Как же, сию дома, в тепле, уюте, без проблем, даже зарабатываю неплохо...

Реагирует мгновенно:

— Деньги меня не интересуют!

— Это пока... Так вот, уверяю тебя, весь этот образ жизни создан мною от лени и трусости! Мне лень куда-то бегать, что-то предпринимать... Энергии той уже нет, дерзости... Мне легче делать вид, что я презираю суету, что выше ее. На самом деле мне так же страшно жить, как и тебе.

Докатился до признаний! А она — молодец:

— Не надо бояться! Я же рядом!

Оттаял немного Агеев:

— Представляешь, каково нам будет вдвоем, таким двум... бояжкам?

— Нам будет хорошо! Если только... вы говорите откровенно. Мы пойдем друг друга. Правда, правда!

— Знаешь что... — говорит Агеев, протягивая руку, но тут в дверь звонят.

Агеев идет открывать. Юлия соскакивает с табурета, бежит вслед за ним. Верной такой собачкой.

2

Агеев с пакетами и Ирина проходят в кухню. Супруга весело щебечет:

— У тебя девушки без меня. Надеюсь, мне не придется объясняться с ее матерью? В магазинах ужас сколько народа!

Пока она выкладывает покупки, Агеев пристально ее разглядывает. Вместе прожито шесть лет. Все так привычно: голос, манера одеваться, двигаться. Но сейчас Ирина предстает новой, незнакомой, пугающей...

— Что ты так смотришь на меня? Что-нибудь случилось?

— Н-нет... Скажи, пожалуйста... э... Тут до меня дошли слухи, что ты мужчин принимаешь в мое отсутствие. И кто же этот баловень судьбы?

Ирина застывает с пакетом молока в руках.

— Ты о чем? Вернее, о ком?

Агеев забирает у нее пакет и неторопливо убирает в холодильник.

— Помнишь, я весной ездил к Петру на дачу?

Ирина облегченно смеется:

— А-а, так это Сережка заезжал...

— Какой Сережка? Тогда ты мне ни про какого Сережку не рассказывала.

— Сережка Миронов. Брат мой двоюродный. Забыл? Ты же не любишь, когда мои родственники приезжают, вот и не рассказывала.

Столь простого объяснения Агеев не ожидал. Серега действительно выше его и моложе.

— А... а почему он приезжал два раза?

Супруга выглядит искренне удивленной.

— Брал кассеты посмотреть. Потом вернул. Да что с тобой? Какая муха тебя укусила? Ты же никогда меня прежде не ревновал... Постой... Это тебе рассказала эта девочка? Юлия? Кто бы мог подумать, такая тихоня, а сплетни разводит...

Агеев, уже подготовившийся было к скандалу, не может сдержать эмоции:

— Никакие сплетни она не разводит. Ведь к тебе же действительно заезжал... мужчина. Какие же это сплетни?

Недоумение Ирины сменяется подозрительностью:

— А почему она тебе об этом рассказывала? Ты что, расспрашивал? Ты... ты следишь за мной?

— Ну вот еще! Вовсе я не слежу... Скажи мне... Скажи, тебе страшно ходить по улицам?

— Странный вопрос... Нет, не страшно. Что с меня взять?

— А... а дома тебе все время сидеть не скучно?

Ответ — как пожимание плечами:

— Привыкла.

— И тебе не хочется устроиться на работу?

— Раньше ты этого не хотел. А что? У нас финансовые затруднения? Я готова пойти. Правда, придется поискать. Уже не девушка, так сразу не устроиться. Это у Юльки без проблем...

— Ты думаешь?

— А что тут думать? Никто не звонил?

— А кто-то должен был? Шучу... Петр звонил. На дачу приглашал.

— Меня, конечно, не звал.

— Ну, он же без жены едет... Так что сама понимаешь — мальчишник.

— Еще бы. То-то Светка мне потом рассказывала, как вы ей с дачи названивали.

— Растрепала-таки... Не я же звонил. Петр. Да и потом, что мы ей такого сказали? Так, подразнили... Что, мол, дома сидишь, когда за городом так хорошо... Просто развлекли одинокую женщину...

Разговор привычно сворачивает в привычную колею. А начинался так живенько...

— Нет бы жен развлекли. Взяли бы с собой на природу. Господи, что за мужики пошли!

— Только не занудствуй, я тебя умоляю.

— А то что? Уйдешь? Не первый раз слышу. Да только посмотри на себя... Никуда ты из этих тапочек не выберешься. Духу не хватит.

— Не заводи...

— Да и куда ты пойдешь? Тебе же никто не нужен...

— Ирина!

Звонит телефон. Ирина, а вслед за нею Агеев проходят в комнату.

— Да? Привет. Конечно, дома. Куда он денется... Тебя. Петр.

— Да? А, привет. Что? Нет, еще не надумал. Нет... Слушай, давай недельки через две? Нет, правда работы много... Да я понимаю... Да никуда она не денется, рыбалка эта... Хорошо, хорошо, подумаю... Ага... Пока...

Кладет трубку, примирительно говорит жене:

— Видишь, никуда я не еду.

— И напрасно. Я твоей жертвы не оценю. Для меня ты что дома, что на даче... Я-то все равно одна. У тебя — твоя работа. А у меня — стирка, магазины. Я никому не интересна...

— Нет, отчего же...

— Так что поезжай, поезжай... Развлекайся.

— Ну перестань, что ты? В конце концов, я не понимаю... Мы живем вполне нормально... И потом, имею я право хоть изредка сменить обстановку, оторваться от этого треклятого стола!

— Имеешь. Только и я имею право на смену обстановки. Так что сегодня будешь спать в одиночестве.

С этими мстительными словами Ирина уходит в кухню.

— Ой-ой-ой... Будто мне это одному надо! В конце концов, есть такое понятие — супружеские обязанности!

Реплика прилетает из кухни, как пушенная рассерженной рукой тарелка:

— Вот и подумай над ними. Поспи в одиночестве и подумай.

— Это шантаж! К тому же я и так в одиночестве, когда сплю. С ума они меня все сведут.

Звонит телефон.

— Да? А, ты... Да, надумал. Еду. Что значит отпускает? Что я, мальчик? Еще спрашивать буду! В пятницу? Отлично. Да. Договорились. По дороге купим. Пока.

Агеев кладет трубку. Осматривает комнату. Взгляд останавливается на табурете. Подходит, взбирается.

— И что же отсюда видно? И как ты, брат, отсюда смотришься? М-да... Скверно. Скукожился над столом. Серый, невзрачный. Что смотришь? Не нравится? Небрит, в тапочках на босу ногу... Чирик-чирик строчечки. Чирик-чирик. А годы уходят... А ты корпишь над чужими словами и мыслями. А они мимо пролетают. И годы, и мысли. Чирик-чирик. Что смотришь? Глуп же ты, брат... К тебе девушка приходит, чистое, нежное создание. В любви признается... А ты? Да я то, да я сё...

Пока он кривляется на табурете, в комнату входит жена:

— Ой, ты что там делаешь?

Агеев, чуть не свалившись, отворачивается к полкам:

— А... это... книгу ищу.

— Какую? Скажи, может быть, я знаю.

— Не знаешь.

— Ну может быть. Ты скажи.

— Не знаешь!

— Ну как хочешь.

Уходит в кухню. Агеев вновь предоставлен себе и своим невеселым мыслям.

— Доконали они меня все. Здесь, что ли, остаться? Наверху. С этими мыслями. Навсегда. А что?

Смотрит на потолок, вверх, как в спасение.

— Вбить крюк и... Да только и на это духу не хватит. А помнишь, помнишь, как хотел прославиться? — Агеев встает в горделивую позу. — Оле, Россия. Оле-оле-оле-оле!

Вновь входит жена:

— Что случилось?

— В том-то и дело, что ничего.

— Как ты меня напугал... Книгу-то нашел?

— Нет. И уже никогда не найду. Ни-ког-да.

Ирина примирительно протягивает руку...

— Так слезай...

Звонок в дверь. Ирина уходит открывать. Агеев испуганно застывает. Ирина возвращается.

— Соседка. Спрашивала что-нибудь сердечное. Юлке что-то нехорошо.

— По-почему? — испуганно вопрошает Агеев.

— В ее возрасте всякое бывает. Организм формируется... Девушка становится женщиной. Бывает... Да слезешь ты наконец!

— Зачем?

— Что значит — зачем? Ты что там, навсегда собираешься остаться? И вообще, что происходит? Ты сегодня какой-то... Слушай-ка... А у тебя, часом, с Юлькой тут ничего не было?

Агеев слезает с табурета и, садясь на него, заявляет горестно:

— Ничего.

Ирина садится рядом, обнимает мужа за плечи:

— Да что с тобой? Ты не заболел?

Агеев кладет ей голову на плечо:

— Нет.

Ирина, покачивая его, баюкая:

— Ну-ну-ну, расскажи мамочке. Ну какие у нас секреты?

Агеев сокрушенно:

— Никаких. Шесть лет прожили, и никаких секретов.

— Семь.

— Семь?! Так много!

— Много.

Агеев изумленно озирается:

- Столько лет прожили и ничем не обзавелись.
- Не обзавелись, — эхом отзывается супруга.
- Агеев солирует:
- Детей не родили.
- Ирина вторит:
- Не родили.
- Агеев множит число бед и напастей:
- Машины-дачи не купили.
- Не купили.
- На черный день не отложили.
- Не отложили.
- А старость приближается.
- Приближается.
- Супруги в страхе оглядываются, в голос вскрикивают:
- А-а-а!
- Страшно? — шепотом вопрошает Агеев.
- Страшно, — искренне признает супруга.
- И взять с нас нечего! — согласно заключают они.

3

Квартира Агеевых. Виктор работает. Звонок в дверь. Виктор выходит открывать, возвращается встревоженный, в сопровождении матери Юлии, Елены Михайловны. У нее в руках банка.

— Извини, Вить, за беспокойство. Банку не откроешь? У нас в семье все девушки, сам знаешь. Ни одного мужика.

Агеев испытывает явное облегчение, что речь не идет о вчерашнем, и с готовностью соглашается:

— Как не открыть? Откроем. Как не помочь одиноким девушкам? Поможем обязательно.

Консервный нож, с упоением поддевая податливый металл, быстро движется по кругу.

— Прошу...

Восторг соседки хоть и ласкает слух, но настораживает своей чрезмерностью.

— Ой, спасибо тебе большое. Вот что значит мужик в доме! А у нас...

Агеев вспоминает о мужской солидарности:

— Постой, а что же твой Серега-то...

— А, какой из него мужик. Все пропил, ничего от мужика не осталось...

— В каком смысле?

— Да ни в каком. Понимаешь? Ни в ка-ком!

— Ну-у... руки-ноги у него же на месте?

— Что мне его руки? Куда мне их... приспособить? Ни на что не годен.

— И... и давно?

— Ох, уж три года.

Агеев не в силах сдержать изумление — эта женщина достойна памятника.

— Три-и?

— Представляешь?

— Представляю... Вернее, теоретически...

— А ты представь, представь, напруги фантазию-то. Ты же у нас интеллигент... Как раньше-то говорили: «А еще в шляпе...» Вот и представь. Представь, каково оно — три года без мужика-то обходиться? На мне будто эксперимент ставят!

— Но... но послушай... Не мое, конечно, дело, но ты же еще не старая женщина, привлекательная... Ну уж если совсем-то... Заведи себе какой-нибудь легкий роман... Если уж совсем... плохо...

— Ох, плохо...

— Принарядись, выйди в свет, а то ты все дома да дома... По-прежнему шьешь?

— Шью, будь оно неладно. Майки. С надписью вот тут. — Елена показывает себе на грудь, вполне еще крепкую и высокую грудь... — Смотри, вот тут: «Ай лав ю». Тьфу!

— Конечно, обалдеешь так совсем. А ты выберись на выставку там... в театр... С косметикой этак, женщиной себя почувствуй...

— Вот я и нарядилась. И с косметикой. Или незаметно?

— Хм... Симпатичное платьице...

— Вот. При-наря-дилась и вы-бралась.

— Куда?

— Да к тебе! Или тоже не заметно? Какие же вы, мужики, дураки бываете!

Елена с досадой стучит кулаком по столу. Прыгает крышка от банки, удаляясь от стеклянного бока, некогда такого родного. Агеев отрывает взгляд от прыгающей крышки, только сейчас до него доходит.

— Пстой, пстой, ты что хочешь сказать...

— Да, хочю. Только не сказать, дубина ты эдакая. Помогите по-соседски. Сам говоришь: как не помочь одиноким девушкам?

— Ну ты, мать, даешь... Уж не говоря об остальном... Но ты же знаешь древнюю мудрость: не воруй, где живешь...

— Все я знаю! Что ж мне теперь, в подземном переходе встать с плакатом... «Помогите, люди добрые!» Или — с первым встречным? Спасибо за предложение. Подхватишь еще, не дай Бог. А тебя я знаю. У вас в семье все нормально, я с Ириной консультировалась.

— Как? Вы с Ирккой обсуждали нашу личную жизнь?! — поражен Агеев.

— А что? По-соседски. Я ей о своем обороте поплакалась, она тоже... Так что, Витек, имей совесть... И вообще, почему я должна тебя упрашивать? Как ты вообще с женщиной обращаешься?

— Послушай, но у меня все-таки жена есть. И она вот-вот вернется из магазина. Ваши разговоры — это одно, а если она застанет такое...

— Жена? Что жена? Жена — не стена, отодвинуть можно. — Елена на минуту задумывается. Затем с воодушевлением говорит: — Слушай, Витек, а если я с ней договорюсь? А?

— С кем?

— С супругой твоей, с Ирккой. К тому же вы и не расписаны. Считай, что ты мужик свободный. Святое дело — снять тебя...

— Да ты в своем уме?

— А что? Нет, точно поговорю. Чтоб отдала тебя в аренду. Не бойсь, ненадолго. Но тогда держись! Нет, точно поговорю!

Вдохновленная столь конструктивной мыслью, Елена решительно идет к выходу.

— Банку-то, — лепечет ей вслед Агеев.

— А... совсем забыла... Ничего башка не соображает. Вот что вы, гады мужики, с нами делаете!

Агеев шкодливо торопится сменить тему:

— Как Юлька-то себя чувствует?

— Да что ей, молодой да здоровой, станется? А что? Чегой-то ты спрашиваешь? А что-то долго она вчера у тебя была... Да и вернулась какая-то... растрепанная... У тебя что с ней?

— Эх, у нас с ней... Предложение она мне делала, вот что у нас с ней!

Елена от изумления выронила банку.

— Как — предложение? Ах, черт, не разбилась... И тут счастья нет! Предложение... Совсем девка рехнулась. Вот что вы, мужики, с нами делаете! Пстой... Слушай, а ведь это идея! Нет, точно! А что? И женись на ней! — Елена радостно толкает его в бок. — Заживем! Глядишь, и тещу не оби-

дишь. Мне много не надо... От вас не убудет. А Юльке и вообще рано этим еще заниматься...

Агеев взирает на нее широко раскрытыми глазами. Он уже давно не верил, что его можно чем-то удивить.

— Да, мать, три года бесследно не прошли.

— А я тебе о чем толкую? Вот до чего, паразиты, вы нас доводите! Да... А если тебя жена твоя волнует, то ты брось переживать...

Звонок в дверь. Виктор идет открывать, возвращается.

— Твой пришел. Видишь, волнуется, когда тебя долго нет, а ты на него...

Елена Михайловна, преображаясь на глазах, величественно удаляется, тут же возвращается:

— Как же, волнуется. Сигарет просил у тебя стрелнуть.

— Да бога ради... Только почему он у меня не спросил?

— А я запретила ему попрошайничать. Мало того, что ничего в дом не приносит, так еще и клячить будет, позор-то какой!

— Совсем ты мужика затерроризировала. Я вот и думаю, может быть, у него поэтому и не получается с тобой ничего, что ты так к нему относишься?

— Это ты о чем?

— Ну, понимаешь... Я вот даже по себе знаю... Иной раз женщина так себя ведет, что... ну... не хочется.

Елена мгновенно наполняется подозрением:

— У тебя что, тоже?!

— Да нет, у меня все нормально... Ох, да что я говорю!

Елена с облегчением стучит по столу:

— Ты уж не пугай. Вы что, совсем все обалдели? Куда ни сунься — сплошной облом... Постой... Что ты сказал? Иной раз? У тебя что, много женщин? Ах ты развратник! А я-то за него еще дочь хотела отдать, кровиночку мою...

— Да нет! Я просто хотел сказать...

— Да шучу я! На чем мы с тобой остановились? Ах да! Так вот, ежели ты насчет жены переживаешь, то успокойся. Помнишь, ты уезжал весной?

— Да что вам эта моя поездка далась!

— Так вот. К твоей — мужик захаживал. Два раза. — Елена показывает на пальцах. — Два! За пять дней. Не рекорд, конечно, но, как видишь, она не теряется. В отличие от тебя. А ты то да сё.

Елена кривляется. Агеев с ужасом узнает себя, вчерашнего, на табурете. И реагирует собой вчерашним:

— Ну и что? Мне Юлька уже доложила. Только не мужик это никакой, а Сережка Миронов, Иркин брат двоюродный.

Елена, довольная, злорадствует:

— Как же, держи карман. А то я Сережку не знаю! Никакой это не Сережка.

Агеев вновь разбит и пленен:

— А... а кто же это?

Звонок в дверь. Агеев растерянно бредет открывать. Елена ехидно кричит вдогонку:

— Вот и узнай! — Про себя Елена тихо ругается: — Надо же, приперлась на самом интересном. Ладно, пойду.

И уходит вслед за Виктором.

4

На кухне у Агеевых. Ирина достает покупки. Игриво замечает:

— Опять у тебя дама в гостях. И опять, заметь, в мое отсутствие.

— А ты подольше ходи по магазинам... Кстати, почему ты так долго пропадала?

— Как долго? Совсем не долго.

— Три часа — не долго?!

— О господи, да что же мне — не походить по магазинам? Какие еще у нас, бедных женщин, развлечения? Пошарахаться да потарашиться. Иной раз бродишь, бродишь, глаза разбегаются, даже сама не знаешь, за чем идешь, так... Обо всем забываешь...

— И обо мне?

— Если честно — да. Я же говорю — обо всем. Иду, о чем-то своем думаю. А спроси — о чем, и не отвечу.

— Зато я отвечу на этот вопрос.

— Да? Интересно, и о чем же?

— Да все о том же. Помнишь, я весной уезжал к Петру на дачу?

— О-о... Да ведь мы же вчера это уже обсуждали!

— И кто же к тебе приходил? Два раза. — Агеев показывает на пальцах: — Два!

— И на этот вопрос я тебе уже отвечала. Приходил Сережка Миронов, мой брат. Что ты еще хочешь услышать?

— Ты настаиваешь на том, что это был Сережка?

— А кто же еще? — Ирина вдруг не шутя задумывается. — Да нет, точно Сережка. Что ж я, брата не узнаю? Совсем ты мне голову заморочил!

— А вот Елена утверждает, что тоже знает Сережку, но только этот мужик был не он.

— А кто же?

— Не-зна-ко-мый мужчина! А кто — тебе виднее.

Ирина все еще продолжает держаться спокойно:

— Врет она все, твоя Елена. Врет из зависти и еще по ряду причин. Завидует она нам, понимаешь?

— Чему же тут завидовать?

— Хотя бы тому, что у нас все нормально, что спим в одной постели.

Агеев не упускает момента ехидно заметить:

— Не всегда...

Ирина невозмутимо соглашается:

— Бывают моменты, но редко. А она уже три года — ни с кем. Представляешь?

— Да я знаю. Ужас, конечно.

— Откуда ты знаешь?

— Она мне сама сказала. Только что, перед твоим приходом. Кстати, с тобой собиралась поговорить...

— О чем это?

— О том, чтобы... взять меня в аренду.

Ирина изумлена:

— Ку-уда?

— Ненадолго, не бойся! — уже невесть что несет окончательно запутавшийся муж.

Звонок в дверь. Агеев уходит открывать, возвращается в сопровождении взволнованной Юлии, прячется за спину Ирины.

— Вы не слушайте ее! Если мы поженемся, мы будем жить отдельно! А она нам совсем не нужна! Ишь что придумала! — горячечно выпаливает девушка.

— Кто поженится? Кто кому не нужен?

— Как—кто? Мы. Я и дядя Витя. Разве вы еще не знаете? Даже мама сказала, что это хорошая идея. И что уже со всеми договорилась. Разве нет?

— Постой, девочка, ты в своем уме? — Ирина оборачивается к Агееву: — А ты что молчишь? Что тут происходит? — Вновь обращается к Юлии: — Между прочим, он женат, если ты до сих пор не заметила.

Юля несколько растерянна, но напор не снижает:

— Да вы ведь даже не расписаны. И мама сказала, что уже обо всем договорилась...

Агеев бормочет очумело:

— Ты не поняла... Речь шла только об... аренде... И то еще ничего не решено.

Ирина наконец взрывается:

— Да о какой аренде ты все толкуешь, черт вас всех возьми?

Дальнейший диалог Агеева с Ириной вполне безумен:

— О том, чтобы ты ей сдала меня в аренду... Ненадолго...

— Кому ей? Юлии? Тебя? Зачем? И о какой женитьбе она говорит? Ты что, предложение ей делал?!

— Да нет, не Юлии. Юлия здесь ни при чем. Вернее, при чем, но по другому вопросу.

— Ты что, издеваешься надо мной? Ты толком можешь объяснить?

Вклинивается растерянная реплика Юлии:

— А мама сказала, что уже обо всем договорилась...

Агеев потихоньку свирепеет:

— Я уже сам ничего не понимаю. Сама смотри. Сначала пришла Юлия. Это было вчера. А сегодня пришла...

Звонок в дверь. Ирина обращается к Юлии:

— Дочка, открой, пожалуйста. — Агееву: — Ну?

— А сегодня пришла...

Входят Юлия и ее мать.

— ...сегодня пришла мать Юлии, вот, Елена, и принесла банку... Скажи ей, Лен...

Ирина подбочивается:

— Та-ак, соседка. Это как же понимать?

— Я тебе все сейчас объясню, — говорит Елена, затем обращается к Агееву и Юлии: — Выйдите, нам поговорить надо.

— Минуточку, — возмущена Ирина. — Что это ты тут раскомандовалась? Не надо никому никуда выходить. Мне недомолвки не нужны. У меня за спиной происходит черт знает что... — За ее спиной Юлия умоляюще смотрит на Агеева и тянет его за рукав в комнату. — Как ты смела утверждать, что ко мне мужик приходил в его отсутствие? — Ярость ее выливается и на Агеева: — Прекрати на нее пялиться!

— Это не я, это она! — оправдывается Агеев.

Но Ирина вновь обращается к соседке:

— Ты же прекрасно видела, что это был Сережка! Ну говори, видела? Говори, говори!

Елена нехотя признает:

— Ну хорошо, хорошо, если тебе так спокойнее, пусть Сережка. Зачем нам ссориться? Да еще из-за мужиков! В конце концов, можно и с родственником. Он же тебе двоюродный. Я вот в «СПИД-инфо» читала...

— Ах ты мерзавка, она одолжение мне делает... Да еще с грязными намеками! Да я тебе...

Юлия с мольбой обращается к Агееву:

— Вы же видите, видите, какие они гадкие и злые! Давайте уедем от них!

Агеев бросается к жене, хватая ее за плечи:

— Успокойся, дорогая, прошу тебя!

Но тут закипает и Елена:

— Разошлась! Если бы у тебя три года мужика не было, ты бы небось не так заговорила...

— Пошла вон, потаскуха! — вопит разъяренная Ирина.

— Вы же видите, видите! — кричит в слезах Юлия.

— Успокойся, прошу тебя! — взывает к Ирине Агеев.

— Три года! — показывает на пальцах Елена. — Три! Тебе хорошо говорить... А если бы...

— Вы же видите, видите! — в истерике бьется Юлия.

В дверь кухни заглядывает муж Елены.

— Что ж, будущий зятек, — говорит он Агееву. — Для более тесного, так сказать, знакомства капель бы по пятьдесят, а? Я сбегаю...

Агеев и Ирина в ужасе смотрят друг на друга. Одновременно заходятся в крике:

— А-а-а!

На фоне их вопля по-прежнему звучат реплики:

— Три года!

— Вы же видите, видите!

— Seriously, я сбегаю!..

По Москве идет одинокая женщина. Бесконечен женский поход по магазинам. Москва меняется. Магазинов все больше. Жизнь меняется. В радость ли это женщине? Много соблазнов, много суетных и путаных мыслей. Вспоминается: раньше всматривались в людей. Теперь — в витрины и машины. Не замечая в них даже собственного отражения.



ВЛАДИМИР САЛИМОН

*

МЕЖДУ ДЕЛОМ

* *
*

Смиранный Агнец отворил печать.
Но понемногу перемены
мы перестали замечать.

Речушек вздувшиеся вены.
Налитый кровью — до краев,
как Бабий Яр, глубокий ров.

* *
*

Посреди малоснежной зимы —
как Кудыкины горы,
набок съехавшие холмы.

Покосившиеся опоры
еле держат небосвод.
Он однажды нас всех убьет.

А пока, запрягая в сани
необъезженного стригунка,
долго шарит старик в кармане —
верно, в поисках огонька.

Ясно вижу я Ленина в кепке,
весь от ужаса похолодев,
вместо надписи на этикетке:
«ГОМЕЛЬДРЕВ».

* *
*

Внезапно ветер поднялся.
И перед нами тотчас вся
открылась панорама.

Река могучая упрямо
сжимает кольца, как змея.

Лаокоон и сыновья
в ее объятьях насмерть бьются.
Шумит камыш. Деревья гнутся.

* *
*

Картинка удалась на славу.
Жаль в рамку, как в оправу,
я вставить не могу —
ни в поле куст, ни дом в снегу.

Еловых шишек ароматом
насквозь пронизан зимний лес,
но злые птицы благим матом
кричат, чтоб в дебри я не лез.

* *
*

В чем каждый может убедиться,
кто на крючок поймал леща?
Глубокой осенью водица
в реке уж больно горяча.

Река как баня водяная.
В ней рыболовы поутру,
иного способа не зная,
готовят рыбу на пару.

* *
*

Диковинная красота.
Река со сводами моста
сосуществует неразрывно.

Чему противиться наивно
и утверждать, что никакой
не связан тайной мост с рекой.

Невольно разведешь руками.
Недоуменье велико —
как многотонный мост над нами
парит в тумане так легко?

* *
*

Издалека неузнаваем —
дом барский оглашая лаем,
собачья свора по углам
в нем жметя с горем пополам.

Так тарыхтит, что спасу нет,
с коляскою мотоциклет,
скача вприпрыжку, как двуколка,
по главной улице поселка.

* *
*

Все держится на волоске.
На честном слове.
Но вскоре от потери крови
жизнь замирает в городке.

Смертельной оказалась рана.
Когда б я взял ее в расчет,
у покосившихся ворот
заметил заросли бурьяна.

Кругом разросся борщевик.
К нему за лето я привык.
С недавних пор, как сад дичает,
вокруг никто не замечает.

* *
*

Хруст колючих сучьев слышен.
Первый снег на землю лег.
Остается неподвижен
до последнего стрелок.

У охотника на мушке,
чуть покачиваясь, лось
ходит-бродит по опушке,
ставит ноги вкривь и вкось.

* *
*

В отсутствии себе подобных
нередко я брожу
один среди камней надгробных.

По сторонам растерянно гляжу.
Куда ни гляну,
все не по мне — не по сердцу, не по карману.

* *
*

Бедна палитра. Средства скупы.
Как будто горные уступы,
ступени снегом замело.
У лодки вмерзло в лед весло.

Но иногда, едва живая,
воображенье поражая
недюжей силой, под мостом
спросонок щука бьет хвостом.

Восполнить недостаток красок
по силам лишь героям сказок.
Плутовка рыжая — лиса —
ненастным днем слепит глаза.

* *
*

Глаз потек у снежной бабы.
Озадачился хотя бы.
Призадумался всерьез
над причиной бабьих слез.

Может быть, твоя вина
в том, что стала на припеке
глина черная видна.

Что, как будто руки в боки,
крепкокроенный силач,
по дорожке скачет грач.

* *
*

Сумятица, неразбериха —
весне сопутствующий фон —
поскрипывает облепиха,
в саду капли слышен звон.

Кто хочет в отчий дом вернуться,
тотчас, когда за ним придут,
пошире должен размахнуться
и бросить медный грошик в пруд.

* *
*

Земля похожа на цемент.
Фантазия богата.
А инструмент —
лом да лопата.

Воображение подчас
рисует дивные картины,
но слезы катятся из глаз
у насмерть загнанной скотины.

* *
*

Мне кажется, только тогда я заметил,
как был небосвод по-весеннему светел.

Поодаль, идущие в пешем строю,
солдаты горланили песню свою.

«Никто не молчал при твоём погребень».
Нубийцев колонна прошла в отдаленье.

А следом за ними, помедлив слегка,
в движенье пришли остальные войска.

* *
*

В округе снег сошел давно.
Как бабочка ночная,
на память корка ледяная
оставит по себе пятно.

След на асфальте небольшой —
все то, что нежным телом
и что божественной душой
мы называем между делом.



ВАСИЛИЙ ГОЛОВАНОВ



ВИДЕНИЕ АЗИИ

Тывинский дневник

I. ГЛУБИНЫ

Ветер дня — теплый, ласковый — подхватывает двух жаворонков, они выпархивают из высокой травы при нашем приближении и оглашают степь и небо трелями, в которых звучит столь несомненная хвала всему живущему, что, в общем, делается ясно, как бы ни называлась сама долина — долиной мертвых или долиной царей, — они отлично прижились здесь и славят все живое и все, что по неведению кажется нам мертвым: дальние горы, камни курганов и желтую сухую траву, в которую до самого горизонта не вкраплено ни капли зеленого. Конец апреля, но здесь, в центре Азии, степи оживают поздно, а первый дождь не ждут раньше, чем месяца через полтора. Степь — желтая и золотая — волнуется вокруг, как море. Море суши, если, о, так позволительно будет сказать, ибо вокруг — только эти желтые волны, небо и камни.

Бескрайность. Слова о вечности были бы произнесены, если б не звучали так банально. Но не странно ли, что камни этих курганов, которые по привычке называют «скифскими», сами скифы застали уже наполовину вросшими в землю. Толща времени пролегла между ними. Притом это были молодые еще скифы, которые думать не думали никуда исходить и изливаться из глубин Азии, чтобы пугать древних греков, скрываясь в тростниках болот Меотиды. Они только-только начинали гуртовать коней, скликать союзы племен и ощущать себя воинственными, как потом многократно случалось с разными другими племенами в виду той же долины царей, тех же бесконечно разбегающихся волн травы и, возможно, тех же жаворонков. Ибо когда говорится: «волны кочевников из глубин Азии...» — то это отсюда. Здесь «глубина» ощутима, как глубина моря, моря суши во всех ее проявлениях, глубина континента, в равной удаленности от берегов мирового океана. «Центр Азии» — символическая стела, охраняемая двумя китайскими с виду дракончиками величиной с порядочного сторожевого пса, — стоит на набережной в Кызыле, столице Республики Тыва — пространства, загадочнее которого, пожалуй, и не найти в пределах нашей родины. Возле стелы любят фотографироваться приезжающие из Европы, волнительно ощущая себя не только на другом полюсе планеты, но и в эпицентре исторических катаклизмов, в сердце грандиозного исторического пульсара: ничего не стоит представить себе, что часы человеческой истории заводились именно тут, а не в Средиземноморье, ибо именно отсюда вломились в европейский мир и гунны, и тюрки, и тумены Чингисхана.

Голованов Василий Ярославович — прозаик, эссеист. Родился в 1960 году. Окончил факультет журналистики Московского университета. Автор книг «Тачанки с юга» (1997), «Остров, или Оправдание бессмысленных путешествий» (2002). В «Новом мире» печатается впервые.

Когда-то студентом я слова о «кочевниках из глубин Азии» воспринимал как совершенно общее место и, не составляя себе труда представить эпохи их исхода на шкале времени, скорее воображал эти глубины в виде некоей гигантской матки, *беспрерывно* порождающей племена и так же *беспрерывно* отсылающей в Европу нашествие за нашествием. Поэтому, получив возможность поездки в Тыву, я загорелся, во-первых, увидеть воочию эти самые «глубины» (а Тыва, которую китайцы называли «каменным мешком», как нельзя лучше походила на образ «великой матки народов»), а во-вторых — путь, по которому вышли из «глубин» на арену истории все так называемые «варвары». Все, как легко догадаться, оказалось не так, как я себе воображал: от самого понятия о «варварах» до представления об их обрушивании на мир цивилизаций. Поезд из Москвы до Абакана идет три дня. Из них более суток за окном на протяжении 24 географических градусов тянутся так называемые «березовые колки», или перелески на границе тайги и степей. Этот мир, который я застал еще заснеженным и только полным талой воды, — настоящий рай для кочевников, и те же скифы или гунны могли блуждать в этом раю сотни лет, если, конечно, их не подталкивала сзади следующая волна собратьев-скотоводов, внезапно стронувшихся с мест привычного кочевья от бескормицы очередного засушливого периода в глубинах континента. Тех, кого в результате подобных катаклизмов зашвырнуло в Китай, на дальний Север, как ненцев и юкагиров, или в еще более глухую Азию, в пустыню Такла-Макан, как уйгуров — бывших властителей не только Тывы, но и всей территории от Саян до Центральной Азии, мы, будучи неисправимыми «евроцентристами», как правило, вообще не принимаем в расчет. В этом есть своя логика. Образ Европы со времен Древней Греции формировался в противопоставлении себя Азии. Лишь однажды Александр Македонский всерьез решил слить Европу и Азию в единое царство, привить к европейским обычаям азиатские нравы, перенять персидские одежды и гаремы, пополнить пришельцами пантеон богов Олимпа, перемешать кровь сынов Европы и дочерей Азии, чтобы кровным родством связать пространство... Александр — полководец запредельности — буквально вышел за пределы Европы; он заблудился в Азии, он был очарован Азией, он заболел ею...

Евразийство — тайная мучительная болезнь *зачарованных*, мечтающих приладить друг к другу несоединимое, обосновать понятия, которые в принципе не могут быть составлены. Смыслы Азии плохо ладят с логикой Европы. К тому же Азия — это не один какой-то смысл, это великая книга смыслов, в которую вписаны и историческое недеяние северных народов, и великая экология охотников тайги, и кочевничество, и свод философий Китая, и японский дзэн, и сверху донизу одухотворенная вселенная шамана, и буддийские сутры, и суры Корана...

Будучи оптимистом, можно предположить, что когда-нибудь все это, переплавившись, сольется в сознании нового человечества. Но не стоит торопиться с этим. Не стоит торопиться...

II. «ВЕЛИКИЙ ЗАПРЕТ» ЧИНГИСХАНА

Чтобы попасть в Азию, недостаточно доехать до Первоуральска и вовремя вспомнить, что именно здесь, по Уралу, и рассекается символической границей наш двоякодышащий континент. Ничего подобного. Географически Азия залегает то дальше, то ближе (тут, вероятно, более точной межой служит Волга), но главное, что эта граница проходит в сознании. Причем по-разному в сознании каждого из нас, живущих в единственной стране, в которой Европа и Азия не просто формально объединены, но и буквально сошлись в каждом городе, на одной улице, часто — попросту в одной квартире. При таком раскладе нам нужно чутче ощущать свое «азийство» и не бояться его.

Признаюсь, понадобилась действительно серьезная разборка с сознанием, чтобы как праздник принять 840-летие со дня рождения Чингисхана и объявление его «человеком тысячелетия», чему неустанно радуются братские бурятский и тувинский народы. Проще было по-школьному считать родоначальника «Золотой династии» Чингизидов просто жестоким завоевателем, а все хлопоты и чествования по этому поводу — обычной политикой, направленной на то, чтобы показать кукиш Москве и Пекину.

В Абакане я познакомился с Чингисом Доржиевичем Гомбоиным, членом-корреспондентом Международной академии информатизации, и так узнал о «Тайной истории монголов», которая на протяжении почти восьми веков передавалась только из уст в уста от отца к сыну — так что русские исследователи лишь в XX веке узнали о ней! Но еще более поразительны были рассказы про Обо Чингисхана и Их Хориг — «Великий запрет», который он наложил на землю своих предков, запретив на ней строительство городов, любые виды хозяйственной деятельности и даже столь любимую им облавную охоту, необходимую для воспитания настоящего воина! Эту часть мира, вместе со священной горой Хамар-Дабан, великий хан пожелал сделать зоной спокойствия и гармонии: сюда он удалился, раненный в ногу под китайским городом Датун, здесь возвестил великий мир, который был нарушен только в годы Гражданской войны. Не поразительно ли?

«Тайная история монголов», собственно, была написана спустя тринадцать лет после смерти Чингисхана, в 1240 году, и представляет собою рассказ о том, откуда произошел хан Чингис и соответственно все монголы, собранные его дланью в единый народ: каждый, кто прочитает ее в существующем русском переводе, сейчас не увидит в ней ничего более тайного, чем намек на то, что великий хан велел похоронить себя на дне реки. Чингисхан застал «долины царей» в Хакасии и в Тыве уже разграбленными. Он видел, в какое ничтожество обращается бывшее величие. Возможно, он знал об обычае гóтов хоронить своих вождей на дне реки. Во всяком случае, на земле ни одна могила ханов «Золотого рода» не найдена, включая могилу последнего из великих — хана Кублая, хотя в Монголии туристу станут показывать не одну «могилу Чингисхана». Легенда гласит, что Чингисхан был похоронен на дне в устье Онона, для чего русло реки пришлось изменить при помощи плотины. В гробу из горного хрусталя завоеватель был опущен в могилу, и... воды реки, впервые омывшие его младенцем, вновь сомкнулись над ним... Зона «Великого запрета» окружала священную гору Хамар-Дабан (ныне находящуюся в Бурятии), на южном склоне которой еще в незапамятные времена был сложен из массивных каменных глыб курган, совершать обряды возле которого имели право лишь самые сильные шаманы и, в особых случаях, представители царской крови. Далее она простиралась долиной Селенги и, по-видимому, включала в себя священное озеро Байкал, в старину называемое Ариг-Ус — чистая вода. Любопытно, что нарушение «Запрета» (начало интенсивной хозяйственной деятельности, земледелия и т. д.), а также раскрытие сведений, содержащихся в тайных устных преданиях, произошло именно в XX веке — то есть тогда, когда, согласно самой «Тайной истории монголов», сила запретов начнет ослабевать...

Часть этих сведений Чингис Доржиевич узнал от отца, тот в свою очередь — от деда. Дед моего собеседника был степным аристократом, зайсаном читинской степной думы, великолепно владел старомонгольским (необходимым для чтения книг), тибетским и русским языком, необходимым для виртуозного канцелярского письма.

— А тибетский? — удивился я. — Зачем он?

— То есть как — зачем? — в свою очередь удивился Чингис Доржиевич. — Это же язык нашей религии, это как латынь на Западе...

Ну конечно, как я мог забыть?! Буддийский храм, ламаизм... Все это там, в Москве, я знал же *теоретически*. А после разговора с Чингисом

Гомбоиным *параллельное духовное пространство* открылось мне как несомненная реальность. Так мы, выходит, приблизились к отрогам Шамбалы? Или Тибета, во всяком случае? Ну конечно... Позади — Саяны, впереди — монгольский Алтай, котловина Тарима и — «крыша мира»...

Сегодня монгольские «челноки» с товарами имеют право ездить беспаспортно через таможню Паган-Олгой только до Эрзина, первого большого поселка на дороге в Кызыл. Здесь они снимают самые темные комнаты в бедных домах тувинцев и торгуют на рынке скудным, дешевым китайским товаром.

Китайцы со своими швейными машинами и станками для нарезки ключей проникают в Абакан и Кызыл нелегально. Они похожи на глухонемых и объясняются с заказчиками на языке жестов: заменить молнию в штанах или на куртке, прошить ослабевшую ручку сумки... Увидев направленный на них объектив фотоаппарата, они бросаются врассыпную с негодующими криками, даже не собрав свои пожитки. К вечеру им, как правило, удается заработать немного денег, и тогда, случается, их бьют, стараясь выхватить деньги и как можно шире разметать заготовки ключей или иглы по земле рынка. Терпеливо, как глухонемые, они молча собирают свое добро, стирая с лиц кровь. Они нелегально проникли сюда сквозь Зону Запрета. Время Их Хориг истекло...

III. ТОТ, КТО ПРИНОСИТ ДОЖДЬ

Наша поездка в Тыву имела помимо участия в семинаре о священных местах коренных народов Сибири и Дальнего Востока еще одну цель: подготовить приезд и проживание в этих краях дюжины американцев, мечтающих получить практикум по тувинскому шаманизму. Задача не из легких: американцы не были учеными, но при этом были весьма требовательными пенсионерами, рьяно интересующимися теорией и практикой шаманской магии. Однажды они уже совершали выезд к шаманам в Мексику и пришли к выводу, что все, что им показали, — в лучшем случае хорошо поставленный спектакль. Испытав страшное разочарование, американцы вынуждены были признать, что как ни крути, Карлос Кастанеда повстречал в этих местах своего Дона Хуана больше сорока лет назад. И все чудеса, настоящие чудеса, которые они, собственно, и желали увидеть, происходили с ним тогда же, в начале 60-х. О, толщи прошлого и настоящего! О, невозможность вернуться вспять, пожалть руку своему Дону Хуану и, ничего не спрашивая у него, как этот безмозглый Карлос, просто счастливо следовать за ним...

Почти отчаяние. Только шаманские сайты в Интернете не дали угаснуть их энтузиазму: Тыва! Название, звучащее как заклятие. Камень, глина, железистый ил, звонкая черепица, соль, олово, золото, бронза. Стрелы бесчисленных воинств со свистящими наконечниками. Скифы, сарматы, тюрки, уйгуры, кыргызы, Чингисхан. И — крутейший шаманизм в самом сердце Азии, на стыке времен, миров и горных систем. Шаманизм, который всегда пересиливал влияние всех мировых религий и в конце концов ужился только с буддизмом Тибета. Ни манихейство уйгуров, ни несторианское христианство, ни китайские влияния в Тыве не прижились, что уже в древности вызывало изумление путешественников, скажем, перса Гардизи, усмотревшего в верованиях тувинцев хаос, непредставимый для правоверного мусульманина. Они, пишет он в интонации громкого шепота, поклоняются корове, ветру, ежу, соколу, красным деревьям...

Вот в эту вселенную, где собственной жизнью, силой, святостью и характером наделены горы, деревья, долины, источники, звери и птицы, а также сам человек, видимый шаманом в переплетении бесчисленных струн мира совсем не так, как привыкли видеть этого человека люди офисов и

фирм, обычные слепцы современной цивилизации, и хотели теперь попать американцы.

Поездку было бы не так уж трудно устроить — шаманских центров в Кызыле, во всяком случае, больше, чем ламаистских храмов, — если бы американцы не настаивали на том, чтобы их завезли в самую глушь, поселили в юртах и без обмана показали подлинный шаманский обряд, по возможности набрав для этого шаманов, которые едва-едва умели б читать и крестом расписаться в приходно-расходной ведомости. Все это надо было как-то организовать. Как доставить в «дикие места» багаж пассивных пенсионеров? Все они, разумеется, собирались ехать налегке, что по-американски значило — с одним рюкзаком и одним большим-большим чемоданом. Кто и где построит юрты и будет охранять багаж, одновременно обеспечивая участников поездки «необходимым количеством хорошо бутилированной воды»? Кто будет готовить? И наконец, самое трудное: что? Все шаманисты-любители оказались к тому же как на подбор вегетарианцами. И здесь, в глубинах тысячелетнего кочевья, это непонятно больше, чем руны Хайдеггера, прочитанные по-немецки, непонятно во всей буквальности вопроса: а что же они едят? Чем их, черт возьми, кормить, если даже утренний чай — брусковой, соленый — варится на молоке, как суп, если даже водка — арака — здесь делается из молока, сугубо белкового продукта? Вопрос легко решался бы, если б речь шла о выборе сортов мяса: баранины, козлятины, конины и того, что предпочтительнее, — губы, мозги, ребрышки или самая сочная филейная часть... Но кормить гостей китайской лапшой или армейскими макаронами — это, простите, позор для хозяина! Через месяц уже прорастет трава, и, о духи гор, — дайте им черемши, дайте им скольких прозрачных грибов, дайте им молодого папоротника!

Бронируем лучшую гостиницу в Кызыле. Обычная, слишком близко к рынку, где местные бомжи цвета запекшейся глины то зарубаются, то воскресают, хлебнув технического спирта и курнув злого местного гашиша, где по рядам, словно стайки птиц, носятся мальчишки лет двенадцати — четырнадцати с отрубленным, как у «*cosa nostra*», коготком — «телепузики», которые днем воруют, вечером грабят, а ночью с детской жестокостью просто убивают, зная, что по возрасту им «ничего не будет». Однажды они группой устали в невиданный оптический глаз моего фотоаппарата.

— Снимай! — крикнул мой друг.

Я промедлил.

«Телепузики» прочирикали мимо, издали расстреляв нас из игрушечных пистолетов.

Нам надо было убираться из города. Однако перед отъездом мы решили-таки нанести визит местным шаманам. Первый «Центр шаманизма» попался нам на глаза на набережной Улуг-Хема (Енисей), когда мы разглядывали стелу «Центр Азии». Неподалеку на крепком деревянном доме мы увидели призывную вывеску, тут же юрту и что-то вроде каркаса для вигвама, составленного из длинных прямых жердей, обмотанных синими и желтыми лентами.

— Снимать нельзя! — немедленно отреагировали двое молодых людей, едва заметив у меня в руках фотоаппарат.

Я сделал вид, что и не собирался ничего снимать: бог весть, стоило ли сердить этих стражников, тем более что мы не знаем, приходится ли они свойственниками светлым духам Хана-Тенгри или по ночам им назначено скакать в свите хана Эрлика и своенравного Бюрта — духа скорой смерти? Все, что я знал о шаманизме, было вычитано из книг, а много ли стоит книжное знание, когда тебе, возможно, угрожает опасность, порча или сглаз? Мы решили поискать удачи в другом месте, где неудовольствие не будет первой реакцией на наше появление.

Следующий попавшийся нам «Центр шаманизма» располагался в совершенно разрушенной избе, и ни жизнью, ни смертью в нем не пахло. Далее были еще ворота с наброшенной на верейный столб шкуркой какого-то зверька и мешочком с зашитыми внутренностями зверька или благовониями, в чем мы так и не разобрались, прошествовав мимо, пока не дошли до вполне приличного с виду, четвертого уже по счету, «дома шаманизма Хатты Тайга». Внутри нас встретил человек с манерами, выражающими полное самообладание, в брюках из штучной ткани и таком же штучном, зернистом жилете: шаман Сайлыкоол Иванович. Пока мы, онемев от любопытства, таращились по сторонам, хозяин дома не стесняясь держал нас в прихожей. Но волшебные слова «дело» и «американцы» произвели на него поистине магическое действие и заставили широким жестом пригласить нас в соседнюю залу. Я давно уже косил туда взглядом, ибо никогда, повторяю, *никогда* не видывал ничего подобного. Посреди залы стоял трон. Без сомнения, трон был заказной ручной работы, призванной засвидетельствовать сплетение стихийных сил в их космогоническом порыве. Подлокотники оканчивались волчьими головами, ножки трона — лапами грифона, на спинке и на сиденье тоже что-то было изображено, но Сайлыкоол Иванович, усевшись на трон, закрыл от наших взоров все это великолепие. Зато прямо перед нашим хозяином был еще столик, на котором были разложены с некоторой подчеркнутой торжественностью ритуальные предметы его ремесла: две пары обычных буддийских литавр, связанных красной тесьмой, лапка беркута с исполинскими когтями, как манжетой, обернутая красной лентой, а также сакральный нож, лезвие которого было изукрашено бронзовыми языками огня, а ручка — половинкой *ваджры* — важного предмета ламаистского ритуала, распиленного пополам. Освоившись в этой странной комнате перед лицом восседающего на троне хозяина, я нашел глазами бубен с колотушкой, картину, изображающую камлающего шамана, и, наконец, на стене — самую странную химеру из всех, виденных мною до сих пор, — это была огромная щучья голова с бычьими рогами. Голова щуки была выделана и засушена по всем правилам рыбацкого трофея, и широко разведенные в разные стороны жабры были похожи на огромные уши, что придавало химере несколько комический вид. Покуда я глазел по сторонам, Сайлыкоол Иванович доходчиво объяснил, почему он лучший шаман и почему другие хуже его. Потом он перечислил знакомых в Москве — так, как будто перечислял колена своего шаманского рода, и наконец воскликнул:

— В конце концов, кого пригласили, когда надо было вызвать дождь?

Это верно: в одно особенно засушливое лето Сайлыкоол Иванович вызвал дождь по просьбе народа. Этот случай вошел в легенду и подарил нашему хозяину неотразимый аргумент: вызвать дождь в этих краях нелегко. Легче вырвать у неба кусок горячего метеоритного железа, чем хоть каплю воды.

При прощании я заметил, что от темени до шеи задняя часть головы Сайлыкоола Ивановича в шахматном порядке покрыта квадратами голой кожи, причем не просто стриженной, а как будто бы срезанной вместе с луковицами волос. Я почувствовал легкую дрожь во всем своем психофизическом существе: эти голые квадраты определенно как-то влияли на меня, да, очевидно, и не на меня только. Внезапно я представил Сайлыкоола Ивановича стоящим под рогатой щучьей головой. Он ударял в бубен и выкрикивал: «Я самый сильный! Я самый великий! Я тот, кто приносит дождь!»

По счастью, на улице было еще светло. Наутро был назначен отъезд.

— Черт их знает, этих *шамана*, я их боюсь, — невольно выдавая общее настроение, выдохнул вдруг Милан Кыныраа, директор заповедника «Азас», взявшийся быть нашим проводником. — Сильный шаман никогда о себе так не говорит, все сами про него знают, а он живет себе тихо, незаметно. Это так, поверьте, это так...

Как и во всяком традиционном обществе, в Тыве шаман принадлежит прежде всего роду, поэтому и «знать» шаманов можно только по-родственному, если, конечно, не интересоваться этой проблематикой более широко. А поскольку Тыва есть лоно, межгорная впадина, подобная лотку золотоискателя, где за тысячи лет, как крупницы золота, осели десятки родов десятков племен, состоящих то в ближнем, то в дальнем родстве, значит, и шаманы могут исповедовать самые различные практики и традиции. Скажем, в таежной Тодже, не просто славящейся, но даже и гордящейся своей непроходимой глухоманью, еще в XVII веке жили племена, говорившие на самодийских наречиях, которые в основном откочевали на север за тысячу лет до этого. Жители Тоджи, как эвенки, ездили на оленях, а бедняки шили себе платье из перьев птиц. Шаманы Тоджи славятся неоспоримой силой. Место здесь, должно быть, энергетически не менее значительно, чем Селигерская возвышенность, мать вод. Меж двух горных хребтов в Тодже рождается великий Енисей, пробулькивая на перекатах, перебирая языком воды камешки всех будущих своих названий: Тоора-Хем, Оо-Хем, Баш-Хем, Серлиг-Хем, Ий-Хем, Ак-Хем, Кара-Хем... Плюс шаманская традиция глубиной тысячи в две лет... Но в Тодже у Милана была работа, а в Эрзине, на юге Тывы, он родился и знал всех, как в своем роду. И он обещал познакомить нас с женщиной, которая проведет вслед за собой по углям каждого, кто не усомнится. И я уже видел себя шагающим по огню, но утром события приняли совсем другой оборот...

IV. ДОРОГА НА ЮГ

У тувинцев удивительно мягкие, с мягкой же подошвой сапоги, разительно отличающиеся от наших кирзачей, которые есть порождение миллионных масс, солдатчины, лагерей, урезанных смет и кожи, войны и беспощадных, как война, строев. У тувинцев же сапоги индивидуальные, по ноге, и в них человек не замечает тяжести, идет как летит. И потом, это сапоги *всадника*, им толстая жесткая подошва, которой служилый или вольнонаемный давит сырую землю, не нужна. Такие были соображения. Но оказалось, помимо, что в ламаистском буддизме Земля считается «святой», поэтому грешно, например, копать ее, мотыжить и тем более попусту драть сапогами. Отсюда же — соблюдаемый до сих пор ламами обычай носить обувь с загнутыми сверху носами — чтобы и ненароком, шагая, не нанести Земле вред. Вероятно, существует ряд оговорок и отступлений от этого правила, раз даже в Тибете издревле строились монастыри и кропотливейше обрабатывались поля. Но тем не менее принципиальная установка оказалась важной, а поскольку она еще наложилась на шаманизм («все — живое»), то легко понять живущее в сознании Азии представление об одухотворенности и святости отдельных камней, источников, деревьев, а главное, представление обо всей земле как об одухотворенном живом существе, живом в самом прямом, органическом смысле: вот ее поры, рты, глаза, волосы, жилы, по которым, таинственно ветвясь, как кровь по сосудам, движется «сила», токи природы.

— Вот, глядите, — показывает в окошко машины Милан. — Вся сопка лысая, и только на вершине, на самой голой скале, растут деревья. Значит, там наверх выходит вода. Значит, там место может быть необычное. Может быть, там святилище есть. Вы потом убедитесь: каждое святое место — оно по-своему необычно...

Однако дорога, машина «УАЗ», шофер Мерген, естественно, оказывающийся каким-то родственником нашего провожатого, мешок с картошкой, лук, морковь и клубы пыли за спиной — это все откуда взялось-то? Я, помнится, в воображении уж проходил вслед за шаманкой огненное крещение, и решимость была велика, а тут, едва продрав глаза, начинаем собираться на неведомый юг, к самой границе с Монголией, в село Мо-

рен, с удовлетворением убеждаясь, что в автомобиле багажник отделен от салона специально приваренным железным листом, что дает нам шанс не задохнуться в салоне от пыли, двигаясь обозначенной на карте грунтовой дорогой или, по желанию, степью.

Накануне, поясню, Борис Фомин, главный организатор поездки американцев, заглянул в местный университет и попался: на кафедре экологии был принят с распростертыми объятьями. И тут же введен во искушение. Там в Морене, — сказали, должно быть, ему, — есть школа. Директор — наш человек. Проводит экологическую линию. Занимается разработкой экологических маршрутов. Они вам все сделают: юрты поставят, укрощение дикого жеребца покажут, еду приготовят... Только эти вегетарианцы — они что будут есть-то?

Спальные мешки, предложенные в дорогу, перевесили чашу весов, и планы наши вмиг переменились. И это понятно: проторить по первопутку маршрут сложно, а тут оказывается, что где-то тебя любят и ждут и готовы, особенно за деньги, свалить с тебя все твои сложности. Но что б ни случилось — все к лучшему. И вот уже мы катим на юг, спугивая с придорожных столбов коршунов, высматривающих добычу в жухлой траве.

Степь: сухая, бескрайняя и бесплодная, как мертвая шкура, без единой травинки, без единого цветка. Ворон, белоголовый лунь, каменка, коршун и сокол-балобан крапом перьев своих исчерпывают всю палитру цвета. Желтая шерсть травы спутана холодным ночным ветром; седые пряди разметаны, серая земля, снег крупитчатый, похожий на соль, рыжий камень, черные гари.

Коровы жуют сухую траву, словно сено, теплыми языками облизывая уцелевший по ложбинкам снег; сушь; снежные вершины далеких хребтов Монгольского Алтая висят над степью, как облака, сулящие нескорый дождь.

Камни.

Их много. Их воздвигали люди, жившие две, а может быть, три или больше тысячи лет назад.

Их столько вокруг, что даже собранные во дворе музея в Кызыле древние погребальные камни ашидэ и ашина, первых родов древних тюрок, появившихся здесь, уже не кажутся столь впечатляющими. Конечно, оно поразительно, это воинство, стоящее плечом к плечу. У них у всех бороды и изумленные круглые глаза, и еще каждый держит в руках сосуд — то ли жизни, то ли судьбы, — который каждый должен выпить до дна. И вот они выпили и стоят с круглыми изумленными глазами, что это — все. И там, во дворе музея, никак не можешь отделаться от потрясения этим последним удивлением испившего до конца свою долю человека...

Но здесь, в живом пространстве, где можно часами, как по шахматной доске, бродить по мегалитическим полям, где стоящие камни действительно напоминают фигуры игры, то ли завершенной, то ли брошенной в бесконечности прошлого... Кажется, теряешь само чувство реальности. Где мы? И что это вокруг — не шахматы же, разумеется. Что тогда — план вселенной? Или космические часы? Мы не знаем! Не знаем, действующее это устройство или построено на ошибочных расчетах. Кажется, древние маги сочли свое творение совершенным — до сих пор все камни на своих местах. Камни, вертикально врытые в землю, поодиночке и группами; камни, собранные небольшими кучками; каменные лабиринты... Ничего не тронута — и, значит, все верно, ибо что может быть ужаснее, чем таким вот образом утвердить о пространстве и времени ложное представление, тем самым, быть может, исказив само пространство и такт времен...

А через несколько десятков километров — символ совершенно иного рода.

Вытесанный из цельного куска камня циклопический фаллос, щедро изливающий в мир полубожественные создания — оленей с птичьими го-

ловами, с рогами, похожими на царские короны, навеки оторвавшихся от земли в «летучем галопе», устремляющихся все выше и выше по напряженной спирали исполинского ствола... Да уж, американцам будет что вспомнить, даже если они больше ничего не увидят, кроме этого «оленного камня» у дороги, даже если не свернут к еще более древним и темным урочищам, где красной краской, не знающей власти времени, изображены повозки с исполинскими колесами, кони, быки; где до сих пор думают свою нескончаемую думку присевшие отдохнуть охотники с грибовидными головами...

Нам повезло: мы попали на дорогу, в степь, как раз в ту пору весны, когда мир прозрачен до самой основы, до камня гор, до седины мертвого дерева в гуще тайги или серебристо блестящих костяков горелого леса, сплетающихся в какой-то фантастический узор, напоминающий извивы модерна на балконных решетках.

Современные, действующие святилища были повсюду, как правило, ими отмечен был каждый важный участок дороги: перевал, поворот, просто отдельно стоящие большие деревья. Обычно они были невелики: куча камней и деревянные каркасы (может быть, в прошлом и в самом деле деревья), сплошь увязанные лоскутами материи в основном желтого и голубого цветов, но иногда специально сплетенной веревкой или вышитой канвой. Однажды издалека две такие «фигуры» в лохмотьях живо напомнили мне лису Алису и кота Базилио, бредущих куда-то по дороге. Но одно святилище на перевале через хребет Танну-Ола было очень велико. Оно также располагалось при дороге и включало в себя, во-первых, сложенный из жердей «чум», магически оконтуренное пространство, «круг», во-вторых, несколько строп, на которых развешаны были «правильные ленты» ламаистских покровителей этого места, в-третьих — могучее дерево, ветви которого были сплошь убраны самодельными разноцветными или плетеными лентами. Но это дерево, лиственница, разумеется, не могло вместить на свои ветви и одной сотой тех чувств, которыми обременяли его люди, навешивая на него свои ленты (просьбы? благодарения?). Поэтому несколько десятков деревьев вокруг также представляли собой давно сложившиеся кумирни, а некоторые только начинали служить дорогой в небо... По одному такому стволу прогнал к духам восьми небес своего коня какой-то привязчивый хозяин, навесив на ветви череп любимца. Кроме того, на земле оказалось много стекла разбитых бутылок, из чего делалось ясно, что религиозные переживания тувинцев совмещались — а может быть, усиливались — принятием алкогольных напитков.

Все дальше на юг. Мы уже начинаем спуск с хребта в долину Тес-Хема, когда вдруг замечаем, как слева от нас горит тайга. Она горит далеко, но именно в той стороне, куда нам надо. Она горит далеко, но даже страшно представить, какие опустошения может произвести огонь в сухом, прозрачном лесу.

Издали это похоже на извержение вулкана: огонь на горах и мощные выбросы желтого дыма с желтыми и даже красноватыми подпалинами. Никто, кроме нас, не выразил по этому поводу ни малейшего беспокойства.

Неподалеку от Эрзина Милан попросил остановить машину. Выяснилось, что, въезжая на землю своих предков, он должен очиститься, совершить обряд. Для этого он собрал несколько сухих веточек, сложил шалашиком и возжег их. Затем посыпал разгоревшийся огонь крупкой сухого можжевельника (артыша) и позвонил в колокольчик. Затем из мешочка со священными принадлежностями появилась еще трубка, которую Милан набил чем-то и раскурил. Со времен, когда Тыва была северной провинцией Китая, здесь в долинах возделывали культурную коноплю, из которой терли потом первосортный гашиш. Я подумал было, что Милан затянулся «травкой», но нет, курил он табак или просто какие-то листья не затягиваясь. Покончив с курением, он собрал ритуальные принадлежности в

мешок, и мы отправились дальше. Меньше чем через час мы въехали в Морен — поселок у подножия священной горы Улуг-Хайыракан («Белый медведь»).

В школе нас уже ждали. Правда, не предложили с дороги даже стакана чая, что меня удивило: я устал и хотел есть. Школа, обнесенная забором, похожа была на отдельное поселение. Все строения в ней были одноэтажные, длинные, барачного типа. В одном размещались классы, в другом — музей, в третьем — столовая, в четвертом — библиотека, склад и т. д. Отхожее место оказалось армейского типа, разделенное на половинки «М» и «Ж». Потом выбежали дети на перемену, стали играть в мяч. Я пригляделся и понял, что играют в вышибалу. Звонкие голоса детей эхом звучали в пустом воздухе: иногда казалось, что, кроме школьников, в целом поселке никого нет. Так, появится в конце улицы фигура — и исчезнет. Определенно, оживление царило только тут, на школьном дворе. Вышли на перемену старшеклассники, осмотрели машину, незнакомого кроя рюкзаки, потом, заметив у меня в руках фотоаппарат, попросили, чтоб я сфотографировал их на фоне горы.

— Это хорошая гора, — пояснили они.

Может быть, думали, что я не пойму — «священная».

Покуда мы ехали в Морен, я немало узнал про эту гору. Больше всего меня потрясла история с одним человеком, который, вопреки запрету, подстрелил на Улуг-Хайыракане одну из охраняемых его властью коз. Никто не называет этих коз «священными», но святость горы на них тоже как бы распространяется, и поэтому вряд ли найдется охотник, который прельстится легкой добычей. Козы здесь не боятся людей, и их нетрудно увидеть, особенно по утрам, когда они выходят к водопою. Ну а с этим мужиком было так: он и охотником-то не был, он работал на катке, асфальт укачивал. Когда пробивали дорогу, с продуктами были перебои, ну, он взял ружье, пошел в гору и подстрелил козу. А через несколько дней его раздавил каток. Его собственный каток, дорожный. Он полез под него что-то починить, что ли, а каток почему-то тронулся, а он почему-то не заметил...

Вот такая история...

Пока я припоминал все жуткие ее подробности, переговоры Бориса с директором школы уже подошли к концу, а заодно узнали мы, где, вероятно, ждет нас чай и ночлег: в горах стоят пастухи, у них две юрты, одна пустая. Найти их легко по тракторному следу. Так что не пройдет и часа, как мы вновь испытаем, что такое тепло, сытость и гостеприимство...

V. ШАМАНКА САРА

Но тут уже воспротивился я.

— Послушайте, — тихо начал я свой мятеж. — Мы приехали сюда не только для того, чтобы устроить американцев, но и для того, чтобы найти шаманов. Так? Ведь мы договаривались?

— Да, — подтвердил Борис.

— Давайте узнаем, живет ли поблизости хоть один шаман, и заедем к нему. Хотя бы увидим нормального живого шамана.

— Надо попробовать, — согласился Борис.

Неожиданно Милан, которому определенно хотелось устроиться в незнакомых местах понадежнее и вкушать наконец еды и тепла, попытался отговорить нас.

— Они сказали, что там, за поселком, живет одна шаманка. Но дело в том, что эти *шамана*, — (он упорно употреблял эту забавную форму множественного числа), — они... Ну как это сказать? Они пьют... И если она сейчас пьяная, она не сможет показать обряд, она не сможет ничего...

Я удивился столь всеохватному обобщению — «шаманы пьют» — и об этом решил расспросить Милана подробнее. Однако пока что у нас не было ни малейшего повода для опасений...

— Так давайте заедем и удостоверимся, — настаивал я.

Настояния оказались небесплодными, и меньше чем через полчаса меж лиственниц у реки мы отыскали изрядно истрепанный непогодой дом, в котором и жила шаманка Сара.

— Сара, — спросил я, — откуда такое имя — здесь?

— Сара по-тюркски значит молочница, доярка, — пояснил Милан.

Мы постучались в ветхую, покрытую скорлупками красной краски дверь.

Никто не откликнулся. Мы вошли. Шаманка была дома и была трезва. Вообще-то сидящая в простом ситцевом платье старушка ничем не напоминала существо, общающееся с духами. Пока Милан вел переговоры, я оглядел дом. Он был из двух комнат, большую долю первой занимала печь, вторая же, отгороженная занавесками с изображениями свеклы и морковки, была невелика. На столике у окна лежала книга, которую женщина и читала до нашего прихода. Майн Рид, прочитал я, «Белый вождь». Однако тут переговоры закончились.

— Бубна у нее сейчас нет, порвался, — подытожил Милан. — Но она может сфотографироваться в ритуальном костюме, если вы хотите.

— Конечно, — сказал я.

Шаманка Сара удалилась за свою овощеводческую ширму и некоторое время отсутствовала. Она понимала Милана и даже понимала, что он хочет, но на меня смотрела сквозь припухлые веки своих раскосых глаз как на совершенно чуждое существо.

Дело не в бубне — бог бы с ним, а зачем они приехали и чего они хотят, должно быть, думала она. Или они хотят, чтобы я танцевала перед ними или чтобы читала в их душах — о-о-о-о! — темных душах белых людей, в которых столько всякой трухи, столько приросших к нервам слов, столько грязной, не отфильтрованной чистым воздухом и тяжелой работой крови...

Терпеть она не могла праздного любопытства и больше всего не хотела, чтобы ее спрашивали, как там на небе или под землей. Сроду она не бывала выше первого неба, зато знала, что старые деревья с глубоким дуплом обладают разумом, душой и языком. Но что белым до этого? Помнят ли они еще, о чем нужно спрашивать деревья? Что толку им рассказывать про свойства трав, дыма, воды источников, озер и рек? Нужно жить среди живой воды, чтобы знать, что вода бывает разная. Зато они, наверно, слышали про руны. Про руны она и сама слышала: что в древности ими было что-то записано, какие-то мощные заклятия, должно быть, только она их не знала. Пока был колхоз, она работала при коровах, а потом уж перебивалась кое-как. До рун ли ей было? Ладно, она вышла из-за занавески в своем ритуальном облачении, и я вдруг увидел перед собой пожилую женщину, полную величия и силы.

Мы были милостивы и не стали ни о чем спрашивать: хватило нескольких кадров, чтобы снять шаманку Сару в шаманском наряде у двери дома и во дворе, на фоне горы. Чудесный китайский шелк темного синего цвета давно выцвел, и тем не менее узор на нем еще читался. Странно, но, позируя, шаманка все время принимала *позу птицы* — как будто готовилась взлететь. Напоследок мы подарили ей бутылку водки с прилепленной поверх этикетки сторублевкой. Шаманка рассмеялась:

— У вас так с деньгами и продают?

— Ну конечно!

Наконец-то контакт найден: мы вместе смеемся.

Должно быть, с шаманами трудно разговаривать — ведь они живут в мире, очень отличающемся от нашего. Я слышал рассказ о шаманах из Лаоса, которые после Второй мировой войны, оказавшись в конце концов во Франции, совершенно особым образом чувствовали антиномию Восток — Запад.

— *Жить*, — объясняли они, — здесь можно. Вот *умирать* тяжело.

Они говорили странные вещи.

— Ваши книги, — говорили они, — стирают нашу память...

Про тувинских шаманов я тоже узнал немало историй, но одна настолько выламывается из обычного набора шаманских тропов, что заслуживает отдельного рассказа. Республика Тыва, как известно, в состав СССР вошла поздно — только в 1944 году. Тогда же появилась здесь настоящая советская власть во всей ее силе — то есть вместе с НКВД. И чекисты, конечно, не оставили без внимания шаманов. Приводят одного на допрос. Следователь спрашивает: «А что, правда, что ты умеешь обращаться волком, вороном или маленькой птичкой?» — «Нет, — отвечает шаман, — неправда». — «Тогда что правда? Рассказывай». — «Нет, уж вы допрашивайте меня», — говорит шаман, и тут же становится их двое. Кого из двух допрашивать? «Допрашивайте меня», — требует шаман, и тут же рядом с ним третий точно такой же появляется. Когда до семи персон дошло, следователь допрос прекратил, опасаясь, видно, за свой рассудок. Шаман тоже проявил снисходительность, прекратил мультипликацию и стал опять в едином теле. Вертухай запер его в камеру, громыхнул ключами, сел курить. В это время кто-то по плечу его хлопает. Оборачивается он, а перед ним шаман стоит: «Слушай, а ты хорошо меня запер?» Тот — к глазку. Пустая камера. Снова отпирает дверь, вводит туда шамана, запирает. Все нормально: замок работает, щелк! — и дверь трактором не выдерешь. И тут опять: «Слушай, а ты хорошо меня запер?» Шаман перед ним стоит, а камера пустая. В общем, что с этим шаманом делать, в тюрьме не знали, так и выпустили его...

VI. ЮРТА

Тракторный след на каменистой горной почве читался плохо, и мы в результате сбились с пути и заплутали меж нижних отрогов священной горы. Близился вечер. Желтое солнце, играя в желтой же траве, превратило весь мир в... Да, как будто он был сотворен из красной меди, и овцы, когда мы их увидели, казалось, едва несут свое сверкающее руно, а козы, белые, вообще отекали чистым прозрачным золотом. Мы остановились, чтоб оглядеться, — если появилось стадо, значит, близко и хозяин. Но хозяина не было, зато из-за горы мутной тенью на нас надвигалось что-то.

— Туча, — понял я. — Снег!

Хоть и красив был солнечный закат, но при мысли о снеге вдруг ожило в душе сиротство путешественника, оторвавшегося от родного дома и занесенного бог знает куда в самый неурочный час.

— Дым, — вдруг с полной уверенностью произнес Глазов. И все сразу поняли, что это дым.

Это был дым далекого пожара, ароматный дым горящих где-то там, за горой, кедров и лиственниц. Михаил Глазов, географ, до сих пор не возникал в нашем повествовании только потому, что бездействие занявшей почти целый день езды не позволило ему выделиться в самостоятельное действующее лицо. Но пришла, видно, пора и ему вступить в дело. Во всяком случае, во всем, что касается носа, Глазов не знает равных — он чует лису на расстоянии револьверного выстрела, а ориентируется не хуже собаки даже в темноте. Поэтому неудивительно, что именно он первым заметил пастыря стад, неподвижно сидящего под елочкой на утесе, чуть возвышающемся над склоном пастбища.

Меднолицый пастух дождался нашего приближения, ничем не выказав ни волнения, ни тем более радости: незнакомая, полная людей машина в горах под вечер — какая уж тут радость? Впрочем, предложенную сигарету

закурил. Крупные руки, сильные ладони, привыкшие к тяжелому труду, — в них сигарета кажется меньше обычной. После непродолжительных переговоров мы начинаем спуск в ложбину, где стоят кош и юрта. За нами среди своих золотых стад следует и хозяин, чтобы известить хозяйку о прибытии гостей. Внизу оказались две юрты, кош, цистерна с водой. Именно благодаря ей животные никогда не разбредутся по ущельям, они знают, они привыкли, что вода есть только здесь, каждый вечер она течет вот по этому желобу. Кроме меднорунных овец да нескольких коров, уже занявших свое место у водопоя, вокруг ни души. Может быть, там, во второй юрте, сыновья этого пастуха, они уехали сейчас, и остались только маленькие их дети, а дети испугались и спрятались или незаметно наблюдают за нами из-под полога: дети всегда скрываются от незнакомцев. Большая, но глупая молодая собака рывкает на нас, и Глазов, отлично понимающий собак, смеясь, демонстрирует нам, что этот пес больше всего на свете любит забавляться со шнурками от башмаков. Наконец с появлением хозяина появляется и хозяйка: небольшая, но крепкая еще женщина в свитере и сером халате, с выбивающимися из-под платка седыми прядями.

— Сыновья помогали строить? — кивает Глазов на здоровенный кош, выстроенный из свежих лиственничных бревен и по всей плоской крыше засыпанной для тепла землей.

— Нет, я один, — спокойно отвечает наш хозяин, тоже, кстати, Миша. — Этой зимой построил.

Я пытаюсь оценить затраты труда: в общем, тут надо работать без перекуров и без воображения, просто работать — и все. Он говорит, чтобы мы расселялись в юрте, пока у них вечерние хлопоты со скотиной. Он спит на мужской половине слева, хозяйка — справа. Мы можем лечь на полу. Перетаскиваем в юрту свои пожитки, мягко ступая по сухой земле. Впрочем, это не столько земля, сколько высохший навоз или попросту переваренная трава, похожая на торф. Внутри у печки — сухие кизяки. Сверху нас облекает толстая войлочная шкура, растянутая красным деревянным каркасом, и постепенно — да, конечно, оно нарастает, покуда не делается совершенно явным, ощущение, что мы погружены во вселенную или даже попросту в тело какого-то совокупного Животного, мы входим в него, сродняемся с ним, живем им, обогреваемся им, растапливая печь его сухими кизяками, лежим на войлоке или на ковре, опять же сотканном из его, Животного, шерсти, повсюду слышим шевеление Животного, бляение, меканье, мычанье и другие оттенки голосов Животного, испражнение Животного, кашель или чиханье Животного и, наконец, получаем для ужина куски тела Животного и густой, долго томленный на молоке грубый плиточный чай, по питательности напоминающий суп. Переход в утробу Животного для горожанина, привыкшего к определенным формам быта, не может пройти безболезненно: помню, как в Кабарде, впервые заночевав у чабанов, я все время почесывался, словно давно не мылся: все казалось мне чересчур овчинно и нечисто, — но предложенная простокваша была столь вкусна, а спать на войлоке после палатки оказалось так тепло и уютно, что я возблагодарил Животное и простых людей, живущих подле него.

Кстати, когда час вечерних хлопот миновал и Миша со своею женой Анджимой вернулся в юрту для гостеприимства, выяснилось, что прежде он работал механизатором в колхозе и служил земледелию и жил в поселке, но потом все развалилось, и он вернулся в кочевье, в мир Животного, и в этом переходе не видит ничего сверхъестественного или необычного. Жена не противилась замыслу мужа: она родилась в кочевье и вернулась туда. Скуластая, смуглая, неразговорчивая. Глазов, подняв очередной тост, стал что-то спрашивать у нее, на что Анджима неожиданно весело засмеялась:

— Скажи ему, что я не то что по-русски, я по-тувински-то плохо говорю...

— Она родилась на одной из речек, которые впадают в Тэйсин-Гол, это на самой границе с Монголией, — пояснил Милан. — Мой отец тоже так: когда в школу пошел, не знал тувинского.

— А что, тувинский и монгольский сильно различаются? — спросил я.

— Нет, поэтому они, — Милан кивнул в сторону супругов, — и понимают друг друга. Тувинский ближе всего к древнему тюркскому языку, меньше всего испытал изменений...

Ночью в незакрытый верх юрты, как огромный желтый зрак Животного, глядела на нас полная луна. Я лежал и думал о том, что вот мы еще способны представить бывших своих крестьян, которые зимой пускали новорожденного теленка к себе в избу, или, как в сказке, представить себе беленьких козлят, скачущих по столу или по русской печке, но сами, конечно, вернуться вспять не в силах. Для тувинца же и сегодня это возможное дело — остановить жизнь или вновь привести ее в движение, как тысячу лет назад. И так тянется уже давно — со времен уйгуров, которые первыми построили здесь, в Тыве, семнадцать крепостей, защищающих страну от «северных варваров». В то же время для китайцев они сами были «северными варварами» и совершали походы к Великой Стене. Большинство уйгуров жило в юртах, и тот самый Бильге-каган, кто приказал выстроить крепости по линии, которую пятьсот лет спустя повторит, выстраивая свою знаменитую «дорогу» — укрепленный рубеж — Чингисхан, — он ведь не был до конца уверен в том, что крепость крепостей осилит крепость движения. Он спрашивал у своего советника Тоньюкука, что же все-таки следует предпочесть, и тот, без сомненья, отвечал ему, что только в вечном движении заключена сила: «Тем, что мы всегда оказывали сопротивление, мы обязаны как раз тому, что кочуем в поисках воды и травы, не имеем постоянного жительства и живем охотой. Все наши люди опытни в военном искусстве. Если мы сильны, мы собираем наших воинов в набеги, если становимся слабыми, бежим в горы и леса и прячемся там. Когда мы построим замки, чтобы жить в них, и изменим наши старые привычки, тогда в один прекрасный день мы будем побеждены...»

Спор не закончен, и Миша уходит во время/пространство кочевья, чтобы не быть побежденным там, на равнине, где безработица и привычки оседлости творят свое угрюмое торжество.

Утром, когда мы просыпаемся в юрте от холода, Арджима, открыв дверь юрты, разбрызгивает по сторонам света ритуальной ложечкой с девяти углублениями свежеприготовленный чай, приветствуя новый день. Затем, выпив того же чаю, отправляется заниматься своей «малышкой» — козлятами и ягнятами. Сначала самыми маленькими, которые живут в яслях во второй юрте (так вот почему никто ни разу не выходил оттуда!). Потом уж в коше вылавливает малышкой постарше среди взрослых овец и коз и подкармливает молоком. Да, легкой жизнь кочевника не назовешь!

Зачерпнув один ковшик воды, на пару с Борисом виртуозно умудряемся и умыться, и почистить зубы. Собака, мгновенно отреагировав на льющийся звук, вместе с зубной пастой жадно слизывает воду с наших башмаков.

Из-за Улуг-Хайыракана по-прежнему тянет белый холодный дым: и из-за этого, что ли, сегодня все здесь, в горах, кажется совершенно иным. Все выглядит абсолютно... китайским. То есть выглядит так, как будто это нарисовано китайским мастером тушью на бумаге в полном следовании традиции. Горы в тумане. Вот так, именно так должна быть изображена сосна или лиственница, а вот так, едва проступая сквозь дымку, — сами горы...

Как это возможно?

Ради эксперимента я снял несколько «китайских» ущелий и склонов, полагая, что, может быть, именно воспоминание о туши на бумаге заставило приписать им черты определенной живописной традиции. Но ничего подобного: на фото склоны и горы тоже выглядят «китайскими».

VII. НОЧЕВКА В МОРДОРЕ

К вечеру мы оказались на краю красной пустыни: прямо перед нами возвышались остатки гигантской крепостной стены, сложенной из исполинских, отшлифованных ветром камней, — перед нею еще были по равнине заросли какого-то жесткого колючего кустарника, но последний дальний бастион уже со всех сторон обступали красные барханы, и когда мы в конце концов забрались на его стену, то увидели, что дальше уже — ничего, кроме кремнистых волн пламенеющего на закате песка. Но это уже — потом, а поначалу-то просто было изумление, как это мы из тайги за пару часов долетели до отрогов Гоби. Я развернул карту: пески Боорат-Делийн-эль. Все точно. Смутная догадка осенила меня...

Мы подъехали к развалинам стены. Разумеется, никакая это была не стена, а великолепный каменный останец, изваянный природой с какой-то надчеловеческой виртуозностью: низ стены был сложен циклопическими стоящими вертикально камнями, совершенно неприступными ни для пешего, ни для конного. Только древность сооружения да кусты, вклинившиеся в трещины между скал, позволили мне вскарабкаться на второй ярус, наподобие каменной площадки опоясывающий развалины замка, гораздо больше разбитого временем. Тем не менее, как и всякая руина, он сохранял еще остатки былого великолепия. Верх замка венчала голова орла, грозно озирающая пустыню, словно бы следя за каждым, кто посмеет появиться в ее пределах. Порядком разбитые фризы еще хранили на себе изображения сплетенных змей, оленей, птиц, неистовых, кричащих истошным криком, страдающих лиц... Я взобрался на вершину стены, к самой орлиной шее, и огляделся: вокруг в пустыне, то ближе, то дальше, еще возвышались такие же полуразрушенные крепостные сооружения, замыкающиеся бастионом на краю красных песков. Если бы можно было снимать не переставая, не думая о количестве фотопленки, я бы снимал, пока не сядет солнце. Потому что сомнений больше не было: мы очутились в Мордоре, вернее, в одной из полуразрушенных крепостей Мордора — Кирит-Унголе или Минас-Моргуле, покинутых своими властителями и воинствами темных, едва понимающих друг друга языков, сами названия которых уцелели только в древних китайских летописях: Кара-Чигат, Дубо, Вэйхо, Паегу, Тунло, Фулико, Гулигань... Да, это они составили бесчисленные отряды орков и гоблинов, которые, низринувшись на Запад, вырубали священные рощи, распугали эльфов, а гномов загнали так далеко под землю, что люди потеряли связь с ними и вспоминают о былом единстве лишь в мультиках, где все так мало похоже на правду...

Думаю, что за все время нашего путешествия мне не приходила в голову догадка более значительная, нежели эта — про Мордор. Автор культовой трилогии «Властелин колец» Дж. Р. Р. Толкиен, выдающийся медиевист и столь же выдающийся сказочник, создавая свое произведение, проявил необычайное мастерство в расстановке смысловых антитез: Запад — Восток, Добро — Зло, страны и народы Средиземья — и орды Мордора, страны зла, различающиеся лишь по степени жестокости, грубой силы, подлости и такой же грубой, отвратительной власти, возвышающей одни орды над другими...

Поклонники Толкиена, несомненно досконально изучившие карту Средиземья, вправе бросить мне упрек: зачем препарировать завершённую самим автором карту и делать попытки притянуть ее к реальной географии? Но, возражу я им, позвольте — Толкиен и сам, вероятно, немало покорпел над атласами, прежде чем выкроил из географии физической свою мифическую «страну зла», а потому небезынтересно узнать, из чего он ее выкраивал...

Мы уже достаточно порассуждали относительно орд и языков, «похожих на клекот хищных птиц», исторгнутых из недр Востока, чтобы более

не повторяться по этому поводу. Есть и другие достаточно веские указания, что искать Мордор следует как раз в пространстве «между двух стен» — той стеной, которой отгородился от воинственных «северных варваров» Китай, и стеной Чингисхана, которой тот в свою очередь отгораживал своих варваров от прочих не истративших еще куражу народцев, желающих протиснуться в мировую историю. При этом искать в горной котловине (которой и является Тыва), на границе с пустыней, где гибнет все живое... Подсказок было предостаточно!

Правда, в нашем Мордоре не хватало «огненной горы», сиречь вулкана, но зато наличествовало озеро Торе-Холь, вполне способное заменить «море Нурнон», была река, была, конечно, и своя «долина нежити», которую только надо (или не надо) было отыскать, чего мы не могли успеть физически, находясь в Мордоре лишь несколько часов.

Окружающий нас пейзаж был настолько выразителен, насколько выразительным и прекрасным может быть старинный европейский город, такой, скажем, как Париж. И именно на странной противоположности этой и той красоты и делалась наконец очевидной та разница смыслов, которую заключали в себе в наши дни глубины Азии и сердцевина Европы. Азия — пуста. Европа — наполненность и переполненность даже, слою культуры, «дебри культуры». Азия — самородная красота. Европа — красота рукотворная. Азия — пространство, распахнутое во все стороны и незапечатленное время, которое как будто и не распечатывалось никогда, не знало никогда истории, а от сотворения мира так и сохранялось нетронутым, как некая потенция для развития исторического сюжета. Европа — заблокированное пространство и время, зафиксированное столько раз, что от пронизанности его фиксаторами возникает ощущение удушья, будто от нехватки воздуха. Вернувшись в Москву, я, кстати, устроил демонстрацию фотографий Мордора нескольким своим друзьям. Меж ними двое были неисправимыми горожанами и к тому же специалистами по греческому Афону. Так вот: их картины Мордора нисколько не впечатлили. Красота Азии не была ими воспринята как красота. Не понимали они пространства и непочатого времени как ценности. Напротив: только время воплотившееся, зафиксированное (что наилучшим образом достигается как раз письменностью и архитектурой) имело смысл для них. Поэтому они достали свою пачку редких фотографий Афона и, не мешая другим смаковать пространства Азии, углубились в ее рассмотрение...

Меж тем стало смеркаться. Мы с Глазовым спустились наконец с последнего бастиона на краю красных песков, на которые необъяснимым образом мы битый час таранились в счастливой задумчивости... Меня всегда поражало ощущение счастья, неизбежно возникающее у меня на безлюдных окраинах мира... Впрочем, с чем сравнить то чувство покоя, которое переполняет душу, пока ты смотришь на эти волны песка? Есть вечность, и есть ты. Пустыня и человек. И ни-ка-ких тебе «забот цивилизации». Теперь, когда полчища изошли из Мордора и он больше не угрожает Европе, та надежно забыла о существовании этих целительных, распахнутых пространств в глубинах Азии. Но я счастлив, что попал сюда. Да! Покинутый Мордор прекрасен. Возможно, он ждет новой наполненности, новых великих вождей, которые способны будут завести исторические часы...

Однако как бы то ни было, и посреди этой непередаваемой красоты надо было где-то ночевать. Мы сели в машину и покатали к берегу озера, где должны были стоять табунщики. Озеро я заметил с вершины самой первой стены и еще тогда поразился его странному молочному цвету.

Теперь, когда мы вплотную подъехали к нему, все выяснилось: на озере еще лежал лед. Лишь тонкая полоска воды шириной не более метра отражала розовый свет неба. Но и в этой полоске, предчувствуя восторги близкой весны, толпились и орали тысячи птиц: лебеди, утки, огари, кулики, чайки...

Вдруг в степи, неизвестно откуда взявшись, ударились в галоп среди желтой высокой травы вороные кони, числом до двухсот. Не отставая от них и очень ловко управляя всем табуном, рядом мчался красивый всадник в синем кафтане. У берега озера табун замедлил свой бег. Лошади игрались и пили воду. Всадник ждал. Он напоил свою лошадь последней, когда все остальные уже утолили свою дневную жажду, и, повинувшись зову дома, повернули обратно в степь.

Человек в кафтане задержался у озера чуть дольше. Крепко, по-хозяйски сидя в седле, он явно любовался розоватой полоской воды у берега, ноздреватым фиолетовым льдом, как в музыку, вслушивался в гомон птиц, вдыхал исходящий от озера влажный, холодный запах глубокой воды...

Давно, когда один уйгурский каган взял в жены китайскую принцессу, из Тывы каждый год перегоняли в Китай сто тысяч лошадей в обмен на шелк и предметы роскоши для степной аристократии...

Всадник в синем оторвал наконец свой взгляд от озера и поскакал в нашу сторону, волнуясь и от волнения собирая аркан во все более совершенный круг, как будто собираясь захлестнуть кожаной петлей кого-нибудь из нас. Посмотрел сначала на меня. Потом на Глазов, но щелчки затворов двух фотоаппаратов остановили его. Он не был испуган, он просто хотел понять, кто мы. Монгольская граница проходила меньше чем в километре отсюда. На том берегу озера уже была Монголия, древняя Халха, «Щит» — в символической географии Востока. Потом из машины появился Милан, наш проводник, и перекинулся со всадником парой фраз. Я думаю, всадник сказал ему, где юрта.

После, ночью, я несколько раз думал, а был ли вообще задан этот вопрос, или Глазову окончательно сорвало все шестеренки в башке красными барханами, фиолетовым льдом и всей этой внезапно нахлынувшей орнитологией, потому что всадник — он сразу поскакал на восток за своим табуном, и мы еще любовались, как взметываются черные гривы среди султанов желтой травы, а потом поехали в огиб озера, в противоположную от него сторону. Только потом я сообразил, что на этих просторах мы навряд ли найдем юрту в ночной темноте, следовательно, глазовская затея — наблюдение за птицами — неизбежно должна иметь какое-то соответствующее и ни с чем не сообразное продолжение. Почему все попались на эту удочку, я не знаю, потому что в машине из пяти человек, включая шофера и Милана, занятым орнитологом был только Глазов, но он же был и единственным обладателем могучего здоровья.

Резко темнело. О вечерних съемках птиц нечего было и думать, а следовательно, надежда была на утро... и на то, что нам удастся как-то переночевать здесь, на берегу.

— Вот: чем не место? — воскликнул Борис, указывая на ровную площадку с оставленной на ней кучкой дров.

Милан отверг это предложение.

— У нас говорят, что лучше переночевать на кладбище, чем на покинутом стойбище, — пояснил он.

Черт возьми, мрачновато сказано, да и место...

В конце концов мы оказались на мысу, который делит озеро почти пополам: здесь узко, если громко разговаривать, в Монголии будет слышно. Машина стала, все начали выгружать вещи.

— Мы что, собираемся здесь спать?! — истерически воскликнул я. — Какого черта, Миша, надо предупреждать, так мы не договаривались!

— Ну ладно, ладно, — попытался унять взрыв моего малодушия Глазов. — Припомни: давно ли ты спал под открытым небом? К тому же ночь будет теплая...

Я замолчал. Я люблю путешествовать, но не люблю спать под открытым небом. Больше того, сколько раз я ни пробовал, *под открытым небом* я так ни разу и не заснул. Не знаю, в чем дело. А то, что грядущая ночь

будет исключительной в этом отношении, я не сомневался: я остро чувствовал мощь холода — холода льда, воды, только-только перешедшей в жидкое состояние, холода песка, простирающегося на многие километры вокруг, и, наконец, холода неба, который жил в каждом порыве ветра с севера, в каждой отдельной звезде и луне, катящейся над монгольским берегом нестерпимо сияющим колесом. А тепла... тепла была самая чуть. Тоненькие веточки колючего кустарника, растущего вокруг, которые огонь пожирал, как хрустящую соломку. Сколько было нужно наломать веток этого кустарника, чтобы обогреть эту ночь? Я даже не хотел думать об этом.

По счастью, еще в Кызыле я на всякий случай купил на рынке нитяные перчатки с резиновым напылением и теперь ломал кустарник в них. Остальные старались голыми руками. Делать было нечего, нам просто нужно было как можно больше дров, и я неожиданно совершенно успокоился, решив, что раз эта ночь под неуютными звездами так нужна моим друзьям, то так и быть, пусть радуются, я принесу свою маленькую жертву нашей старой дружбе. Потому что и старая дружба нуждается в жертвах. И еще потому, что от одной бессонной ночи еще никто не умирал.

Впрочем, для тепла постарались мы явно недостаточно. Костер прогорел на диво быстро: друзья мои едва успели закипятить хорошую чаю и отогреться водочкой. Поскольку водка является для меня нокаутующим субстратом, я пить ее не стал, а только утроил дозу сахара в чае и наелся хлеба, чтобы возжечь в организме самостоятельный очаг тепла. Как только спиртное кончилось, Милан и Мерген сказали, что должны съездить в ближайшее село к одному старому другу (ну не дураки же они спать на голой земле!), и, оставив нам два дополнительных спальника, умчались прочь, пообещав, что вернутся до рассвета. В это верилось слабо. Мы подстелили дополнительные спальники под себя, накрылись ветошью автомобильного сиденья и таким вот образом улеглись под большим кустом, немножко закрывавшим нас от холодного дыхания озера. Оглядев звездную ширь и лед, блестящий под переполненной, тревожной луной, Глазов удовлетворенно выдохнул: «Хорошо!» — и тут же уснул. Вскоре, тихо похрапывая, заснул и Борис. Я тоже долго лежал с закрытыми глазами, пока генератор, заправленный тройной порцией сахара, не перестал вырабатывать тепло. Тогда я почувствовал каждой клеткой, каждым изгибом своего тела, соприкасающегося с землей, всю несоизмеримость тела телесного, моего, и тела небесного, земного. Я чувствовал, как незаметно, но неустанно просачивается в меня из тела Земли ее первобытный холод, и мне нечего противопоставить ему, какие бы позы зародыша я ни принимал. Был час ночи. Я встал и решительно оделся. На душе стало легче. Есть ночи, созданные не для сна, а для чего-то еще. Для чего именно выпала мне эта ночь, я еще не знал и для начала пошел прогуляться вдоль озера. Слишком много впечатлений за считанные дни: горящая тайга, шаманские истории, Мордор... Вокруг, освещенная яркой луной, простиралась неизвестная страна, насколько хватало глаз, покрытая редкими колючими кустами. Что за духи прятались в них по ночам? Я не знал. Было очень холодно; я захватил с собой диктофон, чтобы наговорить на пленку впечатления от прожитого дня, которые я так и не успел записать, но, доставая его, почувствовал словно ожог от прикосновения к металлу. Не помню в жизни ночи столь холодной, когда бы я остался без крыши над головой. В то же время не помню ночи и столь волшебной. Она полна была разговоров невидимых птиц (или духов?), прилетающих сюда, на кромку оттаявшей воды. Интересно, как слышат духов природы шаманы? Их речь для них ясна или так же обрывочна и несовершенна, похожа то на тьяквань собаки, то на базарную перебранку и нуждается в дополнительном переводе и истолковании? Большой Шелест вверху — это шелест крыл. Должно быть, лебеда. Огромная луна, колючий кустарник — и опять эти голоса, как будто переговаривающиеся друг с другом: а-тю, а-тю, а-тю, а-а-а!

Светлый дух пролетел надо мной, голосом очень легкой птички что-то сказал, пропищал на своем язычке. Однако, черт возьми, вслушиваться в эти звуки должен Глазов, а не я, и почему звучит для меня эта птичья симфония?

Я вернулся в окрестности лагеря и принялся ломать колючий кустарник. Когда *все* проснутся от холода, нам будет чем обогреться. Я испытывал кайф, наращивая и наращивая кучу дров. Теперь я знал, зачем случилась со мной эта ночь: я буду тем человеком, который зажжет костер и обогреет друзей, когда их кровь почти застынет в жилах и они превратятся в странные морозные призраки...

Вот уже больше часа я ломаю кустарник. Странно, что до сих пор никто не просыпается и мне некого спасать и не с кем вдвоем спастись. Все руки мои исколоты. Я не уверен, что смогу продержаться до рассвета — то есть до половины восьмого. Ночные часы идут за два, это получается два полных рабочих дня. Я не уверен, что смогу продержаться, я не уве...

К счастью, в этот миг внезапно нахлынувшего малодушия я наконец слышу долгожданный, похожий на сдавленный рев медведя голос Глазова:

— Ч-черт побери, ка-ка-я же холодррыга!!!

Мы сразу начинаем приговорения к устройству спасительного костра, и вдруг вдалеке начинают плескаться фары неизвестной машины. Через пять минут выясняется, что наши друзья не подвели нас и эта машина — наша, только полная мяса, водки и теплых пуховых одеял... Вот когда к месту пришли натасканные мною дрова! Мы запалили такой костер, что осветили Монголию, и то поначалу холод не отступал, а все клубился вокруг и норовил ухватить то за нос, то за зад. Правда, когда я пошел на озеро за водой, чтобы сварить баранину, я убедился, что озеро снова до самых краев заросло льдом в сантиметр толщиной. Значит, мороз был градусов шесть. В общем, вопреки прогнозам Глазова ночь не оказалась теплой. Но все же в конце концов все завершилось превосходно. Похлебав шурпы и поев как следует мяса, я наполнился блаженным теплом и под ватным одеялом спокойно проспал часа два. Холод колдовал над нами до самого рассвета, пытаясь вскрыть наши оболочки, но теперь они были надежно укреплены. Даже Милан, практиковавший сон в спальнике нагишом (он утверждал, что так теплее), не заработал к утру и насморка, хотя вид у него был довольно-таки заледенелый.

— Теперь-то я знаю, что такое ночевка в Мордоре! — желая как-то ободрить его, воскликнул я.

Милан, уставший от моих толкиенистских интерпретаций, неожиданно вскипел:

— А Шамбала, ты слышал, что такое Шамбала?

— Ну конечно, — сказал я, дивясь его горячности.

— Вот это и есть Шамбала! — вскричал он.

VIII. В ПРЕДГОРЬЯХ ШАМБАЛЫ

Мифические представления о Шамбале, тайной стране горного мира, расположенной где-то в Тибете, как это ни странно, имели европейское происхождение и наиболее подробно разработаны были в писаниях общества мартинистов — разумеется, «тайного» и, разумеется, «мистического», как того требовали время и настроение умов. В России широкой известностью пользовались сочинения Папюса — главы ордена. Кроме того, в 1899 году в Петербург вернулся граф В. В. Муравьев-Амурский, принятый в общество в Париже, и основал ложу в столице империи.

Реальная же история Шамбалы открывается в феврале 1893 года «Запиской» Бадмаева Александру III о задачах русской политики на Азиатском востоке, в которой подробно излагался процесс колониального движения России на восток и возможности присоединения к империи Монголии, Китая и Тибета.

Александр III был потрясен. С 1793 года горное королевство Тибет объявило себя закрытым для европейцев. Однако, утверждал Бадмаев, в Монголии верят, что в VII столетии после смерти Чингисхана над страной будет водружено белое знамя и она окажется под властью Белого Царя, который определенно ассоциировался с русским царем. Сходные, но еще более фантастические предположения бытовали в Тибете, где верили, что Белый Царь есть одно из воплощений богини Дара-эхэ, покровительницы буддийской веры: смысл этого воплощения в том, чтобы смягчить нравы жителей северных стран. «Русский царь — идеал для народов Востока», — утверждалось в заключение в «Записке»¹.

Автор ее — надворный советник Петр Алексеевич Бадмаев, ученый бурят, знаток восточной медицины, — как показалось Александру III, сообщает слишком необычные и даже фантастические сведения. Царь был бы поражен еще более, узнав, что в мистической географии Тибета именно Россия считается Белой Северной Шамбалой. Встреча двух мистических географий, несомненно, была чревата для России какими-то последствиями. Но какими?

Реальные колониальные предприятия империи развернулись поначалу на Дальнем Востоке. Основание в 1898 году Порт-Артура главной ареной колониальной политики сделало далекую от Тибета Маньчжурию. Создание мощной военно-морской базы с прямым выходом в моря Тихого океана давало России неоспоримые стратегические выгоды, что было чревато конфликтом или даже войной. Война в конце концов и разразилась, в результате чего все военные мероприятия царизма на востоке потерпели крах, а страну, на которую неожиданно обрушилась тяжесть невиданного поражения, впервые как следует потрянуло революцией. Никогда еще мистицизм не расцветал столь пышным цветом, как в последовавшие за революцией годы. Именно тогда в элитных мистических кружках вновь процвел миф о Шамбале — «недоступной горной стране в Гималаях, населенной политическими телепатами и пророками катаклизмов, махатмами, стерегущими пещерные города». Впервые возникает что-то вроде моды на буддизм, который до этого в восточных провинциях империи оставался все же притесняемой религией. Да и как можно было мечтать об империи, подобной царству Чингисхана, не пересмотрев свой взгляд на религию, которую исповедовали все народы, живущие к югу от границы России с Китаем? В те годы благодаря все тому же Бадмаеву и Эсперу Ухтомскому, бывшему российскому посланнику в Китае, впервые в Петербурге было выделено место, где на средства далай-ламы был возведен храм Калачакры-Шамбалы, заключающий в себе тайный символ освободительной войны. Витражи в дацане сделал Николай Рерих, видная фигура среди петербургских мартинистов и «шамбалистов».

«Завоевание Шамбалы» стало захватывающей политической интригой в 20-е, а еще более в 30-е годы, когда Европа очухалась от Первой мировой войны, а шамбалинская «благодать» стала внезапно необходимой двум молодым деспотическим режимам — большевистскому и фашистскому. Но любопытно, что непосредственно в годы революции мы обнаруживаем несколько сюжетов, отсылающих нас к мифу о Шамбале. Один из них, касающийся резолюции, принятой после очередной «просветительской лекции» матросами Кронштадта: о том, что они хоть сейчас готовы отправиться на завоевание Шамбалы, — скорее анекдотичен. Другой, касающийся барона фон Унгерна — одного из колчаковских генералов, командира Азиатской

¹ Тыва точно так же попросилась под покровительство Великого Белого Царя, когда власть Китая в северных провинциях ослабла и из-под власти императора Поднебесной сразу вышла Монголия. Так еще до окончания Первой мировой войны Урянхайский край — как тогда называлась Тыва — оказался под протекторатом России, не являясь, однако, частью ее территории: этого требовали дипломатические отношения с Китаем.

конной дивизии, — несомненно трагичен. В эпоху барона Унгерна все политические и мистические представления о Шамбале проступают с совершенной ясностью. Две мистические географии сталкиваются наконец, и происходит взрыв: буддийское духовное пространство аннигилирует в сознании Унгерна духовное пространство Европы и «потерявшие силу» европейские святыни. Смысловые узлы Азии развязываются и, как новые скрепы, стягивают собой мир. Унгерн вспоминает пророчества Сведенборга: только у мудрецов евразийских степей — Татарию — Монголии можно найти Тайное Слово, ключ к загадкам сакральных циклов, а также подлинник мистического манускрипта, утраченный человечеством, под странным названием «Война Иеговы»...

О каких «мудрецах евразийских степей» говорит Сведенборг? Нам неизвестно. Почему именно они, кочевники, сохранили подлинник мистического манускрипта? Непонятно. Откуда известно им Тайное Слово и что такое «Война Иеговы»? Мы не знаем. Миф проникает в историю и творит ее, в свою очередь наполняя ее участниками мистической полнотой...

Барон Роман Федорович фон Унгерн-Штернберг происходил из эстляндских немцев и был буддистом уже в третьем поколении. Во всяком случае, он утверждал, что буддизм принял еще его дед, будучи в Индии, и с тех пор «дедова» вера так и передавалась от отца к сыну. Непонятно, почему именно кроткая вера Будды породила одного из самых жестоких в истории воителей, но мы не должны забывать, что сам барон мог истолковывать свои действия и веру как угодно, но в действительности мы имеем дело с очень шаткой психологической конструкцией европейца, отрекшегося от Европы и *со своим европейским сознанием* пытающегося найти опору в древнейших преданиях Азии. До Первой мировой войны Унгерн много странствовал по Сибири, пока не попал в Монголию, которая заворочала его, как часто заворачивает *иное*. Монгольские степи становятся его судьбой. Он попадает в Ургу — столицу Монголии — в тот момент, когда Кутукту, верховный духовный владыка монголов, живое воплощение Будды, объявил Монголию независимой от Китая. Барон был принят владыкой в дацане Узун-Хурэ и назначен командовать монгольской кавалерией. После того, как китайцы были изгнаны из Монголии, он стал фигурой, глубоко почитаемой в монгольском мире. Славу, а главное, внутреннюю его убежденность в том, что его миссия исполнится здесь, умножило пророчество шаманки, которая, в трансé назвав его «Богом войны», предредила ему возвращение и кровь...

Пророчество исполнилось: после разгрома Колчака барон с остатками своей Азиатской конной дивизии (около тысячи человек) уходит в Монголию. В 1920 году он подходит к Урге, занятой десяти тысячным китайским гарнизоном, державшим заложником Кутукту — к этому времени уже ослепшего старца, — и виртуозно захватывает ее, освободив заложника и не потеряв при этом ни одного человека. Взятие города отмечено невероятной резней, доставившей, должно быть, много радости собакам-трупоедам, которыми славилась Урга. Кутукту назначает Унгерна полновластным диктатором Монголии и присваивает титул Хан войны.

Взяв Ургу, барон долгое время не совершает никаких боевых операций. Несмотря на то что белые разбиты повсеместно, он вынашивает план победы... Символически женится на китайской принцессе... Пытается обращать казаков дивизии в ламаизм и шаманизм... Как и Петр Бадмаев когда-то, он вдруг прозревает спасение России сквозь чудовищный геополитический фантом — желто-белую империю, подобную империи Чингисхана. Ему грезится грандиозная азиатская коалиция, сотни тысяч всадников, политруки-шаманы, стенобитные машины, осадные башни, пепелища столиц великих колониальных империй, только что отпраздновавших победу, скрепленную Версальским миром... Все эти видения, постороннему пока-

завшиися бы бредом душевнобольного, изнутри того мифического времени, в котором барон пребывал, конечно, до самой смерти, кажутся несомненными: «Миссия Монголии — служить преградой для осатанелого апокалиптического человечества — гогов и магогов большевизма и демократии, профанического мира. Выродков современного мира... Здесь, именно здесь следует восстановить Традицию и дать бой против сил Запада — этой цитадели извращения, источника зла. Вся судьба моего рода — это движение к Востоку, к Восходящему солнцу. У меня нет наследников, и я сам добрался до восточного края Евразии. Дальше некуда. От этой магической точки сакральной географии должна начаться Великая Реставрация. Халха — Святые степи — Великий щит...»

О какой традиции говорит барон? Что за реставрацию имеет в виду? Нет-нет, речь вовсе не идет о том, чтобы посадить кого-нибудь на опустевший трон Российской империи. Возврат на родину ариев, реставрация законов Риг-Веды и овладение Тибетом — вот цель Унгерна. Там он задумывает создать особую зону, где, по преданиям мистиков, находится вход в Аггарту — подземную страну, в которой не действуют законы времени и царит владыка мира Шакраврти...

Все, все, что когда-либо говорилось о Шамбале, причудливо переплетается в голове барона фон Унгерна. Арии, санскрит, Священные Законы, по которым нужно заставить жить человечество, святыни, благодаря которым можно получить власть над людьми, а может быть, и над временем, телепатия и гипноз — вот приманки, которые позже заставляли НКВД снаряжать экспедиции в Тибет, а Гитлера — окружать себя тибетскими ламами... Но когда китайцы пришли завоевать Шамбалу, войскам далай-ламы нечего было противопоставить вторжению, кроме плохо вооруженного малочисленного войска, с пушками, добытыми в разные десятилетия у разных армий...

Трагедия Унгерна подходит к концу: он совершает ошибку, решив начать Великий Поход. Покуда Унгерн оставался в Урге, он своим присутствием охранял Монголию от прямого большевистского вторжения или «экспорта революции» в лице подготовленных большевиками революционеров — Чойболсана и Сухэ-Батора. Лишь только Унгерн перестает быть «щитом» и двигает свою дивизию в Забайкалье, происходит катастрофа. Красные вторгаются в Монголию. В Забайкалье с его появлением никто не «поднимается» против большевиков. Здесь его имя — имя Хана войны — внушает только ужас. Его жестокость переросла в миф: в его дивизии скармливали пленников собакам, сжигали в стогах, топили в реках не только комиссаров и евреев, но и собственных офицеров. Время Бога войны истекло. Он принимает решение уходить в Тибет через Китайский Туркестан. Его воины понимают, чем это грозит им, и массово дезертируют. До Алтая барон добрался лишь с несколькими десятками людей. Мощные видения не оставляют его. Однажды, когда раненый барон один лежал в палатке, его войско собралось на совет. Ночью его покинули русские казаки. Днем оставшиеся при нем монголы вошли в палатку и, связав барона, бросились в разные стороны, чтобы дух Хана войны не смог догнать их.

Затем — партизаны, ЧК, расстрел. Конец истории вышел заурядным, хотя сам образ этого «завоевателя Шамбалы» вписан в историю навеки. Позднее большевики проникли в Тибет, пытаясь, с одной стороны, захватить его, превратив в плацдарм для революций в Азии, а с другой — несомненно, надеясь стяжать то «самое сокровенное знание», о существовании которого знал всякий, кто хоть раз слышал о Шамбале. И что же? Ничего не нашли. Ни входа в Аггарту, ни махатм-прорицателей, ни способов превращать человека в зомби, а время — течь в любом направлении с любой скоростью... Разумеется, ничего такого! Но реальные богатства Тибета от этого не уменьшились — они вообще имеют весьма малое отношение к тому, что напридумывали о Тибете в эпоху европейского декаданса не в меру экзальтированные последователи спирита Сен-Мартена...

Уникальные практики духовной и физической тренировки, боевые искусства, диспуты, отчасти похожие на авангардный балет, отчасти — на бесконтактное карате и логический спор... Азия с узлами своих смыслов — это и есть сокровища Шамбалы. Придется еще долго распутывать эти узлы и в самом деле научиться понимать друг друга...

IX. СЕМЬ МУДРЕЦОВ ТЫВЫ

Эдуард Мижит живет и работает в Кызыле. Он переводит на тувинский Библию, важнейшую книгу Запада, и одновременно пишет свою книгу Востока — сказание о семи мудрецах Тывы. Это — притча. А значит, правда. Никто не знает, кто они, эти семь мудрецов. Они живут в народе, никак не выделяясь из него, не удаляясь в отшельничество среди гор или к священным капищам, чтобы там, хотя бы и в пророческой бедности, в лачуге уединения, столь любимой японскими наставниками дзэн, давать советы заблудшим и обучать учеников. В том-то и дело, что мудрецы Тывы всегда рядом, и ты можешь услышать спасительный совет от простого резчика по камню, от соседа-охотника или от подбросившего тебя до поворота шофера, который может оказаться могучим шаманом, но который никогда не назовет себя и уж тем более не скажет, что он — «самый», — даже если в нужное время именно он вызывает дождь...

Писателю жить и работать в Тыве трудно, и я не сразу отыскал Эдуарда Мижита. Телефон в местном отделении Союза писателей оказался отключенным за неуплату, и мне пришлось прогуляться в Дом художника пешком, да и то лишь затем, чтобы увидеть замок на двери комнаты, в которой размещается Союз, а напротив — такую же дверь и такой же замок Союза композиторов.

Но дело, в конце концов, не в телефоне... Про семь мудрецов Тывы Эдуард Мижит впервые услышал от деда: это очень старинная и прежде очень любимая народом легенда. Раньше люди ведь и вправду верили, что в каждом кожуне (районе), может быть, даже в соседнем селе или в соседнем доме живет тот тайный человек, чьими молитвами держится и очищается земля Тывы, тот человек, который в нужный момент сам почувствует твою беду, окажется рядом и как бы невзначай скажет спасительное слово или сделает то, что выручит вызывающего о спасении человека. И эта вера в семь мудрецов очень многим заменяла веру в духов и в бодхисатв. Теперь все изменилось. Связь человека с миром тонких существей очень ослабла, мир огрубел и стал агрессивно-материален. Даже критерии добра и зла перешли в оценочный, денежный план, все перевернулось, и людям сделалось горько и пусто в том мире, который достался им от отцов. Они увидели в своей бедности недолгу, но, не зная, где доля, либо отчаялись, либо ожесточились. И тогда Эдуард Мижит решил сам отправиться на поиски тех семи мудрецов, о которых рассказывал ему дед. Он много ездил по дальним уголкам Тывы, разговаривал с разными людьми и выпитывал мудрость каждого, записывал песни, сказки, легенды, подолгу беседовал с шаманами, наблюдал ритуалы, сам вместе с ними проходил через все это. Из своих странствий он вернулся с убежденностью, что семь мудрецов Тывы никуда не исчезли, они по-прежнему среди людей, а значит, народ сберег главное свое сокровище. Не каждый народ может похвастаться, что у него есть семь мудрецов.

Чтобы люди поверили, что семь мудрецов по-прежнему живы, Эдуард Мижит решил рассказать о каждом из них. По три притчи о каждом. Поэтому в книге как бы три спирали, поднимающиеся снизу вверх. Пока что Эдуард Мижит написал только четырнадцать притч. И это значит, что путешествие его не закончено. И поиски мудрецов — или мудрости, которую все мы по крупицам носим в себе, — все еще продолжаются.



СЕРГЕЙ ПОПОВ

*

РАННИЙ ОГОНЬ

* *
*

Что чайки чумные кричали
сквозь остервенелый прибой
двоим на бетонном причале,
готовым к расплате любой?

О чем иступленно просили
над кромкой воды и земли
заведомо бывших не в силе
увидеть что-либо вдали?

А может быть, предупреждали
о том, что в начале зимы
разводы увиденной дали
едва ли спасительней тьмы.

* *
*

риторический свет стекленеет в ноябрьском пике
знают тусклое дело спираль и прямая вода
ночь равна дигиталису на костяном языке
никогда как говаривал кто-то нельзя говорить никогда
пар словарный недолго цветет над безлюдным мостом
шар товарный в размывах на небе желтеет пустом
на ходу холостом шутит время и тешит звезда

заедает пропеллер летучего братства с быльем
забегает вперед приворотного зелья тщета
как балдели вповал как повально галдели нальем
не успеешь хлебнуть а на доньшке нет ни черта
изгибаются цоколи в поздних лекалах сырых
криворукие ветры строения жалят поддых
в геометрию млечного сна забирается их колгота

так пойдем через раз забывая какой поворот
пропедевтику тьмы как таблетку катая во рту

от потухших домов от чернильного скарба и от
отставного безумья хмелея на влажном ветру
сплошь в подземное эхо здесь перетекают шаги
славы нет волоокому богу твердить помощи
отсыревших дерев примеряя слепую кору

Выставка

А. К.

Над коллекцией лафитничков, бутылей, штофов
сплошь с тиснением, гербами да вензелями
снова вспыхивает и гаснет досужий шепот,
воображенья публики походя воспаляя.

Это было в какие-то времена не наши —
переключки пробок, причуды пены, лихие спичи.
В нос швырялись карты, опрастывались патронташи,
и над секундантами крики носились птичьи.

Или народник, балуясь монополькой,
кровь из носа требовал земского пересмотра,
отражался в склянке, выпуклой и неполной,
в мебелированных яро встречая утро.

А еще вариант — школяры и прочие раздолбаи,
листьями выпускными завешанные в июне,
из горла коллекционное родительское хлебали,
в обобщественную емкость пуская слюни.

Что за глупые стеклодувы вывели эти виды
на боках и гранях нестойкого матерьяла?
Разлетались в осколки замыслы, вдребезги шли обиды —
и смертей, и славы вновь становилось мало.

И по новой выходит тянуть чумовой напиток,
наблюдать, как свет расслаивается сквозь стенки,
и впивать той радуги вневременной избыток,
забывая тона столетий и собственных лет оттенки.

Сквозь грипп

Как ни странно, точно помню номер дома
на железном покореженном квадрате
в слепом полукруглом переулке,
густую крупу за двойными стеклами,
теснину крыш с разноростными антеннами,
довоенный комод, а высоко над ним
«Охотников на снегу» в потемневшей раме
и мягкие брейгелевские сумерки
по углам аккуратной прибранной комнаты.
После уроков
я заносил ампулы с чем-то обезболивающим,
а она усаживала и почему-то заводила разговор
о том, как много лет назад
пролетела с экзаменами на геофак,

как у нее посреди квартиры
 долго-долго стоял огромный глобус
 и косматый домашний кот
 вдумчиво вращал его лапами, не выпуская когтей.
 Дым от импортного латуннобаночного чая
 поднимался до гуляк на коньках
 в заснеженном фламандском городке,
 а она с одышкой отходила от стола к окну
 и внимательно глядела наружу.
 Она хорошо держалась, когда узнала диагноз,
 лишь однажды случилась банальная короткая истерика,
 телефон от шального удара напрочь перестал работать,
 и никто дозвониться ей уже не мог.
 Наверное, именно потому
 так неиссякаемо сыпались пытливые вопросы
 о сомнительных успехах в учебе
 (будто в краснокрылых дневниковых цифрах
 зашифровано что-то безумно важное)
 на садовую голову сына дальних родственников
 в столбняке от непомерной крепости байхового,
 обормота, мечтавшего поскорее улизнуть,
 но незаметно застрявшего дожидаться
 первого раннего огня в заиндевелых окнах
 вокруг веселого дальнего катка.

* *
*

За плесень в твоём подzemелье,
 За зелень совиных очей
 Пригубим крепленое зелье
 В одну из апрельских ночей.

На стеклах, залепленных сажей,
 В окне под косым потолком
 Проступят детали пейзажей,
 С которыми с детства знаком.

Которые праздника ради
 Явились без спроса извне
 На угольном влажном квадрате,
 На влажной угольной стене.

По праву заветной шкатулки,
 Где тлеют страницы письма,
 Разводы сырой штукатурки
 Молчанием сводят с ума.

И все ж объяснимы едва ли
 Дыханьем добра или зла
 Размытые тени в подвале
 И сладость печного тепла.

И приступ предутренней дрожи,
 И вешняя тьма площадей
 Сквозят непреложней и строже
 В надменной улыбке твоей,

Чем оклики прежней стихии,
Чем омуты будущей мглы,
Где мечутся ветры тугие
В предчувствии свежей золы,

Где эхо по городу множит
Их ропот над черным окном...
И наше всесилье, быть может,
Таится в презренье одном.

* *
*

Когда мужик в дырявой майке
Сидит над рюмкой втихаря,
Кроваво расцветают маки
Настенного календаря.

И начинают петь сирены
Из-за незапертой двери.
И птицы супятся, свирепы,
Подозревая, что внутри

насторожившегося дома
послушно пенье аонид
тому, чье слово, как солома,
похмельным пламенем горит.

Но то — зов пагубы и сласти
и не музыка зыбких сфер.
Смурное сердце рвет на части
какой-нибудь пустой пример.

Мол, жил-был мальчик во предместье
с бумажным временем на «ты»
и все писал «умри — воскресни»,
пока не кончились листы.



ДАЛЕКОЕ БЛИЗКОЕ

ГОРОДА И ГОДЫ

РУСТАМ РАХМАТУЛЛИН

*

ОБЛЮБОВАНИЕ МОСКВЫ: КУЗНЕЦКИЙ МОСТ И ВЫШЕ

Вмещающий ландшафт

Солнце московской любви, оставляя яузскую рань, катит на арбатский запад не через юг. Не через Таганку и Замоскворечье, остающиеся запоевниками старины, любви невидимой.

Конечно, дом в Гендриковом переулке (№ 15) за Таганскими воротами помнит чету Бриков и жившего там при них с 1926 года Маяковского. Но коммунистическая любовь втроем особенно чужда таганскому миру. Память о ней из года в год растворяется, затягивается старозаветной тканью; музей упразднен. Маяковский все более отождествляется в обыденном понятии с одной Лубянской площадью, где располагал квартирой в те же годы.

Дом Маяковского. Страшный дом на углу Лубянского проезда и Мясницкой (№ 3/6) помнит последнее свидание Маяковского: он застрелился, едва Вероника Полонская вышла на лестницу.

«Люблю Кузнецкий (простите грешного!), / потом Петровку, потом Столешников; / по ним в году раз сто или двести я / хожу из „Известий” и в „Известия”».

Заданная этими стихами диагональ от Лубянской площади до Страстной размечает еще одно пространство московской любви.

«Дом Фамусова». На другом конце диагонали, в квартале «Известий» на Страстной площади (ныне Пушкинская, № 1 — 3), стоял до 70-х годов дом, где, по мнению Москвы, однажды было сказано: «А все Кузнецкий Мост...»

Когда Михаил Гершензон взял этот дом с его хозяевами в книгу «Грибоедовская Москва», он и не думал утверждать, что отыскал дом Фамусова. Автор отыскал разве что Фамусова в юбке — хозяйку дома в грибоедовское время Марью Ивановну Римскую-Корсакову, урожденную Наумову. Больше того: Москва всегда считала ее сына Сергея прототипом Скалозуба, женившимся на прототипе Софьи — Софье Алексеевне Грибоедовой, кузине драматурга. Ее отец Алексей Федорович Грибоедов и был, следовательно, прототипом Фамусова; а жил по разным адресам.

Считать дом на Страстной принадлежавшим если уж не Фамусову, то замужней Софье тоже трудно: младшие Корсаковы жили собственным домом, очень известным теперь под вывеской Художественного театра (Камергерский переулок, № 3).

Рустам Рахматуллин (род. в 1966) — эссеист, москвовед. «Новый мир» (1998, № 12; 2000, № 1; 2001, № 2) публиковал его опыты «метафизического градоведения» из будущей книги «Две Москвы». Настоящее эссе является фрагментом еще одной задуманной автором книги — «Облюбование Москвы». Журнальный вариант первой ее части (Яуза и Арбат) см. в № 10 «Нового мира» за 2001 год.

Так или иначе, но после Гершензона город простодушно проредил этот плетёный лес литературно-генеалогических деревьев и поселил всю пьесу в доме Корсаковой-матери.

Элочка-людоедка. Для Фамусова улица Кузнецкий Мост есть средоточие греха, простить который, собственно, и просит Маяковский. Средоточие, доставшееся нэпу от «вечных французов» XIX века.

Недаром на Кузнецком, в Варсонофьевском переулке, проживала (с инженером Шукиным, если это любовь) Элочка-людоедка, выбравшая из великого и могучего русского языка тридцать слов для сообщения с приказчиками универсальных магазинов.

Фернан и Надя Леже. Столь же характерно советское предание о доме № 7/1 по 2-му Троицкому переулку на Самотеке, в котором будто бы нашёл свою Надю Фернан Леже и что она пожертвовала деньги на реставрацию этого дома.

Круглящийся по карте Кузнецкий Мост есть траектория пути московского любовного солнца с востока на запад. Беззаконное это светило следует над Москвой через север.

Неглинный Верх. Высокий левый берег реки Неглинной в Белом городе именовался в Средние века Неглиным Верхом, хотя и правый берег низким не назвать. Удобно было бы присвоить это имя обоим берегам, разумея не их высоту или градус подъёма, но принадлежность верхнему течению Неглинной. В этом новом смысле понятие Неглинный Верх и будет применяться, с извинениями, ниже.

В самом деле, именем Кузнецкого Моста можно назвать лишь часть этого мира — от стены Китая до бульваров. Часть, конечно, самую любвеобильную, место происхождения феномена. Однако север московской любви разомкнут до неглименных истоков.

Водоразделы. Мифогенное пространство Неглинного Верха, подобно самой улице Кузнецкий Мост, все уместается в межах водоразделов.

Водоразделу с верхней, выше неглименского устья, Москвой-рекой сопутствует Тверская улица. Переулки по обеим ее сторонам падают вниз. Только однажды Тверская не успевает за изгибом гребня — когда тот достигает середины Камергерского переулка, где здание МХАТа. Вершина гребня называется Страстным холмом, по имени стоявшего на ней монастыря. После Страстной (Пушкинской) площади водораздел уходит вправо, где теряется между Тверской и Малой Дмитровкой, которые на пару ищут совпасть с его чертой. Кварталы слева от Тверской принадлежат теперь бассейну ручья Черторыя, а после Триумфальной площади — бассейну Пресни; тот и другая следуют в Москву-реку. Водораздел Пресни и Неглинной ищется на плато под загадочным названием Миусы. Спорящие за черту водораздела пять Тверских-Ямских попросту размечают междуречье, как и дальние улицы Ямского Поля и Бутырской слободы. Последние расчерчивают место Горелого болота — общего начала Пресни, Ходынки, Неглинной и нескольких притоков верхней Яузы.

Второй водораздел — с нижней Москвой-рекой и с Яузой — лежит между Мясницкой и Большой Лубянской, явленный отрезком древнего пути в Ростов — теперешним Милютинским переулком. За Сретенским бульваром древнюю дорогу принимает Сретенка. Переулки по сторонам этой улицы зеркальны друг другу и застроены тождественно; между тем это два мира: сток Неглинной и сток Яузы. Сретенка держится на грани между ними. Так же держалась Сухарева башня, замыкавшая Сретенку и отворявшая 1-ю Мещанскую, держащуюся так же. Обе улицы, как и бульвары Сретенский и Чистопрудный, отчерчивают с запада бассейн петровской, средней Яузы. Кварталы города, лежащие восточней этих улиц и бульваров, понуждаются течь в Яузу течением ее притоков — Рыбинки, Ольховца, Чечеры, Черногрязки.

Странноприимный дом. К перекрестку Сухаревской площади с надстоявшей над ним башней петровская Яуза подбита подковой Странноприимного дома. Дома-мифа: Москва убеждена, что это мемориал Прасковьи Шереметевой и шереметевской любви (граф Николай Петрович ничего подобного не говорил и не писал). Парк Странноприимного уклонен в долину Ольховца — притока Яузы; но в отсутствие Сухаревой башни этот дом с его куполом можно считать знаком границы между Яузой и Неглинной. Дом почти взобрался на разделительный гребень, по которому держат себя Сретенка и 1-я Мещанская. И наоборот, в планах воссоздания самоё башни фигурирует площадка ниже перекрестка, на оси Странноприимного.

Марьино Роша и Останкино. К какому ареалу отнести любвеобильную Марьину Рошу тех же Шереметевых, лежащую на полпути между Странноприимным и Останкином? Если собственно в роше, сразу с границей города, брала начало речка Напрудная — приток Неглинной, то деревня Марьино, стоявшая за рошей, мылась и стиралась на Копытовке — притоке Яузы.

Вот и Жуковский кажет Рошу с Яузы, с довольно отдаленного Ростокинского акведука.

Только это уже не петровская, а верхняя, подгородная Яуза, своими притоками обступавшая город с севера.

Взятая несколько иначе — вместе с Лосиным Островом, Сокольниками и Измайловом, верхняя Яуза синонимична северо-восточной четверти былого Московского уезда, нынешней новой Москвы. Это область царской охоты в Средние века, и как такая тоже пересекается с Неглинным Верхом. Воспоминания царской охоты делают подвижной границу верхней Яузы со средней: два ареала пересекаются в Красном Селе, Сокольниках, Преображенском, Рубцове и Измайлове. Проблемное пространство этого пограничья лежит вдоль старой городской черты — валов, как и общее пространство яузского и неглинного верхов: Напрудное, Марьино Роша, Бутырки.

Лежащее за Марьиной Останкино принадлежит охотничьей, верхней Яузе. Но через средостение, шарнир Марьиной Роши, Останкино сообщено с Неглинным Верхом, замыкает, или, если угодно, размыкает, его собой. Просека из Останкина, с кремлевской колокольней в перспективе, продлевалась в городской черте неглименской долиной.

Двойное гражданство всех шереметевских владений севера Москвы служит снятию шва между Неглинным Верхом и всей — средней и верхней — Яузой.

Никольская улица. Возможно, история Параши и Шереметева причастна становлению мифа Кузнецкого Моста, если взять ее в многолетнем добрачном прологе, адресуемом не только в подмосковные графа, но и в его фамильный дом на Никольской улице Китай-города. Дом, уже отмеченный до Николая Шереметева трагической историей любви его тетки Натальи Борисовны и князя Долгорукого. На Никольской проектировался шереметевский Дворец искусств, в итоге воплотившийся Останкинским дворцом.

Любвеобильная Никольская относится к неглименскому стоку, тогда как остальные улицы Китая — к москворецкому. Китайгородская стена, отделившая Никольскую от берега Неглинной, помешала стоку, но не должна мешать ясности нашего взгляда. Можно увидеть также двусоставность самой Никольской: начальный (от Кремля) отрезок этой улицы лежит вдоль нижнего течения Неглинной, а конечный, после едва приметного излома, сопровождает поворот речного русла к северу.

Южной кромкой — Охотным Рядом и Театральным проездом — Неглинный Верх приступает к северной стене Китая по всей ее длине. Так Арбат приступает к стене Кремля. Можно назвать Неглинный Верх Арбатом Китай-города. Неглинный Верх относится к Китаю как Арбат к Кремлю.

«На Петровке на Арбате». Любовь посещала верхнюю Неглинную еще в XVI столетии, когда бесплодную великую княгиню Соломонию Юрьевну Са-

бурову постригли в Рождественском монастыре (Рождественка, № 20), а в родовом дворе Захарьиных-Кошкиных (Большая Дмитровка, № 3 — 5) нашел себе жену Иван IV.

Когда спустя полжизни Грозный, посадив на великое княжение шутейного Симеона Бекбулатовича, вторично бежал из Кремля на Удел, летописец определил вектор его побега так: «За Неглинную на Петровку на Арбат против старого моста каменного». Звучит недоброй царской шуткой, в значении «нигде». И это подлинно нигде, утопия. А вместе с тем реальнейший центр власти — все тот же Опричный двор (квартал журфака МГУ), теперь определяемый обиняками в силу запрещения слова «опричина». «Петровка» в этом тексте означает либо известную с XV века слободу вокруг церкви Петра и Павла, оказавшейся теперь среди Опричного двора, либо общее имя нынешних Моховой улицы и Охотного Ряда, продолжавших улицу Петровку как дорогу вдоль Неглинной; Охотный Ряд в XVIII веке все еще именовался Петровкой. И все-таки, на современный слух, старинным текстом задана необъяснимая взаимность между Арбатом и Петровкой нынешней, таинственная перекрестность этих улиц.

Вот и в аспекте любовного мифа Петровка, и Неглинная, теперь верхняя, и мост, теперь Кузнецкий, стали продлением Арбата.

Царицына родня. В последующие два века любовь частила на правый берег Неглинной, на Страстной холм, где по традиции жила родня цариц — Собакины (Большая Дмитровка, № 7), Стрешневы (на месте Собакиных) и Нарышкины (Петровка, № 28, ныне Братский корпус Высокопетровского монастыря).

Прибавить дом князя Долгорукого, несостоявшегося тестя Петра II, на Тверской (№ 5, в объеме Театра имени Ермоловой).

Прибавить дом Василия Голицына, фаворита царевны Софьи, в Охотном Ряду (на месте Госдумы) — былую архитектурную заставку Неглинного Верха перед Кремлем и Китай-городом.

Словом, в прологе нововременского мифа Кузнецкого Моста, как и Арбата, находим царскую любовь.

Новый Кукуй. А частная любовь, схватившаяся в миф, случилась на Кузнецком оттого, что там со времени Екатерины поселился дух, который вызывался древним именем Кукуй. Дух иноземчества, *иной земли*, изгнанник из обрусевшей, адаптированной городом Немецкой слободы. Слова: «...Откуда моды к нам, и авторы, и музы: / Губители карманов и сердец!» — легко адресовать Немецкой слободе, вложив их в сердце и в уста петровского боярина, только вчера обритого. Немецкая улица оборотилась и приблизилась французской улицей Кузнецкий Мост.

Приблизилась со сносом Белых стен, когда кварталы в самом центре города открылись загороду.

Первым офранцузился сам мост — Кузнецкий мост через Неглинную, до середины XVIII века деревянный и непостоянный. Окаменев, он, как и всякий сопрягающий стороны города мост, сделался постоянным торговым центром. Может быть, даже своеобразным торговым рядом, первым из подобных в этой местности.

Пишут, что на лишенной площадей сетке ближайших улиц и переулков была возможна только мелкая — галантерейная, съестная, винная — торговля. Мода екатерининской эпохи сделала то, что эта мелкая торговля оказалась главным образом французской.

Оба берега выше моста занимала тогда усадьба Воронцовых (с главным домом по Рождественке, № 11, ныне МАрХИ); Неглинная текла сквозь графский сад на роли частной собственности. Говорят, именно граф Иван Илларионович Воронцов отдал французам первую аренду — в служебных зданиях по уличной границе своих владений.

Французская колония столь быстро раздалась и самоорганизовалась, что попросила у Екатерины дозволения поставить близ Кузнецкого костел. Императрица отвечала было предпочтением Немецкой слободы, однако в 1791 году костел Людовика Святого заложили близко к прихожанам (Малая Лубянка, № 12).

От этого костела до другого, Петропавловского польского, — дистанция в полвека и в полкилометра по Милютинскому переулку, то есть по гребню водораздела между Неглинной и Москвой-рекой. Костелы помещаются у гребня, но на разных стоках. И вот же — младший, Петропавловский костел (№ 18), сделав лишь шаг с черты водораздела на москворецкий склон, немедленно оказывается экстерриторией: местность вокруг не выглядит как польская, вообще приходская. Наоборот, старший костел — Людовика Святого, — едва сойдя с гребня холма на склон Неглинной, попадает в соприродное пространство, донныне узнаваемое как французское. Даже стоящий на краю прихода — ареала Кузнецкого Моста — костел был его центром.

Вот что такое мифогенность территории.

В XIX веке появление иноверных престолов на Покровке и Мясницкой не сделало восток Белого города новой Немецкой слободой. А мифогенный Кузнецкий Мост сделался ею до костела.

Собрания. Знаменательно, что в пределах Неглинного Верха, на Долгоруковской улице, родился, а в середине XIX века окончательно обосновался на Софийке (ныне Пушечная, № 9) Немецкий клуб.

Шутка Антоши Чехонте: «В немецком клубе происходило бурное заседание парламента» — в тему. Кузнецкий мост — конечно, самое общественное место города.

Еще в исходе XVIII века Неглинный Верх обстроил свой фасад на сторону Кремля и Китай-города Петровским театром (будущим Большим; Петровка, № 1) и домом Благородного собрания (Охотный Ряд, № 2/1). Новые центры аристократической общественности обогатили содержание готового родиться мифа.

Благородное собрание было особенно необходимо мифу: новая иноземщина смешалась с русской патрицианской фрондой, за которую так не любила Москву Екатерина. В отсутствие палаты лордов зал Собрания — Колонный — становился центром мнений, а не только развлечений.

Другой патрицианский центр, Английский клуб — по слову Пушкина, «народных заседаний проба», — часто переезжая, оставался в пределах Неглинного Верха: Страстной бульвар, № 15, затем № 6; наконец, Тверская улица, № 21 (недавно бывший Музей революции).

На Трубе, углом Петровского бульвара и Неглинной (№ 14/29), к услугам заседающих имелся ресторан «Эрмитаж» — совладение Люсьена Оливье, изобретателя салата. Миф Кузнецкого Моста вкуснее с этим человекомифом и с его рестораном. «Издавна в нем собирались (и донныне) дворяне после выборов и чествовали своих новых избранников», — свидетельствует предводитель московского дворянства, внук Параши Жемчуговой граф Сергей Дмитриевич Шереметев.

Не случайно в пределах Неглинного Верха помещаются и обе палаты современного парламента России (из которых нижняя — вплотную к дому Благородного собрания), и Московская дума.

Конечно же, французская колония держалась разных политических сторон, и роялизм у эмигрантов, тем более у беглецов от революции, бывал в обыкновении. Но общий вывод из сложения галантереи и костела с предпарламентом сделался странный. Сделался, собственно, миф.

Кузнецкий Мост есть сумма иноземного плебейства, республиканского и роялистского, с русским патрицианством.

Сама патрицианская республика не исключает роялизма. *Тому свидетельств* *языческий Сенат* или старушка Англия, что республиканское толковище совместимо и с монархией на противоположном холме, и с монархизмом на собственном.

Верный знак этой совместимости — сделанный Дворянским собранием выбор архитектора: не в природе Казакова оформлять фронду. Дом Собрания остался политически нейтральным.

Современная Госдума и огромна, и развернута на Кремль, но и теперь что-то мешает фронде. Только ли заграждение гостиницы «Москва»?

Характерно еще, что поначалу для собраний московского дворянства предназначался тоже казаковский зал Сената, то есть зал внутри Кремля, известный как Екатерининский. В первом проектном варианте предполагался даже заседательский амфитеатр. В осуществленном варианте заседания еще возможны, но уже на Охотном уместней кулуарные беседы и, конечно, танцы.

Колонный зал репетирован у Казакова в архитектуре тронного зала Пречистенского дворца. За именем и образом Колонного слышится и видится *колонный* зал. При том, что сам Пречистенский дворец был в некотором роде антитезой ветхому Кремлю — арбатской, приватно-царской антитезой.

В Арбате и цари делались частными людьми. Кузнецкий Мост, наоборот, ходил с общественным лицом. Если фронда Арбата заострена против Кремля, то фронда Кузнецкого Моста бесформенна и безопасна.

В Арбате каждый — царь, царь на Кузнецком — все.

Екатерининский институт. В пределе, Кузнецкий Мост — место не жительства, но общежительства. Общениа аристократии между собой — и с Западом, причем плебейским — артистическим, торговым, всяким.

Поэтому «бал Благородного собрания — это толкучка, рынок, открытый вход, открытый для всех: купеческие дочки из Замоскворечья, немки, цирюльники, чиновники и другие шпаки всякие». Так капитан Дрозд в романе «Юнкера» внушает Александрову (alter ego Куприна) предпочтение Екатерининского института благородных девиц.

Дом Института, учрежденного в самом начале XIX века, держит меридиан Неглинной, рисуясь над слиянием ее истоков, на строгом севере Москвы (Суворовская, бывшая Екатерининская площадь, № 2). Чувство Александрова к Зиночке Бельшевой, вспыхнувшее в танцевальном зале Института, прообразует множество подобных. Каждое юнкерское училище бывало там раз в год. Екатерининский до последнего следил чистоту кровей.

Адреса мифа

Стендаль. Интендантский офицер наполеоновской армии Анри Бейль на панораме московского любовного мифа вполне замещает своего императора, обделившего Москву амурными приключениями.

«В тот день, когда мы прибыли сюда, — сообщал в письме из Москвы 1812 года Бейль, — я, как и полагается, покинул свой пост и пошел бродить по всем пожарам, чтобы попытаться разыскать г-жу Баркову». Стендаль искал бывшую возлюбленную, актрису Мелани Гильбер, вышедшую замуж за русского. «Я никого не нашел».

Только во второй месяц московского сидения Стендаль узнал, что «за несколько дней до нашего прибытия она уехала в Санкт-Петербург, что из-за этого отъезда она почти окончательно поссорилась со своим мужем, что она беременна, что она почти всегда носит зеленый козырек над глазами, что муж ее маленький, некрасивый и... очень ревнивый и очень нежный».

Кузнецкому Мосту важно еще, что Мелани Гильбер была актрисой и французенкой. Поскольку же французом был и сам Стендаль, важно, что Мелани стала Барковой. Чтобы бейлевский поиск на пожаре стал крестоносным поиском женственной души мира, предпочитающей восточный Рим западному.

Гонимые пожаром из Арбата, Бейль с офицерами переместились в область Кузнецкого моста. Считается, что в старый Английский клуб. Клуб до войны располагал домом князя Гагарина на Страстном бульваре, угол Петровки (№ 15/29). Но из другого письма Стендаля явствует, что клуб уже горел и

офицеры заняли где-то поблизости «красивый белый четырехугольный дом», в котором, «по-видимому, жил богатый человек, любящий искусство».

Настойчивость, с которой Бейль как персонаж московского предания вселяется в Английский клуб, свидетельствует о неглименской, а не арбатской природе этого предания. С Бейлем Английский клуб становится французским.

Кстати, Стендаль признается в том же письме, что «маленько пограбил» с товарищами винный погреб клуба.

Иогель и Ламираль. Чтобы миф Кузнецкого Моста схватился, потребовалось время. Время после войны 1812 года, когда сам мост засыпали вместе с рекой Неглинной, дав больше места торговле. Время, когда нашествие французов продолжалось миром. Время, когда благородное юношество открыло во французском магазине тип модистки, а благородное девичество нашло себе, в окрестностях того же магазина, учителя — в особенности танцев. Танцмейстеры Иогель и Ламираль стали отцами мифа.

Дом Жана Ламираля сохранился в Столешниковом переулке (№ 9, во дворе), а Петр Иогель нанимал разные залы.

«У Иогеля, — пишет Толстой, когда выводит в свет Наташу Ростову, — были самые веселые балы в Москве. <...> В этот же год на этих балах сделалось два брака. Две хорошенькие княжны Горчаковы нашли женихов и вышли замуж и тем еще более пустили в славу эти балы. Особенное на этих балах было то, что не было хозяина и хозяйки: был, как пух летающий, по правилам искусства расшаркивающийся, добродушный Иогель...»

В тот раз «зала была взята Иогелем в доме Безухова», за который принимают иногда дом графа Льва Кирилловича Разумовского на Тверской (№ 21), впоследствии Английский клуб.

Где Иогель нанял залу, в которой Пушкин первый раз увидел Наталью Гончарову, спорят до сих пор. Долго считалось, что в доме Кологривовых на Тверском бульваре (на месте № 22), то есть за гранью ареала, но вероятнее, что дело было в доме Благородного собрания, где Иогель подвизался именно в сезон 1828/1829 года. В Колонном зале увидит будущего мужа-генерала Татьяна Ларина.

Обер-Шельма. Матерью мифа Кузнецкого Моста стала мадам Обер-Шальме, держательница магазина женского платья в Глинищевском переулке (№ 6), между Тверской и Большой Дмитровкой.

После сватовства князя Болконского к Наташе, незадолго до истории с Курагиным, «Марья Дмитриевна свозила барышень [Ростовых] к Иверской и к т-те Обер-Шальме, которая так боялась Марьи Дмитриевны, что всегда в убыток уступала ей наряды, только бы поскорее выжить ее от себя. Марья Дмитриевна заказала почти все приданое».

Возможно, Обер-Шельма, как называли ее москвичи, была французская шпионка. В 1812 году перед оставлением Москвы граф Ростопчин выслал ее мужа мсье Обера из города, но мадам смогла остаться. Сам Бонапарт вызвал ее к себе в Петровский замок, чтобы лучше узнать... Россию. «Не знаешь, что и подумать о великом человеке, который спрашивает, и кого же, г-жу О., о предметах политики, администрации и ищет совета для своих действий у женщины!» — замечает мемуарист.

Мари-Роз Обер-Шальме ушла вместе с Великой армией, чтобы погибнуть при Березине.

«Север» — «Англия». Когда домовладельцам, сотрудничавшим с оккупантами, вышло прощение, дом в Глинищевском переулке вернулся наследникам Оберов и стал знаменитой гостиницей «Север». Впоследствии «Англия», эта гостиница была любимым местом жительства Пушкина в Москве. А возможно, и Онегина: «Евгений мой / В Москве проснулся на Тверской».

Пушкин жил у Обера и в зиму первой встречи с будущей женой; и весной 1829-го, когда стал навещать дом Гончаровых; и осенью того же года, когда сделал первое предложение, а не получив определенного ответа, увлекся Ушаковой; и в 1830 году, когда встречи с ним искала итальянская певица Анжелика Каталани, жившая в соседнем номере. Напрасно: поэт уже звал Наталью Николаевну невестой. Слова «Участь моя решена. Я женюсь...» могли быть выведены в этом доме.

Пушкин оставил гостиницу Обера только ради дома на Арбате. Так Николай Петрович Шереметев перед свадьбой оставил свои дворы в конце Никольской ради Воздвиженки. Видно, как наклоняется на запад стрелка московской любви. И как она проходит север — словно область зноя, лета перед прохладной осенью запада, Арбата.

Памятник Пушкина на старом месте недаром обращался черным лицом в тень севера — к Неглинному Верху, к его полному солнцу, жаркому эфиопски.

Светская жизнь Кузнецкого Моста вообще немыслима без Пушкина, и Большая Дмитровка, долго называвшаяся его именем, действительно очень пушкинская улица. Так, немного в стороне от нашей темы, зато прямо на улице Кузнецкий Мост, располагался в пушкинское время ресторан «Яр» (№ 9). А на углу Кузнецкого и Дмитровки (дом 2/6), в доме князя Дмитрия Щербатова, предоставлял «особенное прибежище игрокам» знаменитый Огонь-Догановский — Чекалинский в «Пиковой даме», которому Александр Сергеевич остался должен в карты. Только не нужно представлять себе притон в подвале: Догановский был и жил барином, женатым на урожденной Потемкиной.

Якушкин, Щербатова, Шаховской. В дочь князя Щербатова, владельца дома на Дмитровке, был влюблен капитан Семеновского полка Иван Якушкин. «Любовь была взаимная», — читаем в мемуарах другого декабриста, князя Оболенского. Но, рассмотрев глубоко свое чувство, Якушкин «нашел, что оно слишком волнует его; он принял свое состояние, как принимает больной горячечный бред, который сознает, что не имеет силы от него оторваться, — одним словом, он решил, что этого не должно быть». Продолжая словами Никиты Муравьева, «Якушкин, который несколько лет уже мучился несчастною страстью и которого друзья его уже несколько раз спасали от собственных рук, представил себе, что смерть его может быть полезна России. Убийца не должен жить, говорил он, я вижу, что судьба меня избрала жертвою, я убью царя и сам застрелюсь». Суди, читатель, какая связь.

Сделалось совещание, известное под именем «Московский заговор 1817 года». На совещании князь Шаховской, тоже семеновец, просил повременить с царевубийством, пока их полк заступит на дежурство во дворце.

Именно Шаховской женился на княжне Щербатовой. Это ее усилиями помешавшийся в рассудке после катастрофы князь будет переведен из Туруханска в Суздаль, в монастырь, где и скончается в 1829 году.

Волконская и Веневитинов. Тему декабристских жен обыкновенно приурочивают к дому и салону Зинаиды Волконской на Тверской улице (№ 14, впоследствии Елисеевский магазин). Зимой 1826/1827 года в салоне встретились княгиня Мария Николаевна Волконская, ехавшая в Сибирь, и Пушкин, постоялец соседней гостиницы «Север».

Любовь другого поэта к хозяйке дома, княгине Зинаиде, вскоре отойдет в историю: Дмитрий Владимирович Веневитинов скончался в марте 1827 года. В его могиле через сто лет найдут прославленный стихами Манделштама перстень Волконской: «...Веневитинову — розу, / Ну, а перстень — никому!»

Дом Веневитинова в Кривоколенном переулке (№ 4), казалось бы, обогащает любовную карту между Мясницкой и Покровкой в Белом городе; но

связь с домом Волконских выманивает этот адрес на сторону Кузнецкого Моста, то есть всего на несколько шагов вперед, к Мясницкой. Рисуется диагональ, почти тождественная той, которую провел стихами Маяковский — сосед Веневитинова.

Пушкин и жены декабристов. Надо ли говорить, что салон Зинаиды Волконской причастен истории многих стихов. «Во время добровольного в Сибирь изгнания жен декабристов, — вспоминала другая Волконская, Мария, — он (Пушкин. — *Р. Р.*) был полон искреннего восторга. Он хотел мне поручить свое „Послание“ к узникам для передачи сосланным, но я уехала в ту же ночь, и он его передал Александрине Муравьевой».

Передача состоялась в доме... Сергея Николаевича и Варвары Петровны Тургеневых, живших тогда с десятилетним сыном Иваном на периферии верхней Неглинной, в нынешнем Большом Каретном переулке, угол Садовой (№ 24/12). Недавно исчез последний флигель, оставшийся в этом владении от старины.

Фонвизины. Братья-декабристы Иван и Михаил Фонвизины жили в отцовском доме на Рождественском бульваре (№ 12). Возможный прототип Татьяны Лариной, жена генерала Михаила Фонвизина Наталья Дмитриевна, была среди переживших с мужьями Сибирь.

Овдовев, она вторично вышла замуж — за Ивана Пущина. Все трое погребены на одном подмосковном погосте.

Видно, как декабристская любовь хочет уместиться на Кузнецком Мосту, словно предвидя будущее, по суду, сословное неравенство супругов.

Анненков и Полина Гебль. Или, напротив, будущее равенство, как в случае Ивана Анненкова и Полины Гебль.

Снесенный в сталинское время прекрасный дом матери Анненкова помещался на углу Петровки и Кузнецкого (№ 8/5). Уже его угловая ротонда обещала историю любовного неравенства по аналогии с себе подобными (см. начало публикации в № 10 за 2001 год).

Анненков нашел Полину Гебль в одном из магазинов Кузнецкого Моста, именно в модном магазине Демонси, где та служила. Свадьба состоялась в руднике, уравнившем сословные права влюбленных.

История европейски известна благодаря роману Дюма «Записки учителя фехтования». Запрещенный при Николае I, этот роман — кажется, второй, после писем Стендала, вклад западной литературы в московский любовный миф.

Боткин и Арманс. С Кузнецкого Моста происходила и некая Арманс — возлюбленная литератора Василия Петровича Боткина. Эта история принадлежит любовному мифу настолько, насколько смог увековечить ее Герцен в «Былом и думах». А сделал он это замечательно, так что хочется цитировать страницами: «Сначала я думал, что это один из тех романов в одну главу, в которых победа на первой странице, а на последней, вместо оглавления, счет; но убедился, что это не так...» Портрет Арманс, писанный Герценом, сошел бы за портрет Полины Гебль и всего типа «благородного плебейства великого города» Парижа в Москве. Боткин решен у Герцена гораздо индивидуальнее, хотя и в нем намечен тип. Тип любомудра — любовника философии, одной ее.

Боткин жил в Петроверигском переулке (№ 4) на Маросейке — адрес, дополняющий скудную карту любви на ближней Покровке с той оговоркой, что в доме царил отец героя, старозаветный купец Петр Кононович, не совместимый ни с какой Арманс. Так Анненкова-мать была несовместима с Полиной Гебль. На этих примерах видно, что тема сословного неравенства любовников отягощена на Кузнецком Мосту темой национального и конфессионального несходства, как это и должно быть в переизданной Немецкой слободе.

Кетчер и Серафима. Аристократ Герцен изменяет своему приобретенному демократизму, когда несходство кричаще:

«Между Кетчером и [его] Серафимой, между Серафимой и нашим кругом лежал огромный, страшный обрыв, во всей резкости своей крутизны, без мостов, без брода. Мы и она принадлежали к разным возрастам человечества, к разным формациям его, к разным томам всемирной истории. Мы — дети новой России, вышедшие из университета и академии, мы, увлеченные тогда политическим блеском Запада, мы, религиозно хранившие свое неверие, открыто отрицавшие церковь, — и она, воспитавшаяся в раскольническом ските...»

Николай Кетчер нашел нищенку Серафиму на какой-то улице между Сокольниками, где он тогда жил, и Новой Басманной, где служил; так что начало этого романа принадлежит Москве Яузской. Середина — видимо, Арбату, где на непримечательном Сивцевом Вражке у Кетчера был дом (на месте № 20). В то время аристократической брезгливостью его друзей был испытан на прочность и, кажется, не выдержал испытания весь круг московских западников.

Семейную старость Кетчеры проводили на Самотеке, в 1-м Волконском переулке (№ 11), и затем на 2-й Мещанской, в доме, купленном для них Грановским, Щепкиным и Иваном Тургеневым (№ 44). Оба адреса принадлежат Неглинному Верху.

Надеждин и Евгения Тур. Без Кетчера вообще немыслим любовный миф тех лет. Похититель Захарьиной и свидетель ее брака с Герценом, Николай Христофорович мог стать также свидетелем тайного венчания Боткина и Арманс, если бы дело не отложилось до Петербурга. Он вообще любил устраивать подобные дела:

«Когда Надеждин, теоретически влюбленный, хотел тайно обвенчаться с одной барышней, которой родители запретили думать о нем, Кетчер взялся ему помогать, устроил романтический побег, и сам, завернутый в знаменитом плаще черного цвета с красной подкладкой, остался ждать заветного знака, сидя с Надеждиным на лавочке Рождественского бульвара».

Вероятней, что Страстного; но ошибка Герцена лежит в пределах допустимой погрешности: оба бульвара принадлежат Неглинному Верху. Будущий издатель «Телескопа» Николай Иванович Надеждин учительствовал в доме Сухово-Кобылиных и жил у них. Замечательно, что Кобылины снимали в то время дом Корсаковых — «дом Фамусова». Предметом «теоретической любви» Надеждина была его ученица Елизавета Васильевна Сухово-Кобылина, сестра будущего драматурга и сама будущая писательница под псевдонимом Евгения Тур (она выйдет за графа с характерным для Кузнецкого Моста именем Анри Салиас де Турнемир). Пожалуй, Надеждин выглядит Молчалиным — правда, в отсутствие Чацкого.

Тема неравенства в этой истории наглядна: Надеждин был поповичем, Кобылины имели общего предка с Романовыми (древнего боярина Кошкина-Кобылина с Большой Дмитровки). Юный брат героини Александр Васильевич сказал по поводу Надеждина: «Если бы у меня дочь вздумала выйти за неравного себе человека, я бы ее убил или заставил умереть взаперти».

Сухово-Кобылин. Убил ли Сухово-Кобылин Луизу Симон-Деманш, мы не узнаем никогда.

Этот роман завязался в Париже в 1841 году. На следующий год Луиза приехала в Москву и поступила модисткой в магазин мадам Мене на Кузнецком Мосту. Там же, точнее, на Рождественке Кобылин снял для нее квартиру (в доме № 8).

Через три года Луиза — уже владелица винного магазина, фактически принадлежащего Кобылину. Она записывается в московское купечество и живет на Никольской, во владении № 8, помнящем Наталью Долгорукую и Николая Шереметева.

Сам Александр Васильевич жил тогда в Арбате (у графов Сухтеленев в Большом Кисловском переулке, № 4), а в 1847 году он снимает две квартиры — для Луизы и себя — у графа Гудовича на Тверской (современный адрес — Брюсовский переулок, № 21). То есть перемещается сам и перемещает Луизу на границу Неглинного Веха.

Еще через два года Кобылин пересек эту границу, приобретя роковой дом на Страстном бульваре (№ 9, только что снесен), в нескольких шагах от памятного ему с юности «дома Фамусова». Между предыдущим адресом и этим лежала пропасть: Кобылин охладел к Луизе и воспылил чувством к Надежде Ивановне Нарышкиной. У которой, согласно ответам на допросные пункты, провел вечер 7 ноября 1850 года — вечер убийства.

По версии полиции, убийство совершилось в доме на Страстном. Говорили, что оно стало итогом темпераментного объяснения во флигеле между Деманш, Кобылиным и Нарышкиной.

Найденное на Ходынке тело отпели в костеле Святого Людовика и погребли на Немецком кладбище.

За время следствия и суда — семь лет, — дважды арестованный и дважды освобожденный, Кобылин стал драматургом.

Но не здесь конец этой совершенно верхне-неглименной истории.

В 1859 году Кобылин привез из Парижа в дом на Страстном новую жену — Марию де Буглон. Через год Мария умерла на возвратном пути.

В 1867 году писатель появился в том же доме с третьей женой — привезенной из Англии Эмилией Смит. В следующем году ее похоронили на Немецком кладбище.

Только тогда Кобылин продал дом.

Он не удерживал любовь живой. Что это — метафизическое доказательство былого преступления или изначально тяготеющий над домом или над его хозяином рок, частью действия которого была и смерть Луизы?

Бове и Трубецкая. Случай перемены мужского и женского в неглименной коллизии сословного неравенства и национального различия адресуется в Петровский (бывший Богословский) переулок, в дома № 6 и 8. Дом № 6 в начале XIX века принадлежал княгине Авдотье Семеновне Трубецкой, в 1816 году вышедшей вторым браком за архитектора Бове. Осип Иванович переехал во владение жены, где выстроил второй дом. За год до смерти Осипа Ивановича старый дом был продан, и чета осталась в новом, совершенно перестроенном впоследствии.

Руководитель воссоздания Москвы после пожара 1812 года, создатель Театральной площади, соавтор здания Большого театра и автор будущего Малого, проектировщик кварталов вокруг исчезнувшей реки Неглинной — словом, оформитель Неглинного Веха накануне сложения мифа, — Бове сам угодил в его, мира и мифа, новые смыслы.

«Москва помешалась: художник, архитектор, камердинер — все подходят, лишь бы выйти замуж», — судила о княгине Трубецкой княгиня Туркестанова. Кузнецкому Мосту столько же важно европейское происхождение супруга.

Конечно, архитектор со времен Петра не равен камердинеру. Петр перевел его из мужиков в чиновники, а Табель о рангах позволяла выслужить дворянство — достижением 8-го класса. Навстречу двинулись в архитектуру дворяне по рождению, не исключая столбовых аристократов, как князь Ухтомский и Николай Львов.

И все же разница между супругами Бове огромна. Сын неаполитанского художника стал обладателем многих поместий, в их числе нескольких подмосковных, — а Трубецкая лишилась княжеского титула, чтобы писаться чиновницей 7-го класса, то есть женой недавнего дворянина.

Неравный брак, не ставший темой на Арбате даже после Шереметева, стал ею на Кузнецком — по примеру Язуы, по праву нового русско-европейского пограничья.

Пукирев. Над местом, где бассейн Неглинной в первый раз соприкасается с бассейном Яузы — над перекрестком Сретенских ворот, — стоит церковь Успения в Печатниках (Сретенка, № 3/27). Поскольку прихожанином ее был Пукирев, церковь считается тем местом, где художник наблюдал сцену «Неравного брака». И будет считаться, наверное, впредь — по силе мифа, вопреки новым исследованиям.

Картина Пукирева и стоящий далее Успенской церкви по водоразделу Странноприимный дом разно трактуют о мезальянсах, объединяя смежные ареалы любовного мифа Москвы (наблюдение Геннадия Вдовина).

Фон-Мекк и Чайковский. Так и фамилия Фон-Мекк, хотя Надежда Филаретовна взяла ее от мужа, равно уместна на Яузе и на Неглинной.

До переезда в конец Мясницкой, то есть на Яузу, Фон-Мекк жила в бывшем доме Фонвизиных (Фон-Визиных) на Рождественском бульваре (№ 12).

Вечную не встречу Чайковского с Фон-Мекк легко истолковать как проявление известного несчастья композитора. Но есть же плоскость метафизики. Орфей не должен оборачиваться на Эвридику, выводя ее из ада. А ведь Чайковский, как и Моцарт, воплощает архетип Орфея — певца, наказанного за разоблачение мистерий. «Волшебной флейтой» в случае Чайковского, по-видимому, служит мистериальнейший «Щелкунчик», «Реквиемом» — Шестая симфония, особенно же характерен упрямый слух об отравлении по приговору каких-то тайных братьев.

Брюсов, Петровская и Белый. Вообще, любовь Кузнецкого Моста трагичнее арбатской. И тем трагичнее, чем ближе к декадансу.

Говоря словами Нины Петровской, она и Брюсов семь лет владели свою трагедию по всей Москве, по Петербургу и по разным странам. В Москве Валерий Яковлевич жил в те годы на Цветном бульваре, № 22. Для Брюсова Петровская бросила мужа, но не муж, а Андрей Белый сделал эту любовь треугольной. (В романе Брюсова «Огненный ангел» все трое выведены под масками XVI века.)

На лекции Андрея Белого в Политехническом музее, 14 апреля 1907 года, Петровская стреляла в Брюсова; оружие дало осечку.

Политехнический, соседний с домом Маяковского, стоит уже на московском склоне, сразу за гранью водораздела с Неглинной, однако тянется взойти на эту грань: третья строительная очередь музея, образовавшая в конце концов южный фасад Лубянской площади, была завершена как раз к 1907 году.

Николай Тарасов. Через три с половиной года в доме № 9 по Большой Дмитровке был сделан другой знаменитый выстрел: покончил с собой молодой магнат Николай Лазаревич Тарасов, меценат театра «Летучая мышь», деливший квартиру с другим основателем театра — Никитой Балиевым.

Тарасов был влюблен в жену магната Грибова, предпочитавшую обоим некоего Журавлева, содиректора Барановской мануфактуры. Когда последний проигрался в карты так, что стал открыто умышлять самоубийство, Ольга Грибова потребовала денег у Тарасова. Тот не дал. Скоро Журавлев действительно свел счеты с жизнью. На следующий день за ним последовала Грибова. За ней на третий день ушел Тарасов. В довершение этого ужаса наутро слуга нашел на лестнице гроб и венок, заказанные будто бы заранее подругой Ольги Грибовой.

Смерть Скобелева. Четвертью века раньше в номерах «Англии», угол Петровки и Столешникова (место дома № 15/13), в постели куртизанки Ванды умер Скобелев. (Товарищи перенесли тело в гостиницу «Дюссо» на Неглинной.)

Видеть ли смысл в таком конце? Не вспомнить ли, как под стенами чаемого Константинополя было заключено, прежде Сан-Стефанского мира, перемирие, позволившее русским офицерам... ходить в город. Именно так: Скобелев не вошел в Константинополь, но ходил в него. А ведь взятие города есть брак, взятие города священного — священный брак. Что бы ни делал Скобелев в Константинополе, как бы воздержан ни был — вышла профанация. Скобелев опустил с высоты своей задачи. Так не были на высоте задачи ни Россия, ни династия. Мало одного Ивана Аксакова, мало и тысячи Аксаковых для достижения подобной высоты.

«Припадок». Мадемуазель Ванда неизбежна на Кузнецком Мосту. Чем выше подниматься по Неглинной, тем ниже опускается любовь. Публичными домами, отнесенными за линию бульваров, Кузнецкий профанировал свою публичность и свою граничность. Предназначенность для встреч, сугубую, как правило, неравенством встречающихся. Именно на севере Москвы легализуется к исходу XIX века удел любви товарной. Чем выше по течению уже невидимой тогда реки, тем это было явственней и одновременно дешевле. Переулки Каретного Ряда, Цветного бульвара и Сретенки принадлежат периферии Кузнецкого Моста.

Из двух десятков этих переулков нарицательным стал Соболев — нынешний Большой Головин между Сретенкой и Трубной, прозрачно зашифрованный в «Припадке» Чехова литерами С-в. Знаменитая строка: «И как может снег падать в этот переулок...» — относится к нему. Падение — вот ключевое слово, объединяющее это восклицание с названием рассказа.

Даже доходный дом Страстного монастыря (Малый Путинковский, № 1/2) предоставлял, как принято считать, известные услуги. Выходящий боком на Страстной бульвар, дом отмечает ту границу, на которой публичная любовь не останавливалась, нет, но оставляла собственное жительство, перебираясь гастролировать в гостиницы Кузнецкого Моста, вроде той самой скобелевской «Англии».

Сегодня имена «Тверская», «Уголок», причастные тому же ареалу, взяли нарицательную силу имени «Соболев переулок».

Снова дом с барельефами. Пожалуй, дом с барельефами в арбатских переулках (см. «Новый мир», 2001, № 10) происходит с Неглинного Верха. Экстерриториальность этого дома в Арбате дает почувствовать различие любовных ареалов города, различие их тем и интонаций.

Однако же и связанность. Дом с барельефами — анекдотическая перекодировка древнего любовного адреса: «На Петровке на Арбате».

Катюша Маслова. Заведение мадам Китаевой у Толстого безадресно. Другое дело гостиница, где был отравлен, по фабуле романа «Воскресение», купец Смельков. Согласно обвинительному акту, «весь день накануне и всю последнюю перед смертью ночь Смельков провел с проституткой Любкой (Екатериной Масловой) в доме терпимости и в гостинице „Мавритания“». Гостиница с таким названием действительно существовала, ее здание сохранилось в Петровском парке, на Петровско-Разумовской аллее (№ 12).

Петровские дворец и парк географически принадлежат верховьям Пресни и Ходынки, то есть бассейну Москвы-реки; но верховья эти отсечены от соименных им районов города Петербургским трактом, продолжающим Тверскую улицу.

Бутырская тюрьма, в которой содержалась Катюша Маслова, стоит на Дмитровской дороге (Новослободская, № 45), то есть определено на неглименском стоке. Путь из Петровского парка к Бутырской заставе пролегает по Нижней Масловке (кстати, не отсюда ли фамилия Катюши?). Маслова балансирует на грани Пресни и Неглинной, заступая ее в обе стороны и падая.

Лара Гишар. На той же грани балансирует и падает Лара в романе Пастернака.

Происхождение Лары типично для Кузнецкого Моста. Ее мать — приезжая с Урала «вдова инженера-бельгийца и сама обрусевшая француженка Амалия Карловна Гишар». Которая «купила небольшое дело, швейную мастерскую Левицкой близ Триумфальных ворот» — площади Белорусского вокзала. Купила «с кругом ее прежних заказчиц» — всею модистками и ученицами». Видно, как тень Обер-Шальме распространяется с Кузнецкого Моста на периферию Неглинного Верха, вдоль его края — и даже переваливает за край. «Чувствовалась близость Брестской железной дороги». «Дом был одноэтажный, недалеко от угла Тверской», то есть от конца 1-й Тверской-Ямской.

Квартировали Гишары у начала Тверских-Ямских, в меблированных комнатах «Черногория» в Оружейном переулке. «Это были самые ужасные места Москвы, лихачи и притоны, целые улицы, отданные разврату, трущобы „погибших созданий“».

В Оружейном переулке, собственно, родился Пастернак. (Родился, как теперь известно, не в том доме, на который сам указывал, а на углу переулка со 2-й Тверской-Ямской.)

Позднее Гишары стали жить при мастерской. По соседству, «в конце Брестской улицы», жил Паша Антипов, будущий муж Лары.

Но прежде в ее жизни сделался адвокат Комаровский. Сначала Лара вальсировала и целовалась с ним на чьих-то именинах в Каретном Ряду, потом пришла к нему домой.

Комаровский обитал на Петровских Линиях, как называется один из переулков Кузнецкого Моста. Совершенно тамошними персонажами выглядят и экономка Комаровского Эмма Эрнестовна, и его друг Константин Илларионович Сатаниди, актер и картежник, с которым «они пускались вместе шлифовать панели» Кузнецкого Моста, наполняя оба тротуара своими голосами.

Прямо на продолжении Кузнецкого поселяется Паша Антипов — «в комнате, которую Лара сама приискала и сняла ему у тихих квартирохозяев в новоотстроенном доме по Камергерскому, близ Художественного театра». Это там «Лара любила разговаривать в полумраке при зажженных свечах». Когда в один святочный вечер «во льду оконного стекла на уровне свечи стал протаивать черный глазок», по Камергерскому проехали в извозчичьих санках Живаго и Тоня Громеко, открывая в себе чувство друг к другу, и Юрий, обратив внимание на скважину в окне, прошептал «начало чего-то смутного»: «Свеча горела на столе. Свеча горела...»

Это скрещение судеб в свете свечи значит скрещение в Камергерском двух миров. Ибо как Лара Неглинному Верху, Тоня Громеко принадлежит Арбату. Но и Лара тяготеет к границе ареалов — Тверской улице. Сам Живаго представляется скрещением этих миров, коль скоро ему выпадет любить обеих женщин.

Действительно, та же комната в Камергерском станет последней для Живаго. «Комната обращена была на юг. Она двумя окнами выходила на противоположные театру крыши, за которыми сзади, высоко над Охотным, стояло летнее солнце...» То есть подразумевается один из домов на стороне театра. В конце романа, зайдя на Камергерский по старой памяти, Лара найдет в той же комнате гроб и в нем Живаго.

Эпилог

Кинематограф. Новые опыты продления московской мифологии часто пространственно и смыслово точны, и чем точнее, тем они успешнее.

Неравная любовь интеллигента и торговки пирожками в фильме «Военно-полевой роман» берет начало у лотка на Театральной площади.

Неравная в чиновном смысле любовь «Служебного романа» протекает в департаменте, подъезд которого выходит на Кузнецкий Мост, угол Петровки

(дом № 6/5). Правда, крыша департамента отъезжает за Тверскую, поскольку это крыша дома Нирнзее (Большой Гнезниковский, № 10).

Окуджава. В песне «Часовые любви» Булат Окуджава разметил пространство московского любовного мифа следующим образом. Часовые стоят на Смоленской и Волхонке, не спят — у Никитских и на Неглинной, идут — по Петровке и по Арбату.

Мы уже понимаем, какие древние межи диктуют эту разметку. Неглинная, Петровка и Арбат принадлежат адресу Опричного двора. Тогда любовный миф, по Окуджаве, остается арбатским. Но сам он разумел, конечно, улицы Петровку и Неглинную.

Москва суммирует Кузнецкий Мост с Арбатом в единый ареал любви.

ЛЕОНИД ШЕЙНИН

*

ПОЛУТОРАМЕСЯЧНАЯ СТОЛИЦА — ШЛОТБУРХ

Про Москву говорят, что «она не сразу строилась». Справедливо это и по отношению к Петербургу — городу, для которого не сразу подобрали не только имя, но и место. Так, известно, что при закладке Петербурга (первоначально Питербурха) Петр I намеревался построить его в дельте Невы на Васильевском острове, но вскоре отказался от своего замысла по причине природных опасностей и невзгод. В половодье остров подвергался затоплению, а когда по Неве шел лед или же происходил ледостав, сообщение острова с сушей прерывалось. Поэтому ядром застройки была в конце концов выбрана Адмиралтейская сторона (южная часть дельты) на левом берегу Невы, куда со временем подошла дорога от Новгорода.

Первоначальное имя нового города было Петрополь. Это видно как из посланий самого Петра, так и некоторых его сотрудников. Так, в письме к жмудскому старосте Григорию Огинскому от 13 июля 1703 года царь поместил место отправки «Петрополь»¹. Уникальное название нового города, заложенного Петром, — «Питерпол(ь)», употребил Б. Голицын в своем письме к Петру от 17 августа 1703 года².

Ленинградский исследователь С. П. Луппов высказал мысль, что место для будущей столицы Петр приглядывал сначала вообще не на материке, а в Финском заливе, на острове Котлин — там, где располагается современный Кронштадт. Были составлены даже планы будущих городских кварталов³. Вполне возможно, что строительство Кронштадтской крепости было связано именно с этим планом Петра. В сочетании с Петропавловской крепостью в устье Невы оба этих укрепления надежно защищали вновь приобретенные Россией земли, обеспечивавшие ей выход к судоходному Балтийскому морю.

К мысли о строительстве Петербурга при Петропавловской крепости, заложенной в середине мая 1703 года, Петр пришел не сразу. И на это были свои обстоятельства. По крайней мере полтора месяца он квартировал в отобранном у шведов в мае 1703 года укреплении Ниеншанц⁴ (что-то вроде «Невского редута» на шведском языке), располагавшемся при впадении в Неву ее правого притока — Большой Охты (ныне — в черте Петербурга). Это известно по ряду его писем и распоряжений, в которых он указывал место своего пребывания. Менее известно, что он переименовал Ниеншанц. В своих послани-

Шейнин Леонид Борисович — юрист. Родился в 1930 году. Окончил Московский университет. Сотрудник Академии труда и социальных отношений. Автор книги «Петербург и российский меркантилизм» (1997).

¹ «Письма и бумаги императора Петра Великого». Т. 2. СПб., 1889, стр. 217.

² «Петербург петровского времени». Под ред. А. В. Предтеченского. Л., Изд. АН СССР, 1948, стр. 20.

³ Луппов С. П. Неосуществленный проект петровского времени строительства новой столицы России. — В сб.: «Труды библиотеки АН СССР и ФБОН АН СССР». Т. 3. М., 1958, стр. 304 — 308.

⁴ Русские называли Ниеншанц по-другому: Канцы.

ях Петр называл его Шлотбургом (Шлотбурхом). Впрочем, ряд писем он помечал Шлутельбургом, под которым можно понимать Шлиссельбург⁵.

«Шлотбург» надо сопоставить со «Шлиссельбургом», в который Петр переименовал взятую им в 1702 году шведскую крепость в истоке Невы — Нотебург (русский «Орешек»). В переводе с голландского Шлиссельбург можно представить как «Ключ-город» — ключ к Неве и к Балтийскому побережью. Соответственно Шлотбург (Слотбург — на современном голландском языке) означал «Замок-город», то есть преграду, запирающую вход в Неву с Балтики. Петр «повысил» ранг Невского укрепления, назвав его городом (бургом). Но дело не ограничилось переименованием. По некоторым сведениям, сразу же после взятия Ниеншанца там начались работы по его действительной перестройке в город (крепость). Что касается топонимических изысканий царя, то они были не просто игрой ума; они отражали представления о назначении той территории, которую Петр приобрел силой оружия. Но вот вопрос: думал ли Петр о переносе столицы во вновь завоеванный край? А если думал, то когда его предположения приобрели законченную форму?

В исторической литературе приводилось письмо Петра с олонечкой верфи Меншикову в Петербург от 28 сентября 1704 года, где он сообщает, что скоро «в столицу чаем быть»⁶. Можно думать, однако, что план перенесения столицы из Москвы во вновь завоеванный край существовал еще в 1703 году, то есть в тот же год, когда был основан Петербург. Это видно из письма Г. Ф. Долгорукова, находившегося в то время в Польше в Люблине (для связи с союзником Петра Августом II), российскому дипломату, своему шефу Ф. А. Головину, который находился при Петре. Долгоруков должен был заручиться поддержкой Англии и Голландии при заключении скорого (как тогда надеялись) мира со Швецией. В письме от 27 июня 1703 года Долгоруков доложил, что он информировал посланников Англии, Голландии, а также поляков о том, что «вся Ингрия и немалая часть Корелии» завоевана Петром, что ему же принадлежит дельта Невы, где на взморье с бою он взял два шведских военных судна. Далее Долгоруков преувеличивал успехи русских, когда писал, что царь «немалую крепость взял и порт на Балтийском море, в котором уже 12 фрегатов воинских обретаецца, что на каждом по 24 пушки». О помянутой крепости он сообщал своим партнерам так: «...для лучшего фортофирования той крепости 15 тысяч работных людей обретаютца при добрых инженерах», причем именно там царь может заложить «свою монаршескую резиденцию, чего ради его государство лутше будет иметь с их [Англией и Голландией] государства торги и корреспонденцию (курсив мой. — Л. Ш.)». Таким образом, в мае — июне 1703 года велись работы не только по укреплению Шлотбурга, но и по (возможному) превращению его в постоянную резиденцию царя.

Вместе с тем Долгоруков, видимо, не твердо разбирался в происшедших переименованиях шведских крепостей. Он пишет о «Шлотбурхе», иногда называя его «Шлотенбурхом»⁷. О неоднозначном звучании и написании этих мест сотрудниками Петра можно судить по письму к последнему Андрея Виниуса, который адресовался в «Слотенбурх»⁸.

Ниеншанц был не столько крепостью, сколько укреплением. При нем находилась стоянка многочисленных судов (баркасов) типа «река — море», поскольку там собирались экспортные грузы со всего бассейна Невы, в том числе российского происхождения, находившие затем выход в Балтийское море. С моря он был подкреплен шведским военным флотом, так что безопасность торговых судов обеспечивалась и с суши, и с моря. У Петра же своего военного флота не было (хотя он сразу приступил к его созданию). Пребывание его

⁵ Если такая догадка верна, то не исключено, что новая столица России приурочивалась к Шлиссельбургу. Этот вопрос требует дополнительного исследования.

⁶ Цит. по сб.: «Петербург петровского времени», стр. 27.

⁷ «Письма и бумаги императора Петра Великого». Т. 2, стр. 540 — 543.

⁸ Там же, стр. 538.

даже в укрепленном Шлотбурге-Ниеншанце не давало гарантии от нападения шведов с моря. Надо думать, что именно по этой причине, по зрелом размышлении, он решил строить еще одну крепость (Петропавловскую) в устье Невы, вокруг которой и вырос впоследствии Питербурх, а затем Санкт-Петербург — город в честь Святого Петра, небесного покровителя царя.

Приступая к строительству Петербурга, Петр не издал какого-либо манифеста относительно переноса в него столицы. Не было сделано такого заявления и впоследствии. Столичный статус Петербурга стал очевиден только после 1713 года, когда туда был переведен ряд центральных учреждений из Москвы, в результате чего Москва потеряла свои позиции административного центра страны. В том же году последовал указ о «переадресовке» в Петербург большинства экспортных грузов, следовавших до того времени в Архангельск. Тем самым Петр привлекал в Петербургский порт иностранные корабли, поскольку Петербург, оторванный от остальной России, остро нуждался в привозимых ими товарах. Этот указ, с теми или иными поправками, продержался сорок с лишним лет и способствовал росту Петербурга за счет Архангельска. Из Архангельска же в Петербург были переведены купцы, знакомые с внешней торговлей. Вообще Петр, как и некоторые его преемники, заселял Петербург в принудительном порядке.

«Откладывание» и даже нежелание Петра провозглашать Петербург столицей было, видимо, не случайным; уж слишком опасно было его положение на краю страны в непосредственной близости от театра военных действий! Некоторые современники оставили свидетельство, что застройка Петербурга каменными домами началась только в 1710 году — после победоносной для русских Полтавской битвы и после того, как русские войска овладели Выборгом — ближайшим удобным местом, откуда шведы могли угрожать Петербургу⁹.

Но и после 1713 года «наипредусмотрительнейший государь» (как называл его один из первых биографов — И. И. Голиков) Петр воздерживался от официальных заявлений относительно роли Петербурга. Очевидно, он не вполне верил в его безопасность и по этой причине так и не построил себе в Петербурге что-либо похожее на дворец. Его опасения были не беспочвенны, и когда в Балтийское море вошла поддерживавшая Швецию британская эскадра адмирала Норриса, Петр озаботился о приискании себе запасной резиденции на той же Балтике. Под видом дворца для Екатерины такая резиденция (Кадри-орг, или Катериненталь) была построена в Ревеле (Таллине). Одновременно там же строилась военная гавань. Порт и крепость Петр приказал сооружать в Нарвском заливе при устье реки Наровы, откуда водный путь с Балтики вел к Нарве. Таким образом, Петр не замыкался на Петербурге. В случае необходимости столицей России мог бы стать и какой-нибудь город в Эстонии.

Петру было присуще многовариантное (как мы бы сказали) мышление, которое не довольствовалось однозначным ответом на возникавшую перед ним задачу. Будучи распорядителем всех ресурсов страны, он имел возможность продвигать свои идеи по нескольким направлениям. И хотя далеко не все они доводились до логического завершения, их материальные результаты оставляли свой след в истории. Одной из таких идей был замысел относительно Ниеншанца-Шлотбурга, где Петр пребывал с перерывом с начала мая до конца июня 1703 года. Шлотбург был не просто временной стоянкой царя. Некоторое время Петр рассматривал его как возможный вариант для превращения в постоянную резиденцию, столицу России.

⁹ «Россия при Петре Великом по рукописному известию Иоанна Готтгильфа Фоккеродта и Оттона Плейера». М., 1874, стр. 94, 95. Фоккеродт пишет о «ненависти» Петра к Москве.

МИР НАУКИ

ЕЛЕНА КНЯЗЕВА, АЛЕКСЕЙ ТУРОБОВ



ПОЗНАЮЩЕЕ ТЕЛО

Новые подходы в эпистемологии

1. Что нового?

С конца 80-х — начала 90-х годов интенсивно развивается так называемый телесный подход в когнитивной науке. Его сторонники, большинство которых работают в США, ощущают себя новаторами, а порой даже революционерами в своей области знания. В этой статье мы хотим, во-первых, рассказать об основных положениях такого подхода, во-вторых, вспомнить о созвучных ему идеях ряда предшественников и, в-третьих, раскрыть существо некоторых проблем, которые наиболее рельефно высвечиваются под новым углом зрения.

Английское словосочетание «*embodied cognition approach*» точнее было бы переводить на русский как подход с точки зрения «отелесненности» процесса познания, телесной облеченности всякого познающего существа. Такое уточнение мы всегда будем иметь в виду, говоря несколько неуклюже, но кратко: «телесный подход».

Сам термин «когнитивная наука», может быть, не совсем знаком российскому читателю. Это тоже главным образом американский продукт. Когнитивная наука (*cognitive science*) — междисциплинарное направление научных исследований, охватывающее все те научные дисциплины, которые изучают человеческое сознание и его нейрофизиологическую основу — мозг — во всех их проявлениях. Она использует исследовательские результаты и данные эволюционной биологии, нейрофизиологии, психологии, в первую очередь когнитивной психологии и генетической психологии (психологии развития Ж. Пиаже), психоанализа и психотерапии, философии, прежде всего эволюционной эпистемологии, лингвистики и нейролингвистики, информатики (то, что известно на Западе как *computer science*), робототехники.

Как тогда соотносятся теория познания, она же эпистемология, и когнитивная наука? Если теория познания — давно утвердившаяся область философии, то когнитивная наука — относительно новое научное направление, причем ориентированное главным образом на конкретно-научные и опытные исследования. Впрочем, эпистемологию иногда понимают гораздо шире, как охватывающую вообще все, что может быть известно о феноменах знания и познания, и в этом смысле получается, что когнитивная наука — как бы современный отпрыск давнего и могучего, от самого Платона идущего мыслительного древа. Чтобы не путаться дальше во внутренних дисциплинарных разграничениях, будем исходить из схематической цепочки: телесный подход

Князева Елена Николаевна — доктор философских наук, ведущий научный сотрудник Института философии РАН, живет в Москве.

Туробов Алексей Львович (род. в 1957) — кандидат философских наук, живет в Москве.

В «Новом мире» (2000, № 3) опубликовали в соавторстве статью «Единая наука о единой природе». В «Новом мире» (2000, № 4) опубликован очерк А. Туробова «Америка каждый день. Записки натуралиста».

Исследование поддержано Российским фондом гуманитарных исследований.

родился в рамках когнитивной науки, а когнитивная наука родилась в лоне эпистемологии, но потом по охвату значительно ее перекрыла. Термины «познавательный» и «познающий» можно при этом использовать как синонимы термина «когнитивный».

Непосредственным стимулом для возникновения и быстрого развития телесного подхода стала глубокая неудовлетворенность некоторых ученых доминировавшим с 60-х годов так называемым вычислительным подходом (*computational approach*) к объяснению познавательных способностей человека и животных.

Излюбленной сферой приложения усилий представителей вычислительного подхода была проблема искусственного интеллекта. Идеалом виделась возможность построения системы, полностью имитирующей человеческий интеллект. В качестве модели для имитации брался компьютер. Предполагалось, что и мозг работает по принципам компьютера. Наглядным образцом такого рода устройства стал автомат для игры в шахматы, основанный на просчитывании всех возможных ходов максимально далеко вперед.

Создателей устройства радовало и обнадеживало то, что возможности автомата в чем-то даже превосходят возможности человеческого интеллекта. Казалось, стоит еще и еще повысить тактовую частоту процессора, добавить мегабайтов памяти, объединить множество компьютеров в единую сеть, запустив по возможности параллельно, что уподобило бы их сплетению нейронов в мозге, и цель достигнута.

Нет, заявили сторонники телесного подхода, — хотя резервы на этом пути, конечно, есть, сам путь обходит стороной главное.

Возражения новаторов в адрес вычислительного подхода в обобщенной форме можно сформулировать следующим образом:

1. Вы сводите функции познания к функциям чистого, абстрактного интеллекта; интеллект у вас существует как бы вне тела, вне физического организма, взятого в его естественном функционировании и движении и в окружении других материальных тел; тем самым ваша модель лишается связи с реальностью, а потому объяснительной и эвристической силы.

2. Вы рассматриваете когнитивные функции, причем сведенные лишь к интеллектуальным функциям, в их данности, в полностью развитом виде, игнорируя как общее эволюционное происхождение этих функций (процесс филогенеза), так и постепенность их формирования в процессе индивидуального развития особи (процесс онтогенеза).

3. Мыслительные операции человека в вашем понимании строятся по принципу символического представления, который лежит в основе работы компьютера: входные данные переводятся на особый язык символов, в котором они обрабатываются. Если процесс «вне» головы понимается как динамический физический процесс, то процесс «в» голове вы объясняете уже по законам семантики, то есть смысловых отношений внутри системы символов. Тем самым процесс познания, а с ним и мир в целом, оказывается разорванным на две несводимые реальности — физическую и семантическую.

Работа компьютера лишена свойств самодвижения и самоорганизации. Компьютерные операции осуществляются в тактовом режиме, что есть не подлинное динамическое движение, а последовательность сменяющих друг друга статических состояний. Тем более это не есть самодвижение; одно статическое состояние не способно самопроизвольно перетекать в другое состояние, разве что как сбой системы.

В противовес вычислительному подходу была выдвинута теоретическая концепция, базирующаяся на следующих тезисах:

1. Познание телесно, или «отелесненно»; то, что познается и как познается, зависит от строения тела и его конкретных функциональных особенностей, способностей восприятия и движения в пространстве. Устроено по-разному — познается по-разному.

2. Познание ситуационно. Познающее тело погружено в более широкое — внешнее природное и, в случае человека, социокультурное окружение, оказывающее на него свои влияния.

3. Познание осуществляется в действии, через действия животной особи; через действия формируются и когнитивные способности, как видовые, так и индивидуальные; когнитивная активность в мире создает и саму окружающую по отношению к познающему существу среду — в смысле отбора, вырезания им из мира именно и только того, что соответствует его телесным потребностям, когнитивным способностям и установкам.

4. Познавательные системы есть динамические и самоорганизующиеся системы. В этом функционирование познавательных систем принципиально сходно, единосушно функционированию познаваемых природных систем, то есть объектов окружающего мира. Именно поэтому в рамках телесного подхода находят плодотворное использование новейшие достижения в области нелинейной динамики, теории сложных адаптивных систем, синергетики.

Среди создателей новой концепции такие ученые, как Рендал Бир, Роберт Брукс, Тимоти ван Гелдер, Энди Кларк, Жорж Лакофф, П. Маес, Эрих Прем, Эстер Телен, Франциско Варела, и ряд других.

Обратим внимание читателя на то, насколько охотно сторонники телесного подхода используют термин «когнитивный агент». Почему не «субъект познания» — термин, давным-давно принятый в философии? Объяснение простое: в термине «когнитивный агент» (английское *agent* происходит от лат. *agitare*, которое означает «приводить в движение, двигаться») усматривается деятельностный характер познающего субъекта, осуществление им познания через двигательную активность.

Авторы статьи не могут не заметить, что новаторы в некотором роде открыли здесь Америку, — они с точностью воспроизвели концептуальный переход от «созерцания» к «деятельности», провозглашенный К. Марксом в «Тезисах о Фейербахе». То же можно сказать и об открытии ими эволюционного взгляда на происхождение познания. Ведь нельзя забывать об австрийском биологе, нобелевском лауреате Конраде Лоренце, который еще в 1941 году в своей программной статье «Кантовская концепция а priori в свете современной биологии» развернул главные идеи эволюционной эпистемологии.

2. Пластмассовые насекомые

Потребность в смене теоретической парадигмы диктовалась в значительной степени прикладными нуждами. Прогрессивно мыслящие ученые, работающие в области создания искусственного интеллекта, были все менее удовлетворены традиционным подходом и работали над новыми конструктивными принципами.

Исходными в своих разработках они приняли следующие представления¹: а) автономное движение искусственного познающего существа в окружающей материальной среде; б) телесность искусственного существа, означающая, что это существо должно быть воплощено как физическая система, способная действовать в реальном мире с координацией ее воспринимающих и двигательных систем; в) взаимодействие существа с окружающей его средой путем избирательных, пробных, как бы провоцирующих ее отклики контактов; г) отбор и накопление этим способом информации о среде, причем по линии нескольких независимых, гибко координированных функциональных систем восприятия и двигательной реакции; д) способность самостоятельно вырабатывать новые и более адекватные способы оперирования в разнообразной и изменчивой среде; искусственное существо должно воплощать избыточность,

¹ См. об этом: Schreier C., Pfeifer R. The Embodied Cognitive Science Approach. — In.: «Dynamics, Synergetics, Autonomous Agents». Singapore, «World Scientific», 1999, p. 159 — 179.

то есть продолжать удовлетворительным образом функционировать даже в непредсказуемых ситуациях.

Подход был действительно новаторским: не строго логические квазимыслительные шаги недвижимой, размещенной на столе вычислительной машины и не проявление в двигательных операциях одного из предзаложенных алгоритмов, как в традиционном роботе, а самоусовершенствование когнитивных способностей устройства через его материальное движение — познание из движения.

На важность движения для формирования нормального восприятия когнитивного существа, как естественного, так, по логике телесного подхода, и искусственного, указывают экспериментальные результаты исследования поведения животных. В опыте были выделены две группы котят: одни имели возможность активно двигаться по помещению, другие тоже перемещались вместе с ними, но пассивно, прицепленные к первым в корзинках на колесиках. Через несколько недель была проведена контрольная проверка. Она показала, что котята из первой группы хорошо видели и хорошо ориентировались в ранее изученном пространстве, а котята из второй группы двигались в нем крайне неуверенно, ударялись об углы и в целом вели себя почти как слепые, хотя в своих корзинках они наблюдали все точно то же самое, что и первые².

Один из лидеров телесного подхода в робототехнике, Рендал Бир, обозначил техническую задачу, которую, как он считает, вполне можно реализовать в пределах ближайшего десятилетия: создать искусственное существо, по двигательным и познавательным способностям идентичное насекомому³. Почему именно насекомые? Потому что они, как правило, двигательны очень активны, имеют жесткий опорно-двигательный аппарат, который легче воспроизвести из искусственных материалов, обладают простой, но эффективной в своем радиусе действия системой восприятия. И работа действительно идет успешно. Последнее из достижений — создание миниатюрного летающего существа наподобие стрекозы, самостоятельно ориентирующегося в простой предметной среде.

Первой стадией решения общей прикладной задачи была стадия автономизации устройства, разрыва пуповины, тянущейся к программисту, — не в смысле наличия провода, а в смысле предзаданности реакций. Но за ней начинается прорисовываться новая стадия — «коллективизации» устройств, обладающих относительной автономией. Ведь если брать в пример тех же насекомых, то многие их виды социальные; отдельные особи оказывают поддержку и передают информацию друг другу, а активность каждой особи детерминируется потребностями сообщества в целом.

Много интересного, как нам кажется, ждет нас на стадии создания «полчищ» единообразных миниатюрных насекомоподобных существ. Какие технические преимущества они способны дать? Можно предположить, что именно сообщества искусственных познающих существ окажутся эффективными в исследовании недоступных поверхностей и пространств сложной конфигурации, например, на других небесных телах. Возможно их применение в метеорологии и океанологии при исследовании потоков воздушных и водных масс. Это могли быть не «отдельно торчащие» зонды, а целая считывающая «скатерть», дифференцирующая и интегрирующая динамику процессов своим совокупным телом.

Не исключено, что точная ориентация птиц при сезонной миграции достигается разносом базы улавливания линий магнитного поля Земли, когда стая летит большим треугольником. Но для этого между птицами необходима какая-то коммуникация. Подобным образом за счет разноса базы и согласова-

² Varela F. J., Thompson E., Rosch E. *The Embodied Mind. Cognitive Science and Human Experience*. Cambridge — Massachusetts — London, «The MIT Press», 1991 (7-th printing 1999), p. 175.

³ Beer R. D. *Computational and Dynamical Languages for Autonomous Agents*. — In: «Mind as Motion. Explorations in the Dynamics of Cognition». Cambridge — Massachusetts, «The MIT Press», 1995, p. 122 — 147.

ния перемещений может очень точно ориентироваться и стоя искусственных существ — и направляя собственное движение, и передавая нужную информацию по пути следования.

3. Синергизм познающего существа и его среды

Телесный подход предлагает срединный путь понимания взаимоотношения субъекта (агента) и объекта (предмета или среды). С одной стороны, он далек от субъективного идеализма, в котором только субъект активен, а внешний мир, если он вообще признается существующим, есть лишь проекция его активности. Но, с другой стороны, далек он и от позиции, которую можно назвать объективизмом, где линии детерминирующего воздействия идут исключительно от внешнего мира к субъекту и где субъект сталкивается с жесткой, противостоящей ему как недвижимая стена средой, к которой ему остается лишь в одностороннем порядке приспособливаться.

В рамках телесного подхода активны и агент, и среда. При этом, однако, среда вообще, как весь внешний, объективный мир, и среда именно данного агента познания далеко не тождественны. Французский мыслитель Морис Мерло-Понти в 1945 году писал о том, что организм активно выбирает из всего разнообразия окружающего мира те стимулы, на которые ему предстоит откликнуться, и в этом смысле создает под себя свою среду. Познающее тело и окружающий его мир находятся в отношении взаимной детерминации⁴. Странники телесного подхода полностью разделяют такое суждение, почитая Мерло-Понти как одного из своих идейных предшественников.

Другой французский мыслитель, Анри Бергсон, также развивал идеи, конгениальные телесному подходу. Еще в 1896 году, когда была опубликована работа «Материя и память», а затем в главном своем труде «Творческая эволюция» (1907), Бергсон связал процесс выделения субъектом предметов из среды, в том числе и самого себя как одного из предметов, не только с особенностями чувственных рецепторов субъекта, но и с его потребностями и вызываемыми ими действиями. «Неорганизованные тела выкраиваются из ткани природы восприятием, ножницы которого как бы следуют пунктиру линий, определяющих возможный захват действия»⁵.

Вы замечали сценку? По улице шагает человек, крутя головой направо и налево, а за ним уныло плетется собака, как будто не замечая ничего вокруг. Но вдруг — хвост торчком, уши наострены, оглушительный лай, поводок как струна, хозяина сносит словно порывом ветра! Ясно: среди частокола безразличных собаке ног-ходуль вдалеке завиднелась другая собака! Из всего окружающего мира собака буквально высматривает, вынюхивает свое, собачье. Все остальное у нее, во-первых, не улавливают рецепторы, а во-вторых, до остального ей нет дела. Человек задрал голову, залюбовался архитектурой высотного здания, а для собаки верхние этажи как бы и не существуют. Даже если она и глянет, то ничего там не увидит, поскольку с возрастом от природы становится сильно близорукой, а запахи оттуда не доносятся. Упала сверху колбасная шкурка — вот все, чем для нее проявляют себя верхние этажи с их обитателями. Колбасная шкурка — это подлинный собачий феномен, а балкон, откуда она сброшена, — собачий ноумен, недостижимая вещь в себе.

Если вообразить себе прибор, позволяющий воспринимать «собачью реальность» во всей ее целостности, — «собаческоп», наподобие прибора ночного видения, показывающего все в инфракрасных лучах, то мир в его окуляре предстал бы совсем иным.

⁴ Мерло-Понти М. Феноменология восприятия. СПб., «Ювента — Наука», 1999, стр. 106.

⁵ Бергсон А. Творческая эволюция. М., «КАНОН-пресс — Кучково поле», 1998, стр. 48.

Особым, эволюционно выработанным образом встроено в окружающую среду и человек. Нельзя понять работу человеческого ума, когнитивные функции человеческого интеллекта, если ум абстрагирован от организма, его телесности, эволюционно обусловленных способностей восприятия посредством органов чувств (глаз, уха, носа, языка, рук), от организма, включенного в особую ситуацию, экологическое окружение. Ум существует в теле, а тело существует в мире, а телесное существо действует, воспроизводит себя, воображает. Глаз человека приспособлен к определенному «оптическому окну», отличающемуся от «окон» других животных. Ухо устроено так, что слышит в определенном «акустическом окне», оно не способно воспринимать ультразвуковые сигналы, которыми пользуются некоторые животные, такие, как летучие мыши.

Свое деление на осязаемое и неосязаемое, значимое и незначимое, до чего есть дело и до чего нет дела существует, как для животных видов, и для человека, и для собаки, и для комара. Каждый вид имеет как бы каску наподобие шахтерской со своим фонариком, который светит туда, куда направлен вектор потребностей и устремлений, освещает окружающее в собственном волновом диапазоне, выработавшийся за долгое время, выхватывает те контуры из мрака (или, лучше сказать, из всех вариаций возможных контуров), которые прорисовываются именно в этих световых или акустических волнах, а потому как бы заранее размечает то, что предстоит увидеть. Отрезается тот кусок торта, который предстоит съесть.

Если сузить фокус от животного вида в целом до когнитивной активности отдельной особи, то существование сходных механизмов можно установить и здесь. Известный психолог Ульрих Найссер в своих исследованиях, проведенных в 70-х годах, показал, что воспринимаемое поступает в мозг не в чистом, первозданном виде, «как оно есть там снаружи», а ложится на предуготовленную схему, которую он назвал форматом. Сам существующий на данный момент формат задается всей суммой предыдущих восприятий, что свидетельствует о самоорганизации познавательного процесса и его гибкой приспособляемости исходя из предшествующего опыта. «Информация, заполняющая формат в какой-то момент циклического процесса, становится частью формата в следующий момент, определяя то, как будет приниматься дальнейшая информация»⁶.

В процессе создания формата, по Найссеру, необходима функция воображения, которое готовит схему будущих восприятий. С одной стороны, субъект безотчетно создает для себя «когнитивную карту среды»⁷, которая направляет и делает избирательным его восприятие. А с другой — сами объекты предоставляют возможности, которые могут быть восприняты или не восприняты субъектом.

Субъект с каждым познавательным шагом как бы забрасывает впереди себя мостик, настил, связанный из волокон предыдущих восприятий; мостик позволяет ему ступить в стихию многообразной воспринимаемой им реальности, первоначально сориентироваться и сообразоваться с ней. Но за спиной мостик не исчезает и не разбирается, он затвердевает во все более прочную и упругую, непрерывно наращиваемую лестницу.

Читатель может возразить: активность субъекта здесь везде понимается очень ограниченно или вообще метафорически; да, он отрезает свой кусок торта — но не печет сам торт. Он размечает реальность для себя, как сеткой в поле зрения прицела, но разве от прицеливания меняется физическим образом реальность сама по себе, реальность для всех других?

В широком временном масштабе — может меняться. В ходе общей эволюции жизни происходит взаимное приспособление познающих живых организмов и среды их обитания, во всяком случае, ее органической части. Поэтому

⁶ Neisser U. *Cognition and Reality. Principles and Implications of Cognitive Psychology*. San Francisco, «W. H. Freeman & Co», 1976, p. 75.

⁷ Ibid, p. 123.

эволюцию можно с полным правом называть коэволюцией. Так, например, известно, что зрение медоносных пчел смещено к ультрафиолетовой части спектра, чтобы лучше видеть цветки с нектаром, которые есть для них фрагмент среды. Но и цветки прошли в ходе эволюции свою часть пути. Естественным образом отбирались растения с цветками, наиболее заметными для пчел, поскольку те, унося пыльцу на своих ножках, расширяли ареал таких растений.

4. Много тел в едином мире

Теперь, мы думаем, назрел следующий вопрос: ну а как соотносятся между собой все эти конусы «фонариков», которыми разные животные виды «освещают» и в свете которых воспринимают реальность? Можно ли при этом вообще говорить о единстве мира?

С точки зрения здравого смысла, которую занимают авторы, хотя и понимают, что на пути к ней — пуды ученых трактатов и тысячелетия философских споров, ситуацию можно выразить так: 1) каждый субъект глядит на мир с собственной колокольни, но 2) глядит все же на нечто единое и объективно данное; но (второе «но») 3) видит в этом едином и объективно данном, извлекает из него для себя то, что позволяют ему его рецепторы, и то, от чего ему «горячо или холодно».

Следует добавить еще один штрих. Самим когнитивным механизмам живых существ свойственна направленность к максимально возможной очищенности результатов восприятия от привнесенных, в том числе и конкретно-телесных, факторов. Речь идет о том, что не только все конусы частично перекрывают друг друга, подобно световым кругам прожекторов на сцене, но и каждый из конусов сам по себе содержит прогиб, тягу в сторону объективированности даваемой им картины.

Этот важный феномен подробно разобрал Конрад Лоренц, назвав его объективацией. «Я описываю активность, обеспечивающую абстрагирование константных свойств реальности, посредством глагола „объективировать“, а ее продукты и результаты — существительного „объективация“»⁸. Наглядный пример, который он приводит, касается тех же цветков с нектаром. Ведь для того, чтобы высмотреть свою маленькую «посадочную площадку» при каком-нибудь чрезвычайно красочном закате или в хаосе цветных бликов под буйной сенью окружающих растений, пчеле нужно выделить исходный, нужный ей цвет, что она и делает с помощью сложного зрительного механизма. Так же и человек, взяв в руки лист бумаги, может безошибочно угадать, что он — белый, хотя дело происходит, скажем, в разгар какой-то умопомрачительной дискотеки с согнями вспыхивающих разноцветных ламп (а этот лист — меню местного бара со столь же умопомрачительными ценами, да и глаз у человека уже алмаз).

Мы могли бы привести еще и такое сравнение, поясняющее суть устранения случайного привнесенного в восприятие: хорошие видеокамеры оборудованы устройством компенсации тряски, когда случайные колебания мгновенно улавливаются и элиминируются, чем обеспечивается устойчивость картинки.

Объективированность может пониматься также и как притягивающее состояние — аттрактор — в эволюционном процессе формирования органов чувств у биологических особей.

Это можно пояснить на примере развития слепоглухонемых детей. Имеются, в частности, поразительные свидетельства многолетних наблюдений за развитием слепоглухонемых детей под руководством психологов школы Э. В. Ильенкова и В. В. Давыдова в загорском интернате под Москвой. Казалось бы, одновременное отсутствие от рождения важнейших способностей

⁸ Лоренц К. По ту сторону зеркала. — В сб.: «Эволюция. Язык. Познание». Под общей редакцией И. П. Меркулова. М., «Языки русской культуры», 2000, стр. 44.

восприятия и выражения вовне — зрения, слуха и речи — должно приводить к формированию совершенно искаженной схемы восприятия и неадекватной картины мира. Грубо говоря, слепоглухонемые дети должны были бы развиваться в некие червеподобные существа, воспринимающие мир лишь через осязание, вкусовые ощущения и обоняние.

Но опыт свидетельствует о прямо противоположном. У них при соответствующей помощи воспитателя закономерно формируется практически столь же полноценная и многогранная картина мира и способность понятийного мышления, как и у обычных людей. Это означает, что даже если формирование схем восприятия начинается у индивида с резкого отклонения и крайней скудости притока впечатлений, то вектор развития все равно переориентируется на максимально развернутую схему, созданную в ходе эволюции вида, подобно тому, как росток из любых положений тянется к свету.

Равнозначны ли схемы восприятия различных животных или среди них можно выделить низшие и высшие — синтезирующие, усваивающие на более высокой ступени другие схемы? По всей видимости, такая эволюционная иерархия существует. Однако надо учитывать, что в схеме восприятия менее развитого животного вида остается все же нечто своеобразное, некий «экзотический» участок диапазона, который может быть утрачен на более развитой стадии.

Лоренц показал, что свойственное человеку объективированное восприятие пространства не дано ему а priori, как считал Кант, но и не является само собой разумеющимся для любых животных видов. Оно вырабатывалось долгим эволюционным путем. «Большинство рептилий, птиц и низших млекопитающих решает свои пространственные проблемы не так, как делаем это мы (то есть не благодаря мгновенному учету чувственных данных), а посредством „заучивания наизусть”»⁹, — писал Лоренц.

Лоренц приводит пример землеройки — похожего на мышь животного, поведение которого он специально изучал. Землеройка прорывает ходы в неизвестной подземной среде наугад во всех возможных направлениях и таким образом постепенно запоминает «устройство» своей среды. Но у землеройки нет ни стремления, ни способности найти кратчайший путь между двумя точками и соответственно нет представления о пространстве как о «пустой емкости», которую можно воспринимать вне зависимости от прежних передвижений и проделанных в ней ходов. Такое восприятие появляется уже у крыс и становится вполне развитым у обезьян. Опыт показал, что стоит обезьяну всего один раз провезти мимо связки бананов, как, будучи потом выпущенной из клетки, она сразу по кратчайшему пути и уже не видя связки бросается к ней через заросли.

Однажды у Лоренца с одним из гусей, которых он во множестве держал у себя в сельском доме-лаборатории в Австрии, произошел такой случай. Гусь обычно получал корм на веранде третьего этажа, а потомковылял на четвертый в свое постоянное обиталище. Таким образом, путь вверх у него прочно связался с непременным заходом на эту веранду. Потом Лоренц стал давать корм прямо на четвертом. Но гусь продолжал делать обязательный крюк на третий. Как-то Лоренц очень спешил и сверху торопил гуся: «Цып-цып-цып!» На площадке третьего гусь пришел в страшное замешательство: то ли, как всегда, сделать крюк, без которого, как он считал, нет и пути вверх, то ли, нарушив все законы логики, сразу броситься на четвертый. То ли сохранить неизблемыми прежние представления о пространстве, то ли покушать. Он выбрал второе. Так гусь сразу вырос над собой, скакнув по эволюционной когнитивной лестнице.

Пространство может и даже должно — в плане полноценного формирования психики — осваиваться двигательным, на ощупь. Но конечным и единооб-

⁹ Лоренц К. Кантовская концепция а priori в свете современной биологии. — В сб.: «Эволюция. Язык. Познание», стр. 32 — 33.

разным результатом такого освоения у развитых животных и у человека станет представление о пространстве как о среде, собственная топология которой не зависит от конкретных путей ее былого освоения.

Но и это лишь эмпирический, а не в полной мере объективированный результат познания пространства. Дальше путь способна указать только математика, вводящая представления о возможности более чем трех измерений, положительной или отрицательной кривизны, неравномерной топологии пространства и др. Эти свойства могут быть физически реальны, но для наших обычных живых тел они совершенно неощутимы. Поэтому конечной остановкой, подобно лифту на самом верхнем жилом этаже, дальше которого идут только всякие запертые и недоступные технические закутки, можно условно признать ньютоновское представление о пространстве как о трехмерной, как бы прозрачной, пустой и однородной среде.

В рамках концепции объективации можно предложить идею синтеза всех реально существующих у различных видов животных когнитивных схем освоения мира. Сам Лоренц говорил лишь о том, что ни одна из когнитивных схем не противоречит другой, и это доказывает реальность существования и онтологического единства мира, единство «смотримого» несмотря на огромное многообразие смотрящих. Но в этом направлении можно пойти и дальше. Как смесь всех возможных цветов видимого спектра дает белый цвет, так и подобный синтез дал бы искусственную, но предельно объективированную картину мира.

Речь идет об устремлении к некоему состоянию максимально очищенного, безличного восприятия, снимающего в себе все «частные» восприятия различных живых существ, — хотя реально «глаза Будды», зрящего на мир таким очищенным взглядом, конечно, не существует, как не существует общечеловеческого лица, синтезированного из тысяч фотографий реальных человеческих лиц (и оказывающегося на поверку эталоном красоты).

Можно поставить задачу создания виртуальной познаваемой картины мира и в более частном виде: смоделировать на компьютере многочисленные точки зрения живых существ с их специфическими картинами мира и изучить поле пересечения или непересечения воспроизводимых ими реальностей. В итоге можно будет, например, обнаружить, что одно существо просто не замечает другое, поскольку слишком велико или мало, слишком замедленно или быстро для физического контакта, глухо к издаваемым другим существом звукам или почти слепо в пике его светового диапазона.

5. Тот, который во мне сидит

Мы все время говорим о теле. Но что есть тело — живое тело? Где его границы? На первый взгляд там, где кончаются волоски на нашей коже, там и кончается тело. Но это только на первый взгляд. Если копнуть глубже, начинаются парадоксы. Муравейник или пчелиный рой — это единое тело, единый организм? Если да, то что тогда сказать об отдельном муравье? Клетки, составляющие организм человека, — это отдельные тела? Если да, то мы имеем не одно тело, а матрешку, филигранности которой позавидовал бы Левша.

Если подключить сюда вопрос о субъекте, или агенте, познания, то можно запутаться еще больше. Интуитивно можно предположить, что каждый субъект познания имеет свое тело, облечен в него, и, наоборот, каждому телу соответствует свой субъект познания. Но тогда наша матрешка начинает выглядеть страшноватой. В нашем собственном теле, оказывается, копошатся мириады тел-клеток, и каждое со своим знанием, со своим кругозором. В то же время, может быть, и мы входим в какой-то вышестоящий организм, допустим, тело человечества как биологического вида или вообще тело всего живого, да еще и распростертое по времени своего существования на жизнь сотен поколений, а сшитое — генными нитками?

Мы можем испытать тело на предельные границы, не только «растягивая» его «вверх-вниз» по множественной «матрешечной» включенности одного в другое, но и «разворачивая» во времени в единую живую «змейку» тел, последовательно

порождающих одно другое. О возможности такого взгляда писал Бергсон: «Всякий индивидуальный организм, будь то даже организм человека, представляет собой только почку, распутившуюся на соединенном теле своих родителей»¹⁰.

Да и с телом «в границах кожи» не все так просто. Вот вы идете и поскользываетесь. Пока вы что-то успеваете сообразить, ваше тело без вашего контроля умудряется произвести невообразимый кульбит и восстановить равновесие. Кто-то без вашего участия получает сигнал об опасности повреждения, вычисляет нужное приложение сил и прочие гимнастические тонкости. Значит, в вас дремлет кто-то, кому скорее вы принадлежите, чем он вам. Таких «кто-то» может быть не один, а целая гроздь, навешанная на общий позвоночник, и среди них ваше осознаваемое «я» далеко не венчает все сооружение, а помещается где-то на срединных этажах.

Чтобы совсем не заблудиться в царстве множющихся тел-теней, нам надо принять рабочую гипотезу, вводящую представление о теле и субъекте познания в более или менее четкие рамки.

Мы считаем, что под телом, обладающим свойством познающего существа, следует понимать животную особь, способную добывать информацию и самостоятельно передвигаться в пространстве. За скобками сразу остаются три большие категории: все, что внутри тела, — клетки, входящие в состав организма на принципах полного «членства», но не симбиоза; все, что «сверху» или «над», — сообщества животных, а также популяции и биологические виды, которые вообще нельзя считать организмами; и растения.

Но если докапываться до первичных истоков познавательной способности, эволюционного возникновения самого этого свойства, то, по нашему мнению, они уходят глубже, чем поиск телом места «потеплее и посытнее». Способность познания возникает как ответ на потребность существа распознать угрозу своей целостности и неповрежденности и двигательно отреагировать: отодвинуться, убежать, уплыть или погубить самого обидчика. Здесь свойство жизни, бытия живым, и свойство познания смыкаются, сходятся к одному пракорню. Познавать — это по изначальному смыслу распознавать: распознавать угрозу; познавать, чтобы остаться в живых, чтобы жить.

Кто-то рискнет назвать организмом сообщество животных — тот же муравейник. Но если применить критерий способности движения как пробу на наличие у организма познавательных свойств, то сообщество сразу отпадет. Конечно, в отдельных случаях перелетать может весь пчелиный рой — но все же двигается, шевелит усиками, тянет былинку, добывает пищу, разузнает, что нового, не рой или муравейник в целом, а только отдельная пчелка или муравей.

Наконец, почему бы не причислить к познающим существам растения — ведь они живые тела, организмы? Разве дерево не спасает себя от повреждения — в полном соответствии с исходным свойством живого, — затягивая рану от удара топором?

Мы бы сказали, что растение обладает свойствами восприятия — но как рудиментом свойств, почти полностью атрофировавшихся, отпавших за ненужностью в ходе эволюции. Растения обрели способность получать питание путем синтеза неорганических веществ, а они доступны практически в любой точке и не требуют перемещения. Животному приходится беспрестанно шастать, чтобы добыть еду или самому не стать едой, а потому держать ушки на макушке; растение же может быть спокойно: оно получает пищу по месту постоянной регистрации в лесу. При растительном, то есть недвижимом, образе жизни развитие чувства просто ни к чему. Что толку иметь способность учуять угрозу, если нет способности убежать, отстраниться от нее?

Выше мы занимались вопросом: что есть живое тело в его отделенности от других живых тел и какие из живых тел могут быть отнесены к познающим существам? Теперь поставим вопрос в несколько иной плоскости: что есть

¹⁰ Бергсон А. Творческая эволюция, стр. 74.

тело с «населяющим» его субъектом познания в отделенности от его (их) среды? Насколько далеко контуры познающего существа простираются в окружающий мир и насколько глубоко последний, пусть невидимым образом, внедрен в познающее существо?

С точки зрения сторонников вычислительного подхода, мир поделен на две несводимые реальности: символическую, представленную внутри головы, и физическую — вовне. Для них поэтому встает проблема: как соединить обе эти реальности или объяснить одну через другую?

Телесный подход исходит из убеждения в единстве реальности и принадлежности к ней как когнитивного агента со свойственными ему когнитивными процессами, так и внешней среды. Эта реальность имеет физический характер, а процессы в ней являются динамическими процессами самоорганизации.

Для телесного подхода здесь таится одновременно и теоретическая проблема, и методологический соблазн. Проблема в том, как, наоборот, разделить субъект и объект, качественно различить их. А соблазн в том, чтобы продолжить, «распростереть» субъект дальше во внешний мир, размыть границы между ними. Коль скоро реальность едина, нет препятствий для проникновения, включения элементов среды в тело когнитивного агента.

Проблема может быть обернута противоположной стороной. Все для субъекта познания становится внешней средой, включая само его тело: его члены и органы чувств, поставляющие материал для обработки, и его мозговые клетки, производящие такую обработку. Тело принадлежит субъекту, но не является субъектом. Что же тогда остается от субъекта, где он сам? А ничего не остается, он нигде. Он растворен в среде, от него осталось эфемерное, материально не фиксируемое образование — поток идеального, висящее в пустоте «я».

Опять парадокс, опять тупик. Опять нужен критерий, предотвращающий как раздувание субъекта до необозримых размеров путем вглатывания доброй порции окружающей среды, так и «испарение» субъекта. Таким критерием может быть допущение конгруэнтности, совпадения контуров, познающего существа и тела как биологического организма. Субъект не «помещен» в теле, субъекту не «принадлежит» тело, а тело — во всей множественности и сложности его функций, от физиологических до идеальных, — и есть субъект познания.

6. Если бы Земля была квадратной

Человек всегда был связан путами своего тела, но часто мечтал сбросить или хотя бы ослабить их. Чем обусловлена эта связанность и насколько она неустранима? Обусловлена она в самом общем плане обстоятельствами физического бытия живых существ на Земле. Но каковы эти обстоятельства и что было бы, если бы они были другими? Здесь телесный подход открывает богатое поле для анализа и даже продуктивного воображения. Анализ, правда, связан с задачей в некотором роде вылезти из собственной шкуры, поскольку чем более естественно какое-либо обстоятельство, более общезначимо, укоренено в самом природном порядке вещей, тем оно менее заметно, как бы само собой разумеется.

Понятно, что, живи и формируйся существо на другой планете, другим было бы и то, что оно познает, — инопланетное; но дело в том, что во многом другим было бы и то, как оно познает, — по-инопланетному. Возможно, иными были бы базисные категории и общая сетка восприятия и мысленного представления мира.

Учеными были предложены несколько таких исходных категорий, которые были названы двигательными образными схемами: схема заключенности, помещенности в чем-то; схема отношений часть — целое; схема исток — путь — цель; схема силового воздействия, подчиненности и доминирования; схема, берущая начало в симметричности тела и обуславливающая восприятие всего окружающего исходя из представления о симметрии.

Мы бы предложили еще категории тяготения и весомости тела, длительности и старения, постоянности размеров тела — ведь можно же допустить

возможность произвольного ужимания и раздувания тела подобно тому, как некоторые животные распушивают, чтобы казаться более объемными и, стало быть, более грозными?

Может быть значимым и то, настроено ли живое тело на оперирование твердыми и неорганическими или живыми предметами. Всем известно, как кошка «по-дурацки» скребет лапами по твердому полу или шкафу, пытаясь наскрести несуществующий «песочек». Но, возможно, здесь сказывается не глупость инстинкта, а просто неумение кошки обращаться с твердыми, мертвыми предметами, отсутствие способности отличать твердые тела от сыпучих, липких и тому подобных. Зато она намного лучше нас, безошибочно умеет обращаться с телами живыми, самопроизвольно движущимися, — как со своим собственным, так и попадающимися под лапу.

Мы же, человеческое племя, преуспели в оперировании именно твердыми и неживыми предметами. Исследования российского психолога Льва Семеновича Выготского и немецкого психолога Курта Левина, относящиеся к первой трети — середине XX века, убедительно показывают, что оперирование материальными предметами сыграло решающую роль в развитии у высших млекопитающих интеллекта как изобретательной, креативной познавательной функции.

Чтобы использовать ветку дерева в качестве палки для доставания цели, обезьяне надо увидеть ветку как изолированный предмет, а не как часть дерева. Креативность есть способность наложить на, казалось бы, совершенно чуждые друг другу предметы пятно связывающего фокуса. Или, наоборот, сместить фокус так, чтобы казавшаяся неизбежно присущей предмету часть была отсечена и обрела свой отдельный смысл. Юмор, который считается исключительно человеческим качеством, есть отдаленное продолжение изобретательной функции интеллекта: разделять привычно связанное и неожиданно соединять несвязанное.

Тело — это своего рода вычислительная машина, ежесекундно используемая для решения задач взаимодействия с предметной средой. Но предметная среда может быть разной, а потому и закрепившиеся приемы ее «обсчитывания», вся прикладная математика живого тела могут быть совершенно различными. Это подметил еще Конрад Лоренц: «Можно вполне правдоподобно представить себе разумное существо, которое не квантифицирует реальности посредством математического числа... а непосредственно постигает все это каким-то иным способом. Вместо определения количества воды числом литровых сосудов можно, например, по растяжению резинового баллона известного размера судить о том, сколько воды в нем содержится»¹¹.

Возьмем такой фактор, как здоровье организма. Здоровья, считается, может быть больше или меньше, оно может быть крепче или слабее. Оно подобно аналоговой, качественно непрерывной характеристике объекта. Но можно ли представить себе живые тела, существующие, так сказать, по цифровому, дискретному, принципу: или они есть в абсолютной степени здоровья, или они хлоп — и их уже нет. Как бы это отразилось на их внутреннем мире, ожиданиях и предощущениях?

В подобные фантазии можно углубляться до бесконечности. Наиболее ярко это сделал Станислав Лем в «Солярисе», когда вообразил единое желеобразное живое и мыслящее тело, бесформенно распластанное по всей поверхности планеты, куда прилетели посланцы Земли. Лем даже представил, как могло бы возникнуть такое тело: поскольку планета вращалась в системе двойной звезды, ее орбита была нерегулярной, и, чтобы сгладить губительные перепады силы тяжести и атмосферных условий, тело научилось перетекать и вовремя концентрировать свою массу то на одной, то на другой стороне планеты, тем самым приближая орбиту планеты к круговой.

Впрочем, самые диковинные обитатели Земли и даже других планет — это еще не предел воображения. Настоящие загадки, настоящие альтернативные

¹¹ Лоренц К. Кантовская концепция а priori в свете современной биологии, стр. 24.

миры начинаются здесь же, на поверхности стола, если углубиться на десять порядков в какую-нибудь лежащую на нем пылинку.

Ведь как бы то ни было, все планеты — круглые, на всех есть сила тяжести, все поливаются потоками света, а их потенциальные обитатели являются макрообъектами и подчиняются законам общей физики. «Когнитивную нишу человека мы называем „мезокосмом“, — пишет немецкий эволюционный эпистемолог Г. Фолльмер. — Мезокосм — это мир средних размерностей, мир средних расстояний, времен, весов, температур, мир малых скоростей, ускорений, сил, а также мир умеренной сложности. Наши познавательные структуры созданы этим космосом, подогнаны к нему, для него и посредством него отобранны, на нем испытаны и оправдали свою надежность»¹².

Но все знакомые нам макрообъекты, или тела мезокосма, — только промежуточный островок в сквозной вертикали, уходящей неизвестно куда вверх и неизвестно куда вниз. Возможны ли там и там тела, возможны ли там и там познающие тела? Как говорит микрофизика, «внизу» есть элементарные частицы, есть поля и физические взаимодействия, а знакомое нам тело начинается лишь над уровнем молекул. Но обязательно ли прилагательное «познающий» связано с прилагательным «телесный»?

Эти вопросы остаются без ответа. Единственная более-менее конструктивная подсказка из сравнения макротел с объектами микрофизики — это то, что свойства тел нашего «этажа» мироздания нельзя принимать за абсолютные и общезначимые. Все может быть не просто по-другому, а совсем по-другому.

Вот что писал по этому поводу физик, академик Моисей Александрович Марков, известный своей гипотезой фридмонов — частиц, с виду являющихся элементарными, но если нырнуть в них через горловину, как в огромную пещеру через узкий лаз, то внутри окажется целая Вселенная. «Понятия пространства — времени, понятия энергии (материи) — импульса являются отображением в сознании человека его непосредственно макроскопического бытия»¹³. «Отвлекаясь в область ненаучных фантазий, можно себе представить, что чувствующая и мыслящая материя проявляется в какой-то другой форме, не в форме макроскопического существа. Естественно полагать, что органы чувств такого „индивида“, „биологическое“ существование которого связано, например, с атомным миром, давали бы „непосредственные сведения“ о явлениях микромира. Его мировоззрение на первых порах было бы „электромагнитным“, а законы макромира и весь мир макроявлений казались бы ему, может быть, не менее далекими и странными, чем нам закономерности микромира. Он понимал бы их, лишь делая насилие над своими наглядными представлениями. Внутрядерное „существо“, к зависти современных физиков, было бы буквально „как у себя дома“ в вопросах ядерных сил...»¹⁴

7. Кинематографическая природа восприятия

Выше мы попробовали разобраться в том, что есть тело как узел и вместилище познавательных качеств, как тело и ситуативно, и деятельностно вписывается в окружающую его среду. Тем самым мы затронули три из четырех выделенных нами, суммирующих позицию телесного подхода тезисов. У нас нет прямой задачи «пройтись» по всем пунктам во что бы то ни стало, но логика сама подсказывает: посмотреть на тело в его погруженности в среду, сузиться до тела самого по себе, в условной отделенности от среды, и, наконец, посмотреть, что творится собственно в голове.

Правда, надо оговориться, что такое сепарирование возможно только в плане мысленного эксперимента, сугубо в аналитических целях, поскольку

¹² Фолльмер Г. По разные стороны мезокосма. Перевод Е. Н. Князевой. — «Человек», 1993, № 2, стр. 8.

¹³ Марков М. А. Размышляя о физике... М., «Наука», 1988, стр. 62.

¹⁴ Там же, стр. 28.

суть телесного подхода в том и состоит, что одно отдельно от другого не существует и за рамками чисто рабочего вынесения за скобки не может мыслиться.

Итак, мы подходим к четвертому тезису: о динамическом характере, самодвижении и самоорганизации познавательных процессов. Мы выделим в нем то, что считаем наиболее интересным и наименее изученным, а именно вопрос о временной структуре познавательного акта...

Вы едете в электричке со своей недалекой дачи, и вам хочется разобраться, кто эти несчастные, что уносятся прочь от Москвы в запыленном, неудобном дальнем поезде. Но табличку с названием города никак не углядеть. Вы стараетесь провести вслед за ней головой, подработать еще глазами, ухватив ее на долю секунды в неподвижном состоянии. «Ага — Кандалакша! А что, миленько звучит». Хорошо еще, что сама по себе табличка твердая, а если бы и она была текучей?

Анри Бергсон, которого мы так часто цитируем, что вынуждены признаться в особой симпатии к его идеям, сказал: «Воспринимать — значит делать неподвижным... Восприятие... сжимает в единый момент моей длительности то, что само по себе распределилось бы на несчетное число моментов»¹⁵.

Механизм складывания сплошного когнитивного потока из кадров или, как обратная сторона медали, дробления этого потока на кадры Бергсон назвал кинематографической природой восприятия. «Мы схватываем почти мгновенные отпечатки с проходящей реальности, и так как эти отпечатки являются характерными для этой реальности, то нам достаточно нанизывать их вдоль абстрактного единообразного, невидимого становления, находящегося в глубине аппарата познания, чтобы подражать тому, что есть характерного в самом этом становлении. Восприятие, мышление, язык действуют таким образом. Идет ли речь о том, чтобы мыслить становление или выражать его или даже воспринимать, мы приводим в действие нечто вроде внутреннего кинематографа. Резюмируя предшествующее, можно, таким образом, сказать, что механизм нашего обычного познания имеет природу кинематографическую»¹⁶.

Гипотеза Бергсона получила подтверждение в современных исследованиях по нейрофизиологии зрительного восприятия, проведенных, в частности, Франциско Варелой. Варела был не только одним из основателей телесного подхода в когнитивной науке, но и фактически его лидером. Как часто бывает, это стало осознаться только после его смерти.

Стоит сказать несколько слов об этом человеке, с которым нам посчастливилось встречаться и которого мы считаем действительно выдающимся ученым.

Варела родился в сентябре 1946 года в Чили, получил биологическое образование в США, в Гарварде. Не подчинившись закону утечки мозгов, хотя и имел блестящие предложения от престижных американских университетов, он сознательно вернулся в 1970 году работать на родину. Но вскоре, после военного переворота Пиночета в 1973 году, будучи активным сторонником Сальвадора Альенде, он был вынужден эмигрировать вместе со своей семьей. С 1986 года он работал в Париже, где умер в мае 2001 года, на самом пике своей творческой карьеры. В начале 90-х годов Варела заразился гепатитом С, в мае 1998 года ему сделали пересадку печени, но и после этого он смог прожить всего три года. Варела получил известность благодаря концепции автопоэзиса — теории, раскрывающей сущность живого и способы его самоорганизации, — созданной в 1970 — 1971 годах совместно с его учителем, чилийским биологом Умберто Матураной¹⁷. Среди многочисленных научных интересов и увлечений Варелы были теория и практика дзэн-буддизма.

¹⁵ Бергсон А. Материя и память. Собр. соч. в 4-х томах. Т. I. М., «Московский клуб», 1992, стр. 291.

¹⁶ Бергсон А. Творческая эволюция, стр. 294.

¹⁷ С основными идеями концепции автопоэзиса заинтересованный читатель может познакомиться в недавно опубликованной книге: Матурана У., Варела Ф. Древо познания. Биологические корни человеческого понимания. М., «Прогресс-Традиция», 2001.

Первоначально результаты исследований зрительного восприятия были приведены и проанализированы им в его совместной книге с Эваном Томпсоном и Элеонорой Рош. В ней писалось: «Эксперименты... показывают, что в сфере зрительного восприятия происходит естественное разложение на кадры (frame) и что такое кадрирование по крайней мере частично и локально связано с ритмом мозговой деятельности длительностью порядка 0,1 — 0,2 секунды по минимуму. Говоря в общих чертах, если световые сигналы подаются в начале кадра, то вероятность увидеть их как одновременные намного выше, чем когда они подаются в конце зрительного кадра, и тогда второй сигнал может попасть... в следующий кадр. Все, что попадает в один и тот же кадр, будет ощущаться субъектом как происходящее в одном временном промежутке, одним „сейчас“. ...Пороговый период примерно в 0,15 секунды можно считать тем минимальным отрезком времени, в который возникает зрительный образ, поддающийся описанию и распознаванию»¹⁸.

Свою концепцию кадров восприятия Варела развил и дополнил в статье «Ускользящее настоящее»¹⁹. Он заметно скорректировал временной диапазон этих, как он их называет, элементарных событий восприятия, микрокогнитивных феноменов или субъективных квантов времени — от 10 миллисекунд до 100 миллисекунд, то есть от 0,01 до 0,1 секунды. В частотном выражении он приводит примерный масштаб 30 — 80 герц — так называемый гамма-диапазон. Варела предположил, что такая длительность задана присущими клеткам ритмами нейронных разрядов и предельными временными возможностями суммирования сигналов и синаптической интеграции²⁰.

Суть механизма, позволяющего поддерживать на определенном временном промежутке стабильный — как бы замерший, неплывущий — кадр, Варела усматривает в том, что некоторое множество нейронов из функционально и локально различных областей мозга срабатывают синхронно, с совпадением фаз их клеточной деятельности. Складывается временная констелляция мозговых клеток, выделенная из всего остального массива тем, что они замкнуты между собой по фазе (phase-locking). «Гипотеза синхронизации нейронов постулирует, что именно точное совпадение моментов разрядки клеток создает единство ментально-когнитивного опыта»²¹.

Кадры, как застывшие на краткий момент констелляции клеток, готовые принять, впечатать в себя элементарный сигнал, распадаются в силу собственной нестабильности и сразу вновь самопроизвольно организуются без какого-либо стимула извне. Прежний кадр в самом механизме своего распада содержит аттрактор — зародыш нового кадра, как бы «перетягивающий» один кадр в другой. В этом, в частности, и проявляется самоорганизация когнитивных процессов.

8. Ускользящее «сейчас»

Шкалу длительности элементарных когнитивных актов Варела дополняет еще двумя шкалами. Первую, только что рассмотренную нами, он называет шкалой 1:10, вторую — шкалой 1, третью — шкалой 10, что условно соответствует масштабам длительности 0,1 секунды, 1 секунду и 10 секунд. Событие шкалы 1:10 он еще называет моментным когнитивным актом, чтобы отличить его от целостного, законченного когнитивного акта в шкале 1. «Интеграционно-релаксационные процессы в шкале 1 являются строгими коррелятами сознания настоящего», ощущения «сейчас»²².

¹⁸ Varela F. J., Thompson E., Rosch E. *The Embodied Mind*, p. 75 — 76.

¹⁹ Varela F. J. *The Specious Present. A Neurophenomenology of Time Consciousness.* — «Naturalizing Phenomenology. Issues in Contemporary Phenomenology and Cognitive Science». Stanford, «Stanford University Press», 1997, p. 266 — 314.

²⁰ *Ibid.*, p. 273.

²¹ *Ibid.*, p. 275.

²² *Ibid.*, p. 277.

Ощущение настоящего, длящееся в пределах от полусекунды до 2 — 3 секунд, не требует воспоминания и коррелирует, например, с тем, что познающие субъекты очень четко различают временные промежутки именно около 2 — 3 секунд, а более короткие и более длинные различают намного труднее и менее точно. Спонтанная речь в большинстве языков дробится на отрезки в 2 — 3 секунды, чтобы фрагмент сообщения схватывался как целое. Короткие целенаправленные и законченные движения — поворот головы, чтобы увидеть или расслышать, движение руки — укладываются в тот же промежуток.

Шкала 10 секунд соответствует описательно-повествовательным оценкам и соотносится с чувством собственной идентичности (*self*). Здесь уже можно различить прошлое — но такое, которое не совсем оторвалось от настоящего, еще удерживается в нем, и будущее, в которое настоящее непосредственно, на наших глазах перетекает; это не такое будущее, как полоска земли, к которой устремлен корабль, а как волны перед носом корабля, образуемые его движением, соприкасающиеся с его корпусом, но находящиеся там, где самого корабля еще нет.

Концепция Варелы в отношении шкалы 10 навеяна идеями философа-феноменолога Эдмунда Гуссерля, который в свою очередь считал себя продолжателем Бергсона в понимании проблемы времени. Гуссерль называл эти связи настоящего с прошлым — ретенциями, удержаниями, а линии, простирающиеся в ближайшее будущее, — протенциями, предчувствиями, «соскальзыванием» вперед.

В концепции Варелы, правда, остаются неясными несколько важных вещей. Свои выводы он строит на экспериментах со зрительным восприятием, причем с использованием кратких световых вспышек, наиболее удобных для экспериментирования. Но что будет происходить, если испытуемому предъявлять либо постоянную картинку, либо нераздробленный световой поток? Действует ли механизм кадрирования и при слуховом восприятии? Если да, то впечатываются ли свет и звук в один и тот же кадр, обрабатываясь в нем синтетически, или для восприятия света и звука запущены отдельные «киноленты»?

Особая трудность применительно к звуку, как нам кажется, в том, что частотный диапазон «раскадровки» в мозгу и диапазон звуковых частот близки, если не перекрываются. Первоначально указанной Варелой средней длительности кадра 0,15 секунды соответствует 7 смен кадров в секунду, что дает частоту около 7 герц — ту самую магическую дозвуковую частоту, которая, как считается, способна нарушить мозговую деятельность и привести чуть ли не к мгновенной гибели.

Вспомним о «летучих голландцах», с которых якобы спрыгивала в море вся команда, подверженная невидимым и неслышимым, но вызывающим безотчетную панику или сумасшествие механическим колебаниям масс воды при шторме или подводном землетрясении. Концепция кадров когнитивного восприятия прибавляет правдоподобия легендам о «смертельной частоте». Внешние колебания, близкие к 7 герц, наложенные на почти равную частоту мозговой деятельности, способны, видимо, вызывать такие интерференционные или глушащие помехи, что и правда «крыша поедет».

Еще один вопрос, на который пока трудно дать даже приблизительный ответ: кадрируются ли потоки данных трех других органов чувств: осязания, вкуса и обоняния, а также процесс мышления, — или там действуют совсем другие механизмы? Ведь ощущения вкуса и запаха — это результат улавливания и разложения не частотных колебаний, а скорее всего молекул вещества, их мгновенного химического анализа в естественной лаборатории познающего тела, и если там и есть какое-то дробление данных, то оно, наверное, будет совсем иным.

Как связаны в механизме кадрирования форма и содержание, само по себе наличие регулярно сменяющихся друг друга кадров и их наполнение? Иными словами, будет ли аппарат жужжать, даже если в объектив не попадает ничего? Продолжит ли снегоуборочная машина загребать своими лапами и без снега?

На вопрос возможны два расходящихся ответа.

По одному пути приглашает пойти Гуссерль со своей концепцией интенциональности сознания, созданной в первом десятилетии XX века. В сознании, считает он, надо отделить содержание и чистую логическую форму, как бы холст без нанесенных на него красок, или, точнее, беспрестанно вертящийся барабан с чистым холстом, ждущим раскраски. По своей внутренней природе сознание всегда направлено, устремлено на что-то, никогда не застывает, а течет, работает и на холстом ходу.

Косвенно такой взгляд находит подтверждение в экспериментальных исследованиях, показывающих, что в условиях полной изоляции от внешних впечатлений у человека возникают галлюцинации, то есть мозг сам себе начинает поставлять материал для обработки. Ленте действительно наскучивает вертеться, если на нее нечего снимать, но она не останавливается, а начинает вырисовывать на себе собственные произвольные узоры.

Иной путь предложен дзэн-буддистами. Они утверждают, что если предельно сконцентрироваться, очистить сознание от любых внешних впечатлений и спонтанно вспыхивающих мыслей, то поток сознания остановится, застынет в чистом беспредметном созерцании. Практика медитации вроде бы подтверждает теорию.

Мы не беремся разрешить данную дилемму. Вместо этого попробуем оценить обоснованность некоторых претензий телесного подхода на радикальный разрыв с идеями своего антагониста-прародителя — вычислительного подхода. В своем новаторском пылу «телесники» корили «вычислителей»: в вашей теории есть лишь последовательность статических состояний, но нет подлинного динамического движения; вы хотите заставить живой мозг размеренно «тикавать», как процессор компьютера с заданной тактовой частотой, в то время как работа мозга протекает непрерывно, подобно бурлению реки, согласно общезначимым динамическим законам.

А к чему недвусмысленно подводит сам Варела? Что мозг именно «тикает», что он может обрабатывать информацию лишь дискретно и для этого специально дробит на порции, квантует ее. Время нейрофизиологических процессов движется скачками: кадр восприятия синхронен внутри себя, внутри его «ничего не происходит». Внутри синхронности нет длительности — длительность существует только в отношении последовательности сменяющих друг друга, хотя и синхронных внутри себя состояний.

Нечто текучее в одном отношении, в одном масштабе увеличения (происходящее на киноэкране в целом) предстает как дискретное в другом масштабе (поделенность на кадры). Каждый отдельный кинокадр, если снова сменить увеличение, проявляет свою зернистую структуру, а если взглянуть в шивку между кадрами восприятия в мозгу, то между стабильными плато можно наблюдать интенсивные динамические процессы разрушения и последующего упорядочивания, через которые происходит перетягивание из кадра в кадр.

Поэтому разумным, видимо, было бы избегать абсолютизации как аспекта непрерывности и текучести, так и аспекта дискретности когнитивной активности вообще. В каждом из подходов есть свое рациональное зерно, и путь вперед пролегает через их продуктивный синтез.

9. Иные временные размерности

Стоит приглядеться, как лесная птица стремительно и безошибочно пропархивает через сложное сплетение веток, как муха успеваает улететь на середину комнаты, пока ваша занесенная над ней ладонь не прошла и трети расстояния, или, наоборот, маленький, но медленный комар не успеваает ничего сообразить, прежде чем от него останется мокрое место, — и на ум приходит мысль: все они живут в каких-то других скоростях; если гипотезу кадров распространить и на них, то «киноленты» в их познающих телах бегут существенно быстрее или медленнее.

Действительно, опытные данные показывают, что длительность стандартного человеческого кадра восприятия не абсолютна и не общезначима. «Некоторые млекопитающие способны различать как неодновременные звуковые сигналы в пределах порядка 2 — 3 миллисекунд на шкале 1:10»²³, — пишет Варела. А раз у них иная скорость восприятия, то они должны несколько иначе воспринимать все окружающее. Феномен синергизма познающего существа и его среды обнаруживает здесь свой новый, весьма любопытный аспект. Субъект вырезает себя из среды, как и контур самой среды, не только через свои потребности и побуждаемые ими действия, но и через свойственную ему временную размерность восприятия. С иной временной размерностью он бы ощущал, имел вокруг себя иную, буквально неузнаваемую для другого временного «снимателя» среду.

По Бергсону, главная особенность и сила живого заключается в способности трансформации той временной длительности, которая предлагается ему неживым, физическим окружением. Отвечать на воздействие немедленной реакцией, которая воспринимает тот же ритм и продолжается в той же длительности, — в этом состоит основной закон косной материи. О живых существах можно сказать, что независимость их воздействия на окружающую материю укрепляется все более и более по мере того, как они освобождаются от ритма, в котором движется материя.

Бергсон ставит и обсуждает в порядке мысленного эксперимента вопрос о различных временных длительностях и возможности их трансформации.

В своей первой работе — «Опытах о непосредственных данных сознания» (1889) — он старается представить себе сознание, которое было бы способно в едином восприятии охватить всю круговую траекторию небесного тела. Мы видим траекторию падающего метеорита как единую и слитную линию, хотя сама по себе она делится на бесчисленное число физических моментов, говорит Бергсон. Но если ужать воспринятое в еще большей степени, то можно увидеть как единую и слитную годовую траекторию Земли. С точки зрения концепции кадров, один кадр был бы столь растянут (длительностью в один год), что вмещал бы в себя всю круговую траекторию как единую синхронную картинку, она вписывалась бы для такого кадра в единый миг. «Можно представить себе много различных ритмов, более медленных или более быстрых, которые измеряли бы степень напряжения или ослабления тех или иных сознаний и тем самым определяли бы соответствующее им место в ряду существ... Разве вся история в целом не могла бы вместиться в очень короткий промежуток времени для сознания более напряженного, чем наше, которое присутствовало бы при развитии человечества, как бы сжимая это развитие в крупные фазы эволюции?»²⁴

В сущности, ничего непредставимого в этом нет: все видели замедленно снятые или ускоренно пущенные кинокадры, где облака бешено плывут, сливаясь в единый поток, автомобили, точнее, огоньки от них вытягиваются в единую линию, находясь в пределах растянутого кадра одновременно и у одного светового, и у другого.

Бергсон проводит и противоположный мысленный эксперимент — не виртуальное сжатие, а растяжение длительности. Он пишет о колебаниях, создающих впечатление красного цвета: «Если бы мы могли растянуть эту длительность, то есть переживать ее в более медленном ритме, разве мы не увидели бы по мере замедления ритма, как краски бледнеют и расплываются в последовательные впечатления, еще окрашенные, конечно, но все более и более приближающиеся к тому, чтобы слиться с чистым колебанием?»²⁵

Интересны в этой связи свидетельства об опыте принятия психоделиков, собранные в начале 60-х годов Тимоти Лири — одним из главных экспериментато-

²³ Varela F. J. The Specious Present, p. 288.

²⁴ Бергсон А. Материя и память, стр. 291.

²⁵ Там же, стр. 288.

ров и теоретиков психоделической культуры. Они удивительно сходны с мысленным экспериментом Бергсона о постепенном размывании воспринимаемых качеств в волны при воображаемом растягивании длительности восприятия.

Под воздействием психоделических препаратов наподобие ЛСД наступает стадия, когда «субъект видит не объекты, а паттерны световых волн. Он слышит не „музыку” или „имеющий какой-то смысл” звук, а акустические волны. Внезапно его осеняет откровение, что все ощущения и восприятия основаны на волновых вибрациях. Мир вокруг него, который прежде казался твердым, на самом деле всего лишь игра физических волн»²⁶. «Распад формы на волны может стать самым страшным переживанием для человека, величайшим эпистемологическим откровением»²⁷.

Карлос Кастанеда передает опыт приема псилоцибина, содержащегося в определенном виде грибов (называемых им «дымком», поскольку он сушил, растирал их и курил), испытанный его наставником, мексиканским шаманом, и им самим. Опыт свидетельствует об изменении у человека временной размерности восприятия, а именно — его ускорении. «Для колдуна все имеет смысл, — продолжал он (шаман. — *Е. К., А. Т.*). — Дыры есть не только в звуках, но во всем, что нас окружает. У людей просто не хватает скорости, чтобы уловить их, и потому они идут по жизни без защиты. Черви, птицы, деревья могут сообщить нам невероятные сведения, если достичь скорости, на которой их сообщение становится понятным. Для этого и используют дымок: он разгоняет человека»²⁸.

По многочисленным жизненным свидетельствам, восприятие и двигательные реакции ускоряются и в экстремальные моменты жизни, перед лицом смертельной угрозы. Приведем одно из таких свидетельств, содержащееся в воспоминаниях Эрнста Кренкеля, знаменитого радиста, которому довелось не только работать на Северном полюсе, но и полетать на дирижаблях. Он рассказывает, как однажды рулевое управление дирижабля отказало и их понесло прямо на какую-то колокольню, но в последний миг он догадался всем телом налечь на провисший трос и тем самым чуть-чуть сдвинуть руль. «В этом ослабевшем рулевом тросе я с какой-то непостижимой для самого себя быстротой разглядел один из очень немногих шансов на благополучную встречу с землей. Как всегда в такие минуты, когда сознание работает с невероятной быстротой, время словно растягивается, помогая выбрать и реализовать наиболее правильное решение»²⁹.

Что именно происходит в мозгу в такие моменты? Если подойти к вопросу с точки зрения концепции кадров когнитивной деятельности, то не ускоряется ли их поток, вмещаая в один отрезок времени большее их количество, так что как бы включается вторая, третья и последующие скоростные «передачи» сознания? Или запускается дополнительный поток или потоки и все они вместе позволяют реагировать на происходящее быстрее? А может быть, сверхскоростной поток запущен постоянно и в нужные моменты просто снимается его тормозящая блокировка? Когда-нибудь наука даст ответ.

²⁶ Лири Т., Метцнер Р., Олперт Р. Психоделический опыт. Руководство на основе «Тибетской книги мертвых». Львов, «Инициатива» — Киев, «Ника-Центр», 1998, стр. 95.

²⁷ Там же, стр.103.

²⁸ Кастанеда К. Дверь в иные миры. Л., Филиал «Васильевский остров» объединения «Всесоюзный молодежный книжный центр», 1991, стр. 287.

²⁹ Кренкель Э. Мои позывные — РАЕМ. — «Новый мир», 1970, № 11, стр. 164.



ВРЕМЕНА И ПРАВЫ

ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО



ПРАЗДНИЧНОСТЬ

В публичном пространстве приходится различать между праздниками и праздничностью. Праздники не слишком удаются (по крайней мере на телевидении скучным оказался даже Новый 2002 год, не говоря уже о невнятном Дне России), в то время как праздничность заполонила повседневность. Она воплощена в развлекательной индустрии, в стилистике упаковок, в оформлении витрин, в моде, в украшении цветными лампочками зимних деревьев, в зовущей, пестрой, незакомплексованной, взвинченно-радостной рекламе...

Праздники — дело сакральное, мифопоэтическое. Отмечаются либо поворотные вехи календарного времени, либо память священных событий (не важно, как зафиксированных: каноническим Писанием или историческим преданием). Праздничность же — дело рыночное. Она аранжирует все всучиваемое — от блокбастера до стирального порошка. А поскольку все, что предьявлено публично, так или иначе имеет амбиции быть всученным, то праздничность аранжирует все. Праздничность искушает: кажется, легко соорудить праздник из чего угодно, например, из «товара года» или «лица года» (упомянуты торжественные церемонии, возникшие у нас в последнее время)...

Но праздничность сама по себе в праздник не концентрируется. В лучшем случае может эксплуатировать его, как на мировом футбольном чемпионате. Поскольку футбольные сражения — война, есть что праздновать — победу. Поскольку же футбольные матчи — шоу и бизнес, есть где развернуться специальной индустрии. Вот уж лет пятнадцать, как растет карнавальность в самооформлении и ритуальность в поведении болельщиков (послематчевый погром на Манежной площади, о котором много говорилось в СМИ, тоже ритуален — входит в традиционную смету раскованности, освобождающей от будничного послушания). Соответственно растет сувенирный рынок, который стимулирует карнавальную самоорганизацию зрителей. В свою очередь масштабный сувенирный ритуал востребован и как рейтинговый повод для рекламы, и как телевизионное зрелище. В итоге праздник, густо облепленный праздничностью, им же эксклюзивно оправдываемой, стал успешным товаром и многократно всучен по самым разным поводам (ср., например, футбольные мотивы в рекламе мобильных телефонов или пива).

Но главное, почему праздник в футбольном случае оказался возможен: мировые спортивные состязания — редкость. Они бывают раз в четыре года, а не каждый день. Праздничность же повседневна и потому глушит традиционные ежегодные праздники.

Праздники и праздничность. Религиозные, календарные и семейные праздники так или иначе восходят к первособытиям, будь то юбилей свадьбы, гражданское 9 Мая или церковная Пасха; праздничность не восходит ни к чему. В свою очередь сюжеты первособытий сводятся к сюжету сакрального первопраздника: победе над хаосом и возрождению порядка жизни. Праздничность же играет на порядке жизни — на его ресурсах, которые можно затратить для создания атмосферы броского, кричащего, ликующего благополучия.

Чередниченко Татьяна Васильевна — музыковед и культуролог, доктор искусствоведения. Здесь ею продолжен цикл «Мелочи культуры», посвященный главным образом семиотике нашего телевидения. (См. «Новый мир», № 5, 9 с. г.)

Фундаментальный признак праздника — выделенность из заурядного будничного времени. Выделенность достигается экстремальным минусом — аскезой (например, Великий пост или, в советские времена, обязательная демонстрация с утра 1 Мая), составляющей первую стадию праздника, и экстремальным плюсом — чрезмерностью (веселье, гулянье, застолье), образующей второй праздничный «такт». То и другое обязательно. Аскеза оттеняет избыток потребления, а он искупает дисциплину ограничения. Даже вырожденные отчисления праздника на работе строятся по этой схеме: первая половина рабочего дня воспринимается как стадия дисциплины (которая, впрочем, веселей, чем в обычные дни: окрашена предвкушением закуски и выпивки), а гулянка вокруг сдвинутых служебных столов изображает стадию изобилия и пресыщения.

Праздничность же замыкается на избытке, изымая его из соотнесенности с аскетической дисциплиной.

Константы. Необходимо остановиться на образе избытка, на традиционно включенных в него мотивах.

Ключевой мотив антиаскезы — отсутствие работы, отдых, свобода от обязательных занятий и норм. Свобода от непреложных норм как раз и знаменуется безудержным потреблением (о праздничном обжорстве писал еще М. Бахтин, анализируя роман Рабле). Праздник разрешает и ритуально оформляет сытость и символизирует насыщенность, полноту бытия, которая переживается как счастье. С полнотой бытия связана нескончаемая, как природа, ничем не ограниченная жизнь (или, что то же, отсутствие смерти; кстати говоря, в рекламе упоминание смерти запрещено). Безграничная жизнь представляется в виде играющей пестроты одежд, танца, броского убранства помещений и городов, разнообразного шума музыки и выкриков, мельтешения зрелищ, гипертрофии секса и агрессии (по традиционным культурам хорошо известны ритуальные драки, свальный брак и т. п.).

Перечисленные архетипы с той или иной степенью концентрации/разбавленности определяют содержание и сегодняшней праздничности. Ее уже отмеченное отличие от традиционной — в том, что она накрыла повседневность, стилистически окрасила будни.

Базовый текст будничной праздничности образует реклама. Ослепительная белизна зубов, живительное пиво, нежная забота мыла, окружающая вас целый день, собаки, которые светятся здоровьем, и т. д. и т. п. — в эпицентре повышенной оптимистической температуры, симулируемой обыденной праздничностью. Если угодно, реклама есть *писание*, вокруг которого выстраивается культ перманентного счастья.

Свобода и «хорошо!». Стилистика рекламы крайне редко задевает тему труда. Ее мир — вечные каникулы. Доминирующие типы рекламной картинки — семейный, спортивно-молодежный, эротический — тесно связаны с отдыхом. В видеороликах, на плакатах, обложках рекламных журналов, упаковках товаров люди все как на подбор сексапильные — готовы к наслаждениям любви, едят, пьют, танцуют и тусуются, загорают на берегу моря, занимаются спортом, путешествуют («...на роскошной яхте с „Аква-минерале“!»), фотографируют («А что ты сделаешь, чтобы попасть в кадр?!») ... Призы за покупки («Собери двести пробок...») тоже каникулярны — поездка в Канны, отдых в Сочи и т. п.

В мире семейного досуга и спортивно-эротических каникул царствует потребление, не ограниченное никакими, в том числе и денежными, условиями: «У нас смешные цены!», «Наши цены вас приятно удивят!». Чтобы потребление состоялось, достаточно только лишь желания; оно и есть возможность: «„Джей севен“ — мир желаний, мир возможностей!» Потребительские ценности приходят беспричинно, как чудо: «Чудо-молоко. Страна чудес молочных!» Безусильность доступа к потребляемому во множестве слоганов подчеркивается мотивом выигрыша-подарка: «Можно выиграть 50 тысяч прикольных брелков!»

Потребление не подразумевает предварительной аскезы и не требует разгрузки: «Ем гранулино, чтобы похудеть!» Жизнь потребителя безопасна, он тотально защищен: «„Данон” — естественная защита каждое утро»; «„Секрет” защитил бы и тебя, но создан специально для женщин»; «Супераромат — защита на 24 часа».

Безопасный мир каникул сплошь цивилизационен (рекламируются новейшие достижения соответствующих технологий) и в то же время супернатурален: цивилизация настолько уверена в своей прочности (соответственно вечности), что вообразила себя природой. На рекламных картинках бурлят водопады, оборачиваясь льющимся в бокал прохладительным напитком; сияют горные вершины (а на самом верху излучает нестерпимый блеск мятная подушечка); бушует ветер, всасываемый суперпылесосом. В слоганах еда, напитки, лекарства, косметика, одежда, обувь обязательно «естественны», «натуральны». Рекламная номенклатура товаров образует лексикон сегодняшней поэтики природы. Дезодорант «заряжен энергией стихии», крем «несет утреннюю прохладу и свежесть», жвачка — это «энергия, внутренняя сила», косметика — «кладовая природы». В рекламном пивном ролике нашлось место даже древнему учению о первоэлементах мироздания: «Огонь зажигает чувства. Вода утоляет желание. Когда они встречаются, две стихии становятся одной. „Доктор Дизель”: мы такие разные, и все-таки мы вместе!»

Техническая цивилизация в рекламном дискурсе предстает предельно естественной, лишенной экологических конфликтов, поскольку цивилизация берет на себя роль природы. Оно и понятно: природа — самое надежное, что имеется у человечества. И раз уж нужно создать образ мира, определенный тотальной защищенностью, то и к рекламе электронных плат можно приспособить какую-нибудь «свежую силу стихии».

Природа маскирует не только технику, но и общественную жизнь. К чемпионату мира по футболу пивные промоутеры соорудили следующую конструкцию: «Каждому из нас дорог вкус родниковой воды. „Старый мельник” — поболеем за наших!» (родниковая вода, футбольные игры, марка пива, да еще и патриотизм поставлены в один псевдосинонимичный ряд, точку отсчета которому задает природный источник). И уж совсем естественно присоединяются к природе семья и здоровье (а заодно с ними сорт масла): «„Олейна” — натуральный продукт, здоровая привычка, крепкая семья!»

Квазиприродный статус цивилизации предполагает отсутствие исторической памяти. Истории как времени нет; она присутствует только как стилистический ход — то, что в сленге шоу-бизнеса зовется «фишкой» или «фенькой». Статус прошлого — забавный прием, игровая условность. Именно на этом основании в рекламу попал пивовар Иван Таранов со своими раритетными велосипедом, аэропланом и помещиками с комиксообразной фамилией Козявкины — небывалой в этом социальном классе, но зато полностью соответствующей идее прошлого как «феньки». И не зря сага о нем рисуется в мультипликационно-пародийном стиле. То есть выводимое на рынок пиво «Пит» вроде как производится давно, как и положено уважаемому товару; но мы (создатели рекламы) никого не обманываем, мы честно указываем на игрушечность этого «давно», и притом точно рассчитываем, что вы (покупатели) все равно отзоветесь на полузабыто-формальный авторитет истории или хотя бы оцените наше честное хитроумие. Потому что может встречаться и нечестное. Если в рекламе с пивоваром Иваном Тарановым прошлое — комикс, то в памятных роликах банка «Империал» оно было пафосной дорогостоящей исторической постановкой, которая маскировала (и в то же время обнаруживала) грандиозные аппетиты в деле надувания вкладчиков.

Итак, современность в рекламе не имеет прошлого, а если имеет, то заведомо условное, скроенное по нехитрой схеме рыночного манка. Благодаря отсутствию прошлого современность расплывается во все темпоральные стороны. Она не только есть сейчас, но была всегда и всегда будет. В дискурсе рекламы современность подается как вечность.

Живет в этой вечности субъект и он же — для себя — объект желаний. Самоидентифицируется он через любовь к определенному брэнду: «„Данон” — не изменяй любимому!»; «Люблю тебя, „Гранд”! Люблю!». Самоидентификация возможна и коллективная. И тут, к слову, о кофе. Сейчас сошел с экрана, но долгое время присутствовал на нем эпос о группе любителей «Нескафе», для которых «Все началось с кофе» и им же заканчивалось. Распавшаяся компания любителей «Нескафе» сегодня заменили апологеты пива «Клинское»: «Что мы делаем, когда собираемся вместе? Пиво пьем!.. Кто пойдет за „Клинским”?»

Любя товар, субъект одновременно любит и самого себя, идентифицированного с товаром. Еще в 60-е Ж. Бодрийяром сказано, что товар — это женщина, которую желают (и отсюда в рекламе чего угодно обязательны более или менее обнаженные модели). Но в последние лет десять — пятнадцать товаром стал также и мужчина — рекламные изображения результатов мужского бодибилдинга обрели чувственный паритет с женским телом. При этом к эротическим акцентам добавились аутоэротические. Женщины и мужчины-модели одинаково томятся желанием товара, то есть самих себя: «Найди время для себя! Время „Даниссимо” — время для себя!» В рекламном видеоряде любовь к потребляемому дешифруется как солипсический эротизм, особенно при картинках о косметических средствах, но также о еде, прохладительных напитках, стиральных машинах... Даже невинное шоколадное мороженое может удостоиться подчеркнуто-постельной озвучки: «О! Дай мне еще шоколада! Больше! Еще!..»

Последний пример предъясняется как юмор, самопародия, которыми данный ролик извиняется за прямолинейность остальных. Система таких извинений разработана и составляет отдельный жанр. Вот еще пародия, обыгрывающая аутоэротичность рекламы. Крупный план: отдельные части тела — шедевры шейпинга, по которым поглаживает себя некая модель, которую целиком в кадре не видно. При переходе к общему плану — изображению в полный рост — совершенная фигура подменяется расплывшейся, одетой в тот же наряд. Текст на крупном плане: «Я так люблю свои стройные бедра, свой упругий живот!..» Текст на общем плане: «И так ненавижу жир, который все это скрывает! Программа „Время худеть”».

Перечисленные ценности — от отдыха как единственного содержания жизни до аутоэротики жевания, питья, пользования стиральной машиной и прочего — покрываются категорией свободы, которая не имеет ничего общего с драматичным и ответственным новоевропейским понятием свободы: «„Дарья”. Продукты быстрого приготовления. Почувствуй себя свободным!» Свобода равнозначна другому общему знаменателю перечисленного — восклицанию «хорошо!», вызываемому в рекламных текстах любым промотируемым пустяком: «Пиво „Белый медведь”. Жить хорошо!»

Аспективная утопия. «У вас есть мечта? Она — под крышкой кока-колы! Пришлите нам десять крышек, и ваша мечта осуществлена!» Реклама рисует мир осуществленной мечты, вход в который открывает простая пробка.

До нашего времени были известны два вида утопий, действующих и сейчас: *ретроспективные* (былые славянофилы, нынешние фундаменталисты, религиозные или коммунистические) и *перспективные* (былые коммунисты, глобалисты, как либеральные из МВФ, так и тоталитарные — исламские интегрис-ты). И вот появилась третья утопия, не апеллирующая ни к прошлому, ни к будущему, но только к настоящему, представленному в виде привлекательной картинки. Можно говорить об аспективной утопии, имея в виду как переводы латинского *aspectus* (вид, зрелище), так и отсутствие какой-либо повернутости к истории — ретро- или перспективы (отрицательный префикс *a-*).

Аспективная утопия свидетельствует об исчерпании исторического сознания. Речь идет о ментальности, в которой образцы прошлого не являются оценочными критериями и так же от нее далеки, как чаяния лучшего в грядущем. Смыслы жизни прикреплены к повседневно достигаемому, легко получаемому,

малому. Характерен следующий рекламный ход. Слоган: «Сын родился... Есть вещи, ради которых стоит жить!» Картинка: мужики пьют пиво... бокал пива крупным планом.

В аспекттивной утопии идеал осуществлен, но не во времени, которого еще или уже нет, и не в «месте, которого нет», а сейчас, топологически здесь, на любом месте, которое есть — точнее, *как бы есть*.

Ведь интерьеры, в которых переживала свое кофейное счастье компания любителей «Нескафе», не зря были дизайнерски вылощены до такой степени, что находящиеся в них люди казались целлулоидными. Имелись в виду здесь и теперь, радикально очищенные от случайного мусора действительности.

Места, которое есть, тем не менее нет. Речь идет о специальной реальности, по предметному наполнению вполне посюсторонней, обыденной, теперешней, но вместе с тем сугубо условной в своем дистиллированном благополучии, выдуманной в своей беспроблемной завершенности, — *как бы реальности*.

Получается утопия в квадрате и даже в кубе. Нет места для места, которого нет. Но и того актуального места, которое заменяет утопически далекое отсутствующее место и которое вроде бы есть, тоже нет, хотя оно постоянно маячит в повседневности и чуть ли не само является повседневностью. В результате отрицается не только прошлое или будущее, но и настоящее. Настоящее в культе обыденной праздничности воспринимается под знаком снимающего все проблемы «*как если бы*». Происходит оптимистическое забвение настоящего без выхода за пределы самого настоящего. Да еще при получении в настоящем вполне настоящей прибыли от забвения настоящего. Благополучная *как бы реальность*, оборачиваясь деньгами, превращается для зарабатывающих на ней в действительное благополучие.

Этим кормится, в частности, рынок имиджей. Современная ажитация вокруг носителей имиджей — эстрадных звезд, актеров, топ-моделей, дизайнеров одежды, а также публичных политиков — исходит из привычки к их особому экзистенциальному статусу: они существуют словно исключительно напоказ. Их браки, охрана, особняки, доходы, дружеские вечеринки выступают как реальные и вместе с тем запредельные, отвлекающие от реальности факты. Нередко эти факты изобретаются прессой, и такое проявление популярности носителями имиджей воспринимается в целом положительно: потому что не реальность важна в их профессиональном функционировании, а важна *как бы реальность*. Поэтому же, хотя ничего, способного вызвать внятное обсуждение, а не одни лишь досуже-мимолетные сплетни, действительные или придуманные события из жизни звезд не несут, подаются они как актуальные и почему-то важные новости.

Как бы настоящее не только транслируется рекламными картинками и питает шоу-бизнес, но и участвует в общественной жизни. Утопии, как известно, страшны тем, что реализуются. И аспекттивная утопия тоже проникла на современный рынок. Характерны скандалы с крупнейшими компаниями США, которые обманывали акционеров, завышая стоимость своих акций и занимаясь аудиторским подлогом. Фондовый рынок оказался (пока не ясно, на какой, возможно, что и на очень серьезный процент) *как если бы* реальностью. Но *как бы реальность* вбирала в себя реальные деньги, росла, через множество посредствующих звеньев оказывала влияние на мировое хозяйство. Камуфлированное аспекттивным идеалом, воровство встроилось в действующий механизм экономического развития и было фактором роста.

Аспекттивная утопия квазирелигиозна. Речь идет о такой религии, которая обходится без священного. Рекламное «хорошо!» — это никоим образом не выстраданное кредо, а некое побряхтывание от симулируемого удовольствия. Что тем не менее имеется религиозноподобие, показывает постоянство попыток инкрустировать рекламные картинки и слоганы в традиционный религиозный репертуар.

Между тотемом и провидением. Реклама тотемистична. Она густо населена анимационными аналогами тотемных животных: например, покровитель зубов

бобер («Здравствуй, бобер! Как твои зубы стали такими белыми?») или верблюды, заведующие шоколадом («Все меняется, когда приходят они»). Обычны в рекламе и изводы традиционных домовых, леших, водяных: чайный — старичок из ролика чая «Беседа» («...создан дарить тепло!»), маргаринный из рекламы мягкого масла («Дэлми, сколько же вкусных бутербродов мы с тобой сделали!»), соковый — «Рыжий Ап» из рекламы сока, а также стирально-порошковые монстрики (мойдодыроподобный новый «Миф»), конфетные (дражевидные телепузики «Эм энд Энс»), чистяще-средственные (копилкоподобная свинья Дося).

В отличие от традиционной архаики, где мясо тотемного животного нельзя есть, рекламные тотемы поедаются, даже когда в их роли выступает фаршированное подобие человека с именем-отчеством: «Угощайтесь! Сам Самыч с телятинкой!» Впрочем, для родных людей делаются исключения, хотя и не в пользу других с детства любимых: «Дорогой Волк! Не ешьте бабушку! Попробуйте пельмени „Три поросенка!“».

Вкусные тотемы — одна сторона религии мелочного оптимизма. Другая — тотальная забота о потребителе, которую проявляет верховное существо рынка, каждый раз персонифицированное разными фирмами и товарными марками. Брэнд-провидение не имеет карающей ипостаси, оно только милует — «от души и с добрым чувством» и гарантирует — «проверенное качество и комфорт».

Тотемы с провиденческими функциями стремятся инкрустироваться в фундаментальную мифопоэтическую традицию. Противоположность огня и воды, обыгрываемая в приводившейся рекламе пива «Доктор Дизель» («Огонь зажигает чувства, вода утоляет желания...»), воскрешает древний праздничный мотив игры с огнем и водой. «Страна чудес молочных» — слоган марки «Чудо» — отсылает к молочным рекам с кисельными берегами...

Еще одно средство примкнуть к мифопоэтической традиции заключается в образовании своего календаря. Традиционная сезонность в рекламе заметна. Капли от насморка рекламируются больше осенью и зимой, а средства от пота — весной и летом. Но с другой стороны, пиво и жвачка рекламируются всегда. И реклама их, как правило, не включает картинок зимы, как будто мы живем в стране вечного лета. Не зря с тем же постоянством, что и пиво, рекламируются прохладительные напитки, а дубленками чаще всего манят в интерьерах с разительным отсутствием снега... Вечное лето рекламы означает не что иное, как рай.

Кульб беспроблемного оптимизма располагает вполне завершенным мифом, базовый текст которого образует реклама. «Писание» уже обросло ритуалами. Сформировались также каноническая иконография и гимнография.

Ритуалы: презентации-номинации. Монополия высокой культуры на общественное внимание давно уже утрачена. Сегодня хорошо видно, что это было проедавшееся наследие теократической и аристократической эпох. Еще в первой половине XIX века только аристократия могла претендовать на (хороший) вкус. Соответственно лишь она могла определять лучшее, и не только при сравнении единичных артефактов, но и при ранжировании типов артефактов. Культурная иерархия антидемократична. В XX веке ранги постепенно исчезают. К наградам в области искусства и культуры добавляется необозримый перечень премий типа «Товар года», «Лицо года», «Обложка года»... Премияльных церемоний так же много, а возможно, и больше, чем Дней лесоруба, рыбака, механизатора сельского хозяйства и проч., составлявших официальные праздники советского календаря. В одинаковом формате, моделирующем «Оскар», презентуются и номинируются романы и фильмы, магазины и товарные марки, политические партии и деятели — все, что выходит на рынок.

Из чего складывается формат премиальных церемоний?

Во-первых, из самодовлеющей затратности. Обязательность праздничного избытка реализуется бьющей в глаза денежной помпезностью оформления

зала и сцены, световых эффектов, костюмов ведущих и участников. Не зря кинофестивали, да и не только их, принято открывать торжественным проходом участников, которые демонстрируют публике кроме фирменных улыбок эксклюзивные наряды.

Во-вторых, из максимального числа известных персон, выводимых в ходе церемонии на сцену. Один награжденный получает статуэтку, а объявляют о его награде двое, и еще двое-трое ее вручают. Все произносят лаконичные речи в две-три фразы. В итоге в ограниченном объеме шоу-времени показать себя успевает значительно большее количество звезд, чем в телевизионном ток-шоу, на эстрадном концерте или на политическом мероприятии. Премиальные церемонии — самый экономичный способ самопрезентации элиты («тусовки»). Следовательно, эти мероприятия дают возможность сконцентрировать во времени оптимизм и благополучие — ведь занятые самопоказом участники демонстрируют прежде всего свою успешность (и само участие в премиальной церемонии есть показатель успешности).

При этом начинающие, имеющие задачей раскрутиться в «звезду» (это относится и к людям, и к товарным маркам), чуть ли не более восторженно, чем признанные мэтры, вводятся в общий ряд — в этом, собственно, и состоит рыночный смысл праздничной церемонии. Не зря награда лучшему бизнесу именуется эмфатически — «Лучезарная звезда». Выходящие на подиум за очередной статуэткой полуанонимные руководители фирм подаются, так сказать, звезднее всех звездных, — ведь премирующие их звезды эстрады и кино — просто звезды, без титула «лучезарный».

О том, что вручения премий — ритуальное приложение к совокупному тексту беспроблемного оптимизма, который представлен в рекламе, проговаривается сама же реклама. Недавно запущен ролик: номинационная церемония, восторженные крики ведущих: «Главная номинация! Лучшая новация! От волнения у меня дрожат... конфигурации! Конечно, это он! Несравненный „Нескафе голд“!» Это — прямая речь *якобы реальности* о культовых церемониях, каноничных для религии беспроблемного благополучия (*якобы* — потому, что новейшие качества рекламируемого кофе в действительности могут отсутствовать, о них кричится, чтобы оживить продажи наскучившего товара под свежим девизом). Но и косвенно *якобы реальность* постоянно служит литургии номинаций. Ведь чуть не в каждом рекламном слогане продвигаемый продукт сравнивается с «обычными» (стиральным порошком, зубной пастой и т. д.), то есть выдвигается на высшую позицию, подается как победитель словно бы нескончаемо длящегося конкурса.

Премиальные церемонии нацелены на онтологизацию праздничной *как бы реальности* — вокруг нее организуется общественная жизнь, дорогостоящие публичные события с присутствием огромного числа известных людей и для еще более огромного числа (теле)зрителей, и все это приносит внятную рыночную отдачу. Но самим премиальным церемониям приходится тщательно обходить вопрос о собственной основательности. В отличие от модельного «Оскара», за которым десятилетия закрепили статус закономерно существующей традиции, новоучрежденные номинации несут на себе отпечаток самозванства. Не случайно состав жюри на каких-нибудь «Товарах года» или «Обложках года» не объявляется. Кто и по какому праву занят определением победителей, остается не ясным. То есть конкурс предъявлен, но он фиктивен. Вручили тому, кому надо, а остальное — для рамплиссажа.

При этом получается, что задним числом неведомые учредители премий легитимируются, получают влияние и становятся основанием церемонии. Каждая новая премия в первый раз вручается лауреатам множества других премий. А потом уже возникает возможность оказывать нужными производителям малораскрученных товаров и художественных проектов, малоизвестным политикам. Выдвинутые на очередную премию и получившие ее утверждают в праве на общественное внимание, а выдвигающие становятся авторитет-

ны как повивальные бабки этого права. Производство звезд превращает производителя в звезду. В недрах *как бы реальности* происходит самовозрастание количества известности. А известность — это деньги, то есть уже вполне весомая очевидность.

Недаром мы наблюдаем борьбу между различными премиями за право быть врученными. Недавно тема этой борьбы даже составила сценарную канву киноцеремонии «Ника». Для торжественного начала не нашли ничего лучше, чем в капустническом духе посчитаться с конкурентами — учредителями кинопремии «Золотой орел». «Вместо церемонии „Ника“ вы увидите балет Чайковского „Лебединое озеро“: мол, если кто не понял, опасность церемонии грозила не меньшая, чем демократии от памятного путча, а значит, вот какие мы демократы (тогда как противники наши соответственно тоталитаристы — невинный такой доносец). Далее. Танцуют лебеди и сама Ника, появляется принц-злодей, одетый в золото и с орлиным клювом, а звучит мелодия из роли Н. Михалкова в фильме «Жестокий романс». Примечай: это от Михалкова исходила угроза нашей тусовке, сплотимся же против узурпатора! Далее. Орел побежден, Ника машет крыльями победы, на каковые, как на экран, спроецированы облики славных тусовщиков-никианцев... Странно, но аплодисменты в зале были — значит, особого смущения от кухонно-фанфарного размаха не наблюдалось.

Кстати, зачем вообще эти грандиозные премиальные церемонии, когда на производство фильмов, согласно солидарным жалобам кинематографистов, денег хронически не хватает? Надо, чтобы у нас имелся свой «Оскар»? А зачем? Ведь «Оскар» оправдан если не эстетически, то хотя бы коммерчески: награжденные этой премией фильмы обретают рыночные преференции в прокате. При отечественном состоянии кинопроката и «Оскар»-то мало что дает, а тем более «Ники» с «Орлами»...

Казалось бы, если уж так необходима задача слонов, то ничто не мешает обойтись малыми затратами — ведь честь и почет от деньгоемкости церемонии никак не зависят. Но пафосное мотовство премиальных шоу — норма. Чем пышнее праздничное мероприятие, тем оно *как бы* истиннее, онтологически существеннее, и тем нерушимее благополучие, в котором надлежит — по данному поводу и вообще — увериться.

Иконография: самоутверждение через самопоказ. Номинации и презентации важны не только как ритуалы затратности (а значит, и праздничного изобилия), не только как институции раскрутки известности, но еще и как механизм самоутверждения современной элиты. Не зря их упорно показывают по телевидению, хотя и утомительно смотреть на бесконечные смокинги и слушать натужно оживленный конферанс, разбавленный давно известными концертными номерами. Но показывание широкой аудитории — чуть ли не главное в премиальных мероприятиях. Предполагается, что на них представлены успешные люди/большой свет. А успешны и принадлежат к высшему свету в сегодняшние демократические времена исключительно те, кого показывают миллионам телезрителей: замкнутый круг.

Ведь глаза идентифицируют сами по себе, и те, с кем идентифицируются, автоматически становятся образцами. Презентации-номинации — способ предъявления «культовых» людей скопом, а типовой ритуал этих мероприятий, включая и взвинченно-радостные выкрики ведущих, и демонстрацию одежд, и световые и лазерные спецэффекты, означает запредельную (праздничную) полноту жизненных возможностей, символизируемых «культовыми» персонажами.

Зависимость современной знати от широкого и постоянного самопоказа представляет на фоне традиции довольно безумную ситуацию. Прежняя аристократия не стремилась быть увиденной сапожниками и не испытывала статусной зависимости от дорогостоящего предъявления кучерам. Во времена буржуазного подражания дворянству средние слои культурно зависели от высших. Теперь же наоборот. Высшее самоучреждается через зависимость от низших. Если миллионы телезрителей не видят элиту, то и элиты никакой нет.

Иными словами, бытийный статус нынешней знати — видимость. Опять — лучезарная, звездная, преуспевающая, но *как бы* реальность.

Как лица, примелькавшиеся в самопоказах элиты, так и обобщенный социальный образец без конца показывающих себя людей (и соответствующих профессий, от топ-моделей до политиков) составляют иконографию беспроблемного оптимизма — они успешны, они всегда «в форме» (к тому, чтобы «быть в форме», например, сводится индивидуальность топ-моделей). Но есть и другой аспект новой иконографии.

Мелькание и скорость. Он представлен, широко говоря, шоу-бизнесом и сконцентрирован в видеостилистике музыкальных клипов, служащих как самостоятельным развлечением, так и средством промоции эстрадных проектов.

Эстетика музыкальных клипов — это не только сочность, карнавальная пестрота изображения, но и обязательный быстрый монтаж. В минуту необходимо уместить как можно больше видеопланов. На них может быть представлен и единственный исполнитель, но в разных ракурсах, крупности, обстановке, одежде и гриме. В результате клип переполнен изображениями и прямо-таки ломится от количества монтажных склеек. Как будто ставится задача дать с феерической скоростью промелькнуть перед глазами заваленному товарам прилавку — вкусному универсаму-универсуму, состоящему из бесчисленных броских деталей. Скоростное мелькание некоего «всего» по-своему отвечает константе праздничности — избытию.

В телеподборках клипы в свою очередь становятся отдельными планами, чередующимися на скорости. Видеолавина смывает сознание и увлекает в перевозбужденный мир избытка. Поскольку же лавина несется по музыкальным телеканалам сутками, то для телезрителя всегда наготове стихийное бушевание множества чего-то красочного, возбуждающего, повышающего тонус, вовлекающего в мир бесконечного празднования.

Виртуальное избытие — не важно, чего именно, а всего вообще, избытие вообще — на рынке выступает как вполне определенный товар. Шоу-бизнес далеко не убыточен. Выгодно продавать иконы праздничности.

Между прочим, ищущие коммерциализации музыканты академической традиции вносят мелькающую пестроту в свои выступления. Так, на концерте в Большом зале консерватории известный виолончелист Миша Майский исполнял три сонаты разных авторов, и для каждой сонаты он переодевался в блузу нового цвета...

Гимнография: монотонная пыль. Необходимо обратиться и к внутренним планам, имеющимся в музыкальных клипах, поскольку в них воплощается время беспроблемно-оптимистической утопии — *как бы* время. Пластическое содержание клипов — танец, столь же мелькающий и быстрый, как клиповый монтаж. Плавные движения хип-хоп исключают, отдельные позы оторваны друг от друга и фиксируются в кратчайших моментах статики, линий перехода между которыми нет. Линий вообще нет. Можно говорить о геометрии, состоящей из одних точек, мгновенно перетряхиваемых, как в калейдоскопе, и мгновенно же складывающихся в новую фигуру. Танцоры также оторваны друг от друга и изолированы наподобие точек. Никаких парных танцев, большей частью — шеренга, воспринимаемая не сплошным построением, а вытянутой дробью локальных тел.

И на микроуровне (пластика), и на макроуровне (клиповые серии на ТВ) клипы визуализируют (и компенсируют) особое обращение с временем. Краткость повторяемых попевок и чрезвычайное измельчение ритма создают время, в котором теснятся не связанные друг с другом микродоли секунды. Это — время-пыль со взвешенными частичками, не способными слезаться в однородную плотность. В отличие от видеоряда, музыкальные пылинки утомительно одинаковы: ритмическая скорость велика, но время монотонно. Пестрота мелькания видеокadres искупает эту монотонию. Но все же монотония слыш-

на и как задняя мысль об угрозе скуки и бессмыслицы отравляет танцевальную беспроблемность.

Против затаившейся отравы есть средство. Обратимся к музыке — в связи с такими константами праздничности, как ритуальные агрессия и секс. На нашей эстраде эти два интонационных устоя попсового звучания представлены «родным» и «импортным» вариантами. Первый — то, что называют «русский шансон»: похмельная (она же фаталистическая, она же «философско»-ностальгическая) агрессия (она же исповедь, она же сентиментальная лирика — грани подвижны); второй — шеголяющая западной технологичностью расчетливо-томительная эротика в две-три попежки. Песни обоих типов нередко имеют сходную динамику: к концу наступает катарсис — аранжировка последних повторяемых куплетов создает эффект экстатической гимничности. Возникает привкус оргазма, характерный для древних коллективных праздников, да и на современных праздниках востребованный (вспомним футбольное камлание: «але-але-але-але!»). Словно все ликуют и славят — что? А как раз время, размолотое музыкой в монотонию. Публику сплачивает гимн времени, которое бьется энергично ускоренным пульсом, но в котором ничего не происходит. Коллективный энтузиазм вызывается переживанием бессобытийной энергетике времени, его пустой витальности.

Пустая — беспроблемная — витальность и возбуждает, и дарит удобную безответственность. Вполне праздничное состояние, соответствующее аспектному оптимизму.

Антропологический бутерброд, или Неверящая вера. Праздники не удаются — нет аскезы. А аскезы нет, поскольку ее вытеснила праздничность. Впрочем, аскеза есть, но к празднику она имеет мало отношения: буднично вынужденная массовая аскеза.

Старая песня о богатых и бедных? Не только, точнее, не совсем. Лимитированность потребления была всюду и всегда, но никогда поверх нее не культивировалась вера в повседневную доступность всеобщего благополучия. Даже в советской массовой культуре использовались темные краски, как-то: временные трудности, отдельные недостатки — или, краска погуще, враги народа. Советская *как бы* реальность, в которой жить становилось все лучше и веселее, признавалась настоящей лишь постольку и в той мере, поскольку и насколько она готовила будущее. Потому советский оптимизм совмещался с догматами трудового героизма, битвы за урожай, долга защитника родины и т. д. Праздничность современной массовой культуры оптимистически игнорирует саму возможность проблем и потому никаких категорий из разряда обязанностей и трудностей не подразумевает.

Для стран с нестационарной экономикой, где распространена бедность, это — новая культурно-антропологическая ситуация. Изготовлен такой бутерброд: карнавал аранжирует чуму. Праздничность густо размазана по будням, в том числе и по тем, которые протекают ниже прожиточного минимума. Символически (глазами и ушами, в частности, в виде городского дизайна, телепродукции и т. д.) множество людей беспрестанно потребляют изобилие, комфорт, гарантированную защищенность — ровно те составляющие беспроблемного оптимизма, которых они щемящим образом лишены.

Качество бедности в таких условиях меняется. Она, с одной стороны, переживается острее, а с другой стороны, не представляется принадлежностью статуса — социальной нормой, каковой была бедность для низших классов населения прежде.

Но и там, где бедности практически нет или мало, описываемый бутерброд имеет место. Роль бедности исполняет катастрофизм телевизионных и печатных новостей, начинаемых (и начинаемых) известиями о стихийных бедствиях, военных конфликтах и криминальных происшествиях. Кроме новостей есть еще и передачи типа «Криминальная Россия». Массив катастрофической информации по масштабу вполне сопоставим с рекламой. Но транслирует он

чувство незащищенности, неуверенности — антипод чувств, внушаемых аспекттивной утопией.

Кроме новостей и криминальных репортажей на катастрофизм работает и массовая кинопродукция, в которой неисчерпаемым материалом для эстетизации служат ужасы, драки, убийства и прочая угрожающая нескладуха. Все это вместе формирует в буднях виртуальный аналог предельно антипраздничного, «худшего», «несчастливого» времени. Образуется взаимодополнительность двух *как бы реальностей*: нестерпимо-нескончаемого «Страшного суда» (кстати, тоже приносящего дивиденды) и истерично оптимистической «жизни вечной». В отличие от традиционной ситуации, где бедствия и праздники были разведены во времени, сегодня они во времени совпадают, сея сомнения друг в друге.

Религия беспроblemного оптимизма поэтому и верит, и не верит сама в себя (как не принято доверять рекламе, хотя дело свое она при этом все равно делает). Грандиозные мероприятия, входящие в перманентную литургию успеха и благополучия, оставляют даже и у самих участников, не говоря о широкой публике, осадок зряшности. Так же информация, свидетельствующая о постоянной угрозе благополучию, хотя и переживается, но отчасти не всерьез. Тем не менее и праздничное, и катастрофическое претендуют на всамделишность. Вибрация двусмысленности пронизывает массовый культурный контекст.

Впрочем, ликующему культу настоящего это не мешает. Праздничный текст культуры не скрывает своей условности, но он так обширен и представлен настолько повсеместно, что становится частью реальной жизни. Пестротой и скоростью он обнадеживает в отношении неисчерпаемых ресурсов современности, которые на него тратятся (раз грандиозные деньги уходят, например, на премиальную церемонию, то, значит, ресурсы есть, и у порядка жизни, несмотря на катастрофы из газет и теленовостей, остается гарантирующий благополучие запас сил). Религия оптимизма по-своему космизирует бытие, придает ему видимость прочности и порядка. Другое дело, что эта религия не дает забыть о сомнительности открытий, ее поддерживающих, и где-то на заднем плане праздничности свербит ничем не компенсируемый страх перед хрупкостью налаженной жизни...

Эксперты констатируют, что уровень агрессивности во всем мире повышается. Видимо, в традиционных нормах, в старых запретах, в конститутивных социальных ограничениях, в церковных постах, которые давали сбиться подлинной праздничной разрядке, все-таки был толк. В уральском заводском поселке начала XX века П. П. Бажов («Уральские были») не помнит «ни одного большого церковного праздника, который бы прошел без драки». Дракой заканчивался каждый праздник. Но — не каждый день...

О П Ы Т Ы

СЕРГЕЙ БОРОВИКОВ

*

В РУССКОМ ЖАНРЕ-23

11 июня 1973 года я был на дневном (12 часов) спектакле модного тогда Молодежного театра-студии на Красной Пресне под руководством Владимира С-ва. Шла инсценировка романа Василия Шукшина «Я пришел дать вам волю...». (Сохранился пригласительный билет — вот откуда точность.) Труппа состояла из очень юных актеров, которых режиссер, бывший актер Таганки, дрессировал — такое создавалось впечатление (вскоре случился скандал с обнаружением случаев специфической дрессуры им юных актрис). На сцену они врвались (днем раньше я смотрел там «Ромео и Джульетту», в деревянных конструкциях, трапедиях, лесах, и делалось страшно, когда всамделишные кинжалы враждующих кланов сверкали и крутились в воздухе вблизи лиц и вонзались, дрожа, в окружающее дерево), буйствовали со всей молодой энергией — видимо, темп и темперамент были главной целью режиссера.

В спектакле по роману Шукшина... но сперва несколько слов о моем к роману отношении. Это просто плохой роман. Ничуть не лучше казенных «Любавиных». Шукшин продолжает оставаться для меня одним из значительных художников своего времени, и его лучшие рассказы, его сатиры первосортны. Если революционное *полотно* «Любавины» никто, вероятно, включая и автора, всерьез не воспринимал, то роман про Степана Разина воздвигался чуть ли не высшим достижением писателя. Между тем та же бескровность, что и в «Любавиных», поразительная для мускулистого почерка писателя аморфность, скукота, полное отсутствие едкого шукшинского юмора. «В последнее время, когда восстание начало принимать — неожиданно, может быть, для него самого — небывалый размах, в действиях Степана обнаружилась одержимость... неистребимая воля его, как ураган, подхватила и его самого, и влекла, и бросала в стороны и опять увлекала вперед». Любовь писателя к разбойнику не спасла. Но — к спектаклю.

Опять сумрачное дерево, обилие чудовищно огромных икон, в окладах, чуть не бревенчатых по толщине, в них угрюмые, словно крестьяне Бориса Григорьева, лики. Иконы висели на веревках, подымались под колосники и опускались к сцене, угрожающе раскачиваясь. Исполнитель роли Разина, красивый, буйный молодой парень, неистовствовал, бегал, кричал, дрался. Настал черед сцене, в которой Степан в Астрахани «в церквах Божьих образа окладные порубил». Актер постарался на славу, гоняясь по сцене с шашкой за иконами, которые, получив свое, взвивались кверху от Степановых гонений. Наконец на пустой сцене Разин начал говорить монолог. И тут сверху, скособочившись в полете, сорвался самый большой образ и своим бревенчатым пудовым углом угодил на темя, с которого по лицу тут же заструилась кровь. Зал охнул, стало не по себе, и я подумал: ну и штучки режиссерские таганковские, аж дух захватило. Но штучки оказались вовсе не таганковские, поработал со-

Боровиков Сергей Григорьевич — критик, эссеист. Род. в 1947 году в Саратове. Окончил филологический факультет Саратовского университета. С 1985 по 2000 год — главный редактор журнала «Волга», ныне прекратившего существование, несмотря на протесты общественности. Автор книг «Алексей Толстой» (1986), «Замерзшие слова» (1991), «В русском жанре» (1999). Настоящая публикация — продолжение долговременного цикла.

всем другой режиссер — лицо актера стремительно, до зелени, бледнело, залитое кровью, он шатался, через силу произнося слова роли, сдерживаясь, но явно поспешили к нему на помощь товарищи... Дали занавес. Зал молчал. Самое удивительное, что действие продолжилось и актер с перевязанной головою доиграл.

Страшное дело — стенографический отчет Второго съезда советских писателей. Куда посильнее отчета Первого съезда, где даже славословия Сталину не носили характера всеобъемлющей принципиальной серости Второго, когда словно бы выступающие не были авторами «Хулио Хуренито» (может, наиболее разительная эволюция с его автором: Эренбург Второго съезда не знаком с Эренбургом Первого), «Тихого Дона», «Растратчиков», «Братьев», даже просто никогда не были профессиональными писателями, настолько вопиюще, первоначально серыми и убогими они предстают в своих выступлениях. Из уцелевших участников Первого съезда, выступавших на нем, большинство отмолчалось на Втором.

Они спорят друг с другом и руководством Союза писателей, иронизируют, обличают, интригуют, говорят о повышении «идейно-художественного уровня», а самые отчаянные так и просто о художественном уровне, но при этом обретаются в глухой защитной одежде газетной передовицы. Нескрываемый ужас пропитывает и самые смелые речи — ужас перед возможной ошибкой, перекосом, отклонением. Они готовы бушевать в союзписательских пределах, задевать своих литгенералов, оторванных от жизни, но спаси Бог задеть что-то основополагающее. Как ни странно, а может быть, и вовсе не странно, лишь Шолохов (во многом, видимо, подтолкнутый речью Овечкина) позволил себе критику не писательских, а государственных порядков.

Спервоначала он охарактеризовал современную литературу как «серый поток», что было, безусловно, точно, а отношение писателей к профессиональной работе друг друга — как «диковинное безразличие», прошелся по своим недругам — Эренбургу и Симонову, озвучив внутрилитературные интриги и сплетни: кто кого назначил, кто кому обязан, — затем Шолохов обрушился на «систему присуждения литературных премий».

...Два слова в сторону; даже в 70-е годы я застал неприкосновенность самого слова «система», например, позволил себе сказать в обкоме, что Бюро пропаганды художественной литературы при Союзе писателей не нужны, и натолкнулся на почти ужас: это же Система!..

Таким образом, Шолохов покусился на внеписательские компетенции и сферы: «Деление произведений на первую, вторую и третью степень напоминает мне преysкурant: первый сорт, второй и третий». Напомню, что три степени имели Сталинские премии, и, конечно, спустя почти два года после смерти вождя как бы не требовалось особой смелости выступить против его системы поощрения литературы и других областей культуры, однако, кроме Шолохова и Овечкина: «Система присуждения литературных премий была неправильной. Она в значительной степени основывалась на личных вкусах (понимай — вождя. — С. Б.) и была недостаточно демократичной. <...> что следовало за присуждением премии? Безудержное захваливание в прессе и на всяческих собраниях, издания и переиздания, наводнение этой книгой всех библиотек Советского Союза...» — на это никто не осмелился, а хуже того, никто и не захотел, так как система предполагала долгое безбедное существование лауреату хотя бы и 3-й степени.

На Шолохова ополчились. (Овечкина затронули слабее.) Конечно, виною тут были многолетние неприязни и раздоры, весьма подогретые выступлением Шолохова на встрече руководства страны с группой писателей перед съездом, где Шолохов не только антисемитски напал на Эренбурга с его еврейскими предпочтениями, но и припомнил тому несоветское творчество. Были и внешние причины. Разумеется, не только коллег крайне раздражила речь Шолохова.

29 апреля 1958 года, то есть через три с половиной года после Второго съезда, Чуковский записывает о встрече в Кремлевской больнице с Гладковым: «Болезнь искромсала его до неузнаваемости. Последний раз я видел его на Втором съезде писателей, когда он выступил против Шолохова. По его словам, с этого времени и началась его болезнь. Он, по его словам, не готовился к съезду и не думал выступать на нем. Но позвонил Сулов: „Вы должны дать Шолохову отпор“. Он выступил, страшно волнуясь. На следующее утро ему позвонили: „Вашим выступлением вполне удовлетворены, вы должны провести последнее заседание...“

— И сказать речь?

— Непременно.

Это его и доконало, по его словам. После его выступления против Шолохова он стал получать десятки анонимных писем — ругательных и угрожающих: „Ты против Шол., значит, ты — за жидов, и мы тебя уничтожим!“

Говоря это, Гладков весь дрожит, по щекам текут у него слезы, и кажется, что он в предсмертной прострации.

— После съезда я потерял всякую охоту (и способность) писать. Ну его к черту <...>.

Из дальнейших слов выяснилось, что в поезде, когда он ехал в Саратов к избирателям (его наметили кандидатом в депутаты Верх. Совета), с ним приключился инфаркт...»

Много здесь неясного, и недаром Чуковский в коротком тексте трижды употребляет фразу «по его словам».

Здесь, собственно, все не ясно и сомнительно. Смертельно заболеть после выступления против Шолохова? Но Федор Васильевич был человеком злобным, агрессивным, ругателем по натуре, и сам Чуковский в тот же год записывает разговор с директором барвихинского высокопоставленного санатория «о Гладкове, и оба сошлись на том, что он скончался гл. обр. от злобы. Злоба душила его. Он смертельно ненавидел Горького, считал Маяковского жуликом и ненавидел всякого, кто, по его мнению, коверкал русский язык. „Ужас, ужас!“ — говорил он...».

И он рыдал спустя несколько лет при самом воспоминании о выступлении?

Мой отец записал в дневнике 18 марта 1955 года: «По приглашению Ф. Гладкова были у него с Озерным в спецбольнице. Гладков ехал сюда в середине февраля на встречу с избирателями... в дороге заболел и с тех пор лежит в больнице.

В палате он был один, лежал на койке. <...> Г. говорил:

— У нас есть литературные авторитеты, созданные по указке сверху. Маяковскому памятник в Москве ставят, а Льву Николаевичу Толстому нигде не поставлено памятника. Что, он хуже Маяковского. <...> До сих пор поют песни Лебедева-Кумача, а Маяковского не поют, его нельзя петь <...> Маяковский исковеркал русскую грамматику...

Досталось от Г. Шолохову за диалектизмы, за образы женщин, за слабое изображение коммунистов». (Очевидно сходство с записью Чуковского.)

Не очень ясно и появление темы «жидов» в ситуации вокруг Гладкова — Шолохова. В отличие от предсъездовской встречи, ни текста, ни подтекста антисемитского речь Шолохова не содержала. Считать таковым нападки на Эренбурга несерьезно; правда, в определенных писательских кругах и Симонова числили евреем, но все же это, думаю, для Шолохова, если и он наслушался от окружения на этот счет, не играло роли. Эренбурга он долбал при каждом удобном случае и до и после этой речи, тут была какая-то заикленность, выбор же Симонова был вызван и тем, что этот совсем еще молодой человек без особых, как казалось не только Шолохову, трудов взобрался на литературный Олимп, поместившись рядом с ним, Шолоховым, с Леоновым, Фадеевым, Фединым, тогда как его многостраничные романы, конечно же, близко не лежали не только с «Тихим Доном», но и с «Братьями», «Разгро-

мом», «Барсуками». Несомненно было и практическое соображение — не допустить Симонова к посту руководителя Союза писателей, на что были основания: честолюбивый и активнейший Симонов облакался таким набором должностей, наград и отличий, что начинал превосходить старших. По общему же содержанию речи, пафосу ее против потока серой литературы и обилия Сталинских премий выступление Шолохова объективно было направлено никак не против «жидов», ибо на дворе стоял не 1934, а 1954 год и главными поставщиками серого потока и получателями премий были литераторы титульной национальности, процветали тогда те, вроде Софронова и его компании, кто недавно успешно разгромил «безродных космополитов», то есть люди вроде бы близкие Шолохову. Недаром на съезде не раз был упомянут пресловутый Суров, с его фабрикой литературных рабов, антисемитизмом, хулиганством, Суров, которого породили именно Софронов и К°. Им-то в самый раз было тревожиться.

Второй вопрос: почему для «отпора Шолохову» верхами был избран Гладков? И кроме него было много старых писателей. Литературный же авторитет Гладков если когда и имел, так, может быть, и то едва ли, в далекие 20-е годы, да и то не в литературной среде. Может быть, другие — ну, Леонов, Федин, Шагинян и т. д. — отказались от поручения ЦК? Сомневаюсь. Против речи Шолохова выступлений было немало. И если отповедь Симонова (остроумная отповедь) была ответным ударом, то, скажем, взвешенно-ехидное осуждение речи Шолохова Фединым не имеет видимой личной подоплеки, ведь Шолохов даже упомянул Федина среди немногих талантов в потоке серости. Всего против Шолохова выступили после реплики Гладкова, начиная со следующего утреннего заседания (вероятно, была встреча в ЦК или на самом съезде провели беседы по делегациям), согласованным хором прежде всего делегаты из республик: В. Собко (Украина), М. Турсун-заде (Таджикистан), Г. Леонидзе (Грузия), а также В. Ермилов, С. Антонов, К. Федин, А. Фадеев, Б. Рюриков (редактор «Литературки», задетый Ш.), К. Симонов, А. Сурков. Был *единственный* голос в поддержку — Галины Николаевой, да и то, быть может, потому, что выступала она вскоре после Шолохова, до реплики Гладкова. После — никто. Даже присный Михаила Александровича А. Софронов в своей предельно скверной речи.

Мой отец был делегатом того съезда. Жаль, что в силу натуры, да еще более привычки к осторожности, которой научила его судьба, был он крайне скуп в сохранившемся дневнике на детали. Но все же. «Сегодня вечером на съезде выступил с речью М. Шолохов. Его выступления все ждали с нетерпением. Говорили, будто бы он показал свою речь президиуму и, услышав замечания о резком тоне ее, улетел в Вёшенскую. Говорили, будто бы он потребовал полтора часа, хотя по регламенту на выступление отведено 20 минут.

На съезде он появляется редко; посидит минут 15 в президиуме и исчезнет. Наконец председательствующий объявил, что слово имеет Михаил Шолохов. Зал взорвался. Все встали и стоя аплодировали минут пять. Шолохов невысокий, большелобый, с седеющей шевелюрой, рыжими усами. Говорит, все время покачиваясь из стороны в сторону». Следует пересказ речи, с одной лишь деталью: когда Шолохов заговорил о Симонове, тот «встал и пошел за сцену». «В стенгазете „Взирая на лица” появилась карикатура. Рядом с горой из книг „Тихого Дона” и „Поднятой целины” крохотная трибуна, из-за которой чуть высовывается крохотная голова Шолохова и кулаки. Под карикатурой эпиграмма Е. Благининой:

Народ в безмолвии влюбленном
Тебя берег, дохнуть не смел,
Но ты на этот раз не Доном,
А мелкой речкой прошумел.

Через день карикатура и эпиграмма были сняты, а еще через день снова появились».

Вот и все.

В Отчете нет текстов выступлений на закрытом заседании в предпоследний день съезда, на котором председательствовал Фадеев и где выступило аж 42 человека, среди них и не выступавшие ранее Шкловский, Леонов, Бек, Лидин, Арбузов и другие.

Зачем же я вдруг все это написал, зачем столько сидел над пыльным Стенографическим отчетом, будь он неладен?

Не знаю? Нет, знаю — чтобы вы, дети и молодежь, не возмечтали вдруг красиво о том прошлом, не окрасили неведомое вам литературное время в разные яркие и интересные цвета, ибо цвет его был даже и не красным, а серым.

Особым родом чтения у провинциальных писателей был Информационный бюллетень Союза писателей. Ах, бюллетень, бюллетень, лучше бы тебя не издавали. Или не присылали. Траурным пеплом подергивались взоры и лики бедолаг, читающих про обладателей таких же членских книжек, как и у них, но... Вот Дни литературы в Дагестане, прибыла делегация. Звучат кавказские мелодии, зеленеет теплая каспийская волна, а барашек-шашлык, а коньяк дербентский? А уважение окружающих? а вереница черных «Волг», направляющихся в прохладную долину, где уж курятся дымки...

Сглотнет табачную слюну член Союза, перелистнет страницу, а там итоги конкурса на лучшее произведение о... ну, скажем, о работниках милиции, а наш читатель Бюллетеня не один очерк наваял о гаишниках с тех пор, как купил «Запорожец», но не бывать ему лауреатом, нет! А сердце бьется сильнее, потому что приближается самый горестный раздел — о поездках членов СП за рубеж. В мае за рубежом побывали: мать моя мамочка, Михалков, раз, два, три, три раза, и не просто в ГДР, а «с заездом в Западный Берлин» — так он ради этого заезда и выехал! А Евтушенко!!! Штаты, Англия, опять Штаты, и цель — творческие вечера. Или — по приглашению издательства такого-то. Пальцы загibaются, их на руках уже не хватает, так что подсчет невольно продолжается и в ботинках, и получается, что Михалков с Бондаревым или Евтушенко с Рождественским вовсе из-за бугра не вылезают. Да что Евтушенко! Еще обиднее, когда свой же парень, море водки выпили, и поэт-то никому не известный, а вот в столицу перебрался, жил по углам, женился-переженился, но влез то ли в приемную комиссию, то ли в партбюро секции, и гляди: в составе делегации, хоть в Того или там в Конго, но мелькает.

Вспомнит наш герой, как в позапрошлом году накопил деньжат на Болгарию, как не хотели с женой вдвоем выпускать, пришлось в обкоме лбом о пол стучать, как красные червонцы в трусах сверх положенного провозили, как баба в софийском универмаге одеревенела, как копейки их поганой, стотинки, на кафе жалела, вспомнит все это, получит деньги за выступления на полевом стане колхоза имени XIX партсъезда и прямым ходом в ресторан «Европа» на второй этаж, где и водку, и пиво в графинах подают, и — до упора, не то что на партсъездовские, но и в долг, а то и вплоть до личного дела по поводу бумаги из милиции. Вот вам и «Информационный бюллетень»!

Почему Белинков для обличения в конформизме выбрал именно Юрия Олешу? Почему не Федина, Катаева, Вс. Иванова? Оттого, что они никогда не были и смолоду в оппозиции? Но, во-первых, как сказать, они были «объективисты», что уже было крамоллой, а во-вторых, и Олеша не был. Почему не автора «Двух капитанов»? Не Леонова? Не Эренбурга?! Не Тихонова, что, впрочем, было бы уж очень просто, а Белинков хотел сложной задачи. Но тогда почему не Зошенко, который написал в 30-е годы повести о Керенском и Шевченко, достойные самого забубенно-советского литератора? Потому что 1946 год покрыл его терновым венцом?

Олеша, уж простите, легкая добыча, он не борется за себя, и как он сдался власти, точно так же со своими текстами он сдается и Белинкову без боя. К тому же он пил, а в этом предмете причины и следствия далеко не всегда

определены: то ли пил из-за того, что не мог писать, как прежде, то ли не мог писать, как прежде, оттого что пил.

Вероятно, все дело в любви Белинкова к Олеше, которая, как известно, пристрастна к предмету страсти.

Я уж не раз задавался вопросом, на который не ответил: почему либеральное общественное мнение не равно к равным. Заклеймив во множестве выжженными лилиями Ал. Толстого и Катаева, несильно, но, потрепав Эренбурга, оно пальцем не дотронулось до Всеволода Иванова. Он не уклонялся от сталинского мейнстрима, он был в одном ряду с прославителями режима. Имелся у него и свой «Хлеб» — роман «Пархоменко» (1939), и своя «За власть Советов» — роман «При взятии Берлина» (1947), и публицистика: «Огромным, гениальным предвидением полны слова великого вождя, создателя дружбы народов, друга и отца народов; <...> как только русские трудящиеся сделались хозяевами своей страны, не на словах только, как это им обещали меньшевики, кадеты и их заграничные поддувала <...>; за годы сталинских пятилеток в Российской Федерации созданы <...>; будет больше доменных печей, больше чугуна, стали, угля, больше хлеба, масла, больше заводов, турбин» и т. д. (статья «Верный путь» — «Огонек», 1946, № 50). Я даже не про «содержание», про «форму» как-ие там «цветные ветра» — слова живого нет! Про великого Сталина и домны писали Леонов и Эренбург, Федин и Фадеев, только всем уж давно предъявлен счет, за исключением Всеволода Иванова. Искренне недоумеваю: почему?

Когда я листаю чудом сохранившиеся в доме подшивки журнала «Огонек» за 1940 и 1946 годы — мое первое детское чтение, — оживают как воспоминание картинки, тексты же читаются по-новому.

«Игорь Шафареви́ч вне математики — рядовой советский юноша. Он большой любитель спорта <...> С благодарностью он вспоминает и школу, и своих первых учителей — профессоров А. Г. Куроша и И. М. Гельфанда...» (Гард Э. Юные математики. — «Огонек», 1940, № 14).

«В день праздника мы спозаранку встали. / Всех радостное чувство подняло: / Мы знаем, скоро выйдет Сталин / На Мавзолей, на левое крыло. / Мы знаем, Сталин любит эту площадь. / Сейчас там тишь. Брусчатка и гранит... / Стоят войска в еще недвижимой мощи, / И вождь на них внимательно глядит. / Он вольно дышит, расправляет плечи, / Часами здесь стоять не устает / — Прекрасен день величественной встречи / Вождя с народом. Любит он народ. <...> К нему — улыбки, песни, и в цветах / К нему детей подносят на руках, / То будущее перед ним проходит / И отражается в его глазах, / Нам мысли гения неведом ход, / Но знаем: как всегда, и в этот час / Он о народе думает. О нас. / Для нас он мыслит. Трудится. Живет» (Заходер Борис. На Красной площади. — «Огонек», 1940, № 11).

«Будь то вода, что поле оросила, / Будь то железо, медь или гранит, — / Всё страшную космическую силу, / Закованную в атомы, хранит. / Мы не отступим, мы пробьем дорогу / Туда, где замкнут мирозданья круг. / И что приписывалось раньше богу, / Все будет делом наших грешных рук» (Щипачев Степан. — «Огонек», 1946, № 42-43).

Тамара Макарова и Александр Птушко делятся впечатлениями о заграничных кинофестивалях, помещено фото, сделанное в Каннах: группа советских кинематографистов, на внешнем облике которых ни малейшего отпечатка «совка», а Марину Ладынину в сногшибательной белой шляпе или Сергея Юткевича с темными очками, воздетыми на лоб, и в невероятных, на толстой белой подошве туфлях — хоть куда, только не в Эсэсэсерию, где в них ни за что бы не признали своих и вряд ли узнали бы в Ладыниной свинарку, а в пижоне на белых подошвах — создателя «Человека с ружьем».

В те годы малые литературные мозги провинциала могли вдруг выработать, а цензура пропустить некую ахиною, которая спустя десять — пятна-

дцать — двадцать лет уже ни за что бы не появилась в печати, являясь, по сути, антисоветской:

«У Лукоморья дуба нет, / И кот ученый не мурлычет. / И те места, где пел поэт, / Колхозным краем стали нынче. <...> Вокруг костра — доярки пляшут, / Руслан — кузнец, а рядом с ним, / В кругу подруг — нарядных нимф, / Сидит телятница Наташа — / Мои давнишние друзья / (С Русланом я учился в школе) <...> Косить до солнышка нельзя, / И мы разучиваем роли, — / Мне объясняет Черномор, / Учетчик тракторной бригады. / И закипает разговор, / И сыплют шутками наяды» (Богатырев В. н. Руслан и Людмила. Альманах «Литературный Саратов», 1946).

В первом тексте Гимна СССР (1943) уже отсутствуют слова «коммунизм», «социализм».

Из уроков борьбы с сионизмом. Вышел на экраны фильм «Доживем до понедельника». Успех необычайный. Я — в редакции «Волги» — делюсь воспоминаниями. Старшие товарищи в лице двух дам лет сорока:

— Сионистская картинка.

— ?

— Кто герой? А зовут как? Илья!!! Илья, в очках, самый умный и любит маму, все понял?

— Так ведь... Тихонов ведь...

— Для маскировки!

— А почему Абрамом не назвали?

— Пока еще боятся, погоди — назовут!

В начале 70-х годов родственник моей тогдашней жены, служивший в ленинградском КГБ, всерьез и таинственно поведал за выпивкой страшную историю о том, как Аркадий Райкин пытался переслать сионистам в Израиль кучу редких бриллиантов, поместив их в тело умершей бабушки или другой еврейской родственницы, которую отправляли в запаянном гробу на историческую родину, но органы вовремя пресекли, и если бы Райкин не был Райкиным, народным артистом и лауреатом, худо бы ему пришлось.

Сейчас это смешно пересказывать, но, погрузившись памятью в то еще недалекое время, помнить себя в нем не всегда смешно.

Каждое утро, точнее, то утро, когда я просыпаюсь в шесть, вместе с радио я пою про себя: «Нас вырастил Сталин на верность народу, / На труд и на подвиги нас вдохновил!» — и не потому, чтоб я любил товарища Сталина или товарища Михалкова, но потому, что они ввинчены мне в мозги с младенчества и до гроба и, как слюна при вспышке лампы у собаки Павлова, начинают выделяться в моем черепе при первых звуках музыки... Этого хотел наш президент?

Сталин прозвал сына Василия Васька Красный, тот так подписывался в письмах к отцу. Объяснение: за рыжие волосы. Так. Но Сталин, как и другие его поколения революционеры, если не читал, то внимательно читал Горького и не мог, при его-то памяти, не помнить рассказ «Васька Красный» — о вышибале в публичном доме, садисте, терзавшем проституток. А?

М. Горький хорошо относился к Мих. Булгакову, пытался спасти постановку «Бега» и т. д. И он же категорически забраковал книгу о Мольере и даже более не откликался, кажется, ни Булгакову, ни в его адрес — почему?

Разумеется, у Тихонова находились основания быть неудовлетворенным работой Булгакова, ее, на его взгляд, «развязностью»: серия «ЖЗЛ» замышлялась как просветительская. Но Горький, кажется, должен был бы «амбивалентнее» отнестись к рукописи. Но нет.

Выдвину одну внелитературную догадку. Существенное место в книге Булгакова занимает мотив кровосмесительной связи Мольера. Тогда, в начале 30-х, околотитературная молва упорно приписывала Горькому связь со снохою и даже отцовство собственной внучки. Каково было ему благословить к изданию роман Булгакова!

Я понимаю, что, живя в Советской России, кто-то мог невзлюбить евреев, но как, живя в Советской России, кто-то мог полюбить палестинцев, понять не могу. (За чтением «патриотических» изданий.)

В 20 — 30-е годы период до октября 1917-го называли не дореволюционным, а довоенным. Так и говорили про жизнь до 1917 года: «до войны», а не «до революции».

«До революции» стали говорить после следующей войны.

Саратов.



Р Е Щ Е Н З И И . О Б З О Р Ы

ЛИРИКА УМА, ИЛИ ПЯТОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ПОСЛЕ ЧЕТВЕРТОЙ ПРОЗЫ

Андрей Битов. Пятое измерение. На границе времени и пространства.
М., Издательство «Независимая газета», 2002, 544 стр.

«**О**н у нас оригинален — ибо мыслит». Недавно слышали мы, как этот классический афоризм был повторен читателем новой книги Андрея Битова как относящийся к автору книги: он у нас оригинален... К оригинальности Битова, мыслящего прозаика, мы привыкли. Но, пожалуй, впервые мы от него получаем чистую книгу мыслей.

Да, у Битова много книг, но такой еще не было. «Пятое измерение» — что это такое? Автор прошел сорокалетний писательский путь, этапы и маршруты которого можно и впрямь измерить числом. Внимательный взгляд различит на этом пути (соблазнившись при этом воспоминанием о Мандельштаме) четыре прозы Андрея Битова: ранние ленинградские рассказы («Аптекарьский остров»), роман («Пушкинский дом»), затем цикл путешествий и, наконец, «Оглашенные», новый, последний цикл, в котором на фоне горькой картины исхода нашей советской истории является тема «человека в пейзаже», универсальная экология как тема первого плана — экология природная и духовная, и особенно «экология слова» (на эту тему и специальный этюд в настоящей книге). «Проигранная в карты деревня не исчезала». Так было в той, не нашей, исчезнувшей жизни. Но: «Куда утекла вода и испарился воздух?» А если спросить о вещах потоньше: «Дух! Какой еще никем не ловленный разбой кипит на его этажах! Идеи крушатся по черепам как неживые, как ничьи. Никто за руку (за голову) никого не схватил. Не поймали никого на слове...»

Человек в пейзаже — состояние человека, поясняемое состоянием природы (мира без человека) как состоянием историческим тоже: она, природа, вплетена в историю и, что то же, судьба современного человека происходит на фоне судьбы птицы, коня, дельфина и близких к человеку обезьян («Ожидание обезьян», последняя крупная вещь прозаика Битова). Экология, эсхатология, сотериология («Оглашенные») особого битовского разлива — философический коктейль этой поздней (но и такой уже давней!) прозы.

Автор выполнил на пути, по пути свое «историографическую роль» (И. Роднянская), записал в свою прозу немалое количество и качество материала нашей общей сорокалетней истории; выполнил — и неужто замолк? Но вот перед нами «Пятое измерение» после «четвертой прозы». «На границе времени и пространства» — развивает автор заглавие книги — на границе пройденного и рухнувшего исторического времени и рухнувшего также нашего исторического пространства, пространства империи (любовно освоенного до этого в путешествиях автора: Армения, Грузия, Средняя Азия); но ведь и на границе вдруг возникшего нового времени, в котором нам является эта книга. И на других границах в ней себя чувствует автор: «Размышления на границе поэзии и прозы» — среди ее текстов. В общем же, он на границе прозы и мысли. Такая в нескольких отношениях пограничная книга. В ней, коротко говоря, эссеистика Битова, сопровождавшая всегда у него сюжетную прозу и пребывавшая с ней в непринужденном, естественном симбиозе, — тексты разных лет, есть среди них и свежие, явленные впервые. Умственная выжимка из опыта, из всего, что было прозой Андрея Битова, верхнее измерение мира автора, осознаваемое им как *память* поверх пережитого пространства и времени; и это пятое измерение памяти совпадает с пространством русской литературы как «вечной памятью» нашей, пространством, которому автор сам принадлежит изнутри и поэтому чувствует себя в личных отношениях с его уже вечными обитателями, от Аввакума до «протопопа Шаламова» и от Пушкина с Гоголем до Платонова с Набоковым.

Можно сказать про эту книгу, что это книга умных текстов, что это книга русского писателя о русской литературе, а также — что это книга лирическая.

В разговоре как-то автор сказал, что не то же самое — *мысль* и *идея*. Мысль — это в нас живое рождение, а идеи «крушатся по черепам как неживые, как ничьи». Когда-то, еще в «Уроках Армении», он различал идеи и идеалы. «Торжествуют идеи — не идеалы». И задавался неясным вопросом: «Откуда берутся идеалы? <...> С каким, откуда взявшимся отпечатком сличаю я свою жизнь <...>?» «Пятое измерение» — книга мыслей, а не идей, а самое это пятое измерение памяти, оно же пространство русской литературы, — наше наследие отпечатков, пространство идеалов. В одном из текстов книги сказано про наше новое время последних пятнадцати лет: вот наконец свободы навалом, а «с мыслью хуже». Для времени, у которого «с мыслью хуже», книга, пожалуй, может служить примером-практикумом, как можно «думать». Это действует на тебя, когда читаешь, и словно учит чему-то: мысли рождаются на ходу, сейчас, и формулируются при нас; а в то же время — как будто он уже это раньше подумал. Собственно, книга импровизаций, однако свобода импровизации простирается всегда из долгого и постоянного пребывания в мысли.

И оттого это книга лирическая. Не потому лишь, что такая личная. А потому, что акты мысли происходят сейчас. Книга, вся состоящая из моментальных мыслительных актов, как в лирике. Вот такая интеллектуальная лирика, а лучше скажем — *лирика ума*.

И оттого, наверное, все эти «размышления на границе поэзии и прозы» как внутренняя тема книги; эта почти что зависть прозаика-теоретика (автотеоретика) к мгновенной лирической точности речи; особенный интерес к лирическим достижениям в прозе в таких двух разных случаях, с противоположных сторон интересных, как проза поэта Мандельштама (очерк «Текст как поведение») и заветная проза профессионального литературоведа Лидии Яковлевны Гинзбург («Прорвать круг»). «Это и есть лирика» — сказано о ее блокадных записках; в каком же смысле? В том особом смысле, что она сумела высказать жуткую переживаемую реальность там же, тогда же, на месте (в блокадном Ленинграде и писались записки). То же — и симфоническая лирика Шостаковича, сумевшего, пользуясь неподсудностью своего музыкального языка, выразить трагедию народа и страны тогда же, в 30-е, а не потом («Гулаг и мемориал Шостаковича»). В книге «Пятое измерение» две большие линии мыслей вокруг таких больших вещей, как *время* и *язык*. Обе реальности претерпели свое под советской вечностью. В том числе претерпела способность человека видеть и понимать свое настоящее. Это и вообще, замечает автор, — тот, кто умеет видеть свое настоящее, куда как большая редкость, чем тот, кто будто бы прозревает будущее. «Это вам не экстрасенс какой-нибудь. Это уже Блок или Мандельштам. Это и есть лирика». Настоящий «лирик» в этом смысле стоит «пророка». На настоящее, как на солнце, трудно смотреть, могут только поэты и дети. — Общечеловеческое, конечно, дело, но и особым образом национальная наша проблема, та, повторяющаяся в истории нашей крепость задним умом: когда догадывались потом, что случилось тогда, — усугубленная в наших головах советской историей. В «Пушкинском доме» автор спрашивал себя: как рассказать о собственной юности 50-х годов? «Как изображать прошлое, если мы *теперь* знаем, что, оказывается, тогда происходило...» Но были в том же общем пространстве люди другого опыта и закала, были Шостакович и Лидия Гинзбург, лучше знавшие, что тогда происходило. Немолодой и уже до краев состоявшийся автор отдает старый долг, вспоминая наставницу. Когда начинали двадцатисемтолетними с ней дружить на заре тех самых 60-х, кто видел в ней писателя? Видели замечательного солидного ученого тыняновской выучки — «это мы были писатели». Оказалась же Лидия Яковлевна учителем не литературоведения, а учителем понимания самого важного — отпущенного нам в истории жизненного времени, которое проживать тогда начинали вслепую; оказалась не только «писателем» — «лириком» в особом битовском нестихотворном смысле способности сознавать себя в истории сейчас, а не потом.

Время и язык — герои пространства памяти и книги «Пятое измерение». «Ничего более русского, чем язык, у нас нет» («От „А“ до „Ижицы“»). Не слышна ли здесь реплика в сторону нашего патриотического сознания — не забыть о единственно главном, о тихом национальном корне за громкими идеологиями? Язык у Битова — герой и в прямом героическом смысле: он претерпел геноцид и выстоял.

«Никто так не выстоял. Язык рассмеялся» в повестях-поэмах Венедикта Ерофеева и Юза Алешковского («Памятник литературы как жанр»), синхронно явившихся на самом исходе 60-х и синхронно обозначивших, вместе с голосом Высоцкого, зазвучавшим тогда же, исчерпание и конец этой славной эпохи; на смену ей приходило время, когда язык в голосах этих новых лириков и прозаиков открывал свои трагифарсовые запасы; в их голосах перестал звучать «надежды маленький оркестрик», но зазвучала резко и горько карнавализованная народная оценка национального состояния. Но страданный путь язык проходил еще до того задолго, в предшествовавшие революционно-советские десятилетия, как корчился он и мучился в прозе сильнейших стилистов — Платонова, Добычина, Зоценки, претворяясь в еще не слыханную в литературе новую дикую гармонию, как ставила мучительные стилистические рекорды и в то же время теряла силы эта лучшая проза в попытках сделать «этот новый дикий живой язык» из отстраненного сказа собственной авторской речью и языком литературы...

Язык — природная наша среда, как воздух, поэтому — экология слова. Язык — океан, попробуй в него добавить хоть каплю, хоть слово. У Битова здесь своя философия языка, не взятая ни у кого. И вообще писатель Битов — филолог и теоретик; он интересно партизанил в полях понимания литературного слова и строит свою поэтику, к которой стоило бы и приличной теории присмотреться всерьез. Он, например, высказывает догадку, что речь поэтическая не есть венец эволюции нашей речи обычной, напротив, она изначальна, первична. «Неужели же наша невнятная обыденная речь есть распавшаяся и рассыпанная поэтическая?» («Соображения прозаика о музе»). Ни на какие исследования прозаик не опирается, но из исторической поэтики литературы он мог бы получить подтверждение о повсеместной во всех литературах первичности поэзии по отношению к художественной прозе, повсюду имеющей происхождение позднее. Он ищет моменты близости и наводит мосты между родимой прозой и чистой лирикой — и может получить лирическую поддержку от двух поэтов двадцатого века, один из которых стихотворно описывал чистейшую лирику другой в первых книгах ее, *где крепили прозы при-стальной крупицы...*

Вот и вопрос о новых словах в языке, которые по произволу в него не дано внести никому, — неожиданно что предлагает Битов? Он предлагает какие-то *имена* из русской литературы считать *словами* языка: не говоря о Пушкине, Гоголе, Чехов, Горький — «это уже слова, а не только имена». И вот вопрос: почему есть слово «Зоценко» и нет слова «Пришвин», почему стал словом нашего языка Маяковский и не стал Заболоцкий, как, впрочем, и Баратынский? Как «таинственный аппарат признания работает через язык», и не важно, как меняется по временам наше отношение к Маяковскому или Горькому, — как слова они уже состоялись. Вопрос: имя Битов стало ли словом?

Он у нас оригинален и как писатель-филолог, фигура редкая. Кто такой филолог? Это *читатель*, особым образом просвещенный, квалифицированный и, по идее, лучший читатель текстов литературы — уже потом исследователь, а прежде читатель. Битов — читатель русской литературы — известен давно, но в такой широте в настоящей книге является нам впервые. Книга, собственно, представляет собой персональную фрагментарную авторскую историю нашей литературы, от могучего протопопа и Ломоносова до Набокова, Зоценки, Заболоцкого, Бродского, Солженицына и живых современных явлений вплоть до «митьков». С Пушкиным в центре, конечно, и рядом с ним Грибоедовым, Гоголем и затем, в продолжение подземной линии отдаленного Аввакума и в предвесье Солженицыну, Достоевским «Мертвого дома» (*острог* и *остров* — значимое созвучие, своя произвольная смысловая этимология, и вот островное существование каторги на русской земле по ходу отечественной истории обратится в архипелаг), ну а также — особый и продуктивный пункт необычайно заинтересованного внимания автора — с Козьмой Прутковым как авангардным самозарождением в образовавшемся тогда в середине столетия промежутке, как бы паузе между золотым поэтическим веком и тяжелой романной эпохой («Сашенькины глупости»). В академическую историю литературы директор Пробирной палатки вписаться никак не может, а в истории битовской занимает одно из центральных мест как завязка будущих обэриутских

явлений, от которых рукой подать до ленинградской юности автора, до притихшего сюрреалиста под маской соцреалиста Геннадия Гора, до Николая Глазкова или Виктора Голявкина. В очень личную родословную у автора вписано это отечественное обэриуство в разных его проявлениях.

Андрей Битов — читатель русской литературы, но он ее и делатель. Стоя на рубеже столетий, он строит картину большого ее пути по магическим датам: 1799 (это понятно) — 1899, родивший контрастную гениальную пару — Набокова с Платоновым (а и Олеша с Вагиновым в том же году), не забывая при этом: а кто у нас родился в 1999-м (под суету двухсотлетия пушкинского) и какое можно будущее прозреть «сквозь мокрую еще пеленку» («Пятьдесят лет без Платонова»? Гадание о будущем литературы сквозь мокрую пеленку стоит любого иного магического кристалла — гадание о чуде с опорой, можно сказать это не без юмора, на точное наблюдение — гадание сквозь нашу чудесную пограничную хронологию, дважды нам уже гениально-природно так послужившую и только что вновь нами пройденную.

Автор, конечно, наследник великой литературы и наш современник, но он и участник все еще той самой литературы, он *автор*, и он *внутри*, в родстве и соизмеримости — да, и с Пушкиным, и с Гоголем, не только с близкими старшими современниками. Как будто в общем с ними пространстве. И ему не только позволено, но и доступно что-то такое, такой вольный взгляд на наших священных коров, что мне, цеховому филологу, не только не очень позволено, но и не очень доступно. Позволено к ним отнестись как к своим литературным героям. Например, мы знаем от Пушкина, как он читал Радищева в своем обратном радищевском (и по маршруту, и по направлению мысли) путешествии из Москвы в Петербург; но в 1844 году в Париже вышли «Три мушкетера» — и как не представить себе, как не погибший на дуэли Пушкин, ревниво следивший за всей французской литературой, едет в 40-е годы уже по железной дороге и читает «Трех мушкетеров» *вместо Радищева* («Три плюс один»). Остроумно, но что из того? А то, что национальный контраст и смена эпох: у них Дюма, у нас в это время «Мертвые души» и пишутся «Бедные люди»; и неизвестно, как серьезные русские люди читают Дюма. Но, по контрасту, Пушкин, из золотой ушедшей эпохи, наверное бы, по Битову, оценил. Слом, перепад эпох. «Удовольствие представлять себе *его* удовольствие».

Еще картинка словно из Хармса. Давно опубликованные три строчки в пушкинских планах, на которые до Битова пушкинистика никакого внимания не обратила: «Н. избирает себе в наперсники Невский проспект...» и т. д. Запись странно-го, никак не развернутого сюжета, и как это связано с «Невским проспектом» (датируется примерно синхронно)? Картинка: Гоголь к Пушкину прибежал прямо с Невского проспекта, взволнованный чем-то увиденным там, и мысль о Невском проспекте связала их, и это у них уже тоже общий сюжет (не один «Ревизор»), и Невский проспект стал уже олицетворение, превратился в героя... Ничего нельзя доказать, но надо ведь не замеченную никем запись Пушкина рядом с повестью Гоголя как-то понять, а прежде надо ее заметить, открыть, прочитать три строчки эти, а для этого представляемое событие их взволнованной встречи вообразить — и вот не профессионал-пушкинист, а пушкинист-художник делает открытие в пушкинистике («Об нем жалеют — он доволен»). А попутно, разбираясь в не совсем нам понятных отношениях Пушкина с Гоголем, с мифологическими знаменитыми подаренными сюжетами, предлагает нашей поэтике понятие *обеспеченного сюжета*: эти два главных сюжета были для Гоголя благодатно-творчески обеспечены тем, что пришли от Пушкина, отсюда и их такая в истории нашей судьба.

Историк литературы Битов не первый раз уже воображением вмешивается в загадочные отношения прежних творцов. Когда-то он внес свой вклад (правда, тогда хитро воспользовавшись героем романа, сделав его профессиональным литературоведом) в дальнейшее распутывание-запутывание затеянной еще в 20-е годы Тыняновым литературоведческой интриги под названием «Пушкин и Тютчев», заметив, что все относящиеся к ней факты, которых мало, — это «факты бесспорной спорности», и бросив попутно камень в науку, старающуюся держаться при фактах. Научная работа без фактических ошибок, заметил он, узаконивает нищету понимания. Сам он научной работой не занимается, настаивая, что он не исследователь, — однако всюду он в настоящей книге исследователь. Один за другим он

строит филологические сюжеты — и вовсе не все они будто из Хармса. Пушкин и Грибоедов — тоже не так много фактов, но образуется сюжет между ними волнующий («Два вола — четыре вола»). Сюжет о творческой зависти Пушкина, исполненный благородства. Пушкин не просто заинтересован — задет явившейся перед ним комедией (1825: пристрастные первые отзывы, но — единственное из современных произведений, с которым приходится внутренне посчитаться); а спустя десять лет окончательное, проникновенное, как памятниковое, последнее слово о Грибоедове («Путешествие в Арзрум», 1835), в котором Пушкин завидует его биографии и героической смерти — а сам подходит уже к порогу собственной. Завидует благородной, возвышенной завистью, той, о которой сам говорил, что она «хорошего роду». «Незримый пласт его жизни», *угаданный* — сквозь факты — сочувственным воображением. Битов смотрит Пушкину в душу, не вызывая у нас протеста, и получает картину их отношений, о которой мы не вполне догадывались. Картину такую, что место старшего Александра Сергеевича во внутренней жизни младшего изменилось и возросло.

Книга русского писателя о русской литературе и книга лирическая. Лирическая и стихами Андрея Битова, они здесь также в составе книги. Наверное, автор знает скромную цену своей стихотворной лирике, но она ему дорога и в новом синтезе этой книги нужна. Стихи не отделены от мыслительной ткани книги, они в нее вписаны перемежающим тонким слоем. Мыслительная же ткань есть то самое, чем нам давно и нынче заново интересен автор Битов.

Сергей БОЧАРОВ.



ЭНКИДУ НЕ ВОЗВРАЩАЕТСЯ

Александр Эбаноидзе. Брак по-имеретински. Романы. [Предисловие Льва Аннинского]. М., Издательский дом «Хроникер», 2001, 399 стр. («Мир современной прозы».)

Два романа, составивших новую книгу Александра Эбаноидзе, разделяет не только четверть века, но и тектонический разлом, совершившийся на наших глазах. Соединяя разновременные и содержательно полярные тексты, писатель рассчитывает на некий дополнительный смысл, возникающий, что неизбежно, между любимыми так или иначе соотнесенными явлениями. Этот дополнительный смысл, как мост, соединяющий два берега, — с него просматривается несколько дальше и немного по-другому все та же и вроде бы совсем привычная река.

Кстати, именно родной реке посвящены во всех романах А. Эбаноидзе самые взволнованные и лирические страницы, а в первом даже целая глава. «Ее легкий, веселый характер» чувствуется и в стиле писателя. Слово писателя мягко и стремительно, как вода, прикается к вещам и явлениям мира, любовно перебирает их, как гальку на дне, любит ими. Очевидно, что именно река дала тот первый чувственный импульс, который лег в основу эстетического отношения к миру.

«Два месяца в деревне, или Брак по-имеретински» — роман этот дышит счастьем молодости и полноты жизни, избытком нерастратченных сил, верой в будущее, в свое призвание. «Ныне отпускаеши...» звучит как реквием — по любви, по жизни, по любимой Грузии. «Выгоревшие окна швыряют в ночь снопы искр. Пушка не унимается. Трещат автоматы. Город горит». Горит Тбилиси, уже столетия не знавший подобного. В этом теперь чужом и страшном городе где-то валяется труп убитого журналиста — героя повествования.

Второй роман написан по горячим следам грузинских событий, которые искаженным эхом доносились до нас средствами массовой информации. Пожалуй, только с появлением текста Эбаноидзе — он определил его как триптих («Реквием», «Версия невменяемого», «На пепелище») — русскому читателю становится внятен смысл, точнее, бессмыслица происходившего на улицах прекрасного и любимого не только грузинами города. В романе «Ныне отпускаеши...» дистанция

между подлинной, «нетронутой словом жизнью» и «вереницей строк, имитирующей ее», практически исчезает.

В процессе превращения винограда в вино (Эбаноидзе дополняет знаменитую формулу Грильпарцера упоминанием о зависимости конечного продукта от грунта и климата) энергия и правда жизни — именно о них главная забота автора — обязаны возрастать, в крайнем случае сохраняться. Если этого не происходит, значит, что-то не так — то ли с виноградом, то ли с самим виноделом. А может, с почвой и климатом. О творческом и жизненном тупике, в котором оказался герой-писатель, повествует роман «Вниз и вверх», появившийся в начале перестройки.

Для меня знакомство с творчеством Эбаноидзе началось с романа «...Где отчий дом». Грузинская реальность, явленная в русской речи, впечатывалась в сознание ярко и празднично. Она несла в себе энергию жизни, которой так не хватало в те годы. Впрочем, солнце и радость в русской литературе были всегда в дефиците. Чаще всего благодаря пишущим по-русски инонациональным авторам сохраняются в нашей литературе солнечные островки оптимизма и мудрости. Достаточно называть имена Фазиля Искандера, Иона Друцэ, Чингиза Гусейнова. (Иногда кажется, что всю историю русской литературы последнего столетия можно определить в двух словах — прощание с мудростью.)

Бестселлер семидесятых, «Брак по-имеретински», выдержавший десятки изданий и переводов на иностранные языки, несколько экранизаций — неудачных, по мнению автора, — я прочитал только сейчас. Он так и просится в руки Георгия Данелии. После первого романа я перечитал и остальные. Безусловно, чтобы извлечь максимум удовольствия, читать надо их в нашу русскую зиму, когда за окном тьма и холод. Перечитывая, убеждался, что это литература не одноразового использования. То есть попросту классика.

Слышу: непонятно, чей классик — грузинский, русский, московский? Да в чем проблема: и русский, и грузинский. Вон украинцы приватизировали Гоголя, ну и прекрасно. Из-за классиков воевать не будем. Тем более, как говорит одна из героинь романа «Ныне отпускаеши...», в России один хозяин — «строгий, неподкупный, справедливый. И знаете, кто это? Не Горбачев, не Ельцин, не Гаврила Попов. Это русская литература».

Соединенные в новой книге по принципу контраста, романы высвечивают и то, что раньше не бросалось в глаза. Сегодня очевидно, что наряду с репортажно-жгучей современностью в них присутствует и вечность — мудрость просвещенного и одновременно народного взгляда на вещи. Становится также заметно, что зерна раздора и вражды рассыпаны уже и в первом романе. И поэтому стоит вернуться к его анализу десятилетия спустя.

Безмятежное, неосознаваемое счастье юных героев — Нуцы и Ладо — еще в пределах природного мира. Оно обеспечивается запасом энергии, дарованной при рождении. Река и горы, родники и виноградники, животные и деревья, люди — все явлено для молодых героев в своей природной особости и несомненности. И Красный Симон, председатель колхоза, и бывший поп Касьян, пьяница и шутник, и Бесо Ниорадзе, деятель теневой экономики, — все дети одной и той же земли, равно достойные жизни и счастья, хотя и понимают они его каждый по-своему.

Молодой скульптор Ладо воспринимает своих земляков, в сущности, как давно привычные детали пейзажа вроде Синего камня или любимой реки. Между собой эти герои в пространстве первого романа также никак не сталкиваются, мирно располагаясь каждый в своей нише. Агрессивного противодействия не происходит, отчасти и по богатству земли, щедро вознаграждающей за труды любого; но главное, конечно, благодаря наличию силы, многократно превосходящей каждого, имя которой — власть. Кстати, демонстрации этой силы в романе отсутствуют. Не пахнет ни парткоммами, ни райкоммами, ни даже участковыми милиционерами. Реальный ее представитель — Красный Симон — кажется всего лишь старшим родственником.

В почти идиллической деревенской жизни торжествует стихия естественных начал и общинной солидарности. Правда, в период становления новой власти Симон получил пулю от кого-то из односельчан, чуть было не ставшую роковой. Но это было давно. День за днем катится по пробитым колеям обычаев и сложившихся

норм поведения, восанных с молоком. При любой власти доля земледельца всегда одинакова: однообразный, тяжелый, отупляющий труд. Поэтому крестьянство, или слой людей, работающих на земле, остается самым консервативным классом. Все перемены для него — только к худшему. В какой-то мере обаяние первого романа возникает и за счет идилически-патриархального фона. Но это не нарочитая лакировка действительности, а лишь взгляд на нее глазами молодых и переполненных жизненной энергией героев, пребывающих еще в природе, вне социума.

В эту самодостаточную жизнь традиционного общества вторгается незаметно чуждый элемент. Им оказывается не кто иной, как внучек уважаемой Тебране, живущий в Тбилиси. Он получил высшее образование и стал — подумать только! — скульптором. Надо же! За это, говорят, даже и деньги платят. И хорошие. По крови, по детству, проведенному в деревне, он, конечно, свой. Поэтому так радостно принимает деревня дорогого Ладо — своих она умеет любить. Одобряет она и решение Красного Симона поручить земляку создание скульптуры, которая украсила бы площадь перед правлением. Все-таки не какому-нибудь чужаку отдавать кровные денежки. Да заодно и посмотрим, чему он там научился, в этом своем городе.

Правда, почему-то вместо Симона, заслужившего честь быть изваянным (на что тот и сам надеялся), внучек Тебране выбирает дочку соседа-спекулянта Бесо Ниорадзе — Нуцу. Ох уж этот Ладо! Ясное дело — на девушку приятнее глядеть! А Ладо, то бишь Владимир, перебивавшийся в Тбилиси случайными заказами на памятники, отошавший, обнищавший — нелегко хлеб свободного художника при любой власти — и на занятую десятку приехавший в родную деревню, уже видит в худенькой смуглянке образ своей родной Имеретии. «Я видел, — повествование идет от лица героя, — что именно она должна быть моей натурой — только юная красота девушки давала мне возможность выразить всю любовь и нежность к моей земле».

Получив у отца Нуцы разрешение позировать и превратить старый сарай с козой в мастерскую, со всем пылом художественной натуры Ладо принимается за работу. Тем более что о хлебе насущном думать не надо: вино, хлеб и сыр доставляют ему ежедневно, а лобio готовит, конечно, бабушка, старающаяся откормить сильно отошавшего внука. Нуце за то, что стоит и ничего не делает, — оказывается, это тоже работа, — Красный Симон пообещал выписать десять трудодней. Чего только не выдумают в этом городе!

Ладо увлечен своим замыслом, доволен своей прелестной и послушной натурщицей, отец которой довольно легко согласился отпускать ее в сарай-мастерскую. Ничего, кроме будущего шедевра, молодой скульптор не видит. Эйфория творчества, в которой пребывает наш герой, выглядит со стороны всего лишь откровенной влюбленностью. Это очевидно для всех — и для старой Тебране, на глазах которой в порыве творческого восторга Ладо обнимает и целует Нуцу, и для деревни, лазутчики которой подглядывают через окно в крыше, и главное, для Бесо Ниорадзе. Ну что ж, парень образованный, с перспективой, свой — не какой-нибудь кот в мешке. Бесо согласен отпускать ее в сарай. Разрешение было отпраздновано как помолвка, с привлечением всех родственников, с шумным и веселым застольем, с бесконечными тостами, с мужским хоровым пением. Умение превращать в праздник каждое движение по дороге жизни — черта, безусловно, национальная.

Суть происходящего во время поистине раблезианского — или, вернее, грузинского — пиришества ускользнула только от будущего жениха. А тут еще и ежедневные прогулки после работы — на глазах у всей деревни. Это для Ладо Нуца — прежде всего модель, а для деревни она — прежде всего девушка, которая гуляет с парнем. Смысл этих прогулок и времяпровождения в сарае для деревни очевиден — скорая свадьба, радость для всех. Да и Нуца увлечена городским восторженным краснобаем, так не похожим на мрачно преследующего ее Комода. В какой-то момент она даже готова убежать с ним — умным, красивым, щедрым.

И вот после всех творческих исканий и мук работа закончена. Бегущая Нуца, Нина Виссарионовна Ниорадзе, явленная в глине, осторожно укутана в рогожи. Дней пять Ладо на радостях бражничает с дедом Касьяном и со всеми, кто подворачивается. Он совсем не подозревает, что вот-вот станет героем иного, уже трагикомического, действия. После праздника, последнего в мире полной свободы и всеобщей любви, он вдруг оказывается в мире насилия и ненависти.

Совсем неожиданно для себя Ладо узнает, что все ждут его женитьбы. «Если бы я женился на всех натурщицах, которые мне позировали!..» — в сердцах восклицает наш скульптор. На что бабушка справедливо возражает: «Нуца не каждая!» Тем более не натурщица. Она из другого мира, где это слово ничего не значит. Просто девушка, на которой ты собираешься жениться, может тебе кое-что позволить, как бы одолжить. (Помнится, что в свое время то ли Ван Гог, то ли Сезанн жаловался, что провинциальный городок не позволит им иметь натурщиц.)

Возникает неожиданная ситуация, в которой свободный художник, готовый ради своей свободы голодать и нищенствовать, вдруг оказывается в состоянии грубого принуждения. Деревня, излучавшая еще недавно токи любви и уважения, теперь едина в своем гневном порыве: от мала до велика все требуют женитьбы героя. Опять же потому, что все еще считают его своим, которому надо просто подсказать — забыл в городе, — как себя вести в подобных ситуациях. Ведь пострадала честь девушки — теперь даже Комод не женится на ней. «Но я же ее пальцем не тронул!» — упорствует в своем заблуждении Ладо, демонстрируя полное непонимание законов такого вроде бы привычного и милого его сердцу мира.

Суть в том, что молодой скульптор соединен с миром своей деревни только наполовину — лишь через красоту природы, волнующей сердце художника. Для него кормящий ландшафт — явление только эстетическое. Он — *выходец* из деревни. И этим словом все сказано. Как у всякого, даже локального, социума, у деревни свои законы, которые помогают ей выживать в экстремальных условиях. Законы эти неписанные, а потому и непреложные. Кто не признает ее законов — чужак. А чужаков деревня умеет ненавидеть так же сильно, как и любить своих. Молодому художнику довелось испытать и то и другое. Да, чужак. Жестоко избитый на прощанье Комодом, с изуродованным лицом, возвращается Ладо в свою городскую каморку.

Мировая Деревня и мировой Город — вечные полюса истории, неизменные при любом социальном строе, обеспечивающие соблазнительное движение и катастрофические перемены. Город, отгораживаясь от природы высокими стенами, рождает живопись и скульптуру, науку и технику, несметные богатства и нищету, комфорт и свободу, утонченность чувств и грубость разврата. Сегодняшний исламский фундаментализм — яростное сопротивление мировой Деревни, но вооруженной последними разрушительными достижениями городской цивилизации. Тем не менее каждый народ обречен пройти свой собственный путь от деревни до города. И далее: когда деревня снова, как трава, заполняет площади былых городов. Вечное движение от простого к сложному, от сложного к простому.

Мотив «Гильгамеша», с пастухом-богатырем Энкиду, увлеченным в город, автор исключил из последней редакции романа. Но мотив не исчез, он возник в романе «Вниз и вверх», герой которого, писатель, поражен не архаичной красотой сказания, а тем, «что, едва ступив на путь цивилизации, едва „отвернувшись от стада“, человечество усомнилось в правильности сделанного шага и, с первозданной, первобытной силой высказав это сомнение, запечатлело его на глиняных табличках. Часть табличек уцелела, и теперь мы знаем, как длинна цепь, протянувшаяся от безымянного создателя эпоса до Руссо и Толстого. Выбор был сделан, точнее, предопределен, но сомнения никогда не покидали человечество».

Выбор Ладо также предопределен — его душевной природой, тонкостью и глубиной восприятия, уже не совместимой с благополучной жизнью в привычной среде. Для этой среды такие, как Ладо, — свидетельство вырождения. Для желанной стабильности деревенского мира от всех подозрительных особей следует избавляться. Роль деревенского чудака вроде вечного книгогоча Коли Катамадзе — вот тот максимум, на который мог рассчитывать наш Ладо в родной своей деревне. Ну, малевал бы еще афиши да вырезал кукол соседским девочкам.

Ладо — первый интеллигент в своей фамилии. Уже не деревенский житель, но еще и не вполне горожанин. Ведь корни его там, в родной деревне. Только питаясь от них, он начинает плодоносить. Его чувство природы еще свежо и остро. Пластика природных форм радует его и волнует. Поэтому вполне естественно, что он скульптор. Ведь первым искусством, достигшим вершин в городском мире, и была скульптура. Но крона нашего героя уже в городе, тянется к высокому небу мирового опыта, культуры. Кстати, все главные герои Эбаноидзе — интеллигенты

в первом поколении, располагающиеся — от романа к роману — на шкале градации (деградации) природно-незамутненного начала: скульптор, актер, писатель, журналист. Одна из героинь романа «Ныне отпускаеши...» замечает: «Какая мелкая, какая мерзкая наша профессия... И сколько же мелочного любопытства в человеческой природе, если журналистика обрела такое влияние!» Очевидно, что именно журналистика и есть блудница, увлекающая сегодняшнего Энкиду.

Как видим, писатель зафиксировал ситуацию, типичную для современного мира, независимую от места обитания и политического строя. Всюду на земном шаре город отрывает от деревни ее сыновей и дочерей. Хотя в Советском Союзе процесс урбанизации был наиболее стремительным и наиболее мучительным. «Два месяца в деревне» — именно такова первая половина названия — понадобилось Ладо, чтобы испытать на собственной шкуре одно из самых фундаментальных и болезненных противоречий современности.

Что касается хеппи-энда, заявленного в начале романа, то это отчасти некая уловка, придающая повествованию еще и детективный интерес. С другой стороны, желанная женитьба героя переводит всю историю в некий развлекательно-водевильный ряд и снимает все вопросы. Хотя очевидно, что всерьез женить Ладо на его прелестной модели никак нельзя — это люди разной породы. Но и бросать полюбившегося героя одного в зимнем городе — тоже жестоко. Читатель не простит. Поэтому поневоле приходится сыграть, как говорит мудрый учитель Ладо, некую «травестию невинности» и сделать вид, что возвращение Энкиду возможно. Именно через женитьбу на чистой и юной девушке — противоположности блудницы Шамхат, увлекающей на путь цивилизации. Но Энкиду, возвращенный в первозданность, к своим стадам, уже не Энкиду. Поэтому, сделав вид, что женит героя, писатель был вынужден исключить и древний мифологический мотив.

И все же взрослому и социально прозревающему — от романа к роману — герою от судьбы не уйти. Можно утверждать, что в прозе Эбаноидзе мы имеем дело с одним типом героя, опирающимся на психофизиологический фундамент личности автора и всегда находящимся в центре повествования. Очевидно, что произведения писателя носят лирико-эпический характер. (Это подтверждается и его экспрессивным стилем, схватывающим суть характера или пейзажа. Писатель может только заметить, что «туман вдыхает и выдыхает дом на склоне горы», а у читателя сразу возникает живая картина...)

Как и в первом романе, герой «Ныне отпускаеши...» возвращается в Тбилиси в декабре. Зовут его Лаврентий — отец работал в ведомстве борца с социализмом и первого демократа (каковым рекомендует себя периодически оживающий восковой манекен Лаврентия Павловича Берии). Фамилия героя говорящая — Оболадзе. В переводе — «осиротевший». («Автор сигналил нам, что органичные связи отрезаны, и всю эту драму герой проводит на подмостках в роли, которая ему навязана» — Л. Аннинский.) Он не скульптор, а журналист. Приехал из Москвы, где живет уже давно. Конечно, куда еще было податься нашему Энкиду, как не в Москву, — в Тбилиси он деревенщина, в деревне — горожанин. Обретает относительную идентичность только в многонациональном городе — просто грузин. К тому же только там в наличии полный набор соблазнов цивилизации. Работает на телевидении. (Это уж настоящая Шамхат.) Его ценят за смелые и правдивые репортажи. Семейная жизнь не сложилась. Пользуется успехом у женщин. Но все еще любит девочку из своего детства, двоюродную сестру, живущую в родном Тбилиси. Она все эти годы замужем. Такой же холодный и слякотный декабрь, как и в конце первого романа. До отвращения очевидно, что разум не залог разумности мира, но лишь свидетель его безумств. Жениться больше не на ком. Остается, как мифическому герою, только умереть.

«Реквием» — первая часть триптиха — посвящен апрельским событиям, когда советское руководство Грузии разгоняло мирную демонстрацию. В центре история юной жизни, оборвавшейся в те дни. Отнюдь не случайно, что она, как и героиня первого романа, — тоже Нина, имя классическое для русской литературы со времен Грибоедова. Только по-домашнему зовут ее — звали! — не Нуца, а Нино.

Эта часть сделана подчеркнута журналистски — встречи с людьми, разговоры, видеозаписи. Русский парень, послушник Паша, также участник тех событий, тог-

да еще в солдатской форме. Выносил пострадавших из побоища. Теперь истово замаливает не им совершенные грехи. Журналист не тычет пальцем в виноватых. Ткань бытия пестра и многоосновна. Кто в этом мире без вины? Ведь часть ее и на нем, оставившем свою родину.

Даже в этом самом политизированном романе Эбаноидзе остается вне политики. Цель его — создание картины, сохраняющей все пропорции реальности. Он обеспечивает фон народной крестьянской мудрости, который выявляет все безумие, совершающееся в Городе. «Ныне отпускаеши...» — роман без хеппи-энда. Потому что написан в другое время и о другой жизни. Поставленный рядом с первым, дает представление о течении жизни, таком же извилистом, как река, упрямо пробивающая русло в скальной породе времени.

...Когда перед глазами героя, летящего из Москвы, возникает родная речка, с разгону налетающая на Синий камень, последние сомнения исчезают: все-таки «брак по-имеретински» не состоялся. Энкиду не вернулся. Его тело, то есть тело журналиста Оболадзе, ищет под пулями на улицах родного города неистовая Луиза, девочка из его детства, проведенного возле родной реки, — всегда любимая Лу.

Шамхат?
Нуца?

Валерий ЛИПНЕВИЧ.

*

ПОЭТ В ЭПОХУ ПЕРЕПРОИЗВОДСТВА

Глеб Шульпяков. Щелчок. Стихотворения, поэмы. М., Издательство «Независимая газета», 2001, 120 стр.

Поэтическое поле русской поэзии заселено густо. Найти в нем свое особенное место все труднее и труднее. Кажется, Глебу Шульпякову это удалось. У него сильное чувство формы и острое зрение. К ритму он относится с большим пиететом, его стихи исполнены элегантно простоты и музыкальности. Он не боится неточной рифмы и выразительной шероховатости.

Два рецензента уже писали о свойствах стихов автора. Первый, Владимир Губайловский, утверждал, что им присуща смазанность и нечеткость окружающего мира, некая метафизическая близорукость. Для рецензента «Русского Журнала» автор, наоборот, — мастер цепкого взгляда, мастер формы и детали, как никто из современных поэтов, дотошен в мелочах.

И оба рецензента правы.

Просто в первом случае разговор шел о содержательном уровне стихов Шульпякова. То есть о том, что современный мир, увиденный его глазами, не имеет четко выраженной осмысленности, структуры, стержня. Его мир — это мир, который прячет «большой» смысл, прикрываясь второстепенными, «малыми» смыслами. Отсюда — поэтическая близорукость автора, некая, что ли, куриная слепота, царящая в его стихах, и как следствие — бесконечные сумерки за окном («Вечер, печальный, как снег на картине...», «...Между тем стемнело...»), «И вот под вечер, сидя на холме...»); а если время года — то весна, когда еще ничего не понятно, или поздняя осень, когда все вокруг теряет отчетливые формы и линии. Зима или лето (то есть «однозначные» времена года) появляются только в тех случаях, когда автор уверен в содержании собственного высказывания — как в стихотворениях «Я о том же, я просто не знаю...» или «Скоро кончится лето...»; но ведь и «зимой все засыпано снегом». Снежит, смеркается, моросит, светлеет. У поэта своя погода и свой календарь.

Что касается второго рецензента, он делает упор на фактурность мира, который дотошно описывает автор, считая именно фактуру содержанием поэзии Шульпякова.

Нам же кажется, что автор описывает внешнее, фактуру в надежде поймать в ее сети смысл. Он как будто вьет кокон, который обнимает невидимое и пока неизвестное содержание, тем самым давая — хотя бы — его очертания.

Говорилось также о зависимости автора от классической поэзии. Действительно, классика является для него таким же бесспорным фактором жизни, как быт или пейзаж. Нам представляется уместным выделить здесь два момента. Первый связан со стихами, целиком посвященными русской поэзии, — Блоку, например, в стихотворении «Шестьсот двенадцать, два нуля», которое полностью построено на ассоциациях, возникших у автора после посещения музея-квартиры поэта. Отсюда все эти детали — номер телефона в квартире Блока, спиртовка, на которой грели чай, шенок — фарфоровая такса, стоявшая на столе поэта, — и вид из окна на Пряжку:

А за окном плывут дымки
и снег хрустит, как сторублевка.
Идут вдоль Пряжки мужики.
У них сегодня забастовка.

Второй момент — когда автор вводит в ткань собственного стихотворения чужие образы, обыгрывает чужие строки. Это своего рода оммаж классикам, признание зависимости, признание связи, ну и просто — факт обильного чтения, когда понаравившиеся строки становятся твоими, хотя ты уже даже не помнишь, откуда они пришли к тебе: как в случае с несколькими буквальными совпадениями с Бродским, Лосевым, Гандлевским, Елагиным, Пастернаком, тем же Блоком или Тедом Хьюзом. Хочется заметить, что сосед автора по поколению — Максим Амелин — также разрабатывает пласты русской поэзии в собственных стихах, но работает он с более архаичным уровнем — поэзии восемнадцатого века, полностью укрывая свои чувства ее тембром. Это полюс «справа» от нашего автора. А вот полюс «слева» — это другой сосед поэта по поколению, Дмитрий Воденников, выстраивающий свою поэтику на бесконечном лирическом монологе, на эмоциональном разведении, на исповеди, которая часто пренебрегает формальностями стихосложения.

Вот здесь, между двух полюсов, на экваторе, так сказать (то есть на стыке скрытой цитаты и подлинности пейзажа и чувства), и возникает поэзия Глеба Шульпякова. Но он выбрал еще один способ, чтобы удержать рассыпающийся мир, — повествовательность. Отсюда — такой не слишком распространенный в современной поэзии жанр, как поэма, который развивает автор.

Каждая из поэм имеет у него жесткий, часто детективный, сюжет. А уж потом на этот стержень, как на елку, автор вешает украшения стиля, формы, метафор, лирики — и так далее. Повествовательность связана у автора с его путешествиями по миру — ибо путешествие есть сюжет на самом первом уровне: хотя бы на уровне того, что мелькает за окном.

Итак, в поэмах нам предлагается на первый взгляд два типа путешествий — во времени и в пространстве. «Тамань», «Тбилисури» — пространство: поездка автора в Польшу и в Грузию. А вот «Грановского, 4» — это уже время: Москва в начале девяностых, та самая удивительная пора, когда ничего еще не было ясно относительно будущего страны. А «промежуток», как мы знаем, располагает к замысловатым сюжетам.

За всеми этими «буквальными» путешествиями, однако, стоит главное «путешествие» автора. Как уже справедливо замечал Дмитрий Бавильский, автор разъезжает по миру только для того, чтобы снова вернуться в Москву, которая в итоге является главной героиней его поэм, да и всей книги, ведь и названной по одному из столичных топонимов¹.

Вернуться (хотя бы по памяти) в Москву детства, как в большом лондонском стихотворении «Camden Town», или в Москву студенчества, как в «Грановского, 4»², или в Москву — столицу классической русской литературы, как в поэме «Тамань», где сюжет путешествия повторяет лермонтовский. Или, наконец, в Москву реальную, где живет автор и куда возвращается из Тбилиси, попав в столице Грузии в изрядную передрагу.

¹ Щелчок — Щелковский автовокзал в Москве. (Примеч. ред.)

² О поэме «Грановского, 4» см.: «Новый мир», 2001, № 2 («WWW-обозрение Сергея Костырко»). (Примеч. ред.)

В этом заключается главное отличие поэм Шульпякова от поэм Евгения Рейна, например, преемственность с которыми автор сам видит и всячески подчеркивает. На уровне метра и ритма — пятистопного белого ямба — преемственность очевидна, но вот смысловой маршрут выбран Шульпяковым другой. В своих поэмах Рейн — накопитель, собиратель вещей, которые символизируют для него связь времен, непрерывность истории, материальное выражение собственной судьбы.

У нашего автора — все наоборот.

Он — поэт эпохи перепроизводства, когда вещи переполняют мир, отчуждают от своего смысла и теряют ценность, еще недавно существовавшую для Рейна.

Отсюда — драматические развязки в поэмах автора, который с маниакальной настойчивостью расчищает мир от переизбытка культурной материи (а значит, и истории!), который болен от вещей, перегруженных чужой историей и чужой жизнью. Поэтому в каждой поэме погибают вещи — в «Грановского, 4» разграблен и уничтожен склад антикварного барахла на квартире у сумасброда коллекционера, в «Тбилисури» сгорает в пожаре лавка, в которой торговали старинными коврами, в лондонском стихотворении автор швыряет в воду новенькие ботинки, в «Тамани» он еще более строг к себе, поскольку позволяет контрабандистам по ходу сюжета украсть собственный чемодан, набитый собственным же барахлом.

За всем этим нам видится скрытое стремление автора остаться наедине с собственной сущностью — и с миром как таковым, чтобы понять смысл и того и другого. В этом отношении его стихи чрезвычайно современны — в эпоху захламленности автор всеми доступными ему средствами стремится к простому высказыванию, к чистой эмоции, к цельности натуры своего лирического героя, к безусловности и подлинности мира, к новой искренности, наконец!

Валентина ПОЛУХИНА.

Лондон.



МНОГОСТРАДАЛЬНЫЙ ШЕДЕВР

Джойс Кэрол Оутс. Дорогостоящая публика. Перевод с английского О. Кириченко. М., «Гудьял-Пресс», 2001, 256 стр.

Любую статью, посвященную американской писательнице Джойс Кэрол Оутс, принято начинать с завистливо-восхищенных рассуждений о ее фантастической, почти нечеловеческой работоспособности. Не отступлю от традиции и я, ибо плодovitость Оутс действительно поражает воображение: хрупкая с виду женщина (ко всему прочему постоянно занятая преподавательской работой в ведущих американских университетах) наваяла более сорока романов и повестей, двадцать пять сборников рассказов, десятков пьес, восемь поэтических книг и девять критических и литературоведческих сборников. Многописание — не такая уж диковина для профессиональных англо-американских беллетристов второй половины XX века (не говоря о поставщиках массовой литературы, работающих едва ли не быстрее печатных станков). Однако, если взять «серьезных» авторов с именем и репутацией, то похоже, что по части валового объема литературной продукции Оутс переплюнула всех, даже таких суперплодовитых тяжеловесов, как Бёрджесс и Апдайк.

Настоящая ударница капиталистического труда, регулярно выдающая по двести книги в год, она не только бьет все мыслимые количественные рекорды, но и изумляет жанрово-тематическим разнообразием. Тут вам и заковыристые литературоведческие штудии (например, о Чехове как о родоначальнике театра абсурда), и сенсационные политические детективы с разоблачениями власть предержащих («Убийцы», 1975; «Черная вода», 1992), и экзистенциалистские романы-притчи («Страна чудес», 1971; «Сын утра», 1978), и громоздкие семейные саги с разветвленным сюжетом и множеством повествовательных точек зрения («Их жизни», 1969; «Ангел света», 1981), и *biographie romances* (роман о Мэрилин Монро «Блондинка», 2000). В художественном арсенале писательницы и едкая сатира на затхлые мирки университетских кампусов (рассказы из сборника «Голодные призраки», 1974; роман «Несвятая любовь», 1979), и леденящие душу готические истории в

духе Уолпола и Радклиф (роман «Тайны Уинтерторна», 1984), и голливудского пошиба «ужастики», избыточные грубовато-натуралистическими сценами, где с педантичной обстоятельностью живописуются разного рода кровавые мерзости (например, в одном из рассказов сборника «Одержимые» (1994) муж-садист изощренно издевается над молодой женой и в один прекрасный день засовывает ей в промежность крысу — до тех пор, пока снаружи не «остались только... лапки и розовый восьмидюймовый хвост». Бр-р-р!).

Стоит ли говорить, что количеству написанного далеко не всегда сопутствует высокое качество и что среди произведений Оутс есть немало проходных, автоэпигонских, а то и вовсе провальных вещей, повисающих в безвоздушном пространстве где-то посередине между изящной словесностью и легковесным чтивом. Но о талантливом художнике мы должны судить по его удавшимся творениям, а посему придержим критический яд. Тем более что речь у нас пойдет об одном из лучших оутсовских романов «Дорогостоящая публика» (1968), вышедшем в превосходном переводе Оксаны Кириченко (благодаря ей в русской литературе обрели прописку англоязычные произведения таких авторов, как Владимир Набоков, Кингсли Эмис, Рудольфо Анайя, Джон Апдайк, и других).

Об Оутс у нас принято судить по растянутым социально-бытовым романам вроде «Сада земных наслаждений» (1967) и «Делай со мной, что захочешь» (1973), которые были переведены еще в советскую эпоху и после бесконечно перепечатывались разными российскими издательствами. В отличие от этих дрябловатых драйзероподобных монстров, «Дорогостоящая публика» — компактный, мускулистый роман, в котором удачно совмещаются элементы социальной сатиры и жестокой мелодрамы (с непременным адюльтером, сценами скандалов и роковым выстрелом). Плюс ко всему это и своеобразный «роман воспитания», рассказывающий о «распаде детства» и раннем взрослении одиннадцатилетнего мальчика, которому открываются «ошеломляющие истины» человеческого существования.

Любителям литературных аналогий роман Оутс скорее всего напечалит культовую книгу пятидесятих — шестидесятых годов «Над пропастью во ржи». Подобно сэлинджеровскому супербестселлеру, «Дорогостоящая публика» представляет собой исповедь юного аутсайдера, болезненно постигающего жестокие законы жизни и протестующего против фальши и лицемерия взрослых. Совпадают и некоторые реалии американской действительности, воссозданные в обоих произведениях. Например, и в одном, и в другом с нескрываемой иронией изображаются привилегированные частные школы, в которых учатся герои-повествователи. Только вот у Оутс учителя еще более фальшивы и бездушны, а ученики, отпрыски средней и высшей буржуазии, еще более испорчены: один уже в тринадцать лет стал законченным алкоголиком, другие вовсю балуются сигаретками с марихуаной; списать домашнее задание дают только за деньги (такса — пятьдесят центов).

Тем не менее сходство между романами Сэлинджера и Оутс чисто внешнее, как и между их протагонистами. В отличие от эгоцентричного и инфантильного Холдена Колфилда, герой-повествователь «Дорогостоящей публики» не заиклен на максималистском отрицании сложившегося жизненного уклада. Оутсовский Ричард Эверетт — закомплексованный тихоня и самоед, «ошипанный ангел», страдающий от духовного одиночества и равнодушия со стороны родителей, чей брак давно превратился в обоюдную пытку. К тому же он, что называется, «ненадежный повествователь»: по прочтении романа нельзя понять, действительно ли Ричард застрелил из снайперской винтовки собственную мать, собирающуюся бросить семью ради очередного любовника, или же это убийство — плод его горячего, мучимого тоской и ревностью воображения.

Да и в литературном плане герой Оутс куда более искушен, чем его знаменитый предшественник. Матрешечная композиция романа, изощренная литературная рефлексия, пронизывающая повествование, сбивчивая манера изложения — с постоянными отступлениями от фабулы и «репликами в сторону» — позволяют нам говорить о том, что Ричард Эверетт прошел выучку у талантливых набоковских безумцев: героев-повествователей «Соглядатая», «Отчаяния», «Лолиты», «Бледного огня»¹.

¹ Хорошо известно, что Джойс Кэрл Оутс внимательно изучала творчество Набокова. К моменту написания «Дорогостоящей публики» она успела отрецензировать англий-

Как и Герман Карлович из «Отчаяния», Ричард Эверетт — не просто начинающий писатель, одержимый зудом творчества, а изгой и неудачник, потерпевший поражение в жизни и стремящийся взять реванш в литературе. Отсюда его сбивчивая, порой лихорадочная манера повествования, напряженные размышления о технике писательского мастерства, о литературных приемах, мучительные поиски нужной фразы. «Я не в силах начать историю простым изложением: „Однажды январским утром желтый ‘кадиллак’ подрулил к тротуару”. Как не могу начать ее и так: „Он был единственным ребенком в семье”. К слову сказать, оба эти утверждения не лишены смысла, но только говорить о себе в третьем лице я не умею. Не могу я начать свой рассказ и так: „Элвуд Эверетт и Наташа Романова встретились и поженились, когда ему было двадцать два, а ей девятнадцать”. (Это мои родители! Не сразу поднимется рука отстучать их имена на машинке.) И я не могу начать свой рассказ сочной фразой: „Внезапно дверь стенового шкафа открылась, и я увидел его, голого, прямо перед собой. Он глядел на меня, а я на него”. (Все это еще будет, но только потом; пока я вспоминаю об этом не хочу)», — сравним эти метания Ричарда с тем, как Герман Карлович перебирает варианты зачина третьей главы: «Как мы начнем эту главу? Предлагаю на выбор несколько вариантов. Вариант первый — он встречается часто в романах, ведущихся от лица настоящего или подставного автора...», и т. д.

Подобно протагонистам «Отчаяния» и «Лолиты», оутсовский повествователь позволяет себе «некоторую риторическую цветистость и трюкачество»; он то и дело обращается к воображаемым читателям, споря с ними, ища у них поддержки, поддразнивая их, забегая вперед и намекая на те события, которые ему еще предстоит описать.

О набоковской школе говорят и разного рода вставные тексты. Матери героя-повествователя, писательнице-авангардистке Наташе Романовой, Оутс дарит свой рассказ «Растлители», ранее опубликованный в «Ежеквартальном литературном обозрении»; а другой рассказ героини, «Снайперы», содержит краткий конспект третьей части романа, где отчаявшийся герой приобретает снайперскую винтовку и, поугав немного обитателей фешенебельного городка Фернвуд, совершает матерубийство. (Похожий прием зеркальных отражений находим и у Набокова, например, в романе «Камера обскура», в начале которого герой видит фильм, предсказывающий его собственную судьбу.)

Задействован Оутс и еще один фирменный набоковский прием, примененный им в «Даре» и «Аде»: во второй части романа «Дорогостоящая публика» целая глава отводится под критические отзывы на... роман «Дорогостоящая публика». Жаль только, что мы не можем понять, кого именно и насколько удачно пародирует писательница, воспроизводя стилистику и ухватки разнокалиберных критиков, будь то юркие писаки из глянцевого «Тайма» и книжного приложения к «Нью-Йорк таймс», фрейдистски озбоченный зануда, пишущий для высоколобых ежеквартальников, или велеречивый пустобрех из либерального журнала «Нью рипаблик» — литературный потомок набоковского Джона Рэя: «В буквальном смысле „Дорогостоящая публика” представляет собой воплощение страданий нынешнего поколения, выраженных поэтикой исстрадавшегося ребенка. Как бы средством от сглаза, скажем, для одной из граней подразумеваемых в романе процессов, становятся бесконечные нагромождения малозначущих деталей (описание предметов быта семьи среднего достатка, бытовая символика), с головокружительной скоростью пролетающих перед взглядом малолетнего повествователя, который пребывает не только в навязчивых мечтах о прелестях мелкобуржуазного достатка... но и еще в навязчивых мечтах о грядущей литературной карьере, воображая, что он способен сузить сложнейший социологический материал до микрорзительского восприятия...»

ский перевод повести «Соглядатай» (Oats J. C. The Eye. From 1930 — Something Thin From Nabokov. — «Detroit Free Press», 1965, november, 14). На русский язык переведено ее эссе «Субъективный взгляд на Набокова», в «постскриптуме» к которому писательница замечает, что со временем становится все «набоковообразнее в своих литературных пристрастиях» («Классик без ретуши. Литературный мир о творчестве Владимира Набокова». Критические отзывы, эссе, пародии. Под общей редакцией Н. Г. Мельникова. М., «Новое литературное обозрение», 2000, стр. 588).

Как и подобает настоящему художнику, Оутс творчески усвоила уроки великого мастера. По крайней мере как автор «Дорогостоящей публики» она далека от эпигонского подражания и вполне осознанно, зная, *как и для чего*, использует те или иные литературные приемы, пусть и не ею найденные.

Своеобразно заострен образ сытой, бездушно-благополучной «одноэтажной Америки», олицетворением которой является Фернвуд — город удачливых дельцов, «где пахнет травой и листьями, течет хозяйски прирученная река (предусмотрены сельским бытом утки, гуси, лебеди, грациозно сплывают в воде огромные серебряные караси), где голубое небо, а под ним тысячи акров восхитительно зеленой травы», уютные особняки, с бассейнами, подземными гаражами и идеально выбритыми лужайками, к аромату которых «примешивается запах денег, запах купюр».

В позолоченной клетке этого нуворишьего рая задыхается не только Ричард, но и его красавица мать — Нада, как он называет ее, не справляясь с русским «Надя». Писательнице не только удалось передать «изнутри» сознание хрупкого и ранимого подростка, но и показать в его преломлении исполненную кричащих противоречий личность незаурядной женщины. С одной стороны, Нада — творческая, ищущая натура, утонченная интеллектуалка, тяготеющая к вольным нравам нью-йоркской богемы, с другой — типичная парвеню, тщеславная и эгоистичная, зачарованная роскошью и блеском «дорогостоящей публики», вне которой себя не мыслит. Дочь бедных украинских иммигрантов (как выясняется в конце романа, ее настоящее имя — Наташа Романюк), она выдает себя за дочь русских белоэмигрантов, Наташу Романову, прозрачно намекая на свои аристократические корни. Несмотря на чрезмерные амбиции, Наде удастся выбиться в люди самым банальным способом, к которому во всем мире прибегают тысячи, миллионы корыстолюбивых золушек, — путем расчетливого брака с преуспевающим бизнесменом.

Нада еще более трагическая фигура, чем Ричард, поскольку никого по-настоящему не любит. Стариков родителей она забыла, словно муторный и серый сон; приземленного, непробиваемо жизнерадостного мужа, вытащившего ее из грязи, она от души презирает; сын, в котором она видит воплощение своих честолюбивых грез, оказывается досадной помехой на пути к абсолютной свободе. В общем, Оутс удалось создать уникальный женский характер: загадочный, непрозрачный, неисчерпаемый (поскольку он показан исключительно с точки зрения пристрастного повествователя) и в то же время до боли знакомый каждому из нас.

Такое же смысловое богатство отличает и весь роман, который, хочется верить, не затеряется среди разливанного моря переводной и доморощенной халтуры и найдет своего читателя не только среди вымирающих литературоведов-американистов и торопливых газетчиков, в лучшем случае пролистывающих книги по диагонали.

В завершение — два слова о странной издательской судьбе романа в России. В 1994 году, в эпоху дикого ельцинского капитализма, когда одна за другой возникали и тут же прогорали мотыльковые издательские фирмы, он был выпущен сотысячным тиражом одним из таких (давно уже почивших) издательств-однодневок. Книгу, помнится, издали в карманном формате мягкообложечного дамского романа, вроде изделий серии «Арлекин», с зазывной картинкой на обложке: поджарый хлыщ в смокинге заключает в мужественные объятия шикарную красотку; та томно закинула очаровательную головку с распущенными русыми волосами такой невиданной густоты, будто их взяли напрокат из рекламы шампуней. К радости издателей, тираж был быстренько раскуплен любительницами душищипательного розового ширпотреба à la Барбара Картленд (представляю, как они были разочарованы!). Но в то же время книга не попала в библиотеки и не вызвала ни малейшего отклика у критиков. (Как мы помним, в тогдашней прессе еще не было принято рецензировать формульные сочинения массовой литературы, а тем более — образчики розового романа, под который и заgrimировали «Дорогостоящую публику».) Типичный российский парадокс: книга одной из самых титулованных и плодовитых американских писательниц была выпущена сотысячным тиражом, но ее как бы и не было. В списках не значилась. И только теперь, пусть и выпущенная

тиражом неизмеримо меньшим, она получила шанс пробиться к тому серьезному и искушенному читателю, на которого и была рассчитана.

Правда, оформление книги и на этот раз оставляет желать лучшего. И страховое чучело, изображенное на обложке, и желтовато-жухлая бумага (в застойные времена в такую заворачивали колбасу) способны отпугнуть кого угодно. Имеются в издании и досадные опечатки. Так, упомянутый эрудированным повествователем американский критик Лесли Фидлер превратился в «Лесли Фиолер» (стр. 91), разом потеряв и согласную в фамилии, и мужской пол.

Р. С. Напоследок — еще одна пикантная подробность. В выходных данных ваш покорный слуга указан как составитель (sic!) и автор предисловия (которого там, разумеется, нет). И даже знак копирайта поставлен. Вот уж не знал... Можете себе представить, как я был удивлен, купив книгу. Да, два года назад мне довелось составить для «Гудьяла» двухтомник эмигрантского писателя В. С. Яновского, и предисловие я к нему написал, но то ведь были «иные берега, иные волны...», к Оутс не имевшие никакого отношения. Придя в себя, я решил: пойду в издательство и потребую гонорар за «состав» и «предисловие». Вместо предисловия предъявлю им эту рецензию. И пусть только попробуют не заплатить...

Николай МЕЛЬНИКОВ.



ОПЫТ ДУМАНЬЯ

Ст. Юрьев. Похищение Европы. СПб., Издательство журнала «Звезда», 2001, 437 стр.

В одной из недавних программ новостей промелькнул сюжет, довольно на сегодняшний день банальный, однако запомнившийся мне своей семантической выразительностью. Некий подвыпивший гражданин, разобидевшись на работников железнодорожного вокзала, позвонил в милицию с сообщением, что здание заминировано. Поднялась тревога, но виновника ее быстро вычислили и препроводили куда следует. В ожидании разбирательства и наказания «шутник» общался с корреспондентом. И вот замечателен ответ дебошира на вопрос последнего: «А подумать?» — Да ни в жизнь! Лучше повеситься!

Большинство печатающихся сегодня «продвинутых» книг и статей написаны, на мой взгляд, авторами, придерживающимися того же незамысловатого принципа: *лучше повеситься*, чем додумать до конца собственную идеологическую концепцию, *лучше повеситься*, чем придать своей интеллектуальной фантазии хоть какие-то черты доказательности, *лучше повеситься*, чем, берясь за конструирование очередной широковещательной теории, добросовестно ознакомиться с литературой по данному вопросу. В подоплеке таких установок лежит прочно укоренившееся представление о том, что взгляды пишущего на ту или иную проблему все равно имеют чисто субъективный характер, а значит, речь идет не о поиске истины, а всего лишь о *самовыражении*, об оригинальности и прихотливости твоих умственных упражнений.

В печальной череде сочинений такого рода книга Ст. Юрьева¹ являет собой отрадное исключение. Она написана человеком, который, во-первых, уверен в том, что предмет разговора важнее всевозможных интеллектуальных кунштюков, и, во-вторых, напряженно *думает*, отвечая перед собой и читателем за высказанную мысль. Такому честному *думанью* обычно соответствует универсализм подходов, потому что по-настоящему понять что-то — это значит сразу понять многое. Читая, ты все время испытываешь радость от встречи с внимательным и умным

¹ Это более чем прозрачный псевдоним Станислава Юрьевича Яржембовского, который был вынужден в условиях советской действительности скрывать свое имя, публикуя материалы в парижском ежемесячнике «Русская мысль».

собеседником, с которым хочется обсудить вещи сущностные, сверить свои выводы и позиции, а о чем-то и поспорить.

Сборник своих эссе Ст. Юрьев озаглавил «Похищение Европы», как бы намекая на известную работу Освальда Шпенглера. Общее настроение, владеющее нашим автором, столь же «закатно», пессимистично. Он следует своеобразной гесиодической традиции, полагающей, что за золотым веком неизбежно приходит сначала серебряный, а затем и железный, все обесценивается, мельчает, а развитие если и существует, то лишь в форме деградации.

Содержание книги Ст. Юрьева — радикальная критика и пересмотр большинства установок нашего сегодняшнего гуманистического сознания, сформированного европейской возрожденческой цивилизацией. Последовательному развенчанию подвергаются практически все так называемые общечеловеческие ценности: идея *прогресса*, *гуманизм* (как утверждение абсолютного приоритета земного счастья), категория *свободы* (понимаемой в аристотелевском духе свободы выбора), ставка на *науку* и сам *человеческий разум*, *плюралистический* подход к истине, *эволюционистский* взгляд на развитие жизни и общества, *демократизм* в области культуры и духовного поиска. Отметим, что человеческую культуру, равно как и стремление к гармонии с природой, автор не слишком высоко ставит. Если к этому добавить, что он принципиальный противник позитивизма, экуменизма, постмодернизма (с его игровыми эстетическими принципами), антизападник (но уж, конечно, и не почвенник), если учесть его ироническое отношение к культовым фигурам сегодняшней российской интеллигенции — Фрейду, Хайдеггеру, Хёйзинге, Владимиру Соловьеву, Льву Гумилеву и Михаилу Бахтину, — портрет «законченного ретрограда» будет дописан. Характерно, что вся эта критика ведется с последовательно религиозных (хотя и не вполне канонически православных) позиций.

Впрочем, если не обижаться сразу за потревоженных священных коров нашей «демократической ментальности», а обратиться к текстам статей Ст. Юрьева, обнаружится нечто удивительное. Язык, стиль, интеллектуализм их автора выдают человека глубокого, не связанного предрассудками и стереотипами, свободно, а главное, как я уже сказал, доказательно мыслящего. Как раз такого, каким мы привыкли представлять себе гуманиста, демократа и выученика западной культуры.

Подкупает также умение автора спокойно и трезво анализировать чужую позицию, исходя, так сказать, из презумпции интеллектуальной добросовестности оппонента. Ни на секунду не поступаясь своими принципами, настаивая на них, автор умеет быть корректным и вежливым, он уважает читателя, приглашая его к диалогу, а не к поучению. Повторяю, удержаться на этой благой грани сдержанности при горячем (то есть *не теплом* в новозаветной транскрипции) убеждении в правоте отстаиваемых позиций — эмоционально крайне не просто.

Притом интеллигентность тона здесь нисколько не умаляет беспощадности критики и остроты языка. Лучшие эссе книги как раз те, в которых Ст. Юрьев непримиримо и иронично разоблачает вздорность этноисторических построений Льва Гумилева, спекулятивную природу астрологических поветрий, неоязыческий уклон движения «зеленых» и глубинную враждебность сектантства живому духу религии.

Краеугольный камень всей мировоззренческой системы Ст. Юрьева — убежденность в естественном характере феномена человека: «То, что сделало вышшего примата человеком, — феномен внеприродный. Гармонично вписывается в природу лишь все дочеловеческое: молекула, минерал, цветок, животное. Человек же всегда жил — и навсегда обречен жить — в разладе с окружающим его миром, поскольку высший закон его жизни вовсе не космический, это закон божественный. Человек дисгармоничен по самому своему замыслу, его жизнь в мире трагична в принципе, ибо „природа“ человека совершенно иная, чем природа внешняя, она „не от мира сего“».

Если вдуматься, мыслитель глубоко прав, настаивая на этой изначальной выделенности человека из среды естественного. Природа существует по своим физическим, биологическим законам, не знаящим вопроса «зачем?». Происходящее детерминировано происходившим, и только. Любые наши этические, эстетические категории здесь бессмысленны. Между тем человек не может и шагу ступить вне смыслового пространства культуры, задающего поле нашей духовности. Будучи те-

лесными, то есть живущими в природе, мы никогда не равны себе же самим — духовным, то есть ищущим смыслового истолкования собственному существованию. Это кардинальное обстоятельство, которое описала еще Библия в метафоре грехопадения, придает всей жизни человека, всей человеческой истории трагический и противоречивый характер. Не тождественные самим себе, мы вынуждены все время рефлексировать, заниматься самоидентификацией, мучительно искать истину, страдая, вырастать в духе над своей природной обусловленностью. Стоит ли говорить, что гуманистическая идея в ее возрожденческой интерпретации (земного счастья любой ценой²) плохо согласуется с таким пониманием назначения и судьбы человека.

В своей книге Ст. Юрьев, по сути дела, и занимается тестированием большинства установок современной цивилизации «массового потребления» на предмет их соответствия «самонетождественной» человеческой природе. И оказывается, что многие наши сегодняшние представления, идеалы, цели с этой точки зрения утопичны или же кардинально ошибочны. Ошибочна сама «естественная» установка, видящая в человеке только продукт природной эволюции. По Ст. Юрьеву, полностью доверившееся своему разуму человечество, ограничившее себя только материальным и имманентным, превратилось как бы в замкнутую систему. А в такого рода образованиях, согласно второму началу термодинамики, всегда идет лишь один процесс — нарастания энтропии, деградации, распада.

Моя оговорка о втором начале термодинамики не случайна. Автор «Похищения Европы» мыслит аналогиями, широко привлекая в своих рассуждениях естественно-научные концепции. Подчеркну: в его обращении к современным физическим, биологическим теориям нет и тени спекуляции. Это не жонглирование терминами, непонятными для обывателя, но освященными авторитетом фундаментальной науки (что так любят современные адепты тайных доктрин). Ст. Юрьев хорошо знает, о чем пишет, и использует научный аппарат не для «затуманивания», а для прояснения своей мысли, он пытается построить наглядную модель, стремится тот или иной физический образ превратить в своеобразную метафору. Это получается, потому что в его эссе мы сталкиваемся с редкой цельностью и полнотой видения — видения главного: противоречивости существа, называемого homo sapiens, которому никогда не дано примириться с самим собой.

Но вот тут-то и обнаруживается странность. Тут-то и выявляется некая ограниченность позиции автора. Дело в том, что рассуждения Ст. Юрьева, посвященные антиномичной природе человека, сами лишены этой антиномичности. Понимая, что наш рассудок не может быть универсальным поверочным инструментом реальности, Ст. Юрьев в своих выкладках как раз очень рассудочен и логичен. Вот цитата из эссе «Трещины в куполе»: «...наши неудачи в постижении последних тайн бытия обусловлены не недостатком знания или рвения, а имеют своим основанием ущербность, неполноту самого мира, в котором мы живем и который стремимся отразить своим познанием». Далее этот тезис подкрепляется высказыванием Павла Флоренского: «Пусть противоречие останется глубоко как есть. Если мир познаваемый надтреснут и мы не можем на деле уничтожить трещин его, то не должны и прикрывать их. Если разум познающий раздроблен, если он не монолитный кусок, если он сам себе противоречит, мы опять-таки не должны делать вида, что этого нет».

Легко заметить, что у Флоренского речь идет не просто об ущербности мира сего (которому противопоставляется цельность и полнота Божьего мира, плеромы), а прежде всего о неспособности нашего разума эту полноту охватить. Для «расколотого» сознания любой действительный процесс выступает как воплощенное противоречие, как наложение противоположных и нестыкуемых разумом начал.

Главный грех рассуждений Ст. Юрьева состоит в том, что, как бы даже и понимая это обстоятельство, он постоянно в полемических целях заостряет одну из сторон диалектически взаимосвязанного отношения, отбрасывая другую. Поэтому

² Вспомним трактат о наслаждении Лоренцо Валло.

и «проваливается» в односторонность формулировок, хотя его живое чувство и свободно от догматической заданности. Он как-то не учитывает парадоксальной «да-нетной» ситуации явления Истины. Той самой ситуации, которую нащупала современная наука, закрепив в знаменитом *принципе дополнительности*.

Я не могу здесь вдаваться в подробные рассуждения о корпускулярно-волновой природе объектов микромира, из неполноты одностороннего описания которых, собственно, и вытекает этот принцип. Завороженный идеей «ненаблюдаемой онтологии» В. Н. Тростникова, Ст. Юрьев восклицает: «Нет никакого дуализма: волновое описание универсально, в самой глубокой сущности существуют только волновые функции, а мир материальных частиц является производным от них». Но в том-то и беда (а может быть, и счастье³), что мы, люди, не располагаем *универсальным* описанием бытия. И причиной тому — не дуалистическая природа мира, а все то же несоответствие сознания (с его логикой, с еще кантовскими априорными формами чувственности) реальности, выступающей для нашего ума как принципиальное тождество нетождественного. Это не столь явно обнаруживается в повседневном, бытовом, профанном, но сразу дает о себе знать, как только мы перемещаемся на уровень сущностного, бытийного, сакрального.

Суть же принципа дополнительности заключается в том, что некоторое явление не может быть описано исчерпывающим образом в рамках только одной непротиворечивой системы взглядов. Чтобы отразить процесс в его полноте, нам придется *дополнить* описание выводами, вытекающими из совершенно иного (иногда противоположного) подхода к предмету. Это, в частности, значит, что практически любое полярное утверждение нуждается в корректировке, в оговорке, отчасти его дезавуирующей. Пример такого постоянного впадения в формальное противоречие со своими словами демонстрирует, например, Христос в Евангелии, когда заявляет то: «Почитай отца и мать» (Мф. 15: 4), то «Враги человеку — домашние его» (Мф. 10: 36), то «Не противься злему» (Мф. 5: 39), то «Не мир пришел Я принести, но меч» (Мф. 10: 34). В свое время Пьер Абеляр даже составил своеобразную хрестоматию «Да и нет», в которой привел 158 случаев смысловых противоречий в Писании и сочинениях Отцов Церкви.

К сожалению, Ст. Юрьев далеко не всегда учитывает в своих эссе данное обстоятельство, не всегда учитывает необходимость «выдерживать дистанцию», чтобы не «рационализировать божественную тайну» (хотя сам пишет о такой необходимости в эссе «Трещины в куполе»). К чему это приводит, нетрудно догадаться. «Похищение Европы» пестрит спорными утверждениями. Считая себя православным, Ст. Юрьев некоторыми своими религиозными воззрениями напоминает то лютеранина, а то и вовсе гностика. Евхаристия им понимается главным образом метафорически. А в эссе «Око за зуб» о воскресении Христовом он пишет: «Вера в воскресение никого ни к чему особенно не обязывает. Это абстрактная вера в некую *искупительную* жертву, благодаря которой на земле все наконец-то устроится как надо». Вот уж не думаю, что для верующего это *абстрактная* вера.

О гностицизме⁴. Его влияние особенно заметно в эссе «Трещины в куполе», где автор вводит в картину творения некоего Демиурга, так сказать, подручного Мастера. Именно на него возложена рутинная работа по «взаимной адаптации всего сущего». Учитывая, что Ст. Юрьев вообще склонен демонизировать мир, в котором мы живем («Творить зло понуждает нас всех *мир сей*, который во зле лежит и в свое зло нас неизбежно втягивает»), начинают напрашиваться вполне очевидные аналогии с маркионистским простым и познаваемым богом-ремесленником,

³ Потому счастье, что описание своей формой уже детерминирует содержание описываемого. Тем самым любая универсальная система взглядов косвенно претендует на то, чтобы замкнуть собой всю целостность бытия, в том числе и Предвечную тайну, Бога. Но, как по этому поводу точно сказано в Евангелии, «немудрое Божие премудрее человеков» (1 Кор. 1: 25).

⁴ Поразительно, что в эссе «Интеллигент на перепутье» Ст. Юрьев сам очень точно и верно определяет суть гностицизма: «Гностицизм лучше всех своих мировоззренческих конкурентов удовлетворяет глубочайшую органическую потребность человека — *потребность в мифе*. Правда, и тут гностицизм все-таки жульничает. Вместо мифа он подсовывает современному человеку его окаменевший обломок — сказку».

противопоставленным истинному, непознаваемому, тайному Богу. Первый имманентен этому миру и зол. Второй — чужд ему, трансцендентен и благ. Как заметил по этому поводу Тертуллиан, «Бог Маркиона *естественно* непознаваем и никогда не проявляется за исключением Евангелия»⁵. Бог Ст. Юрьева тоже по преимуществу «никогда не проявляется...», он заперделен. В эссе «Кубатура сферы» наш автор пишет: «Ни человеческая культура, ни вообще человеческая деятельность не принадлежат Богу... Все это свободно от него, но это означает, что и он свободен от всего этого. Бога в этом мире вообще нет. Его царство — не от мира сего... Бог — неотмирный (трансцендентен), именно поэтому он вездесущ, всеведущ и всеблаг».

Связка «именно поэтому» в данном контексте объясняет нам не то, почему Бог всеведущ, всемогущ и прочее, а совсем другое. Она показывает, что мы не можем мыслить себе Нечто, пребывающее вне пространства и вне времени и тут же актуально в каждой точке этого пространства и этого времени присутствующее. Между тем еще Аврелий Августин, обращаясь к Богу в своей «Исповеди», определял Его через парадокс: «Самый далекий и Самый близкий»⁶.

Наиболее неубедительная из статей Ст. Юрьева — «Марфа и Мария», в которой он пытается противопоставить религию и культуру. И хотя в начале своей работы автор оговаривается, что подвергает критике не саму культуру, а наше отношение к ней как к спасающей инстанции, дальше следуют инвективы такого рода: «Культура напоминает находящуюся в стадии изготовления мозаичную картину, размеры которой катастрофически увеличиваются, фрагменты непрерывно мельчают, краски блекнут, а общее изображение, первоначально более или менее ясное и вразумительное, обрастая бесконечными деталями, становится все более бессмысленным».

Беда подобных утверждений в том, что их авторы оперируют слишком расплывчатыми понятиями. Если под «культурой» понимать всю производимую людьми «продукцию» как материального, так и нематериального свойства, предложенная модель проходит. Но тогда надо говорить не о *культуре*, а о порождаемой социумом искусственной реальности, в которой живет человечество. Если же иметь в виду культуру в более узком значении (как смысловое поле, о котором речь шла ранее), то нарисованная Ст. Юрьевым картина представляется искаженной. Подлинное искусство, например, никак уж не мозаика, скорее голограмма, каждый элемент которой содержит в себе информацию о целом. Поэтому и утверждение, что «в культуре существует лишь один внутренний принцип — принцип новизны», можно оставить на совести автора. Он просто некорректно распространяет авангардистские установки последнего столетия на многотысячелетнюю историю эстетики.

Точно так же, с моей точки зрения, весьма спорно утверждение автора, что «культура представляет собой совершенно естественный, природный... процесс — что-то вроде разбегания галактик или экспансии биосферы». Сомнительно, чтобы в число природных, *естественных* надобностей входило сочинение стихов или сооружение храмов. Тотальный отрыв культуры от религии превращает последнюю в своеобразное духовное эсперанто — вымышленный язык, который не может называть родным ни один из живущих.

Между тем сама, так сказать, антиэстетическая, антигуманистическая (и дальше можно продолжить эти анти...) установка Ст. Юрьева является закономерным порождением именно нашей, сегодняшней культуры, исподволь готовящейся к смене духовных приоритетов и ценностных ориентиров.

Алексей МАШЕВСКИЙ.

С.-Петербург.

⁵ Tertullian. Contra Marc. V. 16. — Цит. по кн.: Йонас Г. Гностицизм. СПб., 1998, стр. 150.

⁶ В другом переводе эта же фраза передается так: «Недоступный и всем Присущий».

КНИЖНАЯ ПОЛКА НИКИТЫ ЕЛИСЕЕВА

+6

Ромен Гари. Чародеи. Роман. Перевод с французского Е. Павликовой и М. Иванова. Послесловие О. Кустовой. СПб., «Симпозиум», 2002, 398 стр.

Я бы не решился назвать этот роман историческим, хотя он написан о России XVIII века. Количество исторических ошибок Гари приобретает здесь какое-то новое качество. Да это и не важно. Россия для Ромена Гари — страна сказок, вроде толкиеновского Средиземья. И то, что он, французский писатель и дипломат, родом из этой страны, грело и жгло его душу. «Чародеи» он писал в 1973 году перед тем, как сделать из себя (Романа Кацева) вместо исписавшегося старого Ромена Гари нового молодого писателя, Эжена Ажара. Так что «Чародеи» — странное писательское «до свиданья» читателям; болезненная и бесстыжая исповедь стареющего мужчины, прикинувшаяся авантюрным, веселым, фривольным, фантастическим романом о приключениях венецианцев в екатерининской России.

Александр Янов. Россия: у истоков трагедии. 1462 — 1584. Заметки о природе и происхождении русской государственности. М., «Прогресс-Традиция», 2001, 559 стр.

Александр Янов — принципиальный убежденный противник вульгарно-славянофильского, равно и вульгарно-западнического образа нашей страны. Россия — иррациональная, фантастическая страна, преобразовывающая на свой салтык все влияния, все институты, попадающие на ее почву? Нет и нет: для Александра Янова Россия — европейская страна, в силу приключившейся с ней национальной трагедии в годы правления Ивана IV всякий раз сворачивающая с магистральной линии нормального европейского развития в деспотизм, азиатчину и прочее, прочее. Конечно, историософская схема Янова немножко (простите за кощунство) комична. Перед глазами встает мужик из рассказа Горбунова, в отчаянии разглядывающий сломанную тележную ось, отскочившее колесо: «Кажинный раз на эфтом самом месте» — неплохой эпиграф для всех работ Александра Янова. Но в них привлекает даже не этот... непредусмотренный автором комизм. Больше всего привлекает в схемах Янова (а какая историософия не схематична?) ирония истории, усмешка Клио, музы истеричной и жестоко-насмешливой. Западник, который видит в Иване IV и Петре I представителей восточного деспотизма, а в Ниле Сорском и протопопе Аввакуме — настоящих европейцев, эту усмешку почувствовал; он услышал (в отличие от датского принца и немецкого мыслителя), что не всегда «крот истории роет хорошо».

Жозе Сарамаго. Воспоминания о монастыре. Роман. Перевод с португальского А. Косс. СПб., «Амфора», 2002, 495 стр.

Кто и поймет еще задержавшееся Средневековье на крайнем западе Европы, как не тамошний коммунист, удостоенный в 1998 году Нобелевской премии по литературе? Чьей душе и внятны милые особенности неистовой веры, как не душе настоящего атеиста, написавшего целый роман про Христа и Сатану? В ком еще и осталась жадная восприимчивость к чуду, как не в коммунисте и атеисте, выросшем в католической стране под водительством антикоммунистического салазаровского режима? Вражда и ненависть паче дружбы и любви. Жозе Сарамаго со вкусом описывает все уродства и дикости Португалии начала XVIII века — бой быков, аутодафе, инфант, садящийся из окон своего дворца свинцовыми пулями по матросам своего же флота (подросток резвится — что вы хотите?), — все это выписано с плотной любовной ненавистью, с подлинной ненавидящей любовью. Чего стоит один только эпизод — быки вдребезги разносят гигантские глиняные куклы, установленные на арене. Из глиняных обломков взмывают вверх голуби. Зрители при-

нимаются ловить голубей руками, во-первых, интересно, во-вторых, пища. Немногие птицы все-таки взлетают в небо и, освещенные солнцем, кружат над ареной, золотые, пышнокрылые. Такие описания — красивые и безобразные, дурновкусные и талантливые — вынуждают вспомнить что-то подростковое, давно читанное и почти позабытое. А тут еще стиль, синтаксис, равно тяжеловесный и наивный, скороговорочный и обстоятельный, небрежный и монументальный. А тут еще и странные нелепые герои — дочь сожженной колдуньи, славная женщина, которая (если с утра не съест с закрытыми глазами хлеба) видит сквозь стены, кожу и землю (понятно, что ничего хорошего она, за редким исключением, там не видит); бывший солдат, Бальтазар Семь Солнц, у которого вместо левой руки — железный крюк, но он и с одной рукой такое творит, что иной и десятью не сможет; ученый иезуит, изобретатель и философ Бартоломеу Лоренсо ди Гусман, по прозвищу Летатель, друг короля и нищих... А тут еще удивительный летательный аппарат, который построила вся вышеперечисленная компания — себе на горе... Гюго! Разумеется, Виктор Гюго! Все же не о францисканском монастыре в Мафре вспоминал Сарاماга, когда писал свои «Воспоминания...», а о «Соборе Парижской Богоматери» великого романтика.

Сальвадор Дали. 50 магических секретов мастерства. Перевод с английского Натальи Матяш. М., «ЭКСМО-Пресс», 2002, 272 стр.

Почему так интересно читать эту нахальную мистификаторскую книгу? И не подряд читать, а открыть и откуда-то из середины выудить, например, что-то насчет того, что в России не было и быть не может великих живописцев, поскольку — снег! белизна! Слишком много белого... Белое — враг сетчатки, враг живописи и живописца. Поначалу возмущаешься: как так? А Рублев? Так ведь для этого... пострафаэлиты иначе и быть не может. Вырожденец Возрождения, индивидуалист, дошедший в своем индивидуализме до края, до последней черты, гениальный болтун, он и не может понять, что есть культура молчания; великолепный арлекин, знающий красоту пестроты, и не должен воспринимать красоту белого цвета. Он — островитянин. Робинзон Крузо живописи. Когда это понимаешь, понимаешь и то, почему так любопытно читать его книгу наполовину жульнических, наполовину фантастических, наполовину профессиональных советов художнику, почему так интересны все его приспособления для создания картин, все эти паукарумы, скелеты морских ежей, фонари Аристотеля, усики винограда, брошенные в жидкий гипс, и тому подобное. Это же... Робинзон Крузо, описывающий свои приспособления для жизни на необитаемом острове. Так и самого себя Дали воспринимает инструментом, производящим картины и рисунки; с заносчивой гордостью он описывает, как из себя выстругать, удалив все лишнее, вочеловеченную кисть, вочеловеченный карандаш, орудие труда во плоти для производства предметов роскоши — не для того ли нас здесь на Земле и поселили? Книга иллюстрирована рисунками автора.

Филип Рот. Моя мужская правда. Роман. Перевод с английского Н. Голя, Ю. Вейсберга. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 384 стр.

Очень смешная и очень печальная, очень похабная и очень лиричная вариация на тему двух взаимосвязанных афоризмов Анны Ахматовой. Один — истоптан до пыльной каменной твердости площади перед сельпо в райцентре: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая стыда!»; другой — посвежее, понезаметнее, поярче, как незамощенный дворик где-нибудь в Питере или в Москве, кусок деревни, свалившийся с неба в асфальтовую почву мегаполиса: «Поэт должен понимать, где у него — Муза, а где — б...». (Как все хорошие афоризмы, этот — волит продолжения-возражения: на то и поэт, чтобы этого не понимать.) Без какого-либо ложного или истинного стыда Филип Рот демонстрирует сор, из которого произрастают стихи. В процессе демонстрации сор этот тоже становится цветами. В первой части своего романа Рот помещает два рассказа, во второй — описывает жизнь писателя с Музой (или с б...? — на чей вкус), из которой (жизни), собствен-

но, эти два рассказа и произошли. Все неурядицы, все горе, все беды, все ссоры и скандалы своей жизни автор преобразовал в... «сочетания слов». Российский читатель ознакомлен с таким приемом — «Взятие Измаила» Михаила Шишкина. Но у буковорова лауреата как-то все уж очень торжественно. Просто Иеремиа какой-то. Плач на реках цизальпинских... У американского еврея всё — юмористичнее, простите за трюизм, человечнее.

Ханс Ульрих Трайхель. Тристан-аккорд. Роман. Перевод с немецкого Анны Шибаровой. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 160 стр.

Казалось бы, безжалостное издевательство над всей современной гуманитарией. Безжалостность Трайхеля импонирует, поскольку эта безжалостность по отношению к самому себе — худо-бедно дипломированному филологу из Западного Берлина. Кто идет в филологи? — словно бы спрашивает Трайхель и сам себе отвечает — недоучки и неудачники, мечтающие о бездельной легкой славе. Главный герой короткого юмористического романа, аспирант-филолог Георг. Он откопал себе дивную тему для диссертации — «Тема забвения в искусстве», работа над которой описана Трайхелем уморительно. (Вообще-то Трайхель принадлежит к той редкой, но меткой породе немецких юмористов, что и Жан-Поль в конце XVIII века, и Генрих Бёлль в середине XX. Мы отвыкли от такого рода юмора. Даже антиамериканизм, естественный для европейского левого интеллектуала, не раздражает в прозе Трайхеля, поскольку выполнен в приглушенных, мягких тонах.) Потом Георг оказывается в литобработчиках мемуаров какого-то известного композитора. Вот здесь-то юмористическое описание жизни молодого обормота приобретает удивительные обортоны. Знаменитый композитор оказывается... ээ... как бы это помягче выразиться?.. забывчив до патологии. Георг, который смотрит на музыкотворца широко открытыми глазами кумиропоклонника, все замечает, но ни черта не понимает! Понимает читатель и переполняется гордостью: во сколько же раз он умнее недотепы Георга. Композитор — просто старый маразматик, — вот что понимает читатель. И только к концу книги, когда сквозь всевозможные не чудачества, а именно идиотства прорывается точная художественная интуиция музыканта, до читателя допирает: да он же — гений, елочки точеные, этот... склеротик, этот воплощенный материал для написания диссертации на тему «Забвение в искусстве».

-2

Дмитрий Бортников. Синдром Фрица. Роман. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 224 стр.

Романом этот текст я бы поостерегся назвать. Когда подыскиваешь литературные аналогии, то первым делом вспоминаются... сортирные надписи и казарменные байки. Сортирные надписи обычно плоски (здесь Маяковский прав), но встречаются и настоящие жемчужины. Например, такая обнаруженная мной сначала в сортире Балтийского вокзала, а спустя много лет в тексте Дмитрия Бортникова: «Проснись, Джульетта! Ромео обосрался!» По-моему, неплохо. Звонко, упруго и (кроме того) выдает знакомство создателя афоризма с прозой Генриха Гейне. («О! Добрый аптекарь, твой яд действует слишком быстро».) Впрочем, бортниковский текст читать противно, но интересно. Приключения уродливого жирного паренька из провинциального степного городка. Паренька судьба забрасывает то в Якутию — в стройбат, то в богемный квартал Парижа. Покуда читаешь про печальное детство «Фрица» (папа посадил дедушку на цепь рядом с дворовым псом, чтобы пьяный дедушка не зарезал слепую прабабушку; сын раскрасил спящему папе член маминой губной помадой; мама-акушерка попросила малолетнего сына отнести мертвого младенца в прозекторскую и так далее), да, покуда читаешь про все эти... ужасы, начинает казаться, что перед тобой черные цветы запоздалые антисоциалистического реализма времен «бури и натиска» зрелых лет «перестройки» — «Одлян» Габышева, «Печальный детектив» Астафьева, «Стройбат» Каледина, —

однако очень скоро понимаешь: это — барочный гиньоль, а не разоблачительный бытоописательный очерк. Надо отдать должное Бортникову, он понимает, что он делает и как он делает. В самом-самом начале своей книги он признается в любви к «Гаргантюа и Пантагрюэлю» Рабле, после чего твердит как заклинание: «Мне предстоило написать своего „Гаргантюа“». Не великий я поклонник всех и всяческих карнавалов, поэтому не мне решать, получился из Бортникова русский Рабле или нет. По количеству физиологических подробностей — получился.

Олег ХХХ. Одинокий Волк и Самка Шакала. Повести. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 320 стр.

Когда-то Маяковский говорил: «А по-моему, „Выхожу один я на дорогу...“ — агитация за то, чтобы девушки выходили вечерами гулять с поэтами — одному, видите ли, скушно! Эх, даь бы такой же силы стих, зовущий в кооперативы!» Трехиксовый (или тридцатый? Или... я уж и не знаю, что подумать, не трехчленный же?) Олег дал той же силы «стих», зовущий к немедленному открытию садомазохистских салонов. Социальная, утилитарная мораль двух повестей, собранных под одну обложку, очевидна: немедленно организуйте и открывайте эти самые салоны, в противном случае тонко чувствующие, художественные натуры будут бросаться не на тех партнеров и партнерш. И что получится? Сплошное и малоприятное «кви про кво», такая трагедия ошибок вместо чаемой сексуальной гармонии. Нет! Страдания садистов и мазохисток изображены с такой подкупающей убедительностью, с такой слезоточивой сентиментальностью, что как-то подзабываешь точный и безжалостный афоризм Набокова касательно закономерной связи между жестокостью и сентиментальностью: «У мясных лавок всегда мокрые мостовые». Да, афоризм этот забывается, начинаешь думать о том, что Одинокий Волк и Самка Шакала — естественный, хотя и парадоксальный итог русской гуманистической литературы. Ведь все — люди! И как таковые заслуживают если не жалости, то по крайней мере понимания. Как там у Гоголя во втором томе «Мертвых душ»? — «Ты полюби нас [человеков] черненькими, а беленькими нас всякий полюбит». Садист и мазохистка — куда уж чернее! Это тебе не чиновнички — Башмачкин, Поприщин, Девушкин. Тут чернота — истинная, без подмесу. И я бы, пожалуй, согласился с сочувствием, поднимающимся из глубины моей души, когда я читаю об изгойстве в нашем обществе тех, кому приятно пороть до крови или приятно быть выпоротой до крови, если бы не назойливый антиамериканизм автора и его героев. Мне это кажется странной неблагодарностью. Америка (или по крайней мере та цивилизация, бесстрашной защитницей которой выступает Америка) создала такие условия, при которых возможны книжки о тяжелой доле любых аутсайдеров и маргиналов, в том числе и садистов с мазохистками. Только в этой цивилизации ребята, подобные героям Олега ХХХ, могут рассчитывать на читательское, а то и на человеческое понимание, а то и на сочувствие...

±2

Брижит Обэр. Лесная Смерть. Роман. Перевод с французского Е. Капитоной. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 328 стр.

Книжка Брижит Обэр — блестящая вариация на тему хичкоковского шедевра «Окно во двор». Бессильный, беспомощный следователь — что-то вроде господина бога деистов-просветителей — все понимает, все знает, но сделать ничего не может. Он — всеведущ, но он — бессилен. Ситуация у Брижит Обэр усилена до пародийности. У Хичкока фотограф, берущийся расследовать преступление, неподвижен (сломана нога), у Брижит Обэр женщина, вовлеченная в расследование серийных убийств, — слепа, нема и парализованна. В романе Брижит Обэр детектив возвращается к своему архаическому истоку — да нет, не к конан-дойловским играм скупающего джентльмена, но к насмерть серьезному «Царю Эдипу» Софокла. Познание, всеведение, мудрость, если хотите, удивительным образом связываются

со слепотой, неподвижностью, бессилием. Иногда кажется, что Брижит Обэр пытается своим детективом проиллюстрировать известное рассуждение Кондорсе насчет того, что же есть истинно человеческого в человеке. Разум? Но разум должен ведь получать хоть какую-то пищу из внешнего мира? Значит, стоит отнять от человека не все его ощущения, а некоторые и посмотреть истинно человеческое, оставшееся у него — неподвижного, незрячего, неговорящего. Впрочем, нет, не думаю, что Брижит Обэр со всем ее «острым галльским смыслом» могла бы заниматься подобными философскими упражнениями. Она решала иные, вполне утилитарные задачи жанра, в котором работает. Прошло время всезнающих детективов, небрежно объясняющих своим недалеким помощникам, как все было на самом деле. Пришло время детектива, который подобен читателю, впущенному в текст. С 46-й страницы хочется крикнуть: «Да вот же кто убийца!» Но крикнуть невозможно: читателю — поскольку он вне текста, а вынужденной следовательнице — поскольку она слепа, глуха и обездвиженна. К сожалению, Брижит Обэр оказывается не на высоте ей же самой поставленной задачи. К концу романа (вздых) все-таки выскакивает, как бог из машины, как чертик из табакерки, — всезнающий следователь. Жаль.

Роман Смирнов. Люди, львы, орлы и куропатки. СПб., «Лимбус-Пресс», 2002, 600 стр.

Питерский театральный режиссер, сподобившийся стать прототипом главного героя романа В. Сорокина «Роман», написал мемуары. В. Сорокин напророчил. Его Роман — герой романа — победил в рукопашной схватке волка, да только волк его тяпнул, вот Роман и озверел. В результате чего под занавес порубил всех, кто попался под горячую руку, а кого не порубил, тех загрыз. Уж не знаю, какой волк укусил Р. Смирнова, но... порубил и загрыз он почти всех. Судите сами: отец — алкоголик, мать — сумасшедшая; родился в Мурманске, раннее детство провел в городке Рудный Ковдор, где медведи по улицам ходят; отрочество и юность — в Горьком, где пел «блатноту» для местных мафиози; учился у Товстоногова актерству, у Шифферса — христианству; работал у Додина; был мужем любовницы Высоцкого; пил водку с Цоем; дружил с Башлачёвым и Курёхиным. Излагает события своей бурной жизни Смирнов со своеобразным юмором и хорошим «драйвом», не щадя никого и плюя на приличия. Впрочем, вру: не щадит Смирнов профессионалов, тех, кто, по его мнению, холоден и умел. Себя Роман Смирнов почитает поэтически безумцем, ну... вроде Константина Треплева или Нины Заречной. Недавно на обложке книги он изображен босиком на глади невских вод, в бело-черном костюме — ну просто чайка!

ТЕАТРАЛЬНЫЙ ДНЕВНИК ГРИГОРИЯ ЗАСЛАВСКОГО

Было время, когда разные словари давали разную транскрипцию этого чужого тогда для нас слова и явления: в одних писалось *мюзикл*, другие находили русские эквиваленты буржуазному, преимущественно американскому, *мьюзиклу*. В 70-е буржуазный характер явления поставили под сомнение, и почему-то возникло ощущение, что мюзиклы уже окружают нас со всех сторон: «*Всюду мюзиклы, мюзиклы, мюзиклы, на эстраде, в театре, в кино*», — пел в своей песенке знаменитый пародист, звезда тогдашней сцены.

Был даже знаменитый Ленинградский мюзик-холл, предводимый Ильей Рахлиным. Но мюзиклов — тех, какими их знают и любят в Америке, тех, с которыми смирились и тоже полюбили в Европе, — у нас по-прежнему не было.

И вдруг они появились. И сразу — много.

Минувший сезон, без особой боязни ошибиться или в очередной раз выдать желаемое (или нежелаемое) за действительное, можно назвать сезоном мюзиклов. Почва, конечно, уже была изрядно удобрена и подготовлена предшественниками, но в прошлом сезоне мюзиклы стали расти как грибы после дождя. Одни, как и положено серьезному коммерческому предприятию, задолго до премьеры были названы и обозначены. Другие буквально выростали из-под земли, на ровном месте.

За год в Москве появились «русский мюзикл» «Норд-Ост», из более или менее ближнего зарубежья приехал «Дракула», вслед за уже наличествовавшим в афише московской Оперетты «Метро» та же команда выпустила мюзикл «Нотр-Дам де Пари». Московские театры поднапряглись и добавили к этому списку «Игру», «Мою fair леди», «Губы», «Благодарю вас навсегда», «Кабаре, или Боб Фосс живет в Москве».

Надо признаться: немало для одного сезона. Когда эта журнальная книжка уже отправилась в типографию, на подмостках Театра эстрады должна была выйти многообещанная премьера всемирно знаменитого мюзикла «Чикаго», за постановку которого взялся Филипп Киркоров.

Еще весной Москва была заклеена рекламой «Чикаго», и черно-красные плакаты встречали потенциальных зрителей на каждом шагу, так что мы уже несколько месяцев жили в ожидании и предвкушении, вынужденные сочувствовать организаторам и следить за тем, как проходит кастинг и как непросто рождается неведомый шедевр. Его еще нету, но он уже есть, и потенциальные зрители знают о нем уже больше, чем об ином виденном спектакле.

Что касается рекламы, то щиты, которые анонсировали грядущую премьеру «Чикаго», встречались весной и летом немногим реже рекламы только что вышедшего в то время мюзикла «Нотр-Дам де Пари», а вместе они едва-едва уже уступают в столице щитам, рекламирующим пиво и сигареты. Театр превращается в товар, глянецовый и дорогой. Театром занимаются те, кто прежде проявлял интерес к продукции, имеющей более ошутимое материальное выражение, в области искусства — это шоу-бизнес...

Где-то в прошлом, в другой жизни, осталась извечная актерская боязнь распространяться о пока не осуществленном замысле, о еще не сделанной работе. Мюзикл, по всему видно, живет по другим, не театральным, законам. Мюзикл — не только театр, мюзикл — это то, что было принято связывать у нас с Голливудом: мюзикл, как и Голливуд, — фабрика грез. И слово «фабрика» не зря стоит в этом словосочетании.

Потому такими наивными, несбыточными смотрятся попытки обыкновенных театров сработать мюзикл. Желание идти в ногу со временем разбивается о быт. Мюзикл требует средств и сил, которых нет и не может быть у городского театра. Мюзикл адресован публике, которая не знает дороги в театр и не спешит протоптывать ее. Мюзикл требует немалых вложений с обеих сторон.

Не случайно мюзиклы вошли в нашу жизнь и заявили о себе во весь голос лишь тогда, когда страна стала на рыночные рельсы.

Появилась возможность сравнивать. Сравнение оказалось не в пользу стационарных театров. Стало ясно, что драматические представления, перемежаемые вставными музыкальными номерами, не имеют ничего общего с мюзиклом.

Александр Ширвиндт, наверное, может быть назван наиболее бесстрашным художественным руководителем. Ни сил, ни средств на мюзикл у него не было. Михаил Козаков, которого пригласили на постановку, до того, правда, поставил замечательный телефильм «Покровские ворота» (хотя, конечно, эта картина — далеко не единственная его заслуга перед русским искусством...). В нем было много музыки, много танцев, но, как было замечено только что, все это далеко еще от мюзикла, каким мы увидели его и узнали в минувшем сезоне.

Мюзикл композитора Колкера и либреттиста Кима Рыжова по мотивам пьесы Сухова-Кобылина «Свадьба Кречинского» мог считаться таковым лишь в те уже подзабытые годы, когда о мюзиклах мы знали лишь понаслышке (в смысле: «Мой дядя видал, как барин едал...»). Танцы, которые потом сменяют песни, за ними

следом — долгая разговорная сцена, — все вроде бы отдаленно, приблизительно напоминает структуру мюзикла, но именно отдаленно и приблизительно. «Игра» Колкера куда ближе по жанру к оперетте, хотя и для оперетты в ней маловато танцев и песен. Спектакль же Козакова не может быть назван мюзиклом даже при самом добром отношении к Козакову, Колкеру, Киму Рыжову и Театру сатиры.

Живой оркестр — вещь, конечно, приятная и свидетельствует о размахе театра, который готов идти на дополнительные издержки. Но когда актеры неважно поют, а главное, крайне неумело танцуют — не в такт и не вместе, то оркестр становится неуместным шиком, вроде подаяния в золотой, которым в «Вишневом саде» одаривает унижавшая Раневская наглого попрошайку.

Уже на премьере зал пустует на треть. Те, которые не дожидаются выхода бенефицианта Спартака Мишулина, покидают театр в антракте. И — проигрывают. В спектакле, для которого в труппе Театра сатиры, не самой маленькой в Москве, не нашлось исполнителя на главную роль — на роль Кречинского, главным становится Спартак Мишулин, играющий Расплюева. Мелкого воришку, для кого самое большое счастье — не упустить пятак или целковый, когда можно было украсть сотню и тысячу. Передергивает по памяти, испив же чаю, машинально засовывает в широкие карманы штанов чашку и блюдо, крестится так, что троеперстие всякий раз «проседает» до причинного места и причиняет болезненные ощущения. Играет Мишулин смешно, его игра — пожалуй, единственное несомненное достоинство старомодного и утомительного представления. Но по игре Мишулина совершенно нельзя догадаться, что Расплюев — именно тот герой, имя которого стало потом нарицательным. Что такое расплюевщина? Неужели только каскад трюков на стыке эстрады и цирка, набор занятных и смешных мелочей?

Зачем было возвращаться к сочинению, оставшемуся в истории Театра сатиры как красивая легенда? Прежде Ширвиндт любил рассказывать, как мечталось ему сыграть Кречинского, как Козаков начинал репетировать тогда, двадцать лет назад, этот самый мюзикл. Но Козаков тогда уехал в Израиль, Валентин Николаевич Плучек (царство ему небесное!) спектакль закрыл.

Смотришь теперь вышедшую в Сатире «Игру» и думаешь: а не потому ли Плучек закрыл спектакль, что был он плох?

Бессмысленно спорить о том, кто больше виноват в таком плачевном результате — режиссер, актеры, худрук или обобщенный «театр». То, что почти все здесь работают ниже своих возможностей, хуже, чем могли бы, увя, свидетельствует о том, что невысокими, непритязательными были задачи. Владимир Максимов, художник спектакля, параллельно работал над «Безумной из Шайо» в «Мастерской Петра Фоменко». И там он — на высоте (там он и стал знаменит как один из лучших сегодня сценографов и в июне этого года получил Государственную премию за спектакли, поставленные в «Мастерской...»).

Работу Николая Андросова, означенного в программке балетмейстером, иначе как халтурой назвать нельзя. Конечно, было бы лучше, чтобы об этой его «подработке» никто никогда и не узнал, поскольку до сих пор Андросова принято было считать крепким профессионалом. Но какая же может быть «анонимность» в стольном театре?! И теперь все видят, как можно танцевать — «мимо» рук, «мимо» ног. Для мюзикла (если была претензия на мюзикл) это равно самоубийству, поскольку в мюзикле самое главное — общий порыв, единый танец двадцати или сорока пар ног и соответственно рук...

Один из величайших пианистов теперь уже прошлого века, рассказывают, не любил, когда его называли первым: «Я не первый, я — второй», — неизменно поправлял он говорившего. И когда все вокруг изумлялись, добавлял: «Первых много, а другого второго нет». Как же справедливы его слова, если перенести их на нынешнюю московскую ситуацию с мюзиклами! У нас все мюзиклы — первые. В октябре 1998-го в концертном зале Президиума Академии наук на Ленинском сыграли «Бюро счастья», *первый* русский мюзикл. Ровно через год в Москве появился «*первый* настоящий мюзикл» «Метро». Нынешней весной та же команда и на той же сцене московской Оперетты выпустила и *первый* настоящий французский мюзикл «Нотр-Дам де Пари». *Первый* настоящий американский мюзикл «Чикаго»

выйдет, как уже сказано, в октябре. *Первый* классический мюзикл «Норд-Ост» идет в специально для него переоборудованной и перестроенной сцене Дворца культуры Первого ГПЗ.

На фоне такого невероятного многообразия феноменальным кажется то, что действительно самый первый и самый простодушный русский мюзикл, «Бюро счастья», продолжает жить и регулярно играется в Москве.

При очевидных просчетах и бедности этого начального опыта в нем легко обнаружить и не менее очевидные достоинства: «Бюро счастья» — первое предприятие такого рода, где к сотрудничеству были приглашены мастера своего дела. Рассказ Агаты Кристи «перекраивали» Александр Бородянский и Юрий Ряшенцев, музыку писал Виктор Лебедев. И спектакль стали играть под живой симфоджазовый оркестр, которым дирижировал Кирилл Кримец. Сценографию и костюмы заказали Андрею Шарову. Но главное — пели в спектакле те, кто этому обучен и делает это профессионально, — Людмила Гурченко, Алена Свиридова и Николай Фоменко. А танцевали те, кого не надо было этому учить с первой репетиции, — Театр современного балета «Артос». «Мы называем это первым московским мюзиклом», — вправе был сказать тогда Андрей Житинкин. Критику не обойтись без хорошей памяти: «Бюро счастья» — еще и первый спектакль в этом легкомысленном жанре, которому предшествовала развернутая рекламная кампания. Пройдут годы, и в мюзикле «Норд-Ост» на сцену станет садиться настоящий самолет. И этим легко будет заманивать публику, которой захочется проверить правдивость рекламных зазывал. В 1998-м, через два месяца после дефолта, радовались возможности посмотреть на летающего над сценой Фоменко, на танцующую на роликовых коньках Гурченко. Рекламный ход был незатейлив: известная страховая фирма взяла на себя расходы по страхованию, поскольку — и это, конечно, должно было привлечь зрителей! — полеты и трюки актеры будут выполнять без дублеров.

Трюки были, и Фоменко действительно пролетал над сценой и даже над креслами зрителей. Все остальное не отличалось особой изобретательностью. Когда занавес открывается, сцена вообще пуста, и только над сценой под балдахином между небом и землей болтается неприкаянный сугробоподобный «будуар».

Прямо как у Кристи, Николай Фоменко — в роли Шефа «Бюро счастья» — рассказывает во первых строках, что прежде работал статистиком, а теперь вот открыл соответствующее бюро. Правда, бюро Николая Фоменко — не столько «счастья», сколько интимных услуг, о чем можно сделать вывод по нескольким вскользь брошенным репликам. Что, впрочем, можно отнести на счет «о темпора, о морес». Важна была не песня о статистике, а сам Фоменко. Он поет и танцует, а вокруг него — «подтанцовка», девушки в оранжевых коротких платьицах и в ядовито-оранжевых париках.

По воле Гурченко, которая была инициатором этого музыкального проекта (а в спектакле играет главную женскую роль — Марго), действие перенесено в Москву. И конфликт, если можно так сказать, перенесен на русскую почву. Пришла пора процитировать стихи Ряшенцева. Из песни, которую поет персонаж Александра Михайлова: «Что за страсть у родины моей сыновей сбивать с коней... Ах, страна березового ситца, ах, родимая страна, не успеешь возвратиться, вот те на...» Патриотический текст положен на откровенно еврейский мотивчик. Пока поет, он гладит ногу Свиридовой.

Пропускаю полчаса, чтобы перейти к теме социальной справедливости. Макс (Гедиминас Таранда), который призван сделать Марго счастливой, между прочим замечает: вы меня, наверное, за человека не считаете, думаете, что я — лимита. А я этого и не скрываю. «Мы, — поет он с гордостью, — и руки, и мозги для Москвы... Те, что нищими пришли, станут принцами!» Принцы у Ряшенцева рифмуются с провинцией. Марго, оказывается, тоже не москвичка. Но это еще не финал.

В финале Марго и Макса носят на руках две команды, а они из положения лежа тянут руки друг к другу. «За тебя, Москва!» — кажется, последняя реплика первого московского мюзикла. Занавес закрывается, и на него проецируется картинка вечерней Москвы. В 1998-м расклад политических сил был еще не ясен, и легко вообразить, что «Бюро счастья» сочиняли, чтобы возить в хвосте президентского предвыборного марафона московского мэра. Не понадобилось.

Не дело мюзикла баловаться политикой. Мюзикл — самое развлекательное из всех известных искусств. «Нотр-Дам де Пари», повторю, создавала та же команда, которая тремя годами раньше поставила в московском Театре оперетты мюзикл «Метро». «Метро энтертеймент» называется компания, занимающаяся менеджментом этих двух мюзиклов. В прямом переводе: «Развлечение Метро». Мюзикл — род парка аттракционов, где более или менее очевидный сюжет расцветчен яркими танцами и фейерверками, лазерным шоу и пением хором. В «Метро» это сделано лучше, чем в «Нотр-Дам де Пари», но «Метро» обошлось создателям в 1,2 миллиона долларов, а «Нотр-Дам де Пари» — то ли в четыре, то ли даже в пять, как утверждали организаторы. И потому «Нотр-Дам де Пари» будет продаваться лучше.

И можно говорить об очевидных недостатках, вспоминать замечательные слова театрального критика Александра Соколянского, который однажды в связи с каким-то спектаклем заметил о присущих некоторым театральным явлениям родовых чертах лицензионной сборки — когда шурупы недовинчены, контакты недопаяны...

Все так. В партиях «Нотр-Дам...» хор и вовсе поет под фонограмму, солисты же поют всем известные арии на тон-полтора «в сторону». И всегда — на пределе. Голосовые возможности — вернее же, невозможности — солистов заставили сдвигать весь музыкальный материал в удобную для исполнителя сторону. И ничего. В смысле: это не мешает успешному прокату и восхищению уже сотен и тысяч поклонников. Мюзикл замечателен тем еще, что финансовые возможности строителей (при умелом их использовании, конечно) удачно компенсируют постановочные недостатки. То, что происходит на сцене, — конечно, важно, однако это — обязательная, но не единственная составляющая большого и сложного механизма под названием «мюзикл».

О приятном — напоследок. Мне понравился русский мюзикл «Норд-Ост».

Понравилось, что продюсеры нашли более или менее заброшенный Дворец культуры и буквально преобразили его, не забыв даже о такой мелочи, как номерки в гардеробе, на которых тоже теперь красуется эмблема первого русского мюзикла. Понравилась смелость, с которой решились вложить деньги в это здание, расположенное в самом что ни на есть рабочем районе, в отдалении от Садового кольца, куда театральная публика дороги не знала.

Надо, наверное, начать с того, что для первого русского мюзикла выбрали удачный, на мой взгляд, сюжет — каверинских «Двух капитанов». Но параллельно с этим успели подумать о футболках, компасах и фляжках, которые продают теперь на ежедневных — по бродвейскому принципу — представлениях.

Русский мюзикл — в данном случае это очень точное определение. В «Метро», а еще в большей мере в «Нотр-Дам де Пари» зритель получает удовольствие от «картинки», но не в последнюю очередь — от простых и хорошо запоминающихся мелодий, которые удобно напевать потом себе под нос по дороге от театрального подъезда к автостоянке...

Однако же русское ухо — словоцентрично, слово у нас всегда выходило на первый план. И мюзикл, созданный по американской театральной модели, но на русский сюжет, этой национальной традицией не пренебрег. К написанию либретто и самого мюзикла «Норд-Оста» пригласили Алексея Иващенко и Георгия Васильева, знаменитый казеспешный дуэт «Иваси».

В итоге сидишь, боясь пропустить очередную реплику, поскольку мастера бардовской песни Иващенко и Васильев много сил потратили на то, чтобы тексты вышли изящными и остроумными, а игра слов доставляла удовольствие. После «Норд-Оста» зритель уходит, совершенно свободный от каких-либо новых мелодий, поскольку таких, откладывающихся в памяти, в спектакле действительно нет. Зато запоминаются какие-то строчки, вне спектакля, может быть, и бессмысленные, ненужные... Но спектакля это не портит. В нем — такая редкость для нашего времени — торжествуют положительные герои, действительно — как и было обещано — на сцену садится настоящий аэроплан, а до этого носятся лыжники, ездят поезда и трамваи. А в финале прямо на сцене «разворачивается» ледоход.

На интернет-странице «Норд-Оста» можно прочесть, что мюзикл — это вообще «захватывающие сюжет и музыка, грандиозные спецэффекты, жесточайший отбор актеров и музыкантов, высокотехнологичные декорации, самое современное звуковое и световое оборудование и как результат — потрясающее шоу, привлекающее миллионы зрителей».

Что касается музыки, то составители рекламного текста допустили известное, хотя и простительное преувеличение. Однако же факт остается фактом: «Норд-Ост» сегодня — единственный мюзикл, который можно увидеть ежевечерне и в специально для него оборудованном зале. То есть мюзикл в бродвейском смысле. В октябре он отметил первую годовщину со дня премьеры. В России такого еще не было.

КИНООБОЗРЕНИЕ НАТАЛЬИ СИРИВЛИ

СВЯЗЬ ВРЕМЕН

Последние пятнадцать лет Россия прожила с ощущением разрыва во времени. Из Прошлого мы выскочили, как из готового обвалиться дома, прихватив с собой только паспорт. Новое «цивилизованное» здание Будущего никак не строилось. И всю «эпоху перемен» люди провели словно в лагере беженцев, постепенно дичая и забывая себя в каждодневных битвах за кусок хлеба. Но «эпоха перемен», похоже, заканчивается. Ясно, что наше Будущее — продолжение вот этого, сегодняшнего, какого уж есть, Настоящего. И настала пора ощутить последовательность, преемственность, связь; вновь осознать себя в непрерывном контексте истории и культуры.

«Связь времен» — тема двух фильмов, снятых в уходящем году двумя выдающимися режиссерами — А. Сокуровым и К. Муратовой. При этом оба фильма — и «Русский ковчег» Сокурова, и «Чеховские мотивы» Муратовой — интересны не только в связи с осмыслением исторического времени, но и как весьма нетривиальные эксперименты в смысле обращения со временем экранным, художественным. Авторская интенция, авторская стратегия воздействия на зрителя вообще ни в чем так не выражается, как в организации временного потока. Есть норма — привычная конвенция повествования, когда ритм монтажа и, значит, поступление к зрителю новой сюжетной информации примерно совпадает с ритмом заглавливания поп-корна: одно зерно — одна склейка. Есть время ускоренного клипового мелькания, когда зритель на время даже забывает жевать. Есть время медитативного кино с его непривычно долгими планами, когда люди с поп-корном засыпают или выходят из зала. У Сокурова с Муратовой — ни то, ни другое, ни третье...

«Русский ковчег» — фильм о России, о Петербургском периоде русской истории, снятый одним-единственным планом, одним включением камеры, которая 90 минут движется по Эрмитажу — императорскому дворцу, обретенному ныне сакральный культурный статус музея.

«Эрмитаж для меня всегда был самым главным местом в Петербурге. Это было единственное... что оправдывало сам факт существования города», — говорит Сокуров в интервью, опубликованном в журнале «Искусство кино» (2002, № 7). «Эрмитаж — национальное достояние в самом конкретном смысле этого слова, не в материальном смысле, а как некая гарантия существования России, русских как цивилизованных людей... Если времена, культуры, народы и цивилизации как-то связываются друг с другом, то, конечно, не политическими манускриптами, не политической историей. Единственная возможность иметь историю — это искусство и культура, другой формы связи между временами и людьми не существует. Ее не изобрели и никогда не изобретут. От нас остается только искусство, ничего более. ...Только культура и искусство, никакие другие меры не могут обеспечить социальный мир, спокойствие души, да и религии не в состоянии, к сожалению боль-

шому, социальный мир обеспечить, ни одна из религий сама по себе не в состоянии... Только искусство, только „эрмитажи” и все, что в них есть. Они — единственная гарантия наша, единственное наше спасение».

Итак, Эрмитаж «и все, что в нем есть», — «единственное наше спасение», «Русский ковчег», перевозчий сонмище русских душ из времени в Вечность. Именно душ, поскольку в начале фильма недвусмысленно сообщается, что случилась некая «катастрофа», все погибли и наступила тьма... А потом Автор, голос которого мы слышим на протяжении всей картины, вдруг видит перед собой подъезд Эрмитажа, куда входят какие-то дамы и офицеры; он следует за ними, но понимает, что невидим для них; они не слышат его вопросов: «Где мы? Что происходит? Куда мы идем?» Единственный, кто откликается на его реплики, — некий иностранец, Маркиз (С. Дрейден); и вместе с ним невидимый Автор проделывает всю экскурсию по залам музея.

Сначала они попадают в пыточный застенок Петра (недавно открытая экспозиция — остатки зимнего дворца Петра I, стоявшего когда-то на том же месте, что Эрмитаж); затем, поднявшись по винтовой лестнице, оказываются за кулисами домашнего театра Екатерины II, которая репетирует пьесу; через сцену и зрительный зал выходят в Лоджию Рафаэля, расписанную по рисункам великого мастера... Желчный Маркиз на каждом шагу отмечает: вся эта красота, пышность, культура — заимствованные, «Россия — не Италия». Но начинаются залы с живописью, заполненные «современными» музейными посетителями; Автор встречает каких-то своих приятелей, и те со знанием дела («наш ответ Чемберлену») растолковывают Маркизу символическое значение деталей на картине какого-то старинного мастера. Возле «Петра и Павла» Эль Греко эксцентричный Маркиз, преклонив колено, осеняет себя крестным знамением и осыпает упреками стоящего рядом юношу: как, мол, может он восхищаться картиной, не будучи католиком и не зная Священного Писания. Однако русофобия Маркиза постепенно сходит на нет при знакомстве со все новыми персонажами, проникнутыми трепетным почитанием великих полотен: в зале фламандской живописи герои встречают Слепую, которая знает и чувствует картины лучше многих и многих зрячих; в зале Рембрандта — Балерину, «беседующую» с «Данаей» возвышенным языком жестов...

Потом «музейная» атмосфера вновь сменяется «исторической». Снова появляются дамы и кавалеры, одетые по моде 30-х годов позапрошлого века; кто-то объясняется с кем-то на лестнице, гвардейские офицеры строго встают на пути посетителей, не позволяя пройти во внутренние покои. Автор с Маркизом открывают какую-то дверь: за ней промозглый холод и всюду стоят гробы (их делали в Эрмитаже во время блокады)... Затем в Павильонной им вновь встречается Екатерина, которая играет с детьми, а потом выходит в Висячий сад и быстро, задыхаясь, убегает куда-то в снег и туман... В Георгиевском зале перед ними разворачивается величественная сцена — прием Николаем I персидских послов, которые приехали извиняться за смерть Грибоедова.

Каждый уголок Эрмитажа заполнен людьми: всюду лакеи, смотрители, придворные, согладатаи, комедианты... Они когда замечают, когда не замечают беседующих героев, а те, осторожно пробираясь по залам, становятся свидетелями все новых и новых исторических или мистических сцен. Так, они подслушивают разговор трех директоров Эрмитажа: И. Орбели, Б. Пиотровского и нынешнего — М. Пиотровского, вполголоса обменивающихся соображениями о сложных отношениях Культуры и Власти; затем через полуоткрытую дверь наблюдают интимный семейный завтрак Николая II... А потом вдруг перед ними открывается грандиозный бал, где оркестром дирижирует В. Гергиев и в мазурке сходятся персонажи в костюмах 1830-х, 1870-х, 1900-х годов... В конце все гости — 900 человек — выходят на Иорданскую лестницу, камера долго проталкивается, протискивается сквозь эту пышно разряженную толпу, затем делает резкий поворот влево, и через боковую дверь мы видим лишь свинцовое небо и свинцовые воды, по которым этот «Русский ковчег» плывет в бесконечность...

Вся эта фантазмагорическая греза производит странное впечатление. Траектория движения камеры, разработанная Сокуровым виртуозно, действительно завораживает. Фильм отнюдь не выглядит монотонным: крупные планы сменяются об-

щими, массовые сцены — сугубо интимными, фрагменты, снятые в статике, — разнообразием панорам. Картина отчетливо делится на ряд эпизодов, каждый со своей атмосферой и микродраматургией, и понятно, что порядок чередования этих сцен обусловлен пространством — расположением музейных залов Эрмитажа. План Эрмитажа, собственно, и есть сценарный план фильма. Сам Эрмитаж, Музей — пространство, где, как в закупоренном сосуде, хранится Прошлое, порождает все эти видения, призванные помочь нам восстановить «связь времен».

Однако же со временем в «Русском ковчеге» происходит удивительный парадокс. В рекламном буклете, сопутствующем выходу фильма, Сокуров говорит, что снимал его столь уникальным, особенным способом ради того, чтобы «войти в само течение времени». Но ведь по сюжету жизнь уже кончилась, единственное, что от нее осталось, — музей (специальное учреждение, где время не течет, а хранится, как в колбе); и, значит, собственно времени — в объективном, физическом смысле — тут больше не существует. Здесь оживают тени и воскресает былое, здесь развоплотившиеся герои смиренно поклоняются «вечным людям» — изначально бесплотным персонажам картин. «Русский ковчег» населен фантомами разных эпох; все смешано, все существует одновременно. И даже живые и здравствующие на сегодняшний день участники фильма — М. Пиотровский, В. Гергиев, сам Автор (дай ему Бог здоровья) — уравниваются в своей душевно-духовной, бесплотной сущности с давно умершими людьми.

Так что, снимая фильм одним планом, дабы «не нарушить течение времени», режиссер на самом деле на 90 минут погружает зрителя в абсолютно призрачную реальность, где *времени нет*, никакого — ни исторического, ни физического, ни физиологического времени жизни. Избегая перерывов, купюр и монтажных склеек, не позволяя отвлечься ни на минуту, он заставляет нас на полтора часа зависнуть в некоем вневременном пространстве Культуры, где царствует один только «дух», бескомпромиссно отделенный от плоти. Иначе нельзя. Без этого репрессивного подхода Культурой не проникнуться, не напитаться. Этот-то репрессивный подход и вызывает сопротивление даже у тех, кто искренне разделяет преклонение создателя фильма перед нетленными ценностями культуры и миром возвышенных, духовных стремлений.

Совершенно иная стратегия у Муратовой. «Чеховские мотивы» — тоже картина про связь времен. Тут тоже есть диалог с классикой, но классическое наследие представляет не знаменитые шедевры Эрмитажа, а два не самых известных чеховских произведения — рассказ «Тяжелые люди» и пьеса-шутка «Татьяна Репина», — плюс к тому балетный номер, который герои смотрят по телевизору, парочка романсов и — тут дерзость Муратовой по части воссоздания на экране «сакрального» вполне сопоставима с сокуровской — православный обряд венчания, воспроизведенный в картине полностью, в масштабе один к одному.

«Культура и искусство» в «Чеховских мотивах» не ограждены музейными стенами, но принципиально растворены в обыденности, в повседневном существовании самых что ни на есть заурядных, «второстепенных» людей с их мелочными страстями, нескончаемыми скандалами и странноватой зацикленностью сознания. Виртуозно перемещивая в картине свои собственные и чеховские речевые приемы, реплики, детали, коллизии, бытовые приметы рубежа XIX — XX, XX — XXI веков, Муратова настаивает, что в национальной жизни за сто лет мало что изменилось. «Россия, которую мы потеряли», и общество, которое обрели, похожи друг на друга, как близнецы: та же патриархальная тяжесть, то же наносное православие, то же неравенство, слабости, обиды, грехи, то же неумение поладить даже с самыми близкими — и та же несмотря на все это пленительная, живая, неистребимая жизнь.

Сокуров, устанавливая жесточайшую «музейную» иерархию, изгоняет из своей картины всякую стихийную жизнь. Муратова как истинная анархистка иерархию отмечает: формы культуры — будь то храмовый ритуал, бытовые нормы и правила, опера и балет, классические тексты и т. п. — сами по себе гроша ломаного не стоят. Если они не наполнены жизнью, культурная оболочка взрывается, летит в тартарары, и Муратова взирает на это с нескрываемым восхищением.

Весь фильм — цепь зеркально отражающихся друг в друге и возрастающих по силе скандалов подобного рода.

Пролог, где хозяйские дети взахлеб спорят с рабочими, что за сооружение те возводят у них во дворе: «сарай или магазин», — это так, репетиция, хотя мальчонка в очочках — «киндер-сюрприз» — истерически топаёт ножками и трясёт варежками, пришитыми к рукавам пальто, а рабочий в телогрейке — герой А. Баширова — раз двенадцать повторяет с угрозой: «Вот увидишь, построю вам магазин, если сестру постарше не приведешь...» Потом, как водится у Муратовой, скандал перерастает в балет; персонаж Баширова на общем плане исполняет нечто, напоминающее «Танец маленьких лебедей», и под занавес начавшегося дождя смачно падает в лужу.

Далее следует интерлюдия: хозяин дома (С. Попов) — солидный, в очках, с бородой, — стоя у загона со свиньями, жалуется им, что вот пошел дождь, рабочие сейчас бросят работать, а плати им как за целый день...

Следующее действие: «скандал в благородном доме». Выбеленные стены, иконы, шитые рушники с педагогическими изречениями: «С милым рай и в шалаше», «Для милого дружка и сережку из ушка» и т. п. Многочисленные разновозрастные дети — все в очках — маются в ожидании обеда, в то время как хозяин за кулисами переоблачается в махровый халат и любовно причёсывает бороду перед зеркалом. Потом он торжественно выходит, все встают, молятся, худая затурканная мать в переднике и с косой вокруг головы (мать — тоже в очках) разливает суп по тарелкам, в благостной тишине застучали ложки, и... Понеслось!

Старший сын, студент (Ф. Панов), осторожно намекает, что пора бы ему уже отправиться на учебу, занятия две недели как начались, и что, мол, нужны деньги на дорогу и на учебники... Выдача денег происходит мелкими порциями, и с каждой купюрой, извлеченной отцом из портмоне, атмосфера опасно накаляется. Но следуют новые просьбы: «...И на книги. И на обеды. И за квартиру платить...» Вступает мать с сольной партией: «Ты бы ему хоть свитер купил! Сейчас стыдно ходить оборванцем. Теперь не старые времена...» — эту фразу, не в силах остановиться, она повторяет раз десять. Младшие мальчики аккомпанируют ей, бессмысленно выкрикивая: «Каша, каша, телевизор!», толстая тринадцатилетняя Варя демонстративно читает газету, а отец посреди этого гвалта молча и смачно извлекает мозг из говяжьей кости. Наконец, доев, он взрывается. Кость летит на стол, очки — в тарелку с супом, воздев руки, отец начинает топтаться по комнате и визжать, как раненое животное.

Чуть успокоившись, он раздражается монологом: «Вы меня обьели, опили, я вас всех из дома выгоню!..» — «Да? И куда же это мы пойдём?» — иронически замечает домашняя террористка Варя. Но монолог все длится: «Тратьте, транжирьте, покупайте себе новые сапоги, мундиры, кроссовки, кружевное исподнее...»; двухлетний ребенок, утомившись скандалом, засыпает и мотает головкой, сидя на стульчике. Наконец кто-то включает телевизор, и завершением этой словесной бури становится «Лебедь» Сен-Санса в исполнении Н. Макаровой. Искусство — неожиданный дар для этих людей, которые очень хотят, чтобы все было тихо, мирно, спокойно, но «у них не получается. Они не виноваты. Точнее, виноваты, потому что у них не получается». «Балет. Красиво. Смотреть. Люблю», — как сомнамбула повторяет мать. Муратова вставляет балетный номер в фильм целиком; белая фигура волшебного кружится на черном фоне, поет виолончель, поют руки, ноги — гармония, покой, совершенство. В движениях балерины, танцующей «Лебедя», — совершенство, близкое к реальной природной жизни.

Не случайно после «скандала в доме» Муратова вновь дает пасторальную интерлюдию. Вслед за студентом, гордо хлопнувшем дверью родительского дома, камера выскальзывает во двор: там куры, гуси, утки, коровы, лошади, плотники ритмично стругают доски, и эти картинки положены на долгий, пронзительно нежный романс «Бегут наши дни...», ключевая фраза которого: «И вновь пробуждается мир для меня, для меня, для меня...» — звучит как исповедальное признание в любви к жизни, внезапно-негаданно вернувшейся к Муратовой после долгих лет «скорбного бесчувствия». Все эти гуси, тянущие шеи под музыку, индюк, распускающий хвост, копошащиеся в загоне свиньи и жеребенок со звездочкой, тыкающийся мордой в пах матери, тут не менее прекрасны, чем любое самое совершенное искусство. И когда стихает романс, остается лишь птичий гомон, квохтанье,

хрумканье, свист рубанков — неподражаемая симфония скотного двора, симфония жизни.

Далее следует «скандал в церкви». Этот эпизод, самый длинный и значительный в фильме, вызывает наибольший дискомфорт, причем в равной степени у зрителей воцерковленных и нецерковных. Первым он кажется кошунственным, вторым — просто томительно скучным, как всякая долгая служба. Тем более, что длящаяся чуть ли не час сцена венчания напрочь выпадает из линейного движения фабулы. Студент, уйдя из дома, бредет с котомкой по грязной, разбитой дороге, потом останавливает навороченный джип, новорусский хозяин которого соглашается отвезти бедолагу в город, но только после свадьбы, куда он, хозяин, в данный момент направляется. Во время службы студент засыпает, и джип, естественно, уезжает без него. Так что вся сцена венчания к истории студента, на первый взгляд, никакого отношения не имеет. Однако — только не первый взгляд. Напуганная брата перед уходом из дома, ехидная толстая Варя фантазирует разные варианты его дальнейшей судьбы: «Вот идешь ты с котомкой, в рваных ботинках, снег, холод, ты упал и умер... Нет, идешь ты, идешь, и вдруг в чистом поле светится избушка, а там — разбойники мафиозные... Нет, не избушка, а вилла богатая, и хозяйская дочь, красавица, в тебя влюбляется. У нее свои причуды, да, причуды... Ты женишься на ней, и тут являюсь я и говорю: „Да это же мой братишка“...»

Самое смешное, что все сбывается: и блуждание с котомкой, в рваных ботинках, и «разбойники мафиозные», которых на новорусской свадьбе хоть пруд пруди, и сама свадьба, где герой, правда, оказывается всего лишь случайным гостем, и даже финальное явление Вари, точнее, ее сестры-близнеца, дочери священника (О. Конская) — такой же «террористки-ниспровергательницы», назло отцу превратившей венчание в кошунственный балаган. Все отражается, все повторяется, действие фильма движется по расширяющейся спирали, и «скандал в церкви» построен точно так же, что и предыдущие скандалы, — по принципу фуги, где у каждого персонажа свой голос, своя особая партия. Только голосов этих тут не пять и не восемь, а как минимум двадцать, и за счет этого эпизод разрастается — нужно время, чтобы каждая партия полноценно смогла прозвучать. Основа всей сцены — самый обряд венчания, пение хора и порядок службы, который священники пытаются соблюдать несмотря на шокирующие эскапады гостей. Поверх идет партия Жениха (Ж. Даниэль); этот самовлюбленный толстый оперный тенор узнает в таинственной фигуре, блуждающей по церкви (балуется дочка священника), тень Татьяны Репиной — своей покончившей самоубийством любовницы, и, стоя под венцом, взволнованно бубнит что-то насчет галлюцинаций, вызванных «расстройством зрения, желудка и мозга». Есть тема шафера (клоун Г. Делиев из «Маскишоу»), присматривающего за женихом, как бы тот чего-нибудь от «расстройства мозга» не выкинул. Тема невесты (Н. Бузько, загримированная под Веру Холодную): «А я все равно счастлива, потому что я его очень-очень люблю», — и ее мамы (Н. Русланова): «Я так люблю, когда кто-нибудь кого-нибудь любит. Никто никого не любит». Есть квартет пересмешиков, центр которого — заезжий лысый банкир, паясничавший, веселя двух высоченных девиц и какого-то безликого юношу. Есть подвыпившая старушка, вошедшая в храм, напевая: «Каким вином нас угощали» — и проспавшая всю службу, повиснув на руках у поддерживающих ее родственников. И еще множество колоритнейших персонажей. Все это разнообразное сборище бурлит, перегоривается, томится, сплетничает, подает реплики во весь голос, скандально нарушая тишь и гладь церковного благолепия. И центральный момент свадебной полифонии, сильно смахивающей на какофонию, — реплика некоего умильного редкозубого юноши, завершающая обсуждение гостями достоинств невесты в сравнении с усопшей Татьяной Репиной («И хорошенькая, и попа большая, и денег много...»): «А главное — живая!»

«Живая!» — и это главное. И все эти люди — пошлые, глупые, скандальные, самовлюбленные, не умеющие себя вести — *живые*. Смерть, ужас небытия отступает; к смерти в «Чеховских мотивах» относятся легкомысленно: «Умер, шмумер, — лишь бы был здоров». Жизнь — главная ценность, абсолютная, самодовлеющая, ни с чем не сравнимая. И Муратова растягивает время, намеренно останавливает фабульное движение, чтобы, словно под микроскопом, показать, как в комическом собрании

«одноклеточных» бьется, трепещет живая жизнь, естественным образом разрушающая неорганичную, неестественную для нее «сакральную» форму.

Противоречие между логикой сюжетного развития и ходом экранного времени, когда наименее значимая, с точки зрения фабулы, сцена длится дольше всего, — центральное в этом фильме. В «Русском ковчеге» отсутствует связная фабула, но режиссер тем не менее предлагает нам линейное, непрерывное скольжение от начала к концу сквозь вневременное, отрешенное от жизни пространство Культуры. Муратова, напротив, всячески замедляет, тормозит время, пускает его по кругу вопреки последовательному ходу событий. Ее картина организована по принципу детской пирамидки-бочонка: сначала маленький кружок, потом побольше, потом самый большой, потом снова поменьше — эпизод, когда студент после венчания приходит домой и втягивается в новый скандал с отцом, а потом, примирившись с ним, покидает родительский кров окончательно. И все «кружки» устроены одинаково, везде — одна и та же жизнь. Время жизни плотное, многослойное, пульсирующее бесконечными повторами реплик и повторяющимися выплесками страстей, — абсолютно преобладает в ее картине над привычными для нас временными принципами линейного изложения сюжета. И время жизни — «всегда одинаковое», что в чеховские времена, что в наши, — оказывается тут единственным связующим материалом, единственной субстанцией, способной восстановить разрушенную, разорванную, распавшуюся в нашем сознании «связь времен».

WWW-ОБОЗРЕНИЕ ВЛАДИМИРА ГУБАЙЛОВСКОГО

Сетевая игра «Galaxy PLUS» и сценарий Дмитрия Галковского «Друг Утят»

В «Новом мире» (2002, № 8) опубликовано произведение Дмитрия Галковского «Друг Утят» (сценарий фильма). Главное занятие героев этого текста — онлайн-новая игра «Galaxy PLUS». Галковский не выдумал эту игру, она существует довольно давно, и число галаксиан — игроков и населяющих галактику рас — довольно велико.

Правила этой игры и первый игровой сервер <<http://galaxy.pbem.msk.ru/>> были созданы Антоном Кругловым: «ГАЛАКТИКА ПЛЮС» («GALAXY PLUS») Copyright (c) 1993 — 1997 by Anton Kruglov. Based on Russell Wallace's Galaxy Rules. Copyright (c) 1991 — 1992 by Russell Wallace. Версия 1.7 Последние изменения в правила внесены 22 февраля 1997 года.

Во введении к правилам Гейммастер пишет: «...когда компьютеры стали объединяться в глобальные сети... в одну игру смогли играть люди, находящиеся за много тысяч километров друг от друга. К такому роду игр и относится „Galaxy PLUS“. Общение с игроками производится посредством глобальной компьютерной сети. В силу своей специфики игра не требует одновременного обслуживания игроков в режиме реального времени, для игры вполне достаточно системы электронной почты (Electronic Mail или просто E-Mail) с пакетным режимом работы. Отсюда и произошло название подобных игр — Play-By-E-Mail», или сокращенно РВЕМ, что и означает «игра по электронной почте» («Руководство игрока») <<http://galaxy.caravan.ru/rules.html>>

«Galaxy PLUS» — пошаговая стратегия, то есть сначала сервер собирает указания (приказы) от всех участников данной партии, а потом в определенный, заранее известный всем участникам момент времени выполняет их все и переходит в состояние ожидания новых приказов, которые будут выполнены на следующем ходу. Именно пошаговость и позволяет игровому серверу, который получает приказы играющих и рассылает отчеты о состоянии дел в Галактике, работать в пакетном режиме.

Антон Круглов так описывает «Galaxy»: «„Galaxy PLUS“ — это многопользовательская стратегическая фантастическая сетевая компьютерная игра. Каждый из

игроков — предводитель расы в Галактике. Цель игры — управляя своей расой, распространить свою власть на всю Галактику. В „Galaxy” играют с давних пор. Многие люди находят ее настолько увлекательной и интересной, что проводят, играя, долгие часы. Хотя вся игра может быть сведена к отсылке нескольких строк с командами на „Galaxy-сервер”, эти команды настолько важны для игроков, что над их содержанием игроки проводят большую часть времени. Кроме того, в „Galaxy” есть возможность общаться с остальными игроками. А поскольку настоящие адреса игроков хранятся в тайне и никто без желания самих игроков не сможет узнать их настоящий адрес, возникает возможность ролевого общения, когда каждый из участников действует и говорит от лица вымышленного им персонажа. Персонажа, имеющего свои черты, свой характер, свои взгляды на жизнь, которые могут не совпадать со взглядами самого игрока. Словом, „Galaxy” — это свой мир, настоящая виртуальная реальность» («Руководство игрока»).

Это все по делу. Дальше идет типичный текст ярмарочного зазывалы: «В „Galaxy” бурлит настоящая жизнь. То здесь, то там слышны слова дружбы и вражды, проклятий и благодарности, злорачества и мольбы о помощи. На космических верфях строятся звездные суда самых разнообразных и невероятнейших характеристик. Развиваются новые планеты, разрабатываются технологии, осваиваются новые месторождения полезных ископаемых, заключаются союзы и объявляются войны. На каждом ходу в каждой Галактике совершается несчетное множество событий. Космические лайнеры совершают перелеты от планеты к планете» и т. д.

Ну, конечно, — «пока космические корабли бороздят», не помню, что они там бороздят. Нужно отдать должное, что ярмарочный текст очень короткий и автор игры переходит непосредственно к правилам — к тому набору формальных команд, которые создают и структурируют галактическую реальность.

В игру играет, как правило, 30 — 40 виртуальных персонажей — рас. Не все эти персонажи — люди (это может быть полчеловека, четверть человека, — одним словом, два землекопа и две трети), об этом несколько подробнее мы еще поговорим.

В начале игры все находятся в равных условиях — получают по планете, начинают ее обживать и развивать, строить корабли, воевать и мириться с другими игроками — и пытаются выжить и распространить свою власть на всю Галактику. Все действия игроков строго формальны — игрок отдает серверу указание выполнить набор команд, что сервер неукоснительно и однозначно выполняет. Но есть очень существенный момент, который отличает «Galaxy» и от компьютерной игры, и от настольной, и от спортивной. Это так называемая дипломатическая переписка. Цель этой переписки — заключение выгодного мирного договора и/или получение информации. То есть возможность перевести начальное состояние войны всех против всех в некоторое структурированное деление на союзы. Ясно, что, если на вас нападает два или три вражеских флота, вы вряд ли отобьетесь. Значит, придется и вам искать союзников. И отмолчаться не получится. В одиночку можно выжить только случайно. Если бы игроков было два, союзы были бы невозможны. Если игроков сорок, возникают разнообразные возможности для маневров, но становятся вероятны и вырожденные стратегии, именуемые «толпизм» и «зомбизм».

«Galaxy» — это игра с неполной информацией. Игроку доподлинно известно, что происходит на чужих планетах, только в том случае, если на орбите есть его корабль. Как правило, первым на чужую планету высылается дрон — легкий корабль-разведчик. Отсюда и фраза, столь часто цитируемая Галковским в сценарии «Друг Утят»: «Он и дрона в инкаминге не видел» — как характеристика непосвященного, не игравшего никогда в «Galaxy». («Приближающиеся группы — Incoming Groups — это список всех групп чужих кораблей, направляющихся на ваши планеты». — «Руководство игрока».)

Настольные игры — это, как правило, игры с полной информацией, шахматы, например, — вся позиция открыта обоим играющим. Игра с неполной информацией — это покер или преферанс. Но если за подсматривание в чужие карты полагается приложить любопытствующего канделябрами, то в «Galaxy» игрок может (если захочет) поделиться с союзником информацией и о собственных планетах, и о тех, информацию о которых он уже собрал. Но как было замечено в эпиграфе к одному из выпусков «Galaxy times» (печатного органа галаксиан): «Умные люди

знают, что можно верить лишь половине того, что нам говорят. Но только очень умные знают, какой именно половине». Дезинформация входит в игровое поведение, как и нарушение мирного договора, которое в реаллайфе называется вполне однозначно — предательством, да и в виртуальном пространстве выглядит не шибко-то хорошо.

Дипломатическая переписка выводит игру из чисто формального пространства, где все предопределено набором правил, в неустойчивый и зыбкий мир реальности. И вот именно вокруг связи реальности действующих лиц и виртуальности пространства действия и разворачивалась полемика Дмитрия Галковского (он же — Друг Утят) с ветеранами «Galaxy», в частности, Звездным Панком Тимуром. Некоторой попыткой перевести эту полемику в довольно далекую от самой игры область является и сценарий «Друг Утят», где мы встречаем множество игровых реалий, персонажей и деятелей. «Панк Тимур — с огненно-рыжей копной волос, небольшого роста» имеет реальный прототип в Галактике.

Что такое «толпизм»? «Вредный совет» из галактического юмора описывает это явление вполне узнаваемо:

Новичков мочите сразу,
 Это очень интересно.
 Старичков толпой топчите,
 Пусть орут себе потом!
 Тренируйтесь ежедневно,
 И наступит день счастливый —
 В этой партии вы славно
 Победите в восьмером.
 <<http://civilians.chat.ru/CN006.htm#Humor>>

Не исключено, что этим дело не ограничится, и эти восемь, нарушив все мирные соглашения, разделятся в пропорции 7:1 и затопчут этого одного, и т. п. «Зомбизм» (зомбоводство) — это вариант «толпизма», только в этом случае игрок, пользуясь своей анонимностью, регистрируется в одной партии восемь, скажем, раз. И играет за всех восьмерых. (Вот и будет за одним персонажем по восьмушке человека.) С тем же эффектом, что и в предыдущем случае.

В своей статье «Дипломатия и „толпизм“» — статье, на мой взгляд, гораздо более интересной, чем сам сценарий, — Друг Утят пишет: «В каждой игре можно выделить две составляющие. Формальную — строго регламентированные технические приемы, и неформальную — методы опосредованного воздействия на соперника. Неформальная часть игры никогда не может быть удовлетворительно описана, и если и подчиняется определенным правилам, то правилам неписаным... „Galaxy Plus“ есть игра с ДОМИНИРУЮЩЕЙ внеигровой частью... В „Galaxy Plus“ мы видим поединок в чистом виде — поединок между человеческими личностями. Перед нами совершенная модель реальности, ибо это и происходит в повседневной жизни... „Galaxy Plus“ обозначает борьбу человеческих волеий не грубой физической или логической условностью, а пунктиром, так сказать, акварельно... „Galaxy+“ можно уподобить перевернутым шахматам, шахматам, в которых игровая часть составляет 10 процентов, а внеигровая 90 процентов. Но если подавляющую часть игрового процесса составляют неформализованные действия, то это уже не игра, а творческая импровизация, то есть искусство. С другой стороны, искусство всегда самоценно, так что формализованные 10 процентов — это 10 процентов той самой птички, у которой что-то приключилось с коготком... Идеальный игрок в „Galaxy Plus“ — это человек, конечно, не совершающий ошибок в развитии экономики и строительстве флотов, конечно, использующий подобные ошибки своих соседей, но главное — обладающий способностью выигрывать не за счет переписки с игровым сервером, а за счет переписки с игроками... „Толпизм“ — это не что иное, как естественные зачатки дипломатии, тщательно и методично вытаптываемые ветеранами... Конечно, „толпист“, в том карикатурном виде, в каком его подают ветераны, фигура малопривлекательная. Тонкое строение флотов, отточенная стратегия и тактика ведения боев, и тут вдруг приходят „толписты“ и забивают числом. Однако возникает два вопроса: а) ОТКУДА приходят „толписты“ и б) КТО их приводит? Если это новички, то толпой они приходят из реаллайфа,

а приводит их лидер, то есть потенциальный дипломат. Человек с организационными способностями всегда захочет использовать их в самой игре. „Толпист” хорош уже тем, что изначально враждебен „зомбоводству”. Ему не нужен аппаратный выигрыш при помощи электронных марионеток. Ему нужно господство над людьми методом перепрограммирования собеседников, выстраивания сложных инвариантных сценариев их поведения». (Ссылка на статью есть здесь: <<http://www.livejournal.com/community/utenok>>)

В сценарии «Друг Утят» Галковский просто реализует свои идеи идеальной «Galaxy». Здесь игра переходит через границы виртуального пространства, отбрасывает эти нелюбимые Галковским 10 процентов формального мира и становится некоторой доминирующей стратегией реального поведения, приводящей группу интеллектуалов во главе с Другутятом к мировому господству. И такое направление развития социума объявляется единственно возможным — власть интеллектуалов должна прийти на смену власти капитала. А «Galaxy» — это начало, это первый росток будущего интеллектуального социума; но не та существующая сегодня игра, а нужным образом преобразованная, в которой переставлены акценты и которая в конечном счете должна стать школой дипломатического мастерства, причем действующего не в игровом, а в реальном мире.

Николай Александров пишет в сетевой «Газете» (8.8.2002, «Слово не воробей, вылетит — и все») о «Друге Утят»: <<http://gzt.ru/rubricator.gzt?rubric=reviu&id=1405000000004694>> «...натюрморт получился душераздирающий. Грустно становится. Ведь по большому счету „Друг Утят” — это история болезни, болезни компьютерного игрока. Или история о том, как опасно безвылазно сидеть в Интернете».

Не думаю, что сценарий Галковского — это история болезни компьютерного игрока, скорее даже напротив. Это мечтания недостаточно компьютеризированного гуманитария.

С одной стороны, Галковский не вполне тонко чувствует красоту и точность формального мира игры. Он не хочет входить в частности и тонкости мира команд — он объявляет их совершенно тривиальными и полностью исчерпаемыми к третьей партии, — а сразу хочет заняться разговорами. Но все разговоры в «Galaxy» — это, конечно, приложения к игре. Без игры говорить попросту не о чем. Если уж так необходимо делить формальную и неформальную части, то по крайней мере 50 на 50, а никак не на 10 и 90. Несмотря на простоту команд, положения дел, возникающие в конкретных партиях, никогда не повторяются — эта игра много сложнее шахмат и по правилам, и по разнообразию возникающих позиций. Распространение «толпизма», за который так ругает Друг Утят, конечно, подрывает формальную составляющую — то есть разрушает виртуальное пространство игры грубым вторжением недетерминированной реальности. Но если произойдет вырождение формальной части — игра просто умрет, возможность виртуального существования будет утрачена.

Но, с другой стороны, Галковский явно преувеличивает возможности формального мира вообще и формального воспитания — игровой дипломатии — в частности. Как написал один из участников обсуждения статей «Друга Утят»: «На самом деле „Галакси” слишком проста, груба и реальна для того, чтобы стать воплощением фантазий Галковского. Там отсутствует уют, волки зайчика ... (купюра моя. — В. Г.). Клубы какие-то, выдуманные „дипломаты” голубых кровей — да даже на пресловутое „создание имиджа” обычно нет времени» <<http://www.livejournal.com/talkread.bml?journal=utenok&itemid=9998>>

Участники игры решают прямые утилитарные задачи, и говорить о том, что главное в «Galaxy» — это околоигровая реальность, явное преувеличение. Игрокам интересно играть — играть друг с другом, и этим, собственно, все сказано. В «Galaxy» найден замечательно точный баланс между сложностью формального описания и возможностями внутриигрового развития, контроля и оценки ситуации. Это безусловное достижение. С появлением все новых игровых серверов появляются новые варианты правил, которые следуют «Руководству игрока» в целом, но реализуют и свои дополнительные возможности. Но изменения правил направлены на усиление именно игровой формальной части, а не дипломатической. Так, на многих серверах запрещена команда «G» — передача своих кораблей другому

играющему, что осложняет злонамеренный «толпизм». Но интриги «дипломатов» можно еще сильнее ограничить — например, сделав заключение мирного договора командой серверу и тем самым просто запретив его нарушение. Может быть, это не слишком сильное ограничение? Впрочем, судить об этом я не берусь.

«Galaxy PLUS» — это замечательно обжитой и живой уголок виртуального мира, и не нужно предъявлять ему требования, которые он заведомо не может выполнить, как и не нужно принижать его достоинство, вторгаясь в формальное пространство с недетерминированными законами (то бишь беззаконием) реальности.

В заключение я хочу поблагодарить *mr. Skull*, дебютирующего в роли Гейммастера, создателя игрового сервера на <http://galaxy.caravan.ru>, за подробные и оперативные консультации, которые мне очень помогли в написании этого обзора.



ИЗ РЕДАКЦИОННОЙ ПОЧТЫ

ВЯЧЕСЛАВ КУПРИЯНОВ



СВОБОДНЫЙ СТИХ КАК ДЕЛО ВКУСА

Свободный стих был предметом дискуссий в начале 70-х, до рождения Г. Циплакова, автора статьи «Свобода стиха и свободный стих» («Новый мир», 2002, № 5). Поэтому любопытно проследить изменение точек зрения на этот предмет хотя бы за прошедшие тридцать лет.

Г. Циплаков начинает защищать свободный стих, выдвигая тезис о «безграничности» поэзии, понимая под этим безграничную свободу выбирать предмет описания. Это совпадает с безграничным кругом обзора, когда в поле зрения попадают предметы важные и неважные, включая пресловутый «сор», от ахматовской строчки возвращающий нас к «пестрому сору» голландской школы, и т. д. Это свобода бедуина на верблюде, который воспеваает все, что под ногами и над головой.

Никакого отношения к безграничности ни поэзия, ни проза не имеют, они суть художественные формы, содержащие в себе начала и концы, и их бесконечность актуальна, то есть стихотворение равномошно роману и наоборот. И если это так, то здесь малоприменимо понятие «безграничности».

Г. Циплаков выдвигает гипотезы, доказывать которые не собрался: 1) «*Проза не дорожит отпущенным ей временем, да и временем читателя тоже*»; 2) «*у поэзии совершенно не бывает свободного времени*». Каждый, кто всерьез писал прозу, должен был ощущать, что проза тогда и выходит *хорошей*, когда она равна именно *отпущенному ей времени*, ни больше и ни меньше. В этом смысле роман в стихах отличается от прозаического сочинения только тем, что выдыхается, завершается раньше. Что же касается *закрученности* сюжета как выхода из постылой бесконечности, то в какой-то степени любая поэтическая метафора — это свернутый сюжет, а сюжет — развернутая метафора.

Если говорить о времени читателя, то оно не совпадает со временем сочинителя. Сочинитель (не важно, в стихах, прозе или верлибре) затратил больше энергии, помножив ее на талант, нежели читатель способен воспринять сразу, поэтому читатель менее готов усваивать многомерность стиха (хотя кажется, что его кристаллическая структура более обозрима), нежели растянутую многомерность прозы. Аналогии между твердым кристаллом (алмаз) — поэзия и жидким кристаллом (вода) — проза симпатичны, но хромают, как любые сопоставления естественного и искусственного. Однако можно предположить, что свободный стих мог бы быть как тем, так и другим — представьте себе прямоугольники регулярного стихотворения («Приступим к нашим ямба, уложенным в квадратики», Б. Слуцкий) и бесформенные слитки верлибра («Караваны горбатых верлибров»).

Если абзац считать средством «поэтизации прозы», то с тем же успехом говорящий периодами, подчеркивающий паузы, будет уже устным стихотворцем, а заика — вдохновенным поэтом, ибо в его речи «абзацы» будут равны количеству слогов. Если при помощи подобного подхода (верлибр и есть тогда максимальная реализация принципа деления на абзацы) защищать поэтичность верлибра, то это лучший способ его гробить.

В свое время нам приходилось не только самим себе отвечать на вопрос, почему мы обратились к верлибру. Самое простое — обратились, и все! В этом не было, во всяком случае, никакого *мучительного* перехода. Я тогда цитировал, если хотите, в оправдание Мирослава Валека: «Надоело мне думать о рифмах, я устроил смотр своей совести». «„Смотр совести“, пересмотр поэтом этической ситуации — вот

один из возможных переходов к свободному стиху» («Вопросы литературы», 1972, № 2). В нас жила в то время подспудная уверенность, что свободным стихом лгать нельзя, и это вызывало столь же подспудное сопротивление литературных собратьев. И еще: мнение о свободном стихе как о поэзии в чистом виде (Г. Циплаков) вполне соотнобразуется с установкой В. Бурича. Создавая свою систему письма, Бурич был сосредоточен на правильности речевого момента, речевого акта.

Почему именно мы, русские, с таким изумлением смотрим на свободный стих в родном языке? Я не вижу другой причины, кроме того отношения к языку, который нам заповедан еще с позапрошлого века Александром Афанасьевичем Потембней. Потембня считал прозу вырождением поэзии и выбросил из школьного, а также из университетского преподавания 1000 лет русской церковно-славянской гимнографии, сделав нас на много лет вперед усердными любителями светской рифмованной и метрической поэзии. Сейчас это проходит.

Давид Самойлов поучал меня, что «писать надо яйцами», а верлибры, дескать, пишутся без оных. И, встретив меня в Доме литераторов с дамой, выразил свое поощрительное удивление: не ожидал, мол, от верлибриста. Странно, но факт. Кстати, опытейший поэт — но как раз его немногочисленные верлибры меня не убеждали, как и попытки других именитых авторов, поэтому я не разделяю мнения Г. Циплакова, будто свободные стихи «удаются исключительно признанным поэтам». Но Самойлова очень волновала наша проблема, вот одно из его поздних стихотворений (1989):

Поздно учиться играть на скрипке,
Надо учиться писать без рифмы.
С рифмой номер как будто отыгран.
Надо учиться писать верлибром...
Как Крутоямов или как Вздорич,
С рифмой не брататься, а вздорить.
Может, без рифмы и без размера
Станут и мысли иного размера.

В. Бурич (он же «Вздорич») приводит следующий разговор Назыма Хикмета с Николаем Глазковым («Тексты», кн. 2, 1995):

«Глазков: Стихи без рифмы напоминают мне женщину без волос.

Назым Хикмет: А представь себе, брат, женщину, у которой везде будут волосы.

Глазков: Это верно».

Возможно, после этого спора Глазков написал на клочке бумаги свой единственный верлибр (по-моему, неопубликованный):

Если жизнь — гора,
То надо идти в гору,
Если жизнь — река,
То надо грести только против течения.

«Конечно, это самый резкий поэтический протест», — как сказал бы философ Г. Циплаков. И перед этим: «Верлибр порожден радикально негативистскими стремлениями поэтов. Он определяется, по существу, негативными признаками — без рифмы, без размера». Против этого определения я выступаю уже давно. Во-первых, негативное определение не дает представления о предмете чисто эпистемологически. Во-вторых, оно сделано в пределах стиховедения, а верлибр предметом традиционного стиховедения не является. Смотрите сами, оно занимается именно рифмой и размером (метром), а если их нет, то что ему искать в верлибре? Вот и искали окказиональную (случайную) рифму и окказиональные размеры. Бессмысленное занятие, которое у стиховедов вызывало только раздражение против предмета рассмотрения. Ведь мы же не даем определение прозе — текст без рифмы, без размера и без строки как таковой. Нонсенс. Верлибр надо рассматривать в другой системе отсчета — как по отношению к прозе, так и к поэзии. Поэтому верлибр можно определить как художественный текст, симметричный прозе относительно поэзии.

Эту формулу уточняет Ю. В. Рождественский в своей книге «Теория риторики» (1997, стр. 555): «...в центре системы жанров лежит верлибр, относительно которого определяется стих и проза».

Верлибр отнюдь не следствие негативных устремлений бунтующих поэтов, а попытка создать новую категорию вкуса, по-своему возрождающую античную калокагатию, насущное взаимопроникновение этики и эстетики слова. В этом смысле он был не ко двору при социалистическом реализме и встречает не меньшее непонимание в контексте постмодернизма, ибо противоречит его аморфному вандализму.

Так или иначе, здесь большой простор как для поэтологических, так и для философских изысканий.



БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ЛИСТКИ

КНИГИ



Б. Акунин. «Гамлет. Версия»; «Зеркало Сен-Жермена». М., «ОЛМА-Пресс», 2002, 192 стр., 40 000 экз.

Книжное издание акунинского «Гамлета» (первая публикация — в «Новом мире», 2002, № 6) вместе с комедией «Зеркало Сен-Жермена», построенной на игре с эпохами: нувориши разных времен меняются местами (временами) — «новый русский» из 2001 года переносится в 1901 год, а бывший гусар и несостоявшийся финансовый воротила — соответственно из 1901-го в 2001-й.

Шервуд Андерсон. Уайнсбург, Огайо. Рассказы. Перевод с английского В. Голышева, Н. Батя, П. Гурова. М., «Текст», 2002, 251 стр., 3500 экз.

Сборник рассказов классика американской литературы, в основу которого лег цикл с одноименным названием, принесший Андерсону литературную славу.

Дмитрий Бавильский. Семейство пасленовых. (Знаки препинания). М., О.Г.И., 2002, 216 стр., 1500 экз.

Прозаический дебют известного критика и эссеиста — прихотливо выстроенное, многоуровневое (и сильно усложняющее классическую для литературы фигуру любовного треугольника) изображение отношений, связывающих трех героев романа. Действие романа из Испании, по которой путешествуют герои в первой части («Серпантин, или Ингвар»), переносится домой, в Россию (Часть вторая. «Таня, или Колдовство»), потом — в Голландию (Часть третья. «Дамир, или Музыка»).

Сол Беллоу. Мемуары Мосби. Рассказы. Перевод с английского Л. Беспаловой, В. Хинкиса. М., «Текст», 2002, 267 стр., 3500 экз.

Впервые полностью на русском языке — книга рассказов известного американского писателя (1968).

Генрих Бёльль. Кашель на концерте. Рассказы. Составитель И. Солодунина. Перевод с немецкого Е. Михелевич, И. Солодуниной. М., «Текст», 2002, 299 стр., 5000 экз.

Не издававшиеся в России рассказы разных лет.

Мария Галина. Покрывало для Аваддона. Курортная зона. Повести. М., «Текст», 2002, 157 стр., 1500 экз.

Озорная, фантастическая «повесть с мистикой» «Покрывало для Аваддона» (ранее печаталась в журнале «Волга») повествует о кладбищенских призраках, о духе знаменитого математика и каббалиста, вовлекающего в необъяснимые и грозные события двух интеллигентных одесситок, с чисто женским сочетанием в их характерах стоицизма, легкомыслия и иронии; здесь хороша авторская усмешка по поводу тщательно пестуемой готовности нынешних образованных людей притинуть к «мистическим глубинам бытия». Интонационно повесть продолжают «одесские» рассказы Галиной в цикле «Курортная зона».

Герман Гессе. Книга рассказней. Новеллы. Составление, перевод, примечания и послесловие Сергея Ромашко. М., «Текст», 2002, 219 стр., 5000 экз.

В основу книги неизвестных русскому читателю новелл Гессе лег его сборник «Fabulierbuch» — литературная игра, в которой писатель упражняется в воспроизведении стилистики разных жанров, литературных эпох и национальных культур.

Анатолий Курчаткин. Счастье Вениамина Л. Повести и рассказы. М., «Центрполиграф», 2002, 542 стр., 6000 экз.

Основу новой книги Курчаткина составили повести «Строительство метро в нашем городе. Записки экстремиста» и «Поезд», представляющие новый период в творчестве писателя; зарекомендовавший себя мастером социально-психологической прозы, он, сохраняя прежний уровень психологической проработанности в изображении персонажей, обращается к философской аллегории и так называемому магическому реализму. Новая писательская манера Курчаткина складывалась постепенно — об этом свидетельствуют вошедшие в книгу рассказы, самые ранние из которых помечены 60 — 70-ми годами.

Владимир Маканин. Собрание сочинений. Том 1. М., «Материк», 2002, 352 стр., 5000 экз.

Повести «Голоса», «На первом дыхании», «Река с быстрым течением». Рассказы 70-х годов: «Полоса обменов», «Пойте нам тихо», «Дашенька» и другие.

Владимир Маканин. Собрание сочинений. Том 2. М., «Материк», 2002, 384 стр., 5000 экз.

Роман «Предтеча». Классика Маканина: «Ключарев и Алимушкин», «Человек свиты», «Гражданин убегающий», «Антилидер», «Отдушина», «Где небо сходилось с холмами».

Начато первое собрание сочинений одного из наших ведущих писателей. Тома составлялись самим автором, тексты даны в новой редакции. Перед нами сегодняшний Маканин, составляющий, так сказать, «авторское собрание сочинений». То есть первый том начинается не с «Прямой линии» и не со «Старых книг» и «Погони», как требовала бы хронология.

Ситуация грустная — писатели, чье творчество определяло уровень русской прозы второй половины века, являющиеся, по сути, классиками, не имеют (за исключением разве Виктора Астафьева) полноценных собраний сочинений — выход многотомника Фазиля Искандера остановился на втором томе; авторские композиции из написанного в двух-, трех- и четырехтомниках Андрея Битова не могут восполнить отсутствия нормального собрания сочинений. И т. д. Напомню, что Полное собрание сочинений в 6-ти томах Бунина, например, вышло в издательстве А. Ф. Маркса в 1915 году; а перед этим был пятитомник в издательстве «Знание» (1902 — 1909). Остается надеяться, что выход маканинского собрания станет толчком для создания полных собраний сочинений наших современников.

Пол Теру. Кулунг Тонг. Роман. Перевод с английского С. Силковой. М., «Иностранка», «Б.С.Г.-Пресс», 2002, 282 стр., 5000 экз.

Социально-психологическая и, можно сказать уже, историческая проза, изнутри изображающая закат Гонконга как форпоста западной цивилизации на Востоке и переход его в собственность постаоцзедуновского Китая. В центре повествования — деградирующая английская фабричная аристократия, испуганные китайцы-аборигены и пришельцы из нового Китая — циничные, хваткие, не признающие никаких — ни западных, ни традиционно восточных — норм морали. Первая публикация романа состоялась в журнале «Иностранная литература» (2002, № 4). Социально-историческая добротность проработки материала несколько утяжеляет повествование, особенно в сравнении с остроумной, изобретательно написанной лирико-философской книгой Теру «Моя другая жизнь», с которой началось наше знакомство с этим писателем (см. «Библиографические листки» в № 10 за 2002 год).

Нэнси Хьюстон. Печать ангела. Роман. Перевод с французского Нины Хотинской. М., «Текст», 2002, 253 стр., 5000 экз.

Книга вышла в издательской серии «Впервые». Роман о любви, написанный современной французской писательницей канадского происхождения (литературную деятельность она начинала в Канаде); в романе воспроизводится атмосфера французской жизни в годы алжирской войны.



Фома Аквинский. Сумма теологии. Часть 1. Вопросы 1 — 43. Перевод с латыни С. И. Еремеева, А. А. Юдина. Киев, «Эльга», «Ника-Центр»; М., «Элькор-МК», 2002, 560 стр.

Начало знакомства русского читателя с фундаментальным трудом религиозного мыслителя — «из 119 вопросов, составляющих первый раздел „Суммы“, в первую книгу вошли всего 43. Речь в них идет о сущности и атрибутах Бога. Во вторую книгу должны быть включены вопросы о творении и ангелах, а в третью — вопросы, посвященные человеку и Провидению» («НГ Ex libris»).

Борис Бернштейн. Пигмалион наизнанку. К истории становления мира искусства. М., «Языки славянской культуры», 2002, 256 стр., 1500 экз.

Попытка современного исследователя дать определение искусству, обратившись к тому переломному моменту, когда оно выделилось из некоего мистериального (религи-

озного) действия в самостоятельное явление; использованы тексты Ветхого Завета, исторические сведения о взаимоотношениях религии и искусства в Древнем (египетском, шумерском и проч.) мире, античное искусство и философия.

Ж. Дюби. Время соборов. Искусство и общество 980 — 1420 годов. Перевод с французского М. Рожновой, О. Ивановой. Комментарий Д. Харитоновича, М. Харитонович. М., «Ладомир», 2002, 379 стр., 2000 экз.

Книга французского медиевиста об истории и культуре Средневековья, содержащая три раздела: «Монастырь, 980 — 1130», «Собор, 1130 — 1280», «Дворец, 1280 — 1420».

Анатолий Кузнецов. Между Гринвичем и Куреневкой. Письма Анатолия Кузнецова из эмиграции в Киев. М., «Захаров», 2002, 206 стр., 3000 экз.

Короткие тексты, составившие эту своеобразную книгу, первоначально имели вполне конкретную цель: успокоить оставшуюся на Украине после его скандального побега на Запад мать, рассказать об обстоятельствах (по большей части бытовых) своей новой жизни и по возможности описать мир, в котором беглец оказался. Писалось это в основном на почтовых открытках. Собранные за десять лет (1969 — 1979) и подробно откомментированные сыном короткие послания Кузнецова и составили книгу. Ее появлению предшествовала публикация части материалов в журнале «Знамя» (2001, № 5).

Словарь современных цитат. М., «ЭКСМО-Пресс», 2002, 736 стр., 5000 экз.

«4750 цитат и выражений XX века, их источники, авторы, датировка» собрал и подготовил к печати Константин Душенко.

Г. Хенсберген. Гауди — тореодор искусства. Перевод с английского Ю. Гольберга. М., «ЭКСМО-Пресс», 2002, 414 стр., 6000 экз.

Биография великого архитектора в документальных рассказах.

Лора Энгельштейн. Скопцы и Царство Небесное. Скопческий путь к искуплению. Авторизованный перевод с английского В. Михайлина при участии Е. Филипповой и Е. Левинтовой. М., «Новое литературное обозрение», 2002, 336 стр., 3000 экз.

Книга американского историка, профессора Йельского университета, представляющая историю скопческих сект в России, — по сути, первая в советское и постсоветское время научная работа на эту тему. К достоинствам книги следует отнести обширность использованного здесь материала и легкость изложения. Что же касается методологии, которой придерживается автор, она ограничивается умеренным обращением к фрейдизму.

Urbi. Литературный альманах. Выпуск тридцать шестой/тридцать восьмой. Тверь, «Kolonna Publications», 2002, 300 стр.

После длительной, почти годовой, паузы новый выпуск питерского малотиражного альманаха, издаваемого Владимиром Садовским под редакцией Кирилла Кобрин и Алексея Пурина. Новый, строенный выпуск посвящен памяти Бориса Рыжего (8 сентября 1974 — 7 мая 2001). Мемориальную часть составили фото поэта, подборка неопубликованных стихов и короткой прозы; а также — четыре стихотворения Александра Леонтьева памяти Бориса Рыжего и короткий очерк Михаила Окуня «К нам приехал Боря Рыжий». Далее следуют стихи Давида ап Гвилима в переводе Н. Л. Сухачева, два стихотворения Себастьяна Найта в переводе Алексея Пурина и перевод прозы японского писателя Кавадзу (1663 — 1725), о котором нам известно очень немного и проза которого выглядит на фоне старояпонской литературы удивительно современно — настолько, что переводчик, автор предисловия и комментариев Сергей Денисенко предупреждает читателя, чтобы они, «изошренные в литературных играх», «не заподозрили нас в мистификации»; должен сказать, что предупреждение не срабатывает. А также — стихи Владимира Гандельсмана, Алексея Машевского, Валерия Черешни, Дмитрия Бураго, Дарьи Суховой, Дениса Датешидзе и других; художественная и эссеистская проза, среди авторов которой Дмитрий Савицкий, Игорь Померанцев, Лев Усыскин, Кирилл Кобрин, Вадим Михайлин, Зиновий Зиник, Марина Сорина.

Составитель **Сергей Костырко.**

ПЕРИОДИКА



«Вестник Европы», «Время МН», «Время новостей», «Вышгород», «Global Rus.ru», «Грани.Ру», «Гуманитарный экологический журнал», «День литературы», «Еженедельный Журнал», «Завтра», «Известия», «Иностранная литература», «Итоги», «Кольцо „А“», «Коммерсантъ», «Лебедь», «Left.ru/Левая Россия», «Литература», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Москва», «Московские новости», «Московский комсомолец», «Наш современник», «НГ Ex libris», «Нева», «Независимая газета», «Неприкосновенный запас», «Нива», «Новая Польша», «Новая Россия», «Новая русская книга», «Новый Журнал», «Огонек», «Подъем», «Полигнозис», «Посев», «Предлог», «Простор», «Российская газета», «Русский Журнал», «Русский Удодъ», «Труд», «Урал», «Художественный журнал», «Эксперт»

Александр Агеев. Все врут календари. — «Время МН», 2002, № 122, 17 июля <<http://www.vremyamn.ru>>

«<...> если б меня ночью разбудили и спросили: „Кто в России первый критик?“ — я бы ответил, даже не просыпаясь: „Немзер!“ <...> я знаю, как высока культурная ценность самого намерения оставаться „упертым“ защитником связности и цельности литературного пространства в эпоху, когда мало кого волнует „мягкая“, как бы в игровом режиме совершающаяся коррозия самого гуманистического ядра русской словесности».

Кирилл Александров. Туховежи — Сиверская: 60 лет назад. Как был взят в плен генерал-лейтенант А. А. Власов. — «Посев», 2002, № 7, июль <<http://posev.ru>>

Фрагмент исследования «Власовское движение и антисталинский протест, 1942 — 1950 гг.». См. также: **Виталий Пегушков**, «Генерал Власов и Хаджи-Мурат: завещания подлинные и мнимые» — «Литературная Россия», 2002, № 30, 26 июля <<http://www.litrossia.ru>>

Максим Амелин. Что вижу, то пою. Стихи. — «Литературная газета», 2002, № 28-29, 10 — 16 июля <<http://www.lgz.ru>>

«<...> чураясь и хлада, и глада, / я чту и тюрьму, и суму — / чужого куска мне не надо, / но свой не отдам никому». О его стихах см. заметки **Владимира Губайловского** («Дружба народов», 2002, № 4 <<http://magazines.russ.ru/druzha>>).

Татьяна Андриасова. Солженицын без альтернативы. К выходу в свет готовится биография писателя. — «Московские новости», 2002, № 27 <<http://www.mn.ru>>

Говорит автор биографии **Людмила Сараскина**: «Его [Солженицына] жизнь много раз могла пойти по альтернативному варианту — он мог уйти из университета в училище НКВД (куда студентов настойчиво вербовали), мог стать артистом в театре Завадского (в 1936-м будущий писатель поступал к нему в театральную студию в Ростове), мог быть осторожнее в своих фронтовых письмах и избежать ареста, мог благополучно вернуться после войны и вписаться в советскую систему».

Светлана Ангуфьева. Писатель Федор Абрамов служил в СМЕРШе. — «Известия», 2002, № 138, 7 августа <<http://www.izvestia.ru>>

Да, служил. В 1943 — 1945 годах. Документы ФСБ — для Веркольского литературно-мемориального музея писателя.

Александр Архангельский. Нищета историцизма. — «Известия», 2002, № 136-М, 5 августа.

«Провал конкурса [на создание нового школьного учебника по российской истории] — это победа несовершенной либеральной системы над тоскливым правильным застоєм».

Виктор Астафьев. Без выходных. Из писем Валентину Курбатову. — «Труд», 2002, № 130, 30 июля <<http://www.trud.ru>>

«Жалко затихающего и затухающего в душе и памяти материала. Знаю, что он „мой“ и никто его не увидит, не повторит и „не отразит“, но в вольную, опустевшую башку, наряду с другими „крамольными“ мыслями, влезла и та, что дело наше не только бесполезное, а и греховное <...>» (из письма 1998 года).

Сергей Бабурин. Современный русский консерватизм — это национальная власть и социальная справедливость. — «Наш современник», 2002, № 7 <<http://read.at/nashsovr>>

За новую «Народную Волю»! Но без террора.

Сергей Баймухаметов. Назначены на роль супостатов... — «Огонек», 2002, № 30, июль <<http://www.gopnet.ru/ogonyok>>

В частности, о Желтом крестовом походе, когда монголы в 1254 — 1260 годах пошли освобождать Гроб Господень, а рыцари-крестоносцы, в первую очередь орден тамплиеров, в 1260 году выступили на стороне мусульман. *Тамплиерская ложь о монголах.*

Екатерина Барабаш. И зачем же ты, малина, Кончаловского сманила? «Антикиллер»: начало и конец гангстерского кино. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

«<...> отвратительная двухчасовая тяготирина с оттенками распальцованного выпендрежа».

Юрий Беличенко. Лермонтов. Роман документального поиска. — «Подъем», Воронеж, 2001, № 8, 10, 11, 12; 2002, № 1, 2, 3, 4, 5, 6 <<http://www.pereplet.ru/podiem>>

«Князь Васильчиков явно опять где-то темнит, что-то важное недоговаривает...»

Сергей Бирюков. (Не) могу молчать. Заметки русского литератора, написанные в германском далеке. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

«„Что делать?“ и вообще дело Чернышевского отчасти аукается с Лимоновым и его делом».

«Забавно сопоставить два факта: отказ в американской визе писателю С. за аморалку и выражение обеспокоенности со стороны высокоморального Госдепа США по поводу свободы слова в России [в связи с делом писателя С.]».

Алла Благовещенская. Полмешка и пол-лимона. Леонид Касаткин: «Свод правил — это отнюдь не реформа языка». — «НГ Ex libris», 2002, № 25, 25 июля <<http://exlibris.ng.ru>>

Говорит доктор филологических наук, профессор МГУ, член орфографической комиссии при Институте русского языка РАН **Леонид Касаткин**: «Слишком завышенные требования мешают, а не помогают. Этого нельзя допускать. Необходимо снизить требования не к языку, а к спорным случаям. Конечно, нельзя разрешать писать слово „корова“ через „а“, но в спорных случаях, например, в слове „пловец“, можно допустить писать и через „а“. В данном случае ученик вполне может ориентироваться на общее правило, которое существует для большинства случаев, — проверка ударением. В слове „плавать“ ударение падает на „а“ в первом слоге? Значит, и слово „плавец“ можно допустить написать с „а“...» *Это действительно не реформа, это — революция.*

«На мой непросветленный взгляд, „Кыргызстан“ или „в Украине“ — это ведь состоявшаяся *de facto* реформа орфографии почище любого „парашута“. Причем заведомо бессмысленная и вредная: то, что русским навязали эту гадость исключительно из соображений национально-лингвистического покаянства, и без того ясно», — пишет **Константин Крылов** («Тихая реформа русской грамматики продолжается» — <GlobalRus.ru>). Информационно-аналитический портал Гражданского клуба <<http://www.globalrus.ru>>).

Владимир Бондаренко. «Красота спасет мир». — «День литературы». Газета русских писателей. 2002, № 7, июль <<http://www.zavtra.ru>>

«Сегодня все вышли из шинели Достоевского: Проханов и Мамлеев, Личутин и Лимонов, молодые Крусанов и Шаргунов и так далее». А также: надо ли спорить с Владимиром Гусевым? А также: *Кокшенёва=Торквемада*. «<...> кого же Капа выдвигает в новые лидеры?»

См. также: **Капитолина Кокшенёва**, «Все та же любовь» — «Наш современник», 2002, № 7. *Бранит Сенчина*.

См. также: **Капитолина Кокшенёва**, «Империя без народа» — «Москва», 2002, № 7. *Бранит Крусанова убедительней, чем Сенчина*.

См. также: **Капитолина Кокшенёва**, «Революция низких смыслов» — «Подъем», Воронеж, 2002, № 7.

Михаил Бонч-Осмоловский. Рынок народного сознания. Русские экономические пословицы. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 279, 7 июля <<http://www.lebed.com>>

«Вот, например, две пословицы: *Лучше воровать, чем торговать. Лучшие торговать, чем воровать.* Тем не менее содержательные выводы сделать можно».

В. Е. Борейко (Киевский культурно-экологический центр). Билль о правах животных, растений и дикой природы. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2002, том 4, спецвыпуск «Дискуссия об идеологии охраны дикой природы» <<http://www.in.com.ua/~kekz/human.htm>>

«Тараканы и мыши не по приглашению пришли в наш дом, и мы имеем право избавиться от них». Здесь же: **В. Е. Борейко**, «Тема священности дикой природы в русской литературе и природоохране».

Питер Брайль, Роман Апокриф. С вывернутыми руками: «русский фантаст» Иван Ефремов. Часть 1-я. Из книги «Песнь о Великом Отстое». — «Русский Удод». Вестник консервативного авангарда. № 17 <<http://udod.traditio.ru:8100>>

«Советская, даже шире — социалистическая фантастика в целом оказывается очень уязвима перед издевательским фрейдистским ее истолкованием...»

«Знаменитый „контактный“ рассказ [Ефремова] „Сердце Змеи“ описывает столкновение двух фаллосов, которое не завершается „физическим контактом“...»

«Самое удивительное — то, что мир Ефремова до ужаса соответствует идеалам современных борцов за политкорректность...»

Ср.: «Такой масштабной, и вообще — значимой, утопии я не припомню со времени „Туманности Андромеды“ Ивана Ефремова, которой зачитывались в годы моей юности и которая, на мой взгляд, задержала крушение коммунистической идеологии, по крайней мере в умах интеллигентной молодежи, упоенно повторявшей девиз звездолетчиков грядущего „Бойся энтропии черной!“ — вместо того чтобы бояться красной энтропии здесь и теперь», — пишет **Ирина Роднянская** в связи с «Евразийской симфонией» ван Зайчика («Ловцы продвинутых человек» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/kgug>>).

Равиль Бухараев. Жук и жаба. Венок для герба. — «Предлог». Литературно-художественный альманах. 2002, № 6.

«Я выпростался из этого языка, / из этой речи правительства и генштаба. / Без имени, как люди и облака, / живу что всякая живность, что жук и жаба...» Венок сонетов, написанный в Южной Англии.

Владимир Бушин. «Правду унижить нельзя». Беседу вел Владимир Бондаренко. — «Завтра», 2002, № 28, 9 июля <<http://www.zavtra.ru>>

«<...> по-моему, я — добрый человек».

«Я ничего не приемлю в нынешней жизни, включая эти новые длинные конверты с западным порядком написания адреса. Это же наш русский быт, наш менталитет, кому он мешал?»

«Как ни парадоксально, демократы своими действиями оправдали Сталина во всем. Абсолютно во всем».

Дмитрий Быков. Последний русский классик. — «Огонек», 2002, № 28, июль.

«Книга, из которой вырос весь Акунин (и которую Акунин скорее всего не читал), написана была ради куска хлеба в конце двадцатых и называлась „Агентство Пинкертона“. Такое занимательное литературоведение с поиском ответов на филологические загадки. Не угадали? Ну... раз... два... три! Лидия Гинзбург, естественно».

Дмитрий Быков. Операция «Смерть героя». — «Огонек», 2002, № 29, июль.

«<...> самым эффективным методом борьбы с нежелательным политиком является убийство оппонирующего ему журналиста». Холодов — Грачев, Гонгадзе — Кучма, Юдина — Илюмжинов.

Дмитрий Быков. Дюма как отец. — «Огонек», 2002, № 30, июль.

«Не будет преувеличением сказать, что именно он [Дюма] был главным воспитателем советских школьников».

Ср.: «<...> д'Артаньян такой же мерзавец, как и его друзья. <...> Мушкетеры действительно ходячие образы смертных грехов: Атос — гордыни, Портос — чревоугодия, Арамис — сладострастия», — из письма в газету преподавателя **Сергея Трескунова** («НГ Ex libris», 2002, № 28, 15 августа).

Дмитрий Быков. Быков-quickly: взгляд-39. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovt>

«Между тем в рамках прежней терминологии, оперирующей совершенно обесмыслившимися терминами „западник“ и „славянофил“, „либерал“ и „консерватор“, — этот спор [о России] нельзя ни разрешить, ни вести. Мы вступили во времена новых оппозиций, и настала пора успокоить это взбаламученное море желчи и слюны, назвав кое-какие вещи своими именами. <...> Эта оппозиция налицо: в очередной раз схватились сложность и простота <...>».

Андрей Ванденко. Идеалист. — «Итоги», 2002, № 28 <<http://www.itogi.ru>>

Говорит **Евгений Евтушенко:** «Не интересоваться политикой — значит не интересоваться людьми».

«Я никогда не был антикоммунистом. Никогда!»

«Ко мне ходила вдова Юрия Казакова, замечательного, тонкого писателя. Просила помочь открыть мемориальную доску. Оказывается, есть постановление столичного правительства, запрещающее это делать. <...> В связи с перегруженностью фасадов Москвы!»

Александр Васин. Почему я так и не написал статью о Булате Окуджаве. — «Нива». Казахстанский литературно-художественный и общественно-политический журнал. Астана, 2002, № 3.

«Люди *сами* пели его песни, а он не понял, *что* в этом заключено. Не понял народа, который его запел <...>».

«Как персона Булат был *всегда* чужд „фраерам“. Как и они ему. Просто на некотором этапе сошлись временные интересы <...>».

«А клоун Ростропович <...>».

Игнатий Волегов. Воспоминания о Ледяном походе. Историческая повесть. Послесловие Марины Толмачевой. — «Подъем», Воронеж, 2002, № 5, 6.

«Отступление Белой армии не было бегством».

Андрей Волос. Маскавская Мекка. — «Время MN», 2002, № 129, 26 июля.

Фрагмент нового романа. Другой фрагмент см.: «НГ Ex libris», 2002, № 27, 8 августа.

Михаил Габович, Александра Кулаева. После первого тура. Электронная переписка. — «Неприкосновенный запас». Дебаты о политике и культуре. 2002, № 2 (22) <<http://magazines.russ.ru/nz>>

«22 апреля. Письмо из Парижа. <...> Во-первых, хочу уточнить, что у нас шло два кандидата, относящих себя (совершенно официально) к крайне правым, а вовсе не к консерваторам, — Ле Пен и Мэгре, бывшая правая рука Ле Пена. Если сложить их голоса, то вместе они набрали больше всех остальных кандидатов, то есть больше Ширака. Реально на этих выборах победил Национальный фронт, хоть и расколовшийся, слава богу. Третьим кандидатом была одна мадам, которая не решается отнестись себя к „*extreme right*“ в отличие от этих двух, она называет себя „консерватором“, но она абсолютно в духе Ле Пена. Главные пункты ее программы (пропечатанные) — запрещение абортов и гомосексуальных связей, „нет“ эмиграции, ведущая роль церкви. И если сложить голоса всех троих, то победили они еще и с перевесом. <...> Ваша А. К.»

Николай Голь. Язык и интеллигенция. Сочинение на невольную тему в двух частях. — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 6.

«<...> роман Толстого и поэма Маяковского. До 1918 года они назывались по-разному, Маяковский не повторял Толстого, а, разумеется, полемизировал с ним: у Льва Николаевича — „Война и мирь“ (спокойствие, согласие, жизнь общества между войнами), а у Владимира Владимировича — „Война и мирь“ (вселенная, весь белый свет). Когда слова стали писаться одинаково, названия этих произведений сделались практически неотличимы даже для людей, чья профессия — литература».

Игорь Гонтов. Владимир Высоцкий: медиум бездны. Из книги «Бардовщина». — «Русский Удодь». Вестник консервативного авангарда. № 17 <<http://udod.traditio.ru:8100>>

«Судьба и трагедия Высоцкого заключается в том, что он слишком усердно шатался по самому дну русского подвала. Он прислушивался и транслировал то, что шло не только из самых темных закоулков коллективной русской души, но и из „подполья подполья“. <...> Ниже русского подвала есть область „неименоваемого“, чего-то, что гораздо хуже, страшней и безумней обычных подвальных призраков».

См. также «Очерки о Высоцком» **Дмитрия Суворова** («Урал», Екатеринбург, 2002, № 7 <<http://magazines.russ.ru/ural>>) — о синкретизме и генеалогических корнях творчества Владимира Высоцкого; о символизме и амбивалентности у Высоцкого; о «музыкальной составляющей» в творчестве Высоцкого. См. также главы из книги **Вл. Новикова** «Высоцкий» («Новый мир», 2001, № 11, 12; 2002, № 1).

Василий Григорьев. «Олигархический балаганчик вышел из моды». Беседу вела Анна Ковалева. — «Известия», 2002, № 126, 20 июля.

«То же, что делаем мы [в отличие от аналогичных европейских форматов], по методу растет из, пожалуй, любимовского театра, из так называемой альтернативной, диссидентской составляющей, когда классика подтягивалась к тому, что называется суще-

ствующей действительностью. <...> Примерно из этого теста сделаны [отечественные] „Куклы”, — говорит продюсер популярной телепередачи. И добавляет: «Энергия того звучания, о котором я только что говорил, почти выработана...»

Борис Гройс. О современном положении художественного комментатора. Перевод Андрея Фоменко. — «Художественный журнал», № 41 <<http://www.guelman.ru/xz>>

«Картины без [сопроводительного] текста вызывают чувство неловкости, как голый человек в публичном пространстве». Введение в книгу *Boris Groys*, «*Kunst-Kommentare*». *Wien*, 1997.

Ева Датнова. «Средний стиль». Почти феминистские заметки об одном полуоткрытом жанре. — «Кольцо „А”». Литературный журнал [Союза писателей Москвы]. 2002, выпуск 21.

«<...> употребляется не в значении „так себе, сойдет”, а в значении, которое придал ему еще Ломоносов: „лежащий посередине”...» Один из поджанров женской прозы 90-х годов — *больнично-медсестринский*. Марина Палей. Ольга Моторина. Нина Шурупова.

Марк Дейч. Сталин, Берия и папаша Мюллер. — «Московский комсомолец», 2002, 31 июля <<http://www.mk.ru>>

«Андрей Яхонтов в одной из своих книг приводит замечательную историю о том, как в 1986 году ЦК КПСС назначил [Владимира Васильевича] Карпова главным редактором журнала „Новый мир”. Новомирцы собрались тогда в редакционном зале <...>. Но в 1986 году главным редактором «Нового мира» был назначен Сергей Павлович Залыгин. Завабно, что Дейч уже от себя добавляет: «История смешная, но подлинная». Так и пишется история.

Игорь Джадан. А где же «спасибо»? — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Да и „раввин всех россиян” мог бы обратить большее внимание на свидетельства „загадочного” исчезновения целой еврейской общины (Чечни) на глазах всего цивилизованного мира, видимо, несколько ошарашенного этим странным феноменом, и задуматься о том, не было ли подобное явление „этнической чисткой”...»

Игорь Джадан. Сумерки богинь. Антропологические основы ксенофобии. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Ясно одно, с тех пор как в Европе люди схлестнулись с неандертальцами в смертельном противоборстве, конкуренция между разными культурами весьма способствует развитию технологий.»

Вениамин Додин. Густав и Катерина. Повесть о «разделенной любви». — «Москва», 2002, № 7 <<http://www.moskvam.ru>>

Беспримерно антисоветская *love story*. Густав — это знаменитый Маннергейм, Катерина — это знаменитая Гельцер.

Александр Долинин, Константин Богданов. [Две рецензии на книгу Александра Эткинды «Толкование путешествий. Россия и Америка в травелогах и интертекстах»]. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, 2002, № 1 <<http://www.guelman.ru/slava/nrk>>

Ошибки у Эткинды.

Анджей Дравич. Священная эта минута. Анна Ахматова и Борис Пастернак — переводчики лирики польской. Перевела с польского Эльжбета Юга. — «Вышгород». Литературно-художественный общественно-политический журнал. Главный редактор Людмила Глушкоская. Таллинн, 2002, № 1-2 <<http://www.veneportaal.ee/vysgorod>>

«Выбор текстов часто решала случайность...»

Юрий Дружников. Новый виток жизни. [Обращение к участникам Краковской конференции, июль 2002 года]. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 284, 11 августа <<http://www.lebed.com>>

«Мне скажут: это не настоящая литература. <...> Проблема в том, что просто изолироваться от такой *нелитературы* сегодня нельзя.»

Александр Дугин. Ислам и этнархия. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Я как традиционалист и православный христианин вижу решение вопроса только в расширении социального влияния традиционных конфессий. То есть для большинства россиян в христианизации, ортодоксализации общества. <...> Перед лицом апоста-

сией социальной интересы православного, мусульманина, иудея и буддиста почти полностью совпадают».

Михаил Золотоносов. Литературочка. — «Московские новости», 2002, № 27.

«<...> две фундаментальные проблемы ждут своего художественного описания именно средствами романа: во-первых, это поставленная последним десятилетием XX века проблема разочарования в „корыстной демократии“, обманутых надежд целого поколения; во-вторых, исчезновение прежних ценностей, буквальное выворачивание их наизнанку и растерянность перед стремительно меняющейся жизнью, в которой дети ориентируются лучше родителей».

Гвидо Карпи. Тысячи лиц итальянского тоталитаризма. Последние новости с родины фашизма. Перевод Ксении Явнилович. — «Неприкосновенный запас», 2002, № 2 (22).

«Если Италия — спустя восемьдесят лет — вновь превратилась в политический остров-островок Европы и лабораторию по выработке современных и универсальных моделей тоталитарного авторитаризма, то причиной этому — теперь, как и тогда, — убожество нашей гражданской культуры».

Ср.: «В условиях слабости и дискредитации демократии, когда с помощью казенной пропаганды права человека и общечеловеческие ценности превратят в посмешище, у масс не останется иной антиноменклатурной идеи, кроме национал-большевизма», — пишет **Евгений Ихлов** («Тихие шаги фашизма» — «Независимая газета», 2002, № 156, 1 августа).

Артур Кёстлер. Автобиография. Фрагменты книги. Перевод с английского и вступление Л. Сумм. — «Иностранная литература», 2002, № 7, 8 <<http://magazines.russ.ru/inostran>>

«Героями моей юности были Дарвин и Спенсер, Кеплер, Ньютон, Мах; пионерами-первопроходцами — Эдисон, Герц и Маркони; моей Библией была книга Геккеля „Мировые загадки“. <...> Как приятно в четырнадцать лет узнать, что на все загадки мироздания уже найден ответ!»

Руслан Киреев. Контрапункт Владимира Маканина. — «Литература», 2002, № 29, 1 — 7 августа <<http://www.1september.ru>>

О прозаике неангажированном.

Константин Ковалев. Наши заклятые «друзья». — «Left.ru/Левая Россия» [«Left.ru» издается на общественных началах группой социалистической интеллигенции] <<http://www.left.ru>>

«Советский человек вырос из литературы, искусства и культуры XIX века. И тем, кому ненавистен советский человек, ненавистна и, в частности, русская литература XIX века».

Академик Кирилл Кондратьев. Глобальное потепление климата — миф. — «Наука». Совместный проект РАН и газеты «Известия». 2002, № 25, 19 июля. (Приложение к газете «Известия», 2002, № 125, 19 июля.)

«В научном мире в вопросах климата сформировалась мощная мафия».

«<...> лишь одна из иллюстраций гигантской бюрократической активности, ежегодно поглощающей сотни миллионов долларов вместо инвестирования их в развитие науки».

«<...> сокращать выбросы CO₂ в атмосферу нереально, даже если бы было нужно!»

Ср.: «<...> глобальное потепление — свершившийся факт, но выбросы снижать не нужно, — считает климатолог, профессор **Владимир Клименко**. — Потому что в основе киотских протоколов лежат совершенно антинаучные воззрения» («Огонек», 2002, № 30, июль).

Лев Копелев, Раиса Орлова. «Мы жили в Кёльне». Вступительное слово Марии Орловой. — «Вестник Европы». Главный редактор В. Ярошенко. 2002, № 4 <<http://magazines.russ.ru/vestnik>>

Отрывок из одноименной книги, опубликованной в переводе на немецкий в 1996 году, на русском языке книга не издавалась. К примеру — письмо А. Д. Сахарова оказией из Горького (Нижегород) от 9.X.1981: «Дорогие Рая и Лева! <...> Проблема Лизы для меня — главная, личная проблема. <...> КГБ не отпускает Лизу [за границу] в основном не с какой-либо целью, а просто над ними не каплет. (Но, может быть, и есть цель.) Тяжело и много думал над этим, сделал много разных попыток (безуспешных) кого-то расшевелить. Мы пришли к выводу, что необходима голодовка. Мы назначили ее начало на 16 ноября — а 18-го Брежнев должен приехать в Бонн. Мы

предполагаем, что голодовка во время поездки привлечет больше внимания и вообще лишняя для власти. Но надо максимально усилить эффект. Я обращаюсь с этим к ученым (в частности, к Институту Макса Планка, отдел плазмы). Пишу письмо Шмидту. Надеюсь, что дойдет. Но необходима подстраховка. И поэтому — просьба к тебе, Лева. Если можешь в этой ситуации помочь — помоги. Через кого угодно подтолкнуть Шмидта, чтобы он оказал давление на Брежнева, а быть может, тот вообще ничего о Лизе не слышал, а быть может, и о Сахарове забыл (вполне вероятно). Вероятно, важнее всего кулуарные действия, но пресса тоже нужна (цель совсем практическая — подтолкнуть Шмидта, оказать давление на Брежнева) <...>. Лиза — это Лиза Семенова, жена Алексея, сына Елены Боннэр-Сахаровой.

См. также: «<...> я хочу вспомнить об одном эпизоде, происшедшем в прошлом году в музее прав человека Центра им. А. Д. Сахарова. На очередной групповой выставке, про что — не помню, художник Антон Литвин выставил работу, посвященную президенту Путину, снабженную матерным текстом. Руководство музея в лице директора Юрия Самодурова попросило работу убрать или текст заклеить. Этот прецедент вкупе с запретом пить на вернисаже водку вызвал всеобщий ропот у тусовки. Раздались обвинения в адрес „этих диссидентов, дорвавшихся до власти“, и прочее, и прочее. Через некоторое время мне довелось беседовать с Юрием Самодуровым, и, в частности, я задал ему вопрос, почему в этой цитадели прав и свобод существуют такие неожиданные препятствия и в чем вообще коренятся, на его взгляд, критерии того, что „можно“ и чего „нельзя“. „Знаете ли, — ответил Самодуров, — когда мы открывали музей, Е. Боннэр (вдова Сахарова) сказала: „Ребята, в этом музее нельзя ругаться матом и пить водку. Коньяк — пожалуйста, вино — ради бога. А водку — нет“. И мне этого достаточно“. На первый взгляд эта история выглядит анекдотично. Между тем в ней заложен довольно важный смысл. Критерий „можно“ и „нельзя“, „хорошо“ и „плохо“ определяется не через „что“, а через „кто“. Бывший диссидент, атеист и либерал Самодуров не сможет внятно объяснить, да и никто не сможет, почему некие действия в условиях политической свободы являются недопустимыми. Но есть некто (пусть даже отчасти мифический), кто этих действий не совершал, и этого достаточно для создания ритуального запрета, то есть моральной системы», — пишет **Богдан Мамонов** («Границы недозванного» — «Художественный журнал», № 41 <<http://www.guelman.ru/xz>>).

Корабль «Не тронь меня!». Василий Аксенов на полпути в Биарриц из Вашингтона. Беседу вел Игорь Шевелев. — «Время MN», 2002, № 121, 16 июля.

Совсем расплевался с Америкой: «Говорят: „Ваши книги плохо продаются“. А вы, суки, сделали что-нибудь, чтобы они продавались?»

См. также: «Чем лучше я пишу, тем хуже продаю на американском рынке», — жаловался **Василий Аксенов** в статье «Чудо или чудачество? Роман: путь к помойке» («Московские новости», 2002, № 11, 19 — 25 марта <<http://www.mn.ru>>). Известное дело — американцы.

См. также: «<...> Набоков не знал, что в русском языке начала шестидесятых уже было слово „джинсы“, отчего героиня его „Лолиты“ носит синие „техасские панталонны“», — говорит **Василий Аксенов** в беседе с Евгением Поповым («Огонек», 2002, № 30, июль).

См. также: **Андрей Василевский**, «Аксенов есть Аксенов есть Аксенов» — «Новый мир», 1998, № 1.

Михаил Кордонский. Два права человека, или Вопрос о словах. — «Русский Журнал» <http://www.russ.ru/ist_sovr>

«Я <...> не утверждаю, что все эти организации действительно являются правозащитными. Я вообще не знаю, что такое это самое „действительно“. Самоназвание не есть доказательство чего-то, но оно есть факт жизни, который я и пытаюсь представить читателю <...>».

Дмитрий Корчинский. Революция от кутюр. — «Новая Россия». Сетевой ресурс молодых националистов. Открыт в декабре 2001 года <<http://nr.vojnik.org>>

«Причин процветания Америки бессмысленно искать в ее налоговом законодательстве. Их нужно искать в тайных источниках жизни, короче, черт его знает, где их искать».

Эльмира Котляр. Почему я хожу в цирк? — «Предлог». Литературно-художественный альманах. 2002, № 6.

Первая (опубликованная) проза поэта.

Вячеслав Кошелев. Хандра. — «Литература». Еженедельная газета Издательского дома «Первое сентября». 2002, № 27-28, 16 — 31 июля.

Русская хандра как термин и явление.

Яан Кросс. Свадебное путешествие. Новелла. Перевела с эстонского Татьяна Верхоустинская. — «Вышгород», Таллинн, 2002, № 3-4.

Здесь же — беседа с **Яаном Кроссом**: «Если при немцах я сидел только в одиночке, то при Советах только в общих камерах. <...> У немцев волна арестов была тотальна и бессистемна, а при Советах наблюдалось больше дисциплины. При Советах делопроизводство было беспорядочным и поэтому более человечным».

Павел Крусанов. Плоды кухонной цивилизации. — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 6.

«Все претензии, которые со времен перестройки и по нынешнее время предъявлялись армии: дедовщина, воровство, моральное разложение и прочая, можно с легкостью и в полном объеме переадресовать интеллигенции. <...> Интеллигенция должна стать контрактной <...>».

Константин Крылов. Как нам обустроить российскую фэнтези. — «Русский Удодь». Вестник консервативного авангарда. № 17 <<http://udod.traditio.ru:8100>>

«<...> деятельность тех литераторов, которые пишут (по-русски) про „остров Авалон“, эльфов и драконов. Это есть не что иное, как систематическое инвестирование внимания русских читателей в чужую культуру. Это можно сравнить с банальным *вывозом капитала*. <...> Коль скоро вложения в „авалон“ приводят к банальному самозабвению, имеет смысл вложиться в его противников. То есть развернуть индустрию производства антизападного мифа, последовательно героизируя и прославляя тех мифологических персонажей, которые на Западе играют роль „плохих парней“. Грубо говоря, сознательно встать на сторону Тьмы, исходя из того, что „ихняя Тьма — наш Свет“...»

Константин Крылов. Несколько слов в защиту Сорокина. — «*Global Rus.ru*». Информационно-аналитический портал Гражданского клуба <<http://www.globalrus.ru>> Мерзко, но не порнограф. Садист, но *Том и Джерри* еще гаже.

Станислав Куняев. Поэзия. Судьба. Россия. — «Наш современник», 2002, № 7.

«Его [Кожина] редчайший стоицизм выплеснулся с последним вздохом из земной плоти, когда, как вспоминают свидетели последних дней его жизни, он произнес слова, достойные человека античной эпохи: „Все аргументы исчерпаны...“» Начало см.: «Наш современник», 2001, № 2, 3, 4, 6; 2002, № 5.

В. Л. В поисках новой парадигмы. — «Новая Россия». Сетевой ресурс молодых националистов. Открыт в декабре 2001 года <<http://nr.vojnik.org>>

«На настоящий же момент современная парадигма практически не имеет противников. Самые последовательные формы самореализации национализма были устранены с культурной карты военно-политическими методами. То, что после этого осталось и не было дискредитировано условно Освенцимом, было приручено и инкорпорировано в современную либеральную модель. „Националист“, претендуя на „выход из тени труб Освенцима“, обречен говорить на языке современности, лишая себя тем самым внутреннего потенциала для фундаментального сопротивления».

«<...> Россия еще находится в той фазе, которую западный мир уже прошел. Та культурная парадигма, которая уже утвердилась на Западе <...>, у нас еще выглядит неестественно, принимает убогие и диковатые формы. У нас это здание еще имеет бреши в своей кладке, куда еще можно забить деревянные клинья. Если на эти клинья лить воду, они еще имеют шанс разорвать каменное небо чужих законов».

Георгий Левинтон. Заметки о критике и полемике, или Опыт отражения некоторых нелитературных обвинений. (Ю. М. Лотман и его критики). — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, 2002, № 1.

«Но ругать Лотмана — это уже какой-то спорт». Классификация ругателей.

Елена Лелова. Москва глазами обывателя. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 8 <<http://magazines.russ.ru/ural>>

«Не знаю, как там насчет Рима, а вот Второй Вавилон к Москве больше подходит».

Юрий Лотман. В мире гротеска и философии. — «Вышгород», Таллинн, 2002, № 1-2.

Впервые на русском — послесловие (1978) к эстонскому изданию философских повестей Вольтера.

А. П. Люсьий. Последнее искушение Фауста, или Танк в упаковке времени. — «ПолиГнозис». Проблемный научно-философский и культурологический журнал. 2001, № 4 (16).

«В промежутке между вспашкой и жатвой должен состояться сев. И это поле представляется как засеянное наручными часами». Философская беллетристика. Такая рубрика.

Анна Матвеева. Сладкая отравка унижений. Маленькая повесть. — «Урал», Екатеринбург, 2002, № 8.

«В те времена нам действительно было очень интересно слушать друг про друга всякую разную правду...»

Материалы по роману М. А. Булгакова «Мастер и Маргарита». — «Литература», 2002, № 27-28, 16 — 31 июля.

Много-много материалов.

Чеслав Милош. «Я — антимодернист». Беседу вела Юстина Кобус. — «Новая Польша», 2002, № 4.

«Я пишу стихи той частью своего естества, которую я назвал бы атеистической». То же — в «Русском Журнале» <http://www.russ.ru/ist_sovr/other_lang>

См. также: **Чеслав Милош**, «Придорожная собачонка». Перевела книгу Валентина Кулагина-Ярцева. — «НГ Ex libris», 2002, № 21, 27 июня <<http://exlibris.ng.ru>>

Александр Невзоров. За что я ненавижу любимый город... — «Огонек», 2002, № 28, июль.

«А вот весь Петербург, если говорить честно и откровенно, страшен редкостно...»

Андрей Немзер. Свободы торжество. К семидесятипятилетию Зары Минц. — «Время новостей», 2002, № 132, 25 июля <<http://www.vremya.ru>>

«Зары Григорьевны Минц нет на земле уже почти двенадцать лет».

«Когда З. Г. настаивала на „демократизме“ Блока и органической связи его поэзии с большой литературной традицией (Пушкин, Гоголь, Достоевский, Толстой), в этом не было и толики приспособленчества к советскому канону. Просто „демократия“ и „народ“ были для исследователя живыми и осмысленными, интимно дорогими словами».

Нил Нерлин. Вспоминаемое впотьмах. Стихи. — «Вышгород», Таллинн, 2002, № 3-4.

даун
господи дай нам
21.02.01.
04 ч 17 м

Стихотворение приведено целиком. См. также: **Нил Нерлин**, «Млечность» — «Вышгород», Таллинн, 2002, № 1-2.

В. В. Новиков, Л. М. Тираспольский. Космизм и Интернет. — «ПолиГнозис». Проблемный научно-философский и культурологический журнал. 2001, № 4 (16).

Русские космисты грезили об Интернете, но еще не знали об этом.

О противодействии экстремистской деятельности. Федеральный закон Российской Федерации от 25 июля 2002 года. № 114-ФЗ. Принят Государственной Думой 27 июня 2002 года. Одобрен Советом Федерации 10 июля 2002 года. — «Российская газета», 2002, № 138-139, 30 июля <<http://www.rg.ru>>

Закон суров.

Дмитрий Ольшанский. Две истории. Вечная и преходящая: почувствуйте разницу. — «НГ Ex libris», 2002, № 27, 8 августа <<http://exlibris.ng.ru>>

Хвалит книгу Мамлеева «Вечная Россия» — «именно она, а вовсе не всякая мать и шваль типа Карла Поппера с гнусным открытым обществом и его врагами должна воспитывать умственную активность начинающих гуманитариев». Потом — ругает Файбисовича.

Глеб Павловский. «От центра к окраине». Беседу вел Иван Давыдов. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/today/five>>

«Будут войны, поскольку других инструментов, чем сила, ни у кого в мире опять не осталось».

«Кто не хочет победы в войне, выходит из очереди на жизнь».

См. также беседу с **Глебом Павловским** в «НГ Ex libris» (2002, № 23, 11 июля).

Академик Александр Михайлович Панченко [1937 — 2002]. «Мы создали цивилизацию дилетантов». Беседу вел Сергей Кастельский. — «Посев», 2002, № 7, июль.

Беседа, записанная в декабре 1992 года. «Только дурак может считать, что если теория подтверждается практикой, то она верна. Всякая теория должна иметь опровержение. И чем больше опровержений, тем лучше теория».

Юлий Песиков. Украсть царя. — «Московские новости», 2002, № 29, июль.

Не метафора: это обсуждали большевики в 1907 году. Но каков Красин...

«Правда искусства — в страдании, которое таится в нем». Беседа Фрица Раддаца с Джоном Апдайком. Перевод с немецкого А. Егоршева. — «Иностранная литература», 2002, № 6.

«Фриц Раддац. Я не ошибусь, если скажу, что вы убежденный христианин?

Джон Апдайк. Да, я бы назвал себя таковым.

Ф. Р. Но вы к тому же и христианский писатель?

Д. А. <...> Тот, кто украшает себя таким эпитетом, сужает свои творческие возможности».

Беседа опубликована в ноябре 2001 года в литературном приложении к еженедельнику «Цайт».

Александр Проханов. «Экстремисты». — «Завтра», 2002, № 29, 16 июля.

Стихи, рожденные в коридорах саратовского суда: «Мы — не правозащитники. / Мы — ястребы, мы — хищники. / <...> Мы — Люблино, Текстильщики. / Наган — в пакет из пластика. / У нас серпы — не свастики. / <...> Мы — наголо побритые. / И пулями убитые».

Юрий Прохоров. Кто водрузил Знамя Победы над рейхстагом? — «Простор», Алма-Ата, 2002, № 5 <<http://prostor.samalk.kz>>

Поименно. См. также: **Юрий Прохоров,** «Три списка 28 гвардейцев-панфиловцев» — «Простор», Алма-Ата, 2002, № 3.

Александр Пятигорский. «Пределом допустимого для Лотмана был я». Беседу вели Аркадий Блюмбаум и Глеб Морев. — «Новая русская книга», Санкт-Петербург, 2002, № 1.

«Я не люблю Фейербаха, он был плохой философ, но он был — философ. Он пытался не совсем бездарно переиначить Гегеля. И что-то получалось даже интересное. Ну потом он с ума сошел. Но ведь, скажем, Тейяр де Шарден — просто не философ. Слушайте, философом считался Маркузе. Ну это же все зайцы в поле смеются. Да мало ли кто. Если нынешние ревнителю благочестия серьезно, допустим, считают философом Карсавина... Кошмар! Талантливый человек, но никакого отношения к философии не имеет. Я все-таки думаю, двадцатый век — эра плохих философов, эра невообразимой вульгаризации философии».

Евгений Рейн. Тригемист. Поэма. — «Вестник Европы», 2002, № 4.

«<...> на мостике виднелся адмирал, / сигнальщик быстро выкинул флажки. / Я понял — сообщенье для меня: / „Ты должен ждать. Ты должен только ждать“...»

Михаил Ремизов. Цензура, следовательно, элита. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Слово, которое требует для себя свободы, недостойно быть сказанным. Слово, поскольку оно участвует в обществе, должно притязать на определенную власть и соответствующую ей меру связанности».

Ирина Роднянская. Ловцы продвинутых человек. О «Евразийской симфонии» Хольма ван Зайчика. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«Цена пропуска [в широкие ворота Ордуси] — почти нечаянный, почти безболезненный отказ от Христа». Полный текст статьи см.: «Посев», 2002, № 7, июль <<http://posev.ru>>

См. также полемический ответ **Никиты Елисева** «Ниже уровня моря. Семь петербургских точек Хольма ван Зайчика и его „Евразийской симфонии“» <<http://www.russ.ru/krug>>

Максим Соколов. Спаси и сохрани. — «Эксперт», 2002, № 28.

«<...> искомый смысл консерватизма в действительности чрезвычайно прост — „и спаси, и сохрани на многие лета“, а краткая консервативная программа исчерпывающе изложена в великой ектенье <...>. Бог не есть Бог мертвых, но Бог живых, равно и консерватизм есть сохранение и спасение не мертвого, но живого — именно потому, что оно живое». Статья выставлена также на сайте <http://www.conservator.ru>

Александр Солженицын, Наталья Солженицына. Памяти Александра Гинзбурга [1936 — 2002]. — «Известия», 2002, № 126, 22 июля.

«В Париже на 66-м году жизни умер Александр Ильич Гинзбург, отсидевший три советских лагерных срока, соединенно десять лет. <...> После двух лагерных сроков, подталкиваемый КГБ уехать из СССР, имея право счесть, что достаточно уже отбывших им мук (7 лет), — он и движенья такого не сделал, но безраздельно посвятил себя служению: смягчать страдания людей, чьи многие судьбы его емкая память удержала на лагерных путях. Он был инициатором построения такой действенной системы помощи, и когда в 1974-м мы создали Фонд на мировые гонорары за „Архипелаг ГУЛАГ“, он

принял на себя распорядительство в СССР помощью нашего Фонда и регулярно помогал многим сотням преследуемых. <...> Он знал, что за это расправа над ним неминуема, что ему снова идти крестным путем ГУЛАГа, а двое маленьких сыновей его останутся в нужде и безотцовстве. <...> Он был ярким человеком и верным другом <...>».

См. также: **Мариэтта Чудакова**, «Жил один москвич. Памяти Александра Гинзбурга» — «Время новостей», 2002, № 129, 22 июля.

См. также: **Наталья Серова**, «Образ диссидента-правозащитника в постмодернистском дискурсе» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/culture>>

Владимир Сорокин. «Литература создает некоторый щит между миром и мной». Беседа вела Линор Горалик. — «Грани.Ру» <<http://www.grani.ru/sorokin>>

«Порно в литературе не существует <...> Потому что нет голого, универсального языка для описания половых органов и полового акта».

«В юности у меня был период — я страшно заикался, практически не мог говорить».

СССР: введение в тему. [Редакционная статья]. — «Русский Удодъ». Вестник консервативного авангарда. № 17 <<http://udod.traditio.ru:8100>>

«В сущности, весь смысл либеральной идеологии сейчас состоит в том, чтобы отмахнуться от советского краха как от чего-то исторически незначительного и продолжать жить, как будто *ничего не было*. Так сейчас и живет сбрендивший европейский мир».

Сто букв для ста писателей. Монолог Андрея Битова, записанный Игорем Шелевым. — «Нева», Санкт-Петербург, 2002, № 7.

«Я знаю, что у меня графобия».

Люциан Суханек. Вождь на кончике пера. Образ Сталина в творчестве А. Солженицына, В. Максимова, Ю. Дружникова. Авторский перевод с польского. — «Вышгород», Таллинн, 2002, № 1-2.

«Многие исследователи, в том числе и Л. Колаковский, считают, что наряду с Лениным и Гитлером он [Сталин] повлиял на судьбы современного мира». Очень трогательное уточнение.

Януш Тазбир. «Тарас Бульба» — наконец по-польски. — «Новая Польша», Варшава, 2002, № 5 (31), май.

Польское издательство «Читальник» выпустило известную повесть Гоголя в переводе Александра Земного. Предыдущий и единственный до сих пор перевод Петра Гловацкого имел место в 1850 году и с тех пор ни разу не переиздавался. И это не случайно. Януш Тазбир подробно излагает польский взгляд на проблему. Забавная подробность: в 30-е годы из польского издания «Золотого тельенка» выпала сцена с ксендзами, которые охмурали Козлевича.

Александр Тарасов. Десятилетие позора. Тезисы обвинительной речи. — «Left.ru/Левая Россия», 2001, № 19 <<http://www.left.ru/2001/19>>

«И I, и II югославские войны были вызваны *экономическими* причинами: отказом правящей в Югославии Социалистической партии приватизировать *коллективную* собственность и дать западному капиталу *скупить* югославскую промышленность (в Югославии в целом приватизировано лишь 7 процентов экономики, в Сербии — 4 процента). Эта позиция югославского руководства объясняется *экономическими* интересами *коллективных собственников*, которые и составляют опору Социалистической партии, но западные СМИ об этом не сказали *ни разу ни слова*, предпочитая *демонизировать* одного человека — Милошевича».

См. также: **Александр Тарасов**, «Горячая смесь с замедлителем» — «Новая газета», 2002, № 55, 1 августа <<http://www.novayagazeta.ru>> — о *скинхедах*, со знанием дела. Автор — заведующий отделом ювенологии Центра новой социологии и изучения практической политики «Феникс».

Александр Тарасов. «Один из них был левым уклонистом». Почему «Идущие вместе» «наехали» на Сорокина. [30 июня — 1 июля 2002 г.]. — «Left.ru/Левая Россия», 2002, № 16, 12 июля <<http://www.left.ru/2002/leto>>

«То, что действия [издателя „Гексогена“] Александра Иванова *идеологически последовательны*, что его позиция — *сознательная*, следует из его недавнего выступления на презентации „Книги воды“ Эдуарда Лимонова. Иванов произнес на презентации короткую, но четкую, хорошо аргументированную и идеологически недвусмысленно *антикапиталистическую* речь. Не хуже, чем „С кем вы, мастера культуры?“ Горького. Понятно, что за все это Иванова хотят наказать. <...> Так что теперь *антибуржуазно настроенный* издатель будет расплачиваться за *грехи прошлого* — прошлого буржуазно-постмодернистского периода».

Ср.: «Отметив, что „миф ‘Господина Гексогена’ теперь вошел в обиход мифов массовой культуры”, Александр Тарасов расценил это [в „Новой газете”] как „пропагандистскую катастрофу” [власти] <...>. <...> я-то вижу в произошедшем не пропагандистское поражение, но, совсем напротив, исключительную по своим интенциям победу нынешней власти. <...> То, что претендовало на роль компромата и было по крайней мере провокацией, прочтено и прочитывается как чистойшей воды вымысел — столь же пряный и столь же пропагандистски безвредный, выхолощенный, как и предположение Владимира Сорокина о гомосексуальной близости Сталина с Хрущевым. Было — *вся кровь* политики, стало — *вся крив* ненаучной фантастики, массовой культуры, шоу-бизнеса», — пишет Сергей Чупринин («После драки. Урок прикладной конспирологии» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>).

«Если бы я печатал то, что мне нравится, я бы печатал Пушкина и Лермонтова», — признается директор издательства «Ad Marginem» Александр Иванов в беседе с Асей Лаврецкой («Коммерсантъ», 2002, № 130, 26 июля).

Блок Тэйлор. «Прежде Земля!»: от начальной духовности к экологическому сопротивлению. Сокращенный перевод с английского С. Колоса. — «Гуманитарный экологический журнал», Киев, 2002, том 4, спецвыпуск «Дискуссия об идеологии охраны дикой природы».

Радикальные экологи. На примере американского движения «Прежде Земля!». (После того как в июле с. г. определение «экстремистский» превратилось в юридический термин, осталось еще два нейтральных эпитета — «радикальный» и «экстремальный». Эколог-экстремал. Звучит.)

Фашизм в славянских странах 1919 — 1945 гг. [Польша. Чехословакия. Югославия. Болгария]. Вступительное слово А. Lex. — «Новая Россия». Сетевой ресурс молодых националистов <<http://nr.vojnik.org>>

Отрывок из книги испанского историка Карлоса Кабальеро «Неизвестные фашизмы» (*Carlos Caballero, «Los Fascismos desconocidos 1919—1945», Madrid, 1982*) в переводе А. М. Иванова.

Егор Холмогоров. Европа от заката до рассвета. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Только сейчас приходит, например, осознание того факта, что в ходе Второй мировой войны Советскому Союзу противостояла объединенная Адольфом Гитлером Европа, силы которой, направленные на Восточный фронт, во много раз превосходили силы так называемого „сопротивления”. На памяти еще живущего поколения существовала, пусть и всего несколько лет, объединенная мощным имперским началом Европа, и тот факт, что после победы над этой Европой пришлось делать вид, что ее нет, и экстренно выдумывать солидарное сопротивление народов против фашизма, говорит о воле победителей, а не о подлинном настроении побежденных».

Ср.: «<...> пересмотр причин возникновения, течения и результатов Второй мировой войны. Одной из главных составляющих этого пересмотра является постановка под сомнение ответственности европейской цивилизации за массовое и целенаправленное истребление гражданского населения. В последнее десятилетие появилась серия работ, в которых отрицаются как планы по уничтожению, так и сама *техническая возможность* массового уничтожения людей в лагерях смерти. <...> На место гибели миллионов жертв европейских „объединителей”, в качестве „наиболее трагического эпизода” европейской истории XX века ставится раскол Европы „железным занавесом”, представляемый теперь как гуманитарная и цивилизационная катастрофа необъятных масштабов <...>», — пишет Игорь Джадан («Скинхед как основной символ Единой Европы» — «Русский Журнал» <www.russ.ru/politics>).

Ср.: «<...> для консолидированной и обладающей отчетливым геополитическим самосознанием Европы всегда была наиболее приемлема Россия, развернутая к Азии, продвигающаяся к Тихому океану, по мере сил — к Индийскому: Россия, которую при желании можно назвать „Россией-Евразией”. Такая Россия импонировала Наполеону, когда он ориентировал соответствующим образом Александра. Она была мила Вильгельму II, она была приятна Бисмарку даже. И кстати, стоит вспомнить, из-за чего возник кризис во время приезда Молотова в Берлин осенью 40-го года. <...> Сталин не понял одного: Пан-Европа готова была взять нас в союзники, но не в союзники внутриевропейские — там мы были ей не нужны. <...> Для интегрированной и сильной Европы в принципе неприемлема никакая Россия с выходом в Средиземноморье, неприемлема Россия, разворачивающаяся на балтийско-черноморском пороге и взламывающая этот барьер. Иными словами, для нее немыслима Россия, которая помнила бы о своем византийском и античном наследии, сохраняла средиземноморскую цивилизационную память и которая в принципе заявляла бы, что она тоже — европейская держава».

ва», — пишет **Вадим Цымбурский** («Европа между „Евразией” и „Евроафрикой» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>).

«В настоящее время Россия является единственным крупным государством, не имеющим опыта долговременной западной оккупации (Китай подобный опыт имел). Все политические институты, существующие на этой территории, были созданы не непосредственно Западом, а в лучшем случае на условиях „работы по патенту”. Более того: в XX веке России удалось создать (на короткое время) альтернативную западной системе управленческих институтов, которая оказалась транслируемой <...>. В этом смысле Россия — самая „антизападная” страна мира; Индия или Сингапур куда ближе Западу, чем мы», — пишет **Константин Крылов** («Русский Удодъ». Вестник консервативного авангарда. № 17 <<http://udod.traditio.ru:8100>>).

«<...> сохранение европеоидного облика Европы естественным путем становится совершенно невозможным, если только поддержание расовой однородности не станет в какой-то момент сверхценной идеей европейской цивилизации», — пишет **Игорь Джандан** («А где же „спасибо”?» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>).

А также — к теме: «Смахнем слезу. Проглотим в горле ком. Нет повести печальнее на свете, чем о любви, даримой чудачком прекраснейшей богине на планете, прикинувшейся вдруг материком. Две тысячи четвертый недалеко, однако предсказание пророка, как видно, неоправданно жестоко: Европа есть. Садится мотылек в Тюльи на Зевса мраморное око, над пьядца Россо плещется закат, горят штыки гвардейцев Букингема, сверкает в ухе маленькая гемма у пражского „танцора напрокат”, и звери Нотр-Дама смотрят немо на рыжий, непричесанный закат. Европа есть — и соловьиный глас, и недра гор, урчащие утробно, и кровь, и плоть, и ад, и светлый час. Она цветет уже в который раз; она лежит вольготно и удобно, — и пережить, естественно, способна и Гитлера, и Шпенглера. И нас» (**Линор Горалик** — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug/razbor/20001222—pr/html>>).

Алексей Цветков. «Буржуй разговаривает!», или Адекватная идентичность гуманитария. — «Left.ru/Левая Россия», 2001, № 37 <<http://www.left.ru/2001/37>>

«Их [российских гуманитариев] идентичность по-прежнему подчинена интересам буржуазии, паразитарного меньшинства, на которое они, чаще — бессознательно, работают, но к которому никогда не будут принадлежать».

Александр Ципко. Слово — это дело государево. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«Синдром *подпольного человека* России, привыкшего восставать против любого ограничения, естественно, приводит к тому, что люди не принимают даже необходимых этических ограничений, которые так или иначе неизбежны, поскольку любая культура прежде всего — *ограничение*».

«Я убежден, что свобода слова, как и демократия, должна быть управляемой».

«<...> по моему глубокому убеждению, люди с двойным гражданством не имеют права говорить о судьбах России».

Ср.: «Специфических этических норм, которые регулировали бы свободу слова, нет и не может быть. Нормы, регулирующие свободу слова, должны быть только юридические», — считает сотрудник президентской администрации **Алексей Волин** («Не царское это дело» — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>).

Вадим Цымбурский. «Городская революция» и будущее идеологий в России. Цивилизационный смысл большевизма. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«В любом случае большевизм как полюс притяжения или отталкивания останется для русских необходимой, с точки зрения цивилизационного самоощущения, эрой».

Борис Четвериков. Футуристические дни. Вступительное слово Семена Шуртакова. [Глава из многотомной повести «Стежки-дорожки». Печатается к 120-летию Д. Д. Бурлюка]. — «Литературная газета», 2002, № 28-29, 10 — 16 июля.

«Однажды, когда мы оказались наедине, Бурлюк доверительно признался мне, что его не влечет колчаковский строй...»

Давид Черневский. Трагедия писателя. — «Лебедь». Независимый альманах. Бостон, 2002, № 282, 28 июля <<http://www.lebed.com>>

«Пристреливая в каждой комедии по интеллигенту, Чехов пытался приблизить неизбежный закат эпохи этих людишек, провозглашающих высокие идеалы, а на деле живущих одной лишь жалостью к себе и при этом в высшей степени презирающих окружающий мир».

Сергей Шаргунов. Я тучи разведу руками. — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/krug>>

«После аж двух подряд [критических] статей С. Костырко о моей повести „Ура!“ [„Новый мир“, 2002, № 6] явно следует дать ответ».

См. также: **Сергей Шаргунов**, «Грядущий пацан». [Глава из повести «Ура!»] — «Новая газета», 2002, № 55, 1 августа.

Игорь Шевелев. Русский поэт на randevу. — «Время МН», 2002, № 117, 10 июля.

Говорит поэт **Алексей Парщиков**: «Я думаю, что русскому поэту за границей сейчас очень хорошо. В отличие, может быть, от русского человека как такового». Живет в Кёльне.

Светлана Шешунова. Книги книгам рознь... — «Посев», 2002, № 7, июль.

«При этом [школьная] программа включает произведения либо откровенно большевистские по духу (поэзия Маяковского), либо двойственные, проникнутые моральным релятивизмом („Тихий Дон”)». Альтернатива — «Няня из Москвы» (1933) Ивана Шмелева, «Кадет» (1927) Леонида Зурова.

Альфред Шюц. Моцарт и философы. Перевод с английского Н. М. Смирновой. — «Вестник Европы», 2002, № 4.

«Можно смело утверждать, что Моцарт, в отличие от Бетховена — разносторонне образованного человека, изучавшего Канта, — едва ли был знаком с философскими трудами».

«Если Шопенгауэр прав, — а я думаю, что это так, — то Моцарт является одним из величайших философов, когда-либо живших на свете».

Асар Эппель. Летела пуля. Рассказ. — «Вестник Европы», 2002, № 4.

«Куда в данный момент направляется Изя по прозвищу Клест?..»

Галина Юзефович. Детский лепет. — «Еженедельный Журнал», 2002, № 28 <<http://www.ej.ru>>

«Если вы со времен собственного детства не перечитывали свои любимые книжки советских авторов, то скорее всего просто не представляете, до какой степени они устарели идеологически. В первую очередь это, конечно, относится к книжкам политизированным — вроде „Трех толстяков” Юрия Олеши или „Королевства кривых зеркал” Виталия Губарева. Их революционный пафос едва ли будет понятен современным школьникам». Ну уж? *Толстяки — олигархи и проч.* См. также: **Павел Черноморский**, «Когда наступит Жерминаль: в ожидании новой русской левой» <<http://www.regnum.ru/allnews/46957.html>>

Б. Г. Якеменко (заместитель руководителя организации «Идущие вместе»). Быкову. — «Идущие вместе» <<http://iv.com.ru>> <<http://www.idushie.ru>>

О том, что если в статью Дмитрия Быкова завернуть живого котенка, он — котенок — моментально издохнет в судорогах.

Кирилл Якимец. Махмуд, не поджигай! — «Русский Журнал» <<http://www.russ.ru/politics>>

«<...> С другой стороны, Россия может стать центром исламского образования и исламской культуры. Блага, которые этому воспоследуют, не нуждаются в перечислении: они вполне очевидны. И если нам не удалось стать „Третьим Римом”, может, у нас получится выстроить „Небесный Багдад”?»

Составитель **Андрей Василевский** (www.avas.da.ru).

*«Вопросы истории», «Вопросы литературы», «Вопросы философии»,
«Дружба народов», «Континент», «Звезда», «Знамя»*

К. Азадовский. «Судьбы его печальней нет в России...» (Еще раз о гибели русского интеллигента). — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 7 <<http://magazines.russ.ru/zvezda>>

«Тот, кто жаждет окончательного краха коммунизма, должен иметь в виду и гибель российской интеллигенции, гонявшейся за его призраком в XIX веке, чтобы разоблачить его и развеять в XX. Интеллигенция должна исчезнуть как класс — так основопо-

ложники марксизма-ленинизма говорили о гибели буржуазии». Это конец (статья Азадовского).

«Что такого случилось в 2002 году, чтобы русский интеллигент вдруг — в который уже раз! — взялся за неизбежно вторичную саморефлексию?» — восклицает **Александр Агеев** («Время МН», 2002, № 120, 13 июля <<http://www.vremyamn.ru>>) по прочтении статьи Азадовского.

Н. Я. Берковский. <О Достоевском>. Публикация М. Н. Виролайнен. — «Звезда», Санкт-Петербург, 2002, № 6.

«Безмерность человека у Достоевского. Мучение мерой и формой. Пушкин: мера — признак человеческого. Достоевский: мера есть насилие».

Беседа с В. С. Семеновым. — «Вопросы философии», 2002, № 7.

Бывший главный редактор (1977 — 1987) о себе, о философии, об «анализе перспектив материализма», «эпохах» четырех генсеков, при коих он трудился, и прочем важном. В конце о встречах, в частности, с «новыми левыми», «конструктивными критиками капитализма, сторонниками Франкфуртской школы, „неомарксизма“ с упором на работы молодого К. Маркса — Э. Фроммом, Г. Маркузе, Н. Бирнбаумом, А. Гулднером». «Много встреч, бесед, дискуссий, подаренных ими мне книг. А. Гулднер вместе с молодой рыжеволосой женой были у меня дома и пообедали жареной сайгачиной. Ищущие, творческие, убежденные, талантливые и деятельностные люди. Обогатившие и украсившие своими философскими работами, леворадикальными исканиями и действиями прошедший двадцатый век, борющиеся за улучшение и обновление общественного и человеческого общежития...» И — кода: «Совершенно уверен и твердо убежден: советская, российская философия — наиболее творческая, умная, новаторская, критическая и радикальная, честная, народно-демократическая, гуманная и по этим качествам лучшая в мире».

Эх, жаль, этого не слышат Флоренский, Голосовкер и Мамардашвили.

Андрей Битов. «Дайте времени поговорить его языком...». — «Континент», № 112 (2002, № 2) <<http://magazines.russ.ru/kontinent>>

«<...> я считаю, что вера в Бога не мешает быть материалистом в реальных вопросах. Надо осознавать себя на биологическом уровне, не зарываясь, понимая, что это, может быть, и есть задача человека: разрешить проблему жизни как долга, а не как животного права. Лет десять назад я придумал даже термин: эсхатологическая цивилизация. Это люди, осознающие себя перед концом света и испытывающие обязанность перед жизнью. Зачем-то ведь нам нужны и Интернет, и ракеты, и все такое прочее — кроме власти, наживы и подавления».

Я искренне прошу прощения, но про *обязанности перед* подробно и не один раз сказано Отцами Церкви, да? А про греховную природу нашего брата все и говорить не хочется. Беседа между тем интересная: о «богатырской функции» Солженицына, *камегории необсуждаемости* (любви к родине, например). Много и ускользает, правда. О каких ракетах, к примеру, идет речь?

«**Булат Окуджава: его круг, его век.**». — «Вопросы литературы», 2002, № 3, май — июнь <<http://magazines.russ.ru/voplit>>

Статьи **Н. Богомолова**, **М. Чудаковой** и **О. Клинга**, в основу которых положены их выступления на Второй международной конференции, посвященной творчеству писателя.

Галина Гампер. Стихи. — «Звезда», 2002, № 6.

Земную жизнь пройдя до половины,
Я очутилась там же, где и Дант.
Все растеряла — страсть, любовь, талант...
И тьмы лесной низвергнулись лавины
Мне на голову. А небесный свет
Остался там, куда возврата нет.

М. Д. Голубовский. Библия и ген. Памяти историка-библеиста И. Д. Амусина. — «Звезда», 2002, № 6.

«Учитывая познания древних евреев в сексуально-репродуктивной сфере, вряд ли стоит удивляться, что уже через три месяца Иуде донесли, что его невестка „впала в блуд, и вот она беременна от блуда“. Ранняя диагностика беременности у древних израильтян в роду Авраама была на отличном уровне! А иные современные женщины узнают о беременности только на 5 — 6 месяце».

Нина Горланова. Нельзя. Можно. Нельзя. Роман-монолог. — «Знамя», 2002, № 6 <<http://magazines.russ.ru/znania>>

В который раз вы узнаете и о писательнице, и о ее семье. Градус искренности и простодушия в этом повествовании таков, что забываешь о жанрах, композициях и

прочем инструментари. Искорками мерцают поэтические находки-воспоминания: чего стоит крохотный сюжет о том, как бабушка нашла маленькую Нину, спящую во ржи, — по струйке пара в холодном воздухе. Вообще-то Горланова всегда пишет о том, как она несет свой крест: о тернистости пути, о передышках, миражах, поступательном обретении почвы. Все, как водится, пронизано Пермью и бесконечным круговерчением в доме. И все идет в дело: «Я всегда стараюсь плыть по течению: надо вам вечер — вот вам вечер. Если повезет, будет чудесный междусобойчик, а если не повезет — напишем рассказ об этом. Всегда мы в выигрыше... так выходит».

Ваагн Григорян. Душа птицы. Перевод с армянского Жанны Шахназарян. — «Дружба народов», 2002, № 7 <<http://magazines.russ.ru/druzhba>>

Вот хотел бы я пошутить, так сказал бы: «В солнечной Армении тоже любят Джойса».

Владимир Губайловский. Волна и камень. Поэзия и проза. Инна Кабыш. Анастолый Гаврилов. Сергей Гандлевский. — «Дружба народов», 2002, № 7.

«Автор сегодня свободен, но немного чересчур. Такая свобода не всегда плодотворна. И я не исключаю того, что постепенно произойдет новая кристаллизация и жанры и виды отстроятся в другую иерархическую картину. Но она будет гораздо более сложной, не всеобщей, с меньшей инерцией, гораздо более субъективной, а значит, человеческой. А сегодня многое напоминает юное брожение первой четверти девятнадцатого века и первой четверти двадцатого, когда школы и течения возникли и распадались и кризис был непреходящим каждодневным явлением. Результаты этого кризиса мы сегодня рассматриваем как главные наши драгоценности».

Это — в итоговой главке, не привязанной к конкретному сочинению.

Юрий Давыдов. Такой вам предел положен. Этюды к пьесе Эдварда Крэга. Подготовка текста и публикация С. Тарошиной. — «Знамя», 2002, № 7.

Последний роман писателя, посвященный датской принцессе Дагмар, жене Александра III и матери последнего русского императора Николая II. Вообще-то Давыдов написал два варианта, оба и выйдут книгой, под одной обложкой. «Знаменский», как пишет публикатор, «стилистически более изощрен, написан в творческой манере позднего Давыдова». А началось все с заказа немцами сценария к фильму. Уходя, Давыдов на отдельной страничке описал смерть Александра III. «Он знал, что умирает, и писал о себе».

В этом же номере журнала, под рубрикой «Конференц-зал», **Яков Гордин, Андрей Дмитриев, Андрей Немзер, Станислав Рассадин и Леонид Юзефович** пишут о Юрии Давыдове и его прозе. «История — то, что не проходит» — так называется этот блок. «Он знал, чем свобода отличается от рабства, любовь к отечеству от шовинизма, смелость от провокации, красота от безобразности, сила от насилия. А его заветный „Бестселлер” — от всякого рода „национальных бестселлеров”. Любых. Вне зависимости от того, потакают ли они вкусам (амбициям) только остервенелых охотнорядцев или еще и „продвинутых левых интеллектуалов”» (**Андрей Немзер**). Кстати, Немзер же очень интересно пишет о «выходе Давыдова на поэтическую стезю», о тенденции мастера к «метризации» прозы, о природе текста, «словно бы растущего на глазах читателя».

См. также: **Евгений Ермолин**, «Узы совести и зов свободы. Над страницами прозы Юрия Давыдова» — «Континент», № 112 (2002, № 2). «В главных своих вещах Давыдов видел историю как проблему, как повод для размышлений. Тут он шел по стопам Алданова, отчасти Мережковского. С такой творческой установкой кумирами читательских масс не становятся». «В „Бестселлере” получилось так, что окончательно потеряли важность и значимость статусы и прописки. Революционер ли или охранитель — так ли важно? Осталась лишь осянка личности, лишь мера ее достоинства».

Н. А. Ефимов. Каким был подлинный С. М. Киров. — «Вопросы истории», 2002, № 5.

О многократно воспетом «дооктябрьском большевизме» Кирова: «Оценивая программу Временного правительства и призывая к объединению вокруг него, Киров в марте 1917 года заявлял: „И каждый из нас должен сделать эту программу своим гражданским евангелием и неустанно идти по пути ее осуществления...”» Далее — о руководстве «красным террором» в Астрахани и Азербайджане, призывах «пролить еще новые потоки крови врагов рабочего класса»; уничтожении четырех тысяч астраханских рабочих; увлечениях мариинскими балеринами, оргиях-кутежах с женщинами в бывшем особняке Кшесинской. И наконец: «Ряд авторов доказывают, что Л. Николаев застрелил Кирова из тривиальной ревности, из-за интимной связи с ним своей жены М. Драуле, официантки в Смольном, ставшей одной из любовниц партийного „хозяйина”...»

Иную версию гибели Кирова услышал из уст мемуаристки Г. Померанц (см. его статью: «Новый мир», 2002, № 5, стр. 142).

Михаил Еремин. Стихи. — «Звезда», 2002, № 7.

Три. Новых. Стихотворения. 2002 года. Действительно событие в современной истории отечественной поэзии. Один из самых загадочных питерских поэтов публикуется очень редко.

В. П. Зайцев. Бертран Рассел. — «Вопросы истории», 2002, № 5.

Рубрика «Исторические портреты». «В раннем детстве Бертрану довелось слушать рассказы бабушки о встречах с пленным Наполеоном».

Б. С. Илизаров. Душа Кобы подлинного. — «Вопросы истории», 2002, № 7.

«Странно, но биографы Сталина, даже самые скрупулезные, ни разу не удосужились прочитать произведение грузинского литератора второй половины XIX века Александра Казбеги „Отцеубийца“. На протяжении десятилетий механически переписывают друг у друга: Коба — имя одного из героев этого произведения, борца за социальную справедливость. Так-то это так, но, взяв себе в 1903 году псевдоним „Коба“, Джугашвили, который еще не был „Сталиным“, совершил как бы акт инициации. А может быть, даже символического каннибализма». Подробнее — в обстоятельном, несколько жутковатом тексте.

Фазиль Искандер. Сон о Боге и дьяволе. — «Знамя», 2002, № 6.

«— Мое учение о любви люди редко правильно понимают. Это учение о полноте внимания к человеку. Сокровенная, сжигающая душу тайна человека, о которой он редко догадывается. Так-то это так, но, взяв себе в 1903 году псевдоним „Коба“, Джугашвили, который еще не был „Сталиным“, совершил как бы акт инициации. А может быть, даже символического каннибализма». Подробнее — в обстоятельном, несколько жутковатом тексте.

В августе у Ф. И. был вечер стихов и прозы в переделкинском музее Булата Окуджавы. После вечера небольшое, сердечное эссе об Искандере прочитал Семен Липкин. Все оно было построено как раз на этом самом «Сне...». Вольном и каноничном одновременно. Захватывающе провокативном. «Дьявол. Что тебе хочется сказать людям в минуту гнева? / Бог (забыл начало ответа, но помню конец). Выше голову, сукины сыны!..»

Юрий Каграманов. Балканское предупреждение. — «Дружба народов», 2002, № 7.

«Но там, где речь идет о правах человека, и только о правах человека, — там судье из Гааги лучше не мешать».

Тимур Кибиров. Пироскаф. Стихи. — «Знамя», 2002, № 6.

...И когда он пишет: «Мало, мало, мало мне!.. / Да и страшно не вполне», — не верится, ей-богу. В подлинном мастерстве (а здесь Т. К. использовал многие свои стихотворные умения) растворена неподдельная боль, проглядывающая через все ёрничанья и гримасы. Временами это кажется описанием (не)почтительного возврата билета, временами — криком о помощи.

Л. Б. Красин. Письма жене и детям 1917 — 1926. — «Вопросы истории», 2002, № 1, 2, 3, 5.

«Я немного оскандалился: съел в Кремле кусочек языка, не очень, видимо, свежее, и у меня случилась обычная моя гастрономическая история <...> Лечиться здесь (в „Кремлевке“. — П. К.) я ведь все равно не буду (особенно после того, когда на Фрунзе наши эскулапы так блестяще демонстрировали свое головоуятие, а за границей врачи здешним анализам все равно не поверят)».

Рээт Куду. Свобода и любовь. Эстонские вариации. Роман. Авторизованный перевод с эстонского Бориса Туха. — «Континент», № 112 (2002, № 2).

«Только в Москве я по-настоящему начинаю ценить единственное в своем роде упорство моего маленького народа в сохранении удивительной культуры предков. Но, к сожалению, эстонцев спасают именно те качества, которые не слишком красят человека, — сдержанность до полной безликости, осторожность в общении до полной нелюдимости, чувство собственного достоинства, переходящее в чванство, гордость, которая легко становится гордыней.

В нашем городке немыслимо после праздничного ужина заночевать у хозяев».

Э. Кузнецов. Эпиграммные дуэли. — «Вопросы литературы», 2002, № 3, май — июнь.

«Оба советских сатирика (Безыменский и С. В. Смирнов), когда дело касалось их лично и задевало за живое, могли переступить через негласные запреты и выдать нагора эпиграммы, для печати вовсе не предназначавшиеся. Им приписываются две острейшие миниатюры.

Безыменский на С. В. Смирнова:

Поэт горбат, стихи его горбаты.
Кто виноват? Евреи виноваты.

С. В. Смирнов на Безыменского:

Волосы дыбом. Зубы торчком.
Старый мудака с комсомольским значком.

Эти эпиграммы появились в печати только в 1988 году в Париже в сборнике, составленном Е. Эткиндоном.

Лев Лосев. Нелюбовь Ахматовой к Чехову. — «Звезда», 2002, № 7.

«Правда, существует теория поэзии, согласно которой Ахматова только так и должна была относиться к Чехову, как она к нему относилась, и по-другому быть не могло. <...> По [Харольду] Блуму, все великие поэты страдают „неврозом влияния”, и первый симптом этого невроза — отталкивание от источника влияния, то есть от непосредственного предшественника».

Ж. А. Медведев, Р. А. Медведев. План «Барбаросса». — «Вопросы истории», 2002, № 6.

По большому счету ничего нового. Но — подробное опровержение версии о «депрессии» Сталина в первые дни войны.

Жорж Нива. «Расхожее мнение, что у нас на Западе царит безверье, ошибочно...». — «Континент», № 112 (2002, № 2).

«Но пока что нет таких выдающихся текстов, которые помогли бы лучше понять Россию; зато есть масса статей, от которых остается, конечно, тяжелый осадок, — беспризорные дети, убийства, чудовищная коррупция, выходки националистов, Чечня и т. д. Все это создает образ отрицательный, неверный. Но для того, чтобы показать, что это образ действительно неверный — в том смысле, что он далеко не полный, — нужна ведь и какая-то активная деятельность. А сколько-нибудь определенного курса на это пока, мне кажется, не видно».

Олеся Николаева. Всякое дыхание... — «Знамя», 2002, № 6.

Три рассказа-мемуара. Мистическое и смешное перемешаны очень причудливо.

Вера Пирожкова. Из книги воспоминаний «Мои три жизни». Вступительная заметка Л. Дубшана. — «Звезда», 2002, № 7.

Интереснейшая публикация «живой легенды» русской общественной жизни, работавшей в Русском комитете генерала Власова, убежденной антикоммунистки, живущей ныне в Мюнхене и в Санкт-Петербурге. Публикуемое «рисует острую общественно-политическую ситуацию в Европе на грани 1960 — 1970-х годов».

Мария Ремизова. GRANDES DAMES прошедшего сезона. — «Континент», № 112 (2002, № 2).

Толстая с «Кысью» и Улицкая с «Кукоцким». Обеим досталось.

«Феминистская наука уже обозначила признаки женского письма как принципиально неструктурируемого, стремящегося к бесконечному множеству равноценных деталей с принципиальным отказом от иерархии (то есть выяснения главного и второстепенного), в пределе, если довести мысль до логического конца, — к бессмысленному речевому потоку, то есть к онтологической пустоте».

И. Роднянская. «Белая лилия» как образец мистерии-буфф. К вопросу о жанре и типе юмора пьесы Владимира Соловьева. — «Вопросы литературы», 2002, № 3, май — июнь.

О «может, самом парадоксальном из всех текстов Соловьева, как философских, так и поэтических», не усвоенном ни в соловьевском «кругу», ни среди почитателей. Первое в истории литературы серьезное исследование пьесы Соловьева посвящено памяти новомирского сотрудника, историка-архивиста Александра Алексеевича Носова.

Дина Рубина. Иерусалимцы (четки). — «Дружба народов», 2002, № 7.

«Три резервиста, отпущенные на субботу, лежат на весенней травке в Саду Роз, неподалеку от Кнесета. На газете перед ними — остатки только что съеденного солдатского пайка — банки из-под тушенки, скорлупки от яиц. Лежат, беседуют — о чем могут беседовать сорокапятiletние отцы семейств? — о расходах на свадьбу дочери, о банковских ссудах, о растущих ценах на бензин...»

На дорожке появляется группа туристов явно из России — паломники, все в крестах, бороды лопатой... Проходя, неодобрительно смотрят на солдат, и один замечает громко:

— У-У! Лежат загорают, агрессоры сионистские, убийцы, людоеды!

Один из резервистов приподнимается на локте и говорит по-русски лениво и доброжелательно:

— Да вы не бойтесь, проходите. Мы уже предыдущей группой туристов пообедили...»

А. И. Селиванов. К вопросу о понятии «ничто». — «Вопросы философии», 2002, № 7.

Доктор философских наук, профессор, начальник кафедры социально-гуманитарных дисциплин Уфимского юридического института МВД России предупреждает: «...понятие „ничто“ дает для материализма возможность избежать *скатывания* (курсив мой; тут, кажется, Владимир Ильич-то и подмигнул. — П. К.) в идеализм (или в религию), тем самым спасая бытие как самодостаточную реальность. Поскольку материализм, радикализирующий бытие и исключаящий из рассмотрения „ничто“, на деле все сильнее востребует Бога как в теории, так и в практике, тем самым эволюционируя в сторону идеализма».

Михаил Синельников. Там, где сочиняют сны. — «Знамя», 2002, № 7.

Главы из воспоминаний «Принесенные ветром, или Таш и Тоголок», которые выходят отдельной книгой. Печатаются: «Тарковский и Ахматова», «Тарковский и другие о Заболоцком», «Тарковский и Твардовский» и «Отец и сын». Всё вокруг фигуры любимого поэта.

«Тарковский рассказывал мне ужасы про обращение Твардовского с Заболоцким. Все-таки Николай Алексеевич хотел напечатать свои стихи и приносил их главному редактору „Нового мира“... В одном стихотворении о наступившей весне была удивительная концовка о зарождающихся в талом снегу крошечных таинственных существах. Конечно, Заболоцкий увлекся модной тогда и, по существу, вздорной идеей о самозарождении жизни, но в стихах это было волшебно („Плохая астрономия, но зато какая поэзия!“). Твардовский перечеркнул это четверостишие редакторским карандашом и, снисходя к пожилому поэту, сказал, что остальное можно печатать. „Как же! — воскликнул Заболоцкий. — Ведь там же была главная мысль стихотворения! Вот возьмите, к примеру, Тютчева. ‘Люблю грозу в начале мая’ было бы ничтожным, пейзажным стихотворением, если бы не ‘Как будто ветреная Геба, Кормя Зевесова орла...’”. Тут Твардовский оборвал Николая Алексеевича и заявил очень уверенно и самовластно: „А мы правильно при советской власти печатаем это стихотворение без последнего четверостишия!“»

«Так я и выучил наизусть эти стихи в первом классе, — пишет Синельников, — только позже отец показал полный текст».

Карен Степанян. Завороженные смертью. — «Знамя», 2002, № 6.

Эсхатология в современной русской прозе (качественной, разумеется). Критик признается, что ему было интересно, о потраченном времени он не жалеет.

Л. И. Тимофеев. Дневник военных лет. Публикация и примечания О. Л. Тимофеевой. — «Знамя», 2002, № 6.

В этих интимных записях, долгие годы хранившихся в глубине старинного кожаного кресла, описаны первые полгода войны. Взгляд из Москвы, взгляд инвалида, который ни в каком случае не мог оказаться на фронте. И в этом особая ценность его записей. Известный ученый-филолог и литературовед (1904 — 1984) слышит и говорит так, как будто знает, что его *прочтет время*, и тут же забывает об этом, говоря о сокровенном, о собственной судьбе. «Подумать, что сотни тысяч людей гибнут, определяя, где я буду спать и что я буду есть... Стоит ли. Упорно пишут, что немцы готовят газы. Это хороший признак: на газы пойдет слабейший». «Если немцы до зимы нас разобьют, то есть возьмут Москву и выйдут к нефти, то Лондону несдобровать». «У москвичей боевого настроения нет. Говорят, что на заводах почти не работают. Когда заводы минировали, были столкновения рабочих с саперами. Народ озлоблен, чувствует себя преданным и драться за убежавших не будет. Говорят о либерализме немцев в занятых областях».

Виктор Тополянский. Загадочная испанка. — «Континент», № 112 (2002, № 2).

В коротком предуведомлении пишется о «неудержимом зуде воспоминаний», поскольку ниже идут мемуары 1922 года — московского врача Ф. А. Гетье. Герой мемуаров — товарищ Свердлов.

«Бывая у Свердлова в разное время дня, я мог констатировать, что семья его питалась не только хорошо, но лучше, чем в мирное время питался обыватель среднего достатка: к утреннему чаю подавался белый хлеб, масло, икра, сыр или ветчина, а вечером я видел на столе яблоки, груши и виноград. Обед был сытный, с обильным количеством редкого в то время мяса». Далее — о слугах и прочая гадость. А как тов. Яков поручить любил, в ленинском кабинете за столом вождя сиживал, пока тот болел (Ильич про то, конечно, понял), сами читайте. «Испанка» в заглавии — не Кармен с розой, но летальная хвороба.

Г. Л. Тульчинский. Проблема либерализма и эффективная социальная технология. — «Вопросы философии», 2002, № 7.

«Позитивизм, настаивающий на несводимости фактов к ценностям, остается уделом в лучшем случае части интеллектуалов-естественников — наиболее обескровленной и обессиленной части интеллигенции современной России. Это свидетельствует о том, что российская интеллигенция так и не избавилась от романтической любви к символизму и мифологии, а либерализм в России окрепнет только тогда, когда мы поймем, что нам дан в реальности только безразличный к добру и злу мир фактов, а все остальное — в руках человеческих».

М. Шапир. Данте и Теркин «На том свете». (О судьбах русского бурлеска в XX веке). — «Вопросы литературы», 2002, № 3, май — июнь.

О значении прозокомики в истории русской классической литературы, в частности, о пародийных переключках между Данте Алигьери и Твардовским Александром. Натурально. Однако не забудем, что имеется в виду «второй Теркин».

Натан Эйдельман. Дневник (1985 — 1989). Публикация Ю. Мадоры-Эйдельман. Комментарии Ю. Мадоры-Эйдельман и Э. Шнейдермана. Вступительная заметка Я. Гордина. — «Звезда», 2002, № 6.

Если у дневниковых записей могут быть жанры, то записи Эйдельмана более всего похожи на хронометрирование: темы, названия, заголовки, имена гостей и «мест назначения». Тем значительнее увиденная за всем этим живая фигура автора.

«20/IV <1987>. Прекрасный день в библиотеке музея Пушкина (Раевский, сравнение стихов его, мелкие открытия, столь же приятные, как любые). Затем Дом ученых; затем — у Овсяниковых. Все тлен — но, понимая это, утрачивая иллюзии, теряешь смысл».

Составитель Павел Крючков.



ДАТЫ: 7 ноября исполняется 75 лет со дня рождения Дмитрия Михайловича Балашова (1927 — 2000); 16 ноября исполняется 85 лет со дня рождения Константина Дмитриевича Воробьева (1917 — 1975); 29 ноября исполняется 20 лет со дня смерти Юрия Павловича Казакова (1927 — 1982).



ИЗ ЛЕТОПИСИ «НОВОГО МИРА»

Ноябрь

30 лет назад — в № 11, 12 за 1972 год напечатан роман Виталия Семина «Женя и Валентина».

40 лет назад — в № 11 за 1962 год напечатана повесть А. Солженицына «Один день Ивана Денисовича».

55 лет назад — в № 11 за 1947 год напечатана повесть Константина Симонова «Дым отечества».

65 лет назад — в № 11, 12 за 1937 год печатался роман Михаила Шолохова «Тихий Дон».

70 лет назад — в № 11 за 1932 год напечатана «Песнь о гибели казачьего войска» Павла Васильева.

ИЗ ПОЭЗИИ «НОВОГО МИРА»

БОРИС ЧИЧИБАБИН

* *
*

Кончусь, останусь жив ли, —
чем зарастет провал?
В Игоревом Путивле
выгорела трава.

Школьные коридоры —
тихие, не звенят...
Красные помидоры
кушайте без меня.

Как я дожил до прозы
с горькою головой?
Вечером на допросы
водит меня конвой.

Лестницы, коридоры,
хитрые письма...
Красные помидоры
кушайте без меня.

1946.

«Новый мир», 1987, № 10.

SUMMARY



This issue offers a tale by Roman Senchin «Nubuk», a story by Aleksander Yakovlev «The Neighbours», as well as «The Apparition of Asia» — travel notes by Vasily Golovanov on his trip around Tuva. The poetry section of this issue is made up of the new poems by Olga Ivanova, Sergey Belorusets, Vladimir Salimon and Sergey Popov.

The sectional offerings of the issue are as follows:

Close and Distant contains the articles «Moscow Adresses of Love: Kuznetsky Most and It's Up Neighbourhood» by Rustam Rakhmatullin and «Schlottburg — a Month and a Half's Capital» by Leonid Sheinin. Both the articles dwell on the history of Moscow and St. Petersburg.

World of Science contains «The Cognizing Body», an article by Yelena Knyazeva and Aleksey Turobov on the «embodied cognition approach» in the cognitive science.

Times and Morals section continues publishing a cycle of articles by Tatyana Cherednichenko, a well known Russian expert in the fields of musicology and cultural studies. The presented article, «Festive Mood», dwells on the semiotics of contemporary Russian television.

Essays section publishes the notes by Sergey Borovikov, a literary critic, from his serie «In the Russian Genre».



«Редакция не обязана отвечать на письма граждан и пересылать эти письма тем органам, организациям и должностным лицам, в чью компетенцию входит их рассмотрение» (Закон РФ «О средствах массовой информации», ст. 42).

Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

Словесное сочетание «НОВЫЙ МИР» зарегистрировано ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“» в качестве товарного знака по классам МКТУ 16, 38, 41, 42.

Редакция журнала «Новый мир» не имеет никакого отношения к деятельности одноименных компаний в Москве и за ее пределами.

Общественный совет: С. С. Аверинцев, А. Г. Битов, С. Г. Бочаров,
А. Г. Волос, Д. А. Гранин, Б. П. Екимов, Ф. А. Искандер, Ю. М. Каграманов, А. А. Ким,
А. С. Кушнер, Б. Н. Любимов, А. М. Марченко, В. С. Непомнящий,
П. А. Николаев, О. А. Славникова, Т. В. Чередниченко, М. О. Чудакова

Главный редактор А. В. Василевский

Редакционная коллегия: М. В. Бутов, Р. Т. Киреев, С. П. Костырко,
П. М. Крючков, Ю. М. Кублановский, О. И. Новикова, И. Б. Роднянская,
О. Г. Чухонцев

Корректоры Н. Н. Замятина, Т. И. Филиппова

Редактор-библиограф А. И. Фрумкина

Компьютерная верстка — И. Н. Колесникова

Компьютерный набор — Т. В. Дорофеева

Адрес редакции: 127994, ГСП-4, Москва, К-6, Малый Путинковский пер., д. 1/2.

Телефоны: главный редактор — 209-57-02, ответственный секретарь — 209-91-81,

отдел прозы — 200-54-96, отдел поэзии — 229-56-92, отдел критики — 209-05-88,

зав. редакцией (хозяйственные вопросы) — 209-62-68,

для справок, продажа журналов — 200-08-29.

Факс: 200-08-29. Электронная почта: newworld@newtimes.ru;

по вопросам зарубежной подписки: novy-mir@mtu-net.ru

Сетевой журнал «Новый мир»: http://magazines.russ.ru/novyi_mi

Свидетельство Государственного комитета Российской Федерации по печати № 138 от 9 января 1998 г.

Учредитель и издатель — ЗАО «Редакция журнала „Новый мир“».

Сдано в набор 20.06.2002 г. Подписано к печати 29.09.2002 г. Формат бумаги 70x108 ¹/₁₆. Бумага кн.-журн.

Высокая печать. Объем 15,0 печ. л., 21,0 усл. печ. л., 27,0 уч.-изд. л.

Тираж 9 600 экз. Зак. 2429. Цена договорная.

Отпечатано с оригинал-макета в ФГУП Издательство «Известия» Управления делами Президента РФ, 101999, ГСП-9, Москва, К-6, Пушкинская пл., д. 5.

ЛИТЕРАТУРНАЯ ПРЕМИЯ ИМЕНИ ЮРИЯ КАЗАКОВА

Премия имени Юрия Казакова присуждается с 2000 года автору, живущему и работающему в России, за рассказ на русском языке, впервые напечатанный в текущем году на территории России (циклы и сборники рассказов, рукописи и сетевые публикации не рассматриваются).

Правом выдвижения произведений на премию обладают критики, издатели и творческие организации.

Выдвигаемые произведения направляются в редакцию журнала «Новый мир» с пометкой «На премию» до 1 декабря 2002 года.

Состав жюри:

ВЛАДИМИР ГУБАЙЛОВСКИЙ, поэт,
литературный критик, интернет-обозреватель;

ВИКТОР КУЛЛЭ, поэт, главный редактор
журнала «Старое литературное обозрение»;

АЛЕКСАНДР ЛЕБЕДЕВ,
президент АКБ «Национальный Резервный банк»,
президент Благотворительного Резервного фонда;

ОЛЬГА НОВИКОВА, председатель жюри,
прозаик, зам. зав. отделом прозы «Нового мира»;

МАРИЯ РЕМИЗОВА, литературный критик,
сотрудник журнала «Континент»;

АНТОН УТКИН, прозаик.

Координаторы премии:

главный редактор журнала «Новый мир»
АНДРЕЙ ВАСИЛЕВСКИЙ;

генеральный директор Благотворительного Резервного фонда
ТАТЬЯНА ЧЕРЕДНИЧЕНКО.

Сумма премии — 3000 \$.

Объявление лауреата и торжественное вручение премии
состоится в начале 2003 года.

Контактные телефоны: (095) 209-57-02, 200-54-96.

E-mail: newworld@newtimes.ru